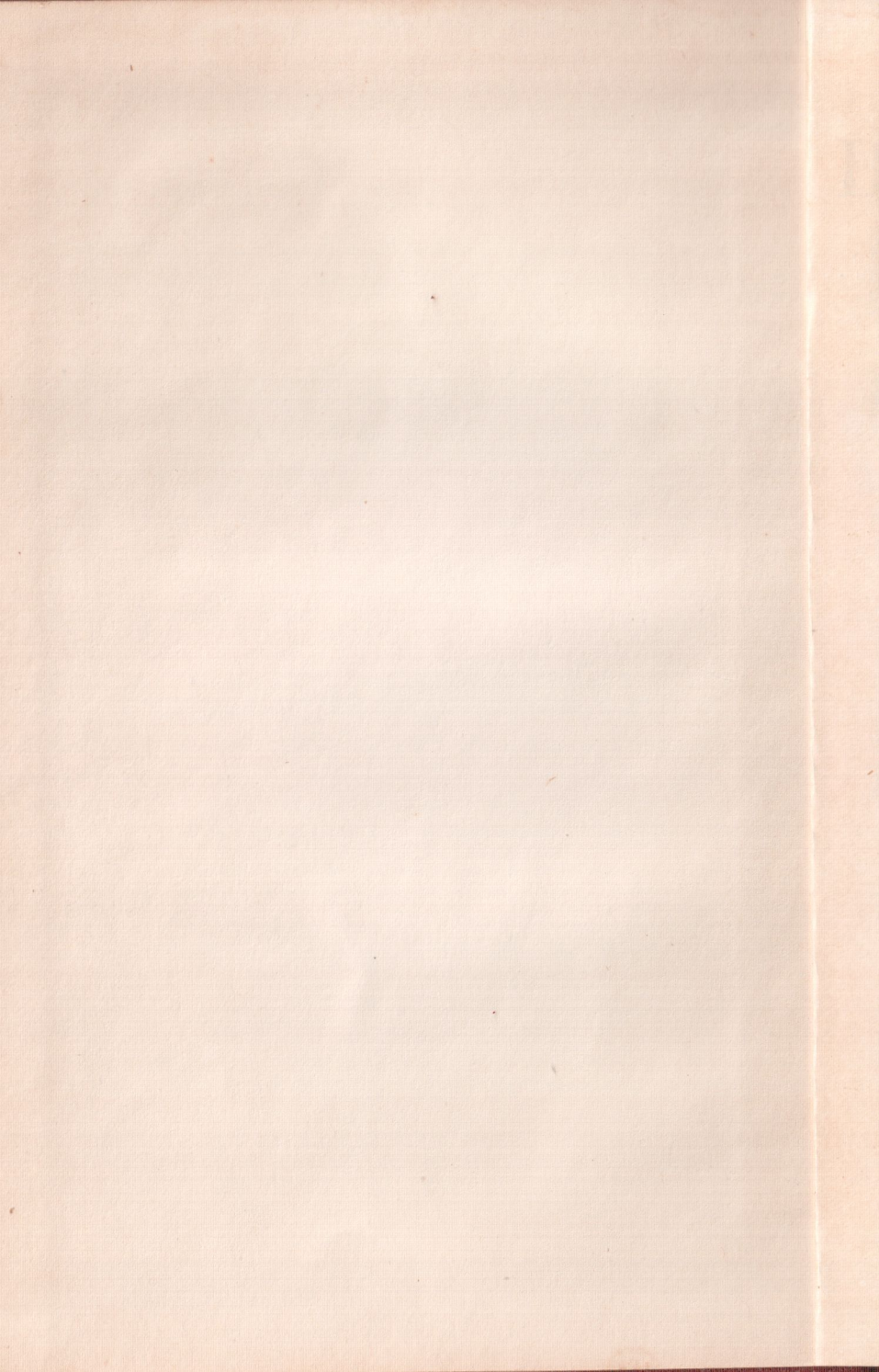


РОМЕН  
РОЛАН

8





**ГОСУДАРСТВЕННОЕ  
ИЗДАТЕЛЬСТВО  
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ  
ЛИТЕРАТУРЫ**



# РОМЕН РОЛЛАН

## СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

*В ЧЕТЫРНАДЦАТИ ТОМАХ*

---

*Государственное издательство*  
**ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ**

*Москва 1956*



# РОМЕН РОЛЛАН

## СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ТОМ ВОСЬМОЙ

### ОЧАРОВАННАЯ ДУША

*Книги первая  
и вторая*

6582

---

Государственное издательство  
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Москва 1956

*Собрание сочинений*  
*осуществляется под общей редакцией*  
**И. АНИСИМОВА**

*Переводы с французского*  
*под редакцией*  
**Н. ЛЮБИМОВА**



## ВВЕДЕНИЕ

В своем обращении «К читателю «Кола Брюньона», написанном в мае 1914 года, я говорил о «десятилетней скованности в доспехах «Жан-Кристофа», которые сначала были мне впору, но под конец стали слишком тесны для меня». Необходимо было переменить обстановку. И я так и поступил, отдавшись работе над книгой, пронизанной «вольной галльской веселостью»; она была закончена раньше других произведений, начатых задолго до нее.

В числе этих произведений был задуманный мною роман «в несколько трагической атмосфере «Жан-Кристофа»<sup>1</sup> (сегодня я могу смело опустить смягчающее слово «несколько», ибо вот уже двадцать лет, как трагизм стал еще более грозно тяготеть над миром). Этим романом и была «Очарованная душа». Книга эта уже начинала проступать в глубине первозданного хаоса творчества.

Предисловие к последней книге «Жан-Кристофа» помечено октябрем 1912 года. В те же дни вечно ищущая мысль продиктовала мне:

«Следует расширить границы добра и зла».

И моя мысль искала нового поприща в изображении «противоборства двух поколений современности —

---

<sup>1</sup> «Я готовял другие работы — драму и роман на современные темы — в несколько трагической атмосфере «Жан-Кристофа» «К читателю «Кола Брюньона»). — P. P.

поколения мужчин и поколения женщин, каждое из которых достигло различного уровня в своем развитии... Не существует (а быть может, никогда и не существовало) такого положения, когда бы развитие женщин и мужчин одной эпохи шло параллельно. Поколение женщин всегда либо опережает на целый век поколение мужчин своего времени, либо отстает от него... Женщины наших дней завоевывают себе независимость. Для мужчин это уже вопрос прошлого...»<sup>1</sup>

Главная героиня «Очарованной души», Аннета Ривьер, принадлежит к авангарду того поколения женщин, которому во Франции пришлось упорно пролагать себе дорогу к независимому положению в борьбе с предрассудками и злой волей своих спутников-мужчин. В конце концов была одержана решительная победа (во всех областях, за исключением политики, где в романских странах все еще продолжается ожесточенное сопротивление старшего поколения мужчин). Но борьба для передового отряда была трудной, особенно трудной она была для тех женщин, бедных и одиноких, которые, подобно Аннете, не побоялись превратностей, связанных с внебрачным материнством. Зато жизнь, полная испытаний и мужественного одиночества, когда каждая из редких в то время женщин-борцов ничего не знала о других своих соратницах и должна была рассчитывать лишь на себя, выковала характеры более свободолюбивые и стойкие, чем у большинства мужчин того же поколения... Достигнутая победа не могла не замедлить продвижения вперед тех, кто следовал за первой шеренгой. Ибо лишь ценой испытаний и преодоления препятствий представители рода человеческого — мужчины и женщины — продвигаются вперед... Слава богу, испытаний и препятствий всегда было достаточно в жизни моей духовной дочери и спутницы Аннеты. До последнего дня Аннета Ривьер<sup>2</sup> «стремится к морю... Никакого застоя! Вся жизнь в движении... Всегда вперед! Даже в смерти волна несет нас... Даже в смерти мы будем впереди...»<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Заметки 1912 года. — *Р. Р.*

<sup>2</sup> «Ривьер» по-французски — «река». — *Прим. ред.*

<sup>3</sup> Последний том «Очарованной души» («Провозвещница»). — *Р. Р.*



Эта Река жизни, к истокам которой я припал, возникла предо мною еще в октябре 1912 года, но должна была ждать девять лет, прежде чем прийти в движение. Ибо океан войны, долго кативший свои кровавые волны, начиная с 1914 и вплоть до 1920 года, наполнял мою душу глубокой печалью и скорбью о погибших. Мой разум был захвачен борьбой, отражением которой явились «Лилюли» и «Клерамбо». Этот период завершился в 1919—1920 годах духовным и физическим кризисом, обновившим мою душу и тело.

В 1921 году моя прежняя жизнь умерла и была отброшена, «как пустая оболочка... Умрем, Кристоф, чтобы родиться вновь!» И невольным символическим актом, подтверждающим это, явился мой отъезд из Парижа, где я до тех пор сохранял свое жилище: я навсегда покинул Францию и поселился за ее пределами.

Запись, которую я сделал в те дни, относится к задуманному мною произведению, но ее вполне можно было применить, хотя я об этом и не подозревал, к моей собственной жизни.

«События — всего лишь внешние поводы. Они, в лучшем случае, освобождают пружину, которая была сжата медленным давлением внутренней необходимости».

Отъезд из старого дома, из старого квартала, из моего старого родного края, где были выношены произведения довоенной поры, перевернул страницу... «Прощай, прошлое!...» Открывалась новая глава.

Я покинул Париж в конце мая 1921 года, а уже в первой половине июня, в Вильнёве, записывал:

«Начат новый роман, «Аннета и Сильвия». Чувство огромного удовлетворения. Незнакомое существо поселяется во мне, и я проникаюсь его жизнью, его мыслями и его судьбой»<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Существо это развивалось настолько независимо от моей воли, что уже в процессе работы мне пришлось изменить образ, который я стремился нарисовать по собственному вкусу; оно продиктовало мне совсем иные черты и свойства характера, неожиданные поступки, резкие душевные повороты, — совсем так, как это бывает в жизни, когда любимая женщина вдруг оказывается для тебя незнакомкой. — Р. Р.

Этот доставлявший мне наслаждение труд продолжался на одном дыхании с 15 июня по 18 октября 1921 года, когда роман «Аннета и Сильвия» был закончен.

В уже приводившейся выше записи говорится:

«Обычно принято писать историю событий человеческой жизни. Это глубоко ошибочно. Истинная жизнь — жизнь внутренняя».

И предисловие к первому изданию «Аннеты и Сильвии» обещает «повесть о духовном мире одной женщины; о долгой жизни, прожитой в согласии с совестью, богатой радостями и печалью, не свободной от противоречий, полной заблуждений и вечно стремящейся не к Истине, ибо она недоступна, а к внутренней гармонии, которая и есть для нас высшая Истина».

Внутренняя жизнь Аннеты отличается, скажем, от жизни Жан-Кристофа не только потому, что это жизнь женщины, и к тому же еще женщины другого поколения<sup>1</sup>, но и потому, что Аннета, неспособная освободиться от порывов страсти с помощью непрерывного процесса духовного творчества, который повелевает и обуздывает, куда более беспомощна перед лицом бурлящих в ней подспудных сил.

Никто из окружающих не подозревает о таящейся в недрах ее души буре страсти. Сама Аннета долгое время не замечает опасности. Внешне ее существование напоминает пруд, дремлющий в глуши Медонского леса<sup>2</sup>. Но интерес произведения и заключается в том, что в душе уравновешенной, порядочной и рассудительной женщины, неведомо для нее самой, незримо живет любовное начало, не признающее границ *Fas* и *Nefas*<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> Кристоф умирает, достигнув пятидесятилетнего возраста, в канун 1914 года. Он был немного старше меня. Аннета умирает почти шестидесяти лет, в обстановке наших сегодняшних битв. Она вместе со своей сестрой принадлежит к поколению, родившемуся между 1875 и 1880 годами. Ася и Марк принадлежат к поколению 1900-х годов. — *P. P.*

<sup>2</sup> Напоминающий галлюцинацию сон, описанный на первых страницах «Аннеты и Сильвии». — *P. P.*

<sup>3</sup> Дозволенного и недозволенного (лат.). — «*Fas ac Nefas*» — первоначальный, позднее снятый подзаголовок произведения. — *P. P.*



Это любовное начало последовательно принимает несколько обликов. Сперва смутная любовь к отцу — чувство тревожное и значительно более сильное, чем в этом отдает себе отчет сама Аннета; чувство это проявляется неожиданно после смерти отца и обнаружения его тайных связей. Затем страстная привязанность к сестре — привязанность, которая подвергается испытанию во время мимолетного появления прекрасного Париса, превратившего сестер в соперниц (после короткой вспышки ревности сначала одна, потом другая уступает любимого человека сестре). Позднее — любовь матери к сыну, занимающая особое место среди множества других грозных порывов страсти, которая в браке и вне брака ищет неосуществимой гармонии. Сын так и не узнает всей силы этой любви, ибо Аннета, которая в долгих одиноких битвах обрела способность владеть своими чувствами, позволяет пробиваться наружу лишь слабому отблеску горящего в ее душе пламени. Теперь она — и только она — знает о том мире страстей, который пылает в ее груди и до которого людям нет дела. Несколько лет спустя, в годы войны, — вспышка страстного сострадания к человечеству, оскорбляемому, ненавидимому и попираемому звериными инстинктами, рожденными шовинизмом, и — как реакция на все это — проявление самоотверженной любви к попавшему в плен раненому врагу, которого осыпает бранью одичавшая толпа. Наконец, когда жизнь Аннеты уже клонится к закату, душа ее, стремящаяся к Бесконечному, раскрывается во всей своей бездонной глубине<sup>1</sup>.

Я воспроизвожу здесь лишь основные линии развития образа героини, определившиеся с первого же дня работы над произведением; некоторые стороны замысла переделывались и исправлялись<sup>2</sup> на протяжении

---

<sup>1</sup> Краткое жизнеописание, изложенное выше, полностью взято из заметок, сделанных мною в июне 1921 года, за несколько дней до начала работы над книгой. — Р. Р.

<sup>2</sup> Самым существенным из этих «исправлений» первоначального замысла является бунт души, которая (в последнем томе «Провозвещницы») восстает против упорности головокружения, вызываемого созерцанием бездны Бесконечного, — я имею в виду мужественный возглас: «Как знать?», который, окончательно не удушая, тем не менее обуздывает и направляет мистические устремления

последовавших затем десяти лет труда, перемежавшегося с работой над другими произведениями, которые обогатили первоначальный замысел книги.

Но в главном характер героини остался неизменным: бесконечная, безбрежная Река ее внутренней жизни с начала и до конца несет свои воды невидимо для всех, даже для взгляда самых близких людей, так что и самые близкие не подозревают о быстрине ее и стремнинах. Один лишь сын в какой-то мере ощутит их благодаря душевному взаимопониманию, но, несмотря на связывающее их кровное родство и, наконец, возникшую глубокую нежность, мать не открывает даже самому любимому существу тайны своей глубоко скрытой духовной жизни.

Таким образом, жизнь Аннеты развивается в двух параллельных плоскостях, и посторонним ведома лишь жизнь внешняя. Что касается жизни внутренней, то в ней Аннета всегда остается одна.

Одна, среди пламени, окутанная священным покрывалом. Для чего пылает этот вечный огонь, который, порою кажется, горит без цели, изменяет свое направление, но сам пребывает неизменным, поддерживает жизнь и в то же время служит источником мук? Почти на пороге смерти Аннета найдет, наконец, ответ на этот вопрос — ответ, который заставит ее понять и принять это горение.

Когда, на склоне жизни, она вновь обозревает Реку своей жизни, ее поражает несоответствие между силой пламени и горючим материалом, питавшим его. Каждый из тех, на кого была направлена ее любовь, призрачен. Воистину ею владели *чары*: в этом ключ к книге и смысл ее названия, которое я намеренно оставил загадочным. «Очарованная душа» на протяжении всей жизни сбрасывает призрачные покровы, которые ее окутывают. Каждый раз, освобождаясь от покрова, она ощущает себя нагой. Но новый покров заменяет сброшенный.

---

души. Здесь слышны отзвуки ожесточенной битвы, внутренние перипетии которой я мог бы проследить на протяжении многих лет по своим заметкам; исход этой битвы определяется лишь накануне развязки произведения: он звучит в вопле осиротевшей матери, которая в ночи сбрасывает с себя очарование умиротворяющих звуков флейты: «Нет, я не хочу пастушеской свирели!..» (25 марта 1933 года). — *Р. Р.*

Каждый том произведения — новое воплощение великой Мечты. «Очарованная», лихорадочно вырываясь из-под власти грез, все время переходит от одной грезы к другой, вплоть до последней (последней ли?), — когда агония окончательно обрывает нить, связывающую Аннету с миром живых.

Но если все преходяще, если все наваждение, остается все же важнейшая сила — способность мечтать и грезить, остается Великий чародей — жизненный порыв, который постоянно творит и возрождает. Он — в ней. Он — источник ее жизни. Аннета, как и Жан-Кристоф, хотя и в совершенно ином плане, принадлежит к великой когорте творческих натур<sup>1</sup>. Она создает живые существа, реже — произведения. «Она никогда не пишет ради того, чтобы писать. Она делает это лишь в те редкие минуты, когда задыхается, утратив все, что поддерживает жизнь, и когда она вынуждена питать свой внутренний огонь собственным естеством; и тут она испускает дикие вопли поэзии, исторгнутые из ее души страстью»<sup>2</sup>. Она — дочь, сестра, возлюбленная, мать, она — «вселенская Мать», которая, приобщившись в последние дни своей болезни к радостям и страданиям всех живущих, выражает свое чувство в лепете, где слышится угасающее блаженство:

«Дитя мое, дитя мое, Мир! Разве не лучше тебе было в моем лоне? Зачем ты появился на свет?..»<sup>3</sup>

\* \* \*

В начале романа Аннета еще не имеет никакого представления о бездне своей души, где бьет ключом источник жизни. Первая книга — «Аннета и Сильвия» — лишь указывает на пробуждение от блаженного сна, от

---

<sup>1</sup> «Что значит «создавать» для Анкеты? Рождать или рождаться. Натура, подобная ей, должна непрерывно созидать либо вынашивать, — другими словами, подготавливать будущее рождение. Если она этого не делает, она несчастна, она в тревоге, она во власти разрушительных сил... Созидать или разрушать — разрушать самое себя...» (Заметки от 22 июня 1922 года). — *Р. Р.*

<sup>2</sup> Запись от 2 июля 1921 года. — *Р. Р.*

<sup>3</sup> Последний том — «Роды» («Провозвестница», том второй, часть III). — *Р. Р.*



сладоcти оцепенения без сновидений, в котором Аннета пребывала до смерти отца. Сон этот грубо обрывается кошмаром смерти. Сердце в отчаянии устремляется навстречу иллюзиям нелепой любви; неосознанный, безотчетный порыв чувств мечется и бьется, словно обезумевшая птица, и сердце, не рассуждая, делает свой выбор. Но великая Иллюзия не бесплодна: она дает жизнь ребенку.

В книге «Лето» собственно и начинается произведение, начинается подлинная жизнь, для которой «Аннета и Сильвия» служила лишь весенней прелюдией. Многие на этой прелюдии и остановятся, подобно тому как они остановились на книге «Заря» в романе «Жан-Кристоф»; так поступят те, кто ищет в музыке не откровения, а ухода от жизни, кто пользуется ею, как повязкой для глаз. Однако подлинный смысл «Очарованной души», как и «Жан-Кристофа», в том и состоит, чтобы сорвать одну за другой все повязки.

В то время как незрячая красавица Аннета бьется в тенетах своих иллюзий — иллюзии ребенка, иллюзии возлюбленного, иллюзии жизни вдвоем, — суровая рука ее судьбы, которую называют случаем и которая оказывается мудрее здравого смысла, превращает благосостояние и беззаботную жизнь героини в руины и заставляет ее переступить порог *vita nuova*<sup>1</sup>.

Заметки, относящиеся к августу 1921 года, гласят: «Бедность для Аннеты играет ту же роль, что жизнь на чужбине для Кристофа. Она заставляет ее взглянуть на мир другими глазами и помогает проникнуть в живую сущность современного общества, которую Аннета при всей своей честности не замечала, пока сама была частью этого общества.

День, когда Аннета начинает трудом добывать свой хлеб, знаменует для нее начало эры подлинных открытий. В числе этих открытий нет любви. Нет и материнства. Инстинкт материнства жил в ней уже раньше, и жизнь недостаточно полно удовлетворяла его. Но с того дня, как Аннета переходит в лагерь нищеты, ей открывается мир.

---

<sup>1</sup> новой жизни (итал.).

И прежде всего — чудовищная бесполезность жизни, десяти десятих жизни, которую современное общество сделало столь уродливой... (Особенно жизнь женщин...)

Есть, спать и рожать: да, к этому сводится полезная часть жизни. А все остальное? Колесо вертится. Но вертится оно вхолостую... Действительно ли мужчина создан для того, чтобы мыслить? Пожалуй, можно сказать, что он себя в этом убедил, что он внушил себе эту обязанность и выполняет ее, как все остальные, освященные временем обычаи. Но он не мыслит. Он, словно пес, дремлет на цепи своих каждодневных занятий, своих удовольствий и огорчений... Что же сказать о женщинах?..»

В книге «Лето» Аннете открывается «то, что таится под оболочкой современной цивилизации, с ее роскошью, ее искусством, суетой и шумихой... Как редки люди, жизнь которых — осуществление закона. Необходимости!.. О, до чего непрочное здание человеческого общества! Оно держится лишь силой привычки. И рухнет сразу...»

Здесь Аннета впервые предвозвещает грядущее землетрясение, которое через пятнадцать лет всколыхнет Европу и мир великими войнами и Революциями!

Бедность, эта мистическая невеста Poverello<sup>1</sup> из Ассизы, не только наполняет душу братскими чувствами к обездоленному люду. Она выявляет новую светлую мораль. Не ту, прежнюю, урезанную и чахлую мораль запретов и молитв, судилищ и исповедален, которая является сторожевым псом разделенного социальными перегородами общества, а новую мораль Труда... Труд — это единственный титул истинного благородства! Это — мощь и радость человека-творца, другими словами — единственного существа, которое живет по-настоящему, единственного существа, которое принадлежит к вечным силам. Труд проявляется в каждом — скромном и великом — творческом деянии, направленном на

---

<sup>1</sup> бедняка (итал.). — Имеется в виду католический монах Франциск Ассизский, основатель ордена францисканцев, дававших обет нищеты. — Прим. ред.

благо человеческого общества. Действовать, действовать в общих интересах — в этом одном и заключается Добродетель в высоком смысле слова. Все остальное относится к области «малой добродетели».

Аннета, отныне вступившая на этот великий, тернистый, но прямой путь, жадно ищет себе спутника. Двое возлюбленных, которых она встречает в «Лете», доказывают ей невозможность сочетания двух важнейших полюсов оси ее жизни: Сострадания и Истины. Слабый (Жюльен) не выносит обнаженной правды, для него ее нужно вуалировать. Сильный (Филипп) лишен чувства доброты, он ступает по телам поверженных. Аннета не соглашается принести им в жертву ни Истины, ни Сострадания. И она вновь остается в одиночестве на своей трудной стезе. К тому же в это время она считает себя покинутой сыном, почти ненавидимой им (ибо страсть ее всегда и все преувеличивает). Она на краю нравственной гибели.

Но и на этот раз, как и во многих других случаях, Аннету спасает удивительная сопротивляемость и гибкость ее натуры<sup>1</sup>. В то самое мгновение, когда она изнемогает, из бездны отчаяния поднимается вихрь жизни, который обновляет и укрепляет ее душу. Страдание изливается в стихах. И вот душа свободна. Обессиленная Аннета погружается в сон. Наутро, когда она пробуждается, страдание умерло. Все вокруг нее осталось прежним. И все обновилось. Она заново родилась.

«Сострадание. Истина. Я ничем не пожертвовала. Я снова одна. Я сохранила свою цельность. Я постигла жизнь, я знаю ей цену, и я знаю, чего мне это стоило. Да здравствует жизнь! Я бросаю вызов богу!»

---

<sup>1</sup> Она унаследовала эти свойства от отца, но у него богатство натуры обратилось в эгоистическое легкомыслие; у Аннеты же оно сочетается с избытком жизненных сил, и это защищает ее от приступов меланхолии, к которой ее мог predisположить характер матери, склонной к депрессии и бесплодным размышлениям. Но страстная натура дочери, которая на все накладывает свой отпечаток, преобразует эту мрачную и расслабляющую склонность в бурные взрывы отчаяния, не разрушающие, однако, этой сильной души; сотрясая, они лишь обновляют ее (запись 1922 года). — Р. Р.



Это — равновесие в бою, мгновение насыщенное и мимолетное. Оно возможно в час, когда Аннета находится в расцвете сил и здоровья и чувствует себя хозяином положения. Лето ее жизни в зените...

«Белокурая Аннета, сильная северная женщина, разделяет иллюзии норманнов, бороздивших своими ладьями морские просторы; они следят за тем, как нос их судна разрезает волны, и радуются своему стремительному бегу, они чувствуют себя вольными, подобно огромным птицам, что летят вслед за ними... Быстрее! Смелее! Наперерез морским валам!.. Но близится равноденствие. Остерегайтесь бурь и сломанных крыльев!»<sup>1</sup>

Наступает война. Этим кончается книга.

Работа над книгой «Лето» продолжалась с 11 июля по 5 ноября 1922 года; она была вновь продолжена и завершена в первом полугодии 1923 года.

\* \* \*

Прошло два года, прежде чем я возобновил работу над произведением. Но я возобновил ее с той же строки, с того же возгласа, на котором оно было прервано, и слова: «Я бросаю вызов богу»<sup>2</sup> — ни разу не были мною забыты. Дух, словно птица на краю утеса, ждет мгновения, чтобы устремиться вниз.

Запись от 10 января 1925 года гласит:

«Этой ночью мне внезапно приоткрылся выход, через который можно спастись... Я ощущал себя загнанным в тупик войны и хотел избавиться от ее давящего гнета, который тяготеет над пацифизмом такой книги, как «Клерамбо». Аннету, «бросившую вызов богу», которую вовсе не смутили жестокости войны, этой бушующей стихии, внезапно преобразили неожиданная встреча с партией подвергающихся оскорблениям военнопленных и неожиданный порыв страсти.

До сих пор она пассивно воспринимала все то, что считала законом природы, хотя в ней самой жил закон

---

<sup>1</sup> Заметки 1921 года. — Р. Р.

<sup>2</sup> Там же.

ее собственной природы, природы более возвышенной, которую ей и надлежало противопоставить натурам озверевших людей. Едва, в результате ее решительного выступления в защиту военнопленных, произошло столкновение, как исчезло угнетающее ее тягостное чувство, которое проистекало не столько из самой бесчеловечности войны, сколько из ее собственного прития этой бесчеловечности».

Pax enim non bellj privatio,  
Sed virtus est, quae ex animi fortitudine oritur<sup>1</sup>.

Силе следует противопоставить еще более мощную силу, а не слабость, не отречение!

Братская близость с человеком, стоящим у порога смерти, с тяжело раненным Жерменом, эта дружба, более глубокая, чем любовь, решительно толкает Аннету от грез к деянию. Ладыя ее жизни, которая до сих пор была неподвижна, ныне летит с теми, кто находится в ней, — с ее сыном, чья судьба уже вырисовывается вдали, — к грозным стремнинам. Жермен, этот светлый ум, в ком способность все понимать парализовала волю к действию, умирая, постигает главную ошибку своей жизни.

«Его вина заключалась в том, что он все понимал. Она заключалась в том, что он бездействовал... Все понимать — и действовать...»

И он говорит Аннете:

«Будьте тверже! Голос вашего сердца надежнее, чем все мои «за» и «против». У вас есть сын. Внушите ему, что недостаточно все взвешивать, все любить. Надо отдавать чему-либо предпочтение! Хорошо быть справедливым. Но истинная справедливость не пребывает в неподвижности перед своими весами, глядя, как колеблются их чаши. Она судит и приводит приговор в исполнение»<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Ибо мир — это не отсутствие войны,

А добродетель, порожденная душевной мощью (лат.).

Эта мысль Спинозы служит эпиграфом к книге «Мать и сын». — Р. Р.

<sup>2</sup> Запись от 24 января 1926 года. — Р. Р.

Это завещание Жермена, это наследие, которое Аннета должна передать сыну, тяжким грузом давит на ее плечи, ибо следовать велениям «истинной справедливости» в эпоху угнетения и всеобщей низости — значит роковым образом обречь себя в жертву. И ответственность Аннеты тем более велика, что в конце книги она, пережив мучительную неизвестность, становится «отцом и матерью» своего сына. Он сделал выбор<sup>1</sup>. И теперь ей предстоит сделать выбор за него. Во время важного разговора в конце книги, когда мать и сын делятся своими тайными помыслами, делятся своим презрением к обществу, породившему войну и навязывающему мир (мир лживый, чреватый новыми войнами), и говорят о своем неприятии этого мира, как и этой войны, Аннета с ужасом читает в мыслях Марка решимость принести себя в жертву, и материнская любовь, вопреки ее собственной вере, пытается переубедить сына. Но Марк так уверен в Аннете, в незыблемости ее веры, что он передает решение в ее руки. И мать не способна обмануть доверие сына. События — заключение перемирия — отодвигают развязку, и все же совершенно ясно, что она всего лишь отсрочена и в один из грядущих дней жертва должна будет взойти на костер... «Warte nur!...»<sup>2</sup> На последней странице Аннета стремится укрыть свой пророческий дар плотными покрывами Мечты, живущей в недрах ее существа, — великой Мечты, которая служит ей прибежищем и рождает в ней иллюзию, будто она приобщается к всеобщей Иллюзии. Но Аннета хорошо понимает, что после пробуждения... «скоро, скоро...» ее ожидает участь *Mater dolorosa*<sup>3</sup>.

\* \* \*

Трехлетний перерыв отделяет эту книгу от трех частей «Провозвестницы». Я писал книгу «Мать и сын» с 24 октября 1925 года по 20 мая 1926 года. Работа над «Провозвестницей» была начата 11 ноября 1929 года и

<sup>1</sup> Марк говорит ей: «Ты — мой отец и моя мать. Я принадлежу лишь тебе». (Запись от 2 декабря 1922 года). — Р. Р.

<sup>2</sup> «Подожди немного!...» (нем.)

<sup>3</sup> скорбящей матери (лат.).



продолжалась до 7 апреля 1933 года. Но произведение не переставало зреть в горячке страстей и событий<sup>1</sup>.

Не только Аннета и Марк следили за развитием судеб мира и в бессонные ночи вновь и вновь приходили к решению принести себя в жертву — в ожидании находился и сам автор. Ибо, хотя и не оставалось сомнения в неизбежности жертв в эту безжалостную эпоху, когда «жизнь не представляла опасности лишь для трусов» (как говорит Аннета, которая «нередко ночами заранее оплакивала смерть своего сына»), но для вас, молодые люди (старики не стоят того, чтобы о них говорили), существовала и всегда существует возможность выбрать себе форму жертвы. Нужно только решить: какая жертва будет не самой прекрасной (прошли те времена, когда говорили: «Нам нет дела до деяния, лишь бы поведение было прекрасным!»), но самой действенной, а значит, и необходимой для *рождения* нового человечества.

Я мысленно обращался в эти годы к двум величайшим социальным начинаниям — начинаниям, осуществлявшимся в Индии и в СССР<sup>2</sup>. Я восхищался и тем

---

<sup>1</sup> Основной замысел и наброски многих глав «Провозвестницы» восходят к 1922 году — к началу работы над «Очарованной душой». Таковы: возвращение Жюльена, которого переродило зло, причиненное им Аннете; образ старого друга-итальянца; некоторые страницы, относящиеся к женитьбе Марка. Эпизод, посвященный Мессине, ждал своей очереди со времени землетрясения 1908 года: в своей записи от 8 апреля 1906 года, которая, как оказалось, предвосхитила события, автор предполагал использовать стихийную катастрофу в качестве эпилога большого романа (может быть, «Жан-Кристофа»). Но большинство заметок и основная часть работы над «Провозвестницей» относятся к 1929—1930 годам. К описанию смерти Анкеты автор возвращался — и переделывал его — раз двадцать. — *Р. Р.*

<sup>2</sup> Моя «Жизнь Ганди» написана одновременно с первыми частями «Очарованной души» (последняя страница этой работы и посвящение к ней помечены мартом 1922 года, опубликована же эта книга годом позже), а «Опыт о мистических учениях и о деятельности новой Индии» (I. «Жизнь Рамакришны»; II. «Жизнь Вивекананда»; III. «Всемирное евангелие») был написан между окончанием книги «Мать и сын» и началом работы над книгой «Провозвестница» — в 1927—1928 годах — и опубликован в 1929 году.

С другой стороны, мои решительные выступления в защиту Советской Революции — возражение Гастону Риу: «Европа, объединись или умри!» и «Прощание с прошлым» — помечены 1 января и 15 июня 1931 года. — *Р. Р.*

и другим. Как только я познакомился с ними, я с первого же дня выступил в защиту СССР и Ганди против их врагов. Но в силу исторического предопределения они шли разными путями. И я, подобно Марку, из всех сил старался стать связующим звеном между обеими армиями и содействовать созданию единого фронта двух великих Революций — свободного духа и организованных масс пролетариата, — направленного против сплоченных сил общественной и политической реакции, против империалистического капитализма и фашистских режимов, которые угрожают приостановить на века поступательное движение человечества<sup>1</sup>.

Чтобы достичь успеха в попытке установить гармонию вовне — между двумя противоположными принципами: пассивным Неприятием, характерным для гандистской Индии, и организованным революционным насилием, — следовало прежде всего попытаться достичь этой гармонии в самом себе. Два этих принципа вели между собой в моем сознании «тот поединок духа», завершение которого я взвалил на плечи юного Марка; освободившись от этого бремени, я постиг «неотвратимое приближение часа великой битвы между нашими внутренними богами — той Илиады, которую творит и ведет на наших глазах и нашими руками человечество»<sup>2</sup>. Нежная и сильная натура Марка Ривьера, «этого юного существа, четвертованного, растерзанного, привязанного к хвостам четырех лошадей», воплощает отчаянное усилие вкусить «черный мед диссонансов», который, по знаменитому выражению Гераклита, таит в себе «самую прекрасную гармонию». И если он не может достичь этого в жизни, он этого добивается своей смертью. Чело Марка окружено трагическим ореолом преждевременной гибели: в этом юном сознании, в этой быстро промелькнувшей жизни преломляется катастрофическое развитие духовной жизни Европы. В реальной действительности существует не один Марк. Мне знакомы и другие. И мне

---

<sup>1</sup> В частности, я попытался это сделать в своих обращениях, адресованных Международному конгрессу против империалистической войны и фашизма, происходившему в Амстердаме в 1932 году. — Р. Р.

<sup>2</sup> «Провозвестница». — Р. Р.

известно, что в Марке они узнали себя. Они — лучшие люди нашего времени — ставят и разрешают либо подвигом своей жизни, либо ценой своей смерти великую проблему человеческого сознания, над решением которой бьется каждая эпоха: проблему примирения интересов личности с интересами общества. Примирение это может быть достигнуто лишь в результате отказа от того, что составляло смысл существования и предмет гордости прошедшей — и превзойденной — эпохи, в результате отказа от бесплодного индивидуализма (бесплодного не по природе своей, но вследствие вырождения) «аристократов духа»; сторонясь неизбежных битв современности, страшая дисциплины, которой требуют эти битвы, «аристократы духа» облачаются в горделивые доспехи независимости разума — разума абстрактного, бескровного, далекого от жизни. Для того чтобы спасти свою душу от сухотки, которая разъедает ее, человек должен погрузиться в кипящие пучины общественного бытия, а этого можно добиться, лишь поставив себя на службу обществу, находящемуся в движении и в борьбе.

Марк приходит к этому, лихорадочно прокладывая себе путь через Ярмарку на площади, куда более жестокую и тлетворную, чем та, которая описана в «Жан-Кристофе», ибо Марк живет в обстановке «гибнущего мира». Обливаясь кровью, Марк вытравляет со своего тела родимые пятна жи. Он обличает ложь и падает на пороге новой эры, приход которой подготовлен суровой и беспощадной Исповедью всей его жизни.

Но самая его смерть означает рождение... *Stirb und werde!*<sup>1</sup> Он вновь поднимается и живет в сердцах двух женщин, которые служили ему опорой, — в сердце возлюбленной и в сердце матери. Аннета продолжает восхождение с той самой ступеньки, на которой остановилась нога ее сына. И сын идет вперед вместе с матерью. Он — в ней. Аннета говорит об этом Асе:

«Законы мира опрокинуты. Я его родила. А теперь он в свою очередь рождает меня»<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Умри для новой жизни! (нем.)

<sup>2</sup> «Провозвестница». — Р. Р.

Такова мысль — двойной смысл — подзаголовок последнего тома «Провозвестницы»: «Роды». Рождение новой эпохи ценой добровольной жертвы поколения. И рождение Матери Сыном.

\* \* \*

Таким образом Аннета идет дальше своего погибшего сына. Она отважно вступает в битву и вовлекает в нее сына своего сына и всех своих детей — по крови и духу. И вот, наконец, Река, символизирующая ее имя, достигает устья! В своем широком и, кажется, безбрежном ложе волны ее жизни катятся вперед, сливаясь с волнами великой Армии, прокладывающей себе путь сквозь стену угнетения. *In tirannos!*<sup>1</sup>

Но Очарованная Душа, которая «даже в смерти идет впереди», выходит за пределы сегодняшних битв, за пределы развалин и бастioned, завоеванных или воздвигаемых ею. В своих последних мечтах Очарованная Душа становится Созидающей Силой, которая своим божественным млеком намечает во мраке ночи собственные Млечные Пути. Она сливается с Судьбой в ее повелительном движении вперед, постигая в свой последний час, что «все горести ее жизни были лишь отражением» этого поступательного движения Судьбы.

Мне хотелось бы, чтобы в этой последней части симфонии *Via sacra*<sup>2</sup> в общем звучании слились лейтмотивы всего моего творчества: заря ребенка; смех Жорж и внучатной племянницы Кола — Сильвии и «*Durch Leiden Freude*»<sup>3</sup> Бетховена (идея, которую двое мудрых героев моей книги выражают: один, Жюльен, словами: «Через страдания — к истине» (восклицание умирающей Аннеты: «Страдать — значит постигать»), другой, граф Бруно, словами: «Через свет — к любви» («*Per chiarezza carità*»)); две переплетающиеся музыкальные фразы — «Озарение» и «Как знать?», эти красочные мелодии пастушеской свирели и гобоя, который пробуждал от сна

<sup>1</sup> Против тиранов! (лат.)

<sup>2</sup> священной жизни (лат.).

<sup>3</sup> «Через страдания — к радости» (нем.).

Монтеня, — Мечта (кантата «für alle Zeit»<sup>1</sup>) и Деяние (лозунг сегодняшнего дня).

Произведение выполняет это грандиозное намерение, слишком обширное для рук человеческих, в меньшей степени, чем того требует пылкое устремление эпохи, которая всеми силами старается осуществить это намерение. Симфония — это концерт, исполняемый оркестром столетий. Нам дано услышать лишь один отрывок, а затем мы передаем смычок другим, прежде чем разноголосые звуки успеют слиться в единый аккорд. Но, едва заслышав эти первые разноголосые звуки, мы ждем уже аккорда.

Каково бы ни было это произведение, оно — музыка. Как и «Жан-Кристофа», я посвящаю его Гармонии, королеве Грез, Грезе моей жизни.

*Ромен Роллан*

*1 января 1934 года*

---

<sup>1</sup> «для всех времен» (нем.).



# **Книга первая**

## **АННЕТА И СИЛЬВИЯ**

---

Любовь, первородная дочь Земли,  
Любовь, что позже нашу Мысль создала...

*Риг-Веда*

*Перевод*

*А. ХУДАДОВОЙ*

## ПРЕДИСЛОВИЕ К ПЕРВОМУ ИЗДАНИЮ

Вновь собираясь в путь, не такой долгий, каким был путь Жан-Кристофа, хотя мне и предстоит немало переходов и остановок, напоминаю читателям дружескую просьбу, с которой я как-то обратился к ним, когда мой музыкант был на распутье. В предисловии к «Бунту» я предупреждал их, чтобы они воспринимали каждую книгу, как отдельную главу создаваемого произведения, идея которого развивается в ходе изображаемых событий. Я привел старинное речение: «Конец венчает жизнь, а вечер — день» и добавил: «Когда дойдем до конца пути, тогда судите о наших усилиях».

Конечно, мне хотелось бы, чтобы каждая книга представляла собой законченное целое, чтобы о каждом судили, как о самостоятельном произведении искусства. Но не спешите судить об идее романа, прочитав лишь одну книгу. Когда я пишу роман, то выбираю существо, родственное мне по духу (или, пожалуй, оно выбирает меня). И этому избранному существу я предоставляю свободу действий, стараюсь, чтобы на него не влияла моя личность. Тяжелое это бремя — личность, которую терпишь больше полувека. Искусство оказывает нам божественное благодеяние, избавляя нас от этого бремени, позволяя нам вбирать души других, преображаться для иных существований (наши индийские друзья сказали бы: «для иных из наших существований», ибо в каждом — все...).

Итак, сроднившись ли с Жан-Кристофом, с Кола или с Аннетой Ривьер, я становлюсь просто-напросто поверенным их мыслей. Слушаю их, вижу их поступки и смотрю на все их глазами. Они постепенно познают свое сердце и сердца других людей, а вместе с ними познаю и я; когда они оступаются, спотыкаюсь и я; стоит им воспрянуть, я тоже поднимаю голову, и мы снова пускаемся в путь. Не утверждаю, что это — путь лучший. Но зато — это наш путь. Есть ли, нет ли причины для существования Кристофа, Кола и Аннеты, но Кристоф, Кола и Аннета существуют. А существование само по себе уже немаловажная причина.

Никаких спорных положений, никаких теорий в книге не ищите. Примите ее как повесть о духовном мире одной женщины; о долгой жизни, прожитой в согласии с совестью, богатой радостями и печалью, не свободной от противоречий, полной заблуждений и вечно стремящейся не к Истине, ибо она недоступна, а к внутренней гармонии, которая и есть для нас высшая Истина.

*Р. Р.*

*Август, 1922 год.*

## Часть первая

Она сидела у окна, спиной к свету, и лучи заходящего солнца падали на ее плечи, на сильную шею. Она только что пришла. Впервые за много месяцев Аннета весь день пробыла на воздухе, бродила, упивалась внешним солнцем. Солнце, не разбавленное тенью безлистных деревьев, пьянило, как вино, и согревало воздух, еще прохладный, хоть зима и была на исходе. В голове шумело, сердце колотилось, и свет потоком заливал глаза. Баgreц и золото под сомкнутыми веками. Золото и баgreц во всем теле. Она притихла, замерла в кресле — на миг впала в забытье.

В чаще леса — пруд; на нем блик солнца, будто глаз. Кольцом стоят деревья, в мох укутаны стволы. Захотелось окунуться. Она разделась. Ледяная рука воды тронула ее ноги, колени. Приятное оцепенение. Вот она в баgreно-золотом пруду разглядывает свое тело... Смутное, неуловимое чувство стыда, словно кто-то увидел ее, подстерег. Скорее спрятаться, — и она заходит в воду все глубже, до самого подбородка. Вода змеится вокруг; это — словно живые тиски; мясистые лианы обвивают ноги. Аннета пробует выпутаться — и вязнет в тине. На поверхности дремлет солнечный блик. Она раздраженно отталкивается пятаками от дна и выплывает. Вода побурела, потускнела, помутнела. А на ее блестящей чешуе — попрежнему солнце... Аннета цепляется за лапу ивы, склонившейся над прудом, — только бы выбраться из вязкой грязи. Мохнатая ветвь крылом прикрывает нагие плечи, бедра. Смеркается, и ветерок холодит шею...

Она приходит в себя. Всего лишь несколько секунд назад она впала в забытие. Солнце прячется за холмы Сен-Клу. Прохладно по-вечернему.

Аннета совсем очнулась, вскочила, ее чуточку знобит, и она досадливо хмурит брови: рассержена, что позволила себе забыться; и вот она усаживается перед горящим камином у себя в комнате. Уютно горит огонь, который развели, чтобы полюбоваться им, рассеять тоску, а не ради тепла; стояла ранняя весна, и в комнату вливался мягкий воздух, а вместе с ним — певучая и сонная болтовня птиц, вернувшихся из дальних стран. Аннета размышляет. Но сейчас ее глаза открыты. Она вступила в свой привычный мир. Она в своем собственном доме. Она — Аннета Ривьер. Она склонилась к огню, бросающему алые отсветы на ее молодое лицо, поглаживает ногой черную кошку, греющую грудку у золотистых головней, и снова оживает ее печаль, от которой она ненадолго отрешилась; она вспоминает лицо (исчезнувшее было из ее сердца) того, кого она потеряла. Она в глубоком трауре; скорбные морщинки еще видны на лбу, в уголках губ, и веки чуть припухли от недавних слез, но когда эта сильная, свежая девушка, налитая соками жизни, как сама обновленная природа, не красавица, зато хорошо сложенная, с густой копной каштановых волос и золотистым загаром на шее, девушка, в каждом взгляде, в лице которой — прелесть юности, пытается накинуть на глаза, посмеявшиеся отвлечься, и на округлые плечи развевавшееся покрывало скорби, она напоминает молоденькую вдовушку, увидевшую, что от нее убегает тень любимого.

Аннета и правда в сердце своем была вдовой, но тот, чью тень пытались удержать ее руки, был ее отцом.

Она потеряла его полгода назад. Поздней осенью Рауля Ривьера, человека нестарого (ему не было и пятидесяти), в два дня унес приступ уремии. Он уже несколько лет возился со здоровьем, которое прежде не берег, однако не ждал, что так внезапно сойдет со сцены. Ривьер, парижский архитектор, бывший питомец Римской академии художеств, красавец мужчина, хитрый и обуреваемый страстями, на редкость могучими, пользовавшийся успехом в салонах, захваленный в деловых кругах, всю жизнь загребал заказы, почести и всяческие



блага, не подавая вида, что их домогается. Лицо типичного парижанина, примелькавшееся на фотографиях, прейскурантах и карикатурах: широкий выпуклый лоб, голова, чуть наклоненная вперед, как у быка, готового забодать, глаза круглые, навывкате, дерзкий взгляд, пышные светлые волосы, подстриженные бобриком, усы над смеющимся чувственным ртом; во всем облике — ум, наглость, обаяние и бесстыдство. Его знал весь Париж — Париж искусства и наслаждений. И не знал никто. Он был человеком двуликим, прекрасно применялся к обществу, использовал его, но личную жизнь устраивал втихомолку. Он был человеком ненасытных страстей, все-сильных пороков, которые сам в себе развивал, стараясь, однако, не обнаруживать ничего такого, что отпугнуло бы заказчиков, — пускал в храм своей души (*fas ac nefas*) лишь избранных, не считался со светскими вкусами и моралью, сообразуя, однако, с ними образ своей жизни и официальное положение. Никто его не знал — ни друзья, ни враги... Враги? Да их у него и не бывало. Завистники — пожалуй, но он сметал их с пути; впрочем, они не таили зла на него: он опрокидывал их, а потом с таким искусством льстил им, что они улыбались ему и чуть что не извинялись, как те робкие людишки, которые улыбаются вам, когда вы наступаете им на мозоль. Его ловкость и хитрость одержали верх — они помогли ему сохранить хорошие отношения и с конкурентами, которых он вытеснял, и с женщинами, которых бросал.

Не так удачлив был он в семейной жизни. Жена была до того бестактна, что страдала от его неверности, — он считал, что за четверть века супружеской жизни пора было бы ей привыкнуть, а она все не смирялась. Была она замкнута, правдива, держалась чуть надменно, и это было в стиле ее красоты — красоты лионки; чувства ее были сильны, но не бурны, и не ей было удержать его; к тому же ей не хватало счастливого таланта — такого удобного — закрывать глаза на то, чему ты не в силах помешать. Чувство собственного достоинства не позволяло ей жаловаться, и все же она не скрывала, что все знает, что мучается. Он был мягкосердечен (во всяком случае таким он себя считал), и ему не хотелось думать обо всем этом, но его раздражало, что она не преодолевает

своего эгоизма. Годами жили они, как чужие, но по молчаливому согласию скрывали это от окружающих, и даже их дочь, Аннета, никогда не отдавала себе отчета в отношениях родителей. Она и не старалась вникать в их разногласия; это было ей неприятно. В юности у людей много своих забот. Им не до чужих дел...

Рауль Ривьер привлек дочь на свою сторону — в этом проявилась вся его изворотливость. Разумеется, он ничего для этого не предпринимал — победило искусство. Ни слова упрека, ни намек на неправоту г-жи Ривьер. Он вел себя по-рыцарски: пусть дочь сама разбирается. Она так и сделала: ведь на нее тоже действовало обаяние отца. И как не обвинять ту, которая, став его женой, по неразумию сама испортила себе счастье! В неравной борьбе бедная г-жа Ривьер была обречена заранее. Она сама себе нанесла поражение: умерла первая. Рауль стал единственным владельцем поместья и сердца дочери. Пять последних лет Аннета жила под нравственным влиянием обожаемого отца, который баловал ее и, не помышляя о том, что творит, расточал ей все свое обаяние. Он был так щедр оттого, что ему не на кого было тратиться: два года он почти не выходил из дому — удерживали предвестники болезни, которой суждено было его унести.

Итак, ничто не нарушало той душевной близости, которая соединяла отца и дочь и заполняла сердце Аннеты, ее дремлющее сердце. Ей шел двадцать четвертый год, но сердце ее, казалось, было моложе: оно не спешило. А может быть, как все те, перед кем раскинулось долгое будущее, она, чувствуя, что в ней бурлят еще скрытые силы жизни, копила их и пока не придавала им значения.

Она была похожа и на отца и на мать: от него унаследовала черты лица и обольстительную улыбку, которая у него обещала больше, чем он думал дать, а у нее, такой чистой, обещала гораздо больше, чем она хотела; от матери — внешнее спокойствие, уравновешенность, строгую нравственность, несмотря на вольнодумие. Особую прелесть придавали ей обаяние отца и сдержанность матери. Нельзя было понять, какой же характер преобладает в ней. Ее истинная натура еще была загадкой и для других и для нее самой. Никто не догадывался о ее

сокровенном внутреннем мире. То была Ева, дремлющая в саду. В ее душе теснились какие-то желания, неясные ей самой. Ничто их не пробуждало, потому что не было толчка. Казалось, стоит ей протянуть руку, и она сорвет их. Но она и не пыталась, усыпленная их ласковым роком. Пожалуй, и не хотела пытаться... Кто знает, до каких пределов доходит самообман? Стараешься не обнаруживать в себе то, что тревожит... Она предпочитала не ведать о море своей души. У Аннеты, которую все знали, Аннеты, которая знала себя, премилой девушки, очень уравновешенной, рассудительной, аккуратной, выдержанной, с сильной волей, со своим собственным суждением обо всем, не было случая проявить свой характер, пойти наперекор правилам, установленным светом или семьей.

Аннета не пренебрегала светскими обязанностями, развлечения, до которых она была большая охотница, ей не надоедали, но она ощущала потребность в занятиях более серьезных. Она прилежно училась, посещала лекции, изучала естественные науки, сдавала экзамены, добиваясь ученой степени. Ее живой ум жаждал знаний, она любила точные исследования, особенно в естествознании, к которому имела большие способности, — может быть, потому, что ее здоровая натура, инстинктивно стремясь к равновесию, испытывала потребность противопоставить строгую, научную методичность и логическое мышление беспокойной прелести той внутренней жизни, которую она боялась всколыхнуть и которая, помимо ее воли, стучалась у дверей, когда бездействовал ум. В ее жизни все было ясно, точно, систематично, и пока это ее вполне удовлетворяло. Не хотелось размышлять о том, что ждет впереди. Замужество совсем не привлекало ее. И она не желала о нем думать. Отец посмеивался над ее предубеждениями, но оспаривать их не собирался: так ему было удобнее.

Уход из жизни Рауля Ривьера потряс до основания все строение сооружения, в котором он был главной опорой, хотя Аннета этого и не понимала. Она знала смерть в лицо. Узнала пять лет тому назад, когда ее покинула мать. Но черты лица смерти не всегда одинаковы. Г-жа Ривьер, несколько месяцев пролежавшая в больнице,

ушла молча, как и жила, сохранив тайну предсмертного страха, как хранила она тайну своих горестей, и в юной душе Аннеты, чистосердечной и эгоистичной, вместе с тихой печалью, похожей на первый весенний дождик, осталось чувство облегчения, в котором не признаешься себе, и мимолетные угрызения совести, которые очень скоро были по молодости беспечно забыты.

Иначе умирал Рауль Ривьер. Он был застигнут врасплох, когда упивался счастьем, когда воображал, что наслаждаться им будет еще долго, и отнюдь не философски ушел из жизни. Он принял смерть и муки с криками возмущения. В ужасе боролся он до последнего вздоха, задыхаясь, как взмыленная лошадь, во весь опор берущая подъем. Страшные эти картины отпечатались, словно на воске, в разгоряченном воображении Аннеты. По ночам ее преследовали видения. Она лежала в темноте у себя в комнате и, задремав или вдруг проснувшись, с такой яркостью снова видела предсмертные муки и лицо умирающего, что сама воплощалась в него: ее глаза становились его глазами; ее дыхание — его дыханием; она уже не могла различить их; глаза ее отвечали призыву тускнеющего взгляда. Она сама чуть было не погибла. Но молодость так сильна и гибка! Пусть до предела натянута тетива — тем дальше отлетит стрела жизни. Ослепительно яркие, безумные образы померкли оттого, что слишком были они ярки, и мрак заволок память. Черты лица, голос, светлый облик того, кто исчез, — все исчезло; Аннета до изнеможения пыталась удержать в душе его тень, но уже не видела ее. Ничего не видела, кроме себя самой. Одной себя... Одинокой. Ева в раю пробуждалась без спутника, без того, к кому так привыкла, чей образ не старалась определить, но о ком думала, сама того не ведая, с какой-то влюбленностью. И вдруг рай утратил безопасность. В него прокрались беспокойные дуновения извне: и дыхание смерти и дыхание жизни. Аннета открыла глаза и, как первобытные люди в ночи, с тревогой почувствовала, что ее со всех сторон подстерегают неведомые опасности, что с ними предстоит борьба. Все дремавшие в ней силы вдруг собрались воедино, построились, насторожились. Одинокая ее душа наполнилась какими-то страстными порывами.

Равновесие нарушилось. Учение и занятия стали ей совсем не нужны. Казалось нелепым, что прежде она отводила им такое большое место. Другая же область жизни — та, которую опустошило горе, предстала перед ней во всей своей неизмеримой шире. Удар всколыхнул все чувства: вокруг раны, нанесенной смертью любимого спутника жизни, — тайные, неведомые силы любви; их притягивала образовавшаяся пустота, и они устремлялись туда из глубин ее существа. Она же, удивленная этим вторжением, пыталась дать ему иное объяснение; упрямо старалась она сосредоточить все эти силы вокруг того, кого оплакивала, — все эти силы, все эти жгучие, ненасытные вожделения Природы, внешние влажные дуновения которой омывали ее, и смутное, властное сожаление о счастье — утраченном, а не желанном ли? — и руки, простертые в небытие, и замирающее сердце, которое тянулось к прошедшему — а не к будущему ли? Кончилось тем, что скорбь ее стала таять в непостижимом смятении чувств: в печали, в желаниях, в безотчетном томлении — все это и снедало ее и возмущало...

В тот вечер, на исходе апреля, возмущение вдруг овладело ею. Ее светлый ум восстал против неясных грез, которые он оставлял без контроля несколько слишком долгих месяцев и опасность которых предвидел. Он хотел отогнать их, но было это не так-то просто: его не слушались, он отвык управлять... Аннета бежала от взгляда огня, пылавшего в камине, от коварного нападения ночи, уже спустившейся на землю; она встала, зябко повела плечами и, накинув отцовский халат, зажгла свет.

Тут был кабинет Рауля Ривьера. Из отворенного окна, сквозь молодую реденькую листву деревьев, во мраке виднелась Сена, а в ее темных и будто неподвижных водах отражались дома, окна которых светились на том берегу, да блики зари, угасавшей над холмами Сен-Клу. Рауль Ривьер, у которого был изысканный вкус, хотя он и остерегался растрачивать его ради пошлого шаблона или смехотворных причуд своих богатых заказчиков, купил в предместье Парижа на Булонской набережной приглянувшийся ему старинный особняк в стиле Людовика XVI — и не перестроил. Ограничился тем, что

сделал его комфортабельным. Деловой кабинет должен был служить и для дел любовных. И, судя по всему, это свое назначение он выполнял. Не одну милую посетительницу принимал здесь Ривьер, но об этом никто и не подозревал, ибо в комнате был отдельный выход — прямо в сад. Однако уже два года он им не пользовался; единственной его посетительницей была Аннета. Здесь и вели они самые душевные разговоры. Аннета прохаживалась по комнате, наводила порядок, наполняла водой вазы с цветами, двигалась неутомленно, а потом вдруг застывала с книгой в руках, примостившись в любимом уголке, на диване, и молча смотрела на муаровую ленту реки или, не прерывая рассеянного чтения, рассеянно болтала с отцом. А он, ее беспечный и утомленный отец, сидел тут же и, не поворачивая головы, украдкой следил насмешливыми своими глазами за каждым движением Аннеты; этот старый балованный ребенок привык к всеобщему поклонению, а потому поддразнивал дочь, острил, засыпал ласковыми, шутивными, требовательными, тревожными вопросами, только ради того, чтобы сосредоточить помыслы Аннеты на себе и увериться, что она действительно слушает его. И в конце концов она, покоренная и обрадованная тем, что отец не может обойтись без нее, бросала все и занималась только им. Тогда он успокаивался и, завоевав внимание дочери, делился с ней своими тайнами, перебирал воспоминания, приносил ей в дар все богатства своего блестящего ума во всем его разнообразии. Понятно, он старался выбирать самые лестные для себя случаи и преподносил их *ad usum Delphini*<sup>1</sup> своей дофине, до тонкости понимая и ее затаенное любопытство и непреодолимое отвращение; он ей рассказывал лишь то, о чем она хотела бы послушать. Аннета не пропускала ни слова и гордилась его доверием. Ей приятно было думать, что отец рассказывает ей гораздо больше, чем рассказывал матери. Воображала, что она единственная хранительница тайн его личной жизни.

Но после смерти отца у нее на хранении оказалось еще кое-что — все его бумаги. Аннета и не пыталась разо-

---

<sup>1</sup> приспособленными для дофина (лат.). — Здесь: в смягченном и благопристойном виде. — *Прим. ред.*



браться в них. Они не принадлежали ей — так внушала ей почтительная любовь. Другое чувство подсказывало: надо поступить иначе. Во всяком случае надо было решить их участь: Аннета, единственная наследница, тоже могла исчезнуть — нельзя, чтобы семейные бумаги попали в чужие руки. Значит, надо поскорее их просмотреть, тогда и будет ясно, уничтожать их или хранить. Так решила Аннета уже несколько дней тому назад. Но, когда по вечерам она входила в комнату, где все говорило о присутствии дорогого отца, у нее хватало мужества лишь на одно: часами сидеть там, не шелохнувшись. Она боялась, что, читая письма из прошлого, вплотную соприкоснется с жизнью...

И все же это было необходимо. В тот вечер она решилась. Она с тревогой чувствовала, как нынешней, такую теплой ночью, в неге, разлитой вокруг, тает ее печаль, и ей захотелось утвердить свое право на умершего. Она подошла к шкафчику из розового дерева, скорее предназначенному для кокетки, чем для дельца, — в этом шкафчике времен Людовика XV, в ящиках, которые возвышались этажами в семь-восемь рядов и превращали его в очаровательный миниатюрный домик, предвосхищивший форму американских небоскребов, и хранил Риввер груды писем и свои бумаги. Аннета опустилась на колени, выдвинула нижний ящик; она совсем вынула его из шкафа, чтобы получше разглядеть все, что в нем было, и, снова усевшись у камина, поставила ящик на колени и наклонилась над ним. В доме ни звука. Она жила вместе со старой теткой, которая вела хозяйство и в счет не шла: тетя Виктория, личность неприметная, сестра отца, всю жизнь прожила в заботах о нем и находила это вполне естественным, теперь же она заботилась об Аннете, попрежнему играла роль домоправительницы и, как старые кошки, прижившиеся к дому, стала в конце концов мебелью, к которой была привязана, конечно, не меньше, чем к своей родне. Спозаранку она удалялась к себе в комнату; ее пребывание где-то наверху и мерное шарканье ее войлочных туфель не нарушали раздумий Анкеты — так в доме не замечаешь кошки.

Аннета стала читать с любопытством и некоторой тревогой. Но любовь к порядку и стремление к покою,

требовавшие, чтобы и в ней и вокруг нее все было ясно, четко, заставляли ее брать и разворачивать письма не спеша, спокойно и хладнокровно, и это, хотя бы на время, поддерживало в ней самообман.

Сначала она прочитала письма от матери. Грустный их тон сразу же воскресил в ее памяти давнишнее чувство, не всегда доброжелательное, иногда чуть раздраженное, с примесью жалости, вызванное тем, что она считала, с присущей ей рассудительностью, привычным нытьем безусловно больного человека: «Бедная мама!..» Но мало-помалу, вчитываясь, она впервые заметила, что для такого душевного состояния матери были причины. Ее встревожили некоторые намеки на неверность Рауля. Она слишком пристрастно относилась к отцу и пропустила их, прикидываясь, будто ничего не поняла. Благотворительная любовь к отцу вооружила ее превосходными доказательствами для отвода глаз. Однако она видела, какая глубокая душа была у г-жи Ривьер, как оскорблена была ее любовь, и укоряла себя, что совсем не знала свою мать, что сделала еще тягостнее ее жизнь, полную самопожертвования.

В том же ящике, рядышком, лежали еще пачки писем (иные развязались и перемешались с письмами матери) — Рауль по своему легкомыслию хранил их вместе — так он сочетал свою сложную семейную жизнь и переписку с женщинами.

И тут спокойствие, которое Аннета внушала себе, подверглось тяжкому испытанию. Со всех этих листов раздавались голоса, совсем по-иному говорившие о близости, уверенные в своей власти, — не то что голос бедной г-жи Ривьер; они утверждали, что имеют права владеть Раулем. Аннета была возмущена. Она поддалась первому побуждению, скомкала письма и швырнула в горящий камин. Но тотчас же выхватила.

Растерянно смотрела она на листки, уже изгрызанные пламенем, из которого она во-время их вытащила. Да, были у нее основания не вмешиваться в прошлые нелады между родителями, а еще больше было у нее оснований не узнавать о любовных связях отца. Но сейчас эти основания уже не играли роли. Она почувствовала личное оскорбление. Она сама не знала, по какому праву, отчего,

почему. Она сидела неподвижно, поникнув, морща нос, нагнув голову, сжав губы от досады, и, напоминая разъяренную кошку, дрожала от желания швырнуть в огонь гнусные бумажонки, которые комкала в кулаке. Но рука разжалась, и Аннета, поддавшись искушению, посмотрела на них. И вдруг решила — раскрыла ладонь, расправила письма, тщательно разгладила пальцем смятые листки... И прочла — прочла все.

С омерзением (но в то же время словно замороженная) следила она, как мелькают перед ней любовные связи отца, о которых она и понятия не имела. Пестрые, причудливые вереницы. Свои вкусы и в любви и в искусстве Рауль «менял, как перчатки». Аннета узнавала имена дам из своего круга и с неприязнью вспоминала, как ей когда-то улыбалась, как ласкала ее какая-нибудь избранница отца. Другие стояли не на такой высокой ступени общественной лестницы, их орфография была не менее вольна, чем чувства, которые они изливали. Аннета еще крепче сжала губы, но ее умственный взор, острый и насмешливый, как умственный взор отца, видел всех этих препотешных особ с кудряшками на лбу: как, высунув кончик языка, склонившись над бумагой, впопыхах строчили они послание. Все эти романы — одни подлиннее, другие покороче, а в общем — все недолгие — тянулись чередой, сменяя и вытесняя друг друга. Аннета была благодарна им за это, но оскорблена и полна презрения.

Открытия не кончились. Еще одна связка писем — они были сложены отдельно, в другом ящике, и перевязаны тщательнее, чем другие (тщательнее, чем письма матери) — говорила о более продолжительной связи. Даты были помечены небрежно, но сразу было видно, что переписка велась долгие годы. Письма были написаны двумя почерками: одни — те, что пестрели ошибками, со строчками, бежавшими вкривь и вкось, — прерывались на половине связки; другие же сначала выводила детская рука с помощью взрослого, потом почерк укрепился; переписка шла все последние годы, больше того (и это было особенно тяжело Аннете), — последние месяцы жизни ее отца. И эта корреспондентка, кравшая

у нее часы священной для нее поры, право на которую, как она воображала, имела только она одна, — эта самозванка, вдвойне самозванка, называла в письмах ее отца — «стоцом»!..

Аннете стало нестерпимо больно. Гневным жестом она сбросила с плеч халат отца. Письма выпали из рук; она откинулась на спинку кресла и сидела без слез, с пылающими щеками. Она не анализировала своих чувств. Она была в таком смятении, что не могла рассуждать. И все же в этом смятении она думала об одном: «Он обманул меня!..»

Она снова взяла эти проклятые письма и уже не выпускала до тех пор, пока не впитала в себя все, до последней строчки. Она читала, и ноздри ее раздувались, а рот был сомкнут; ее сжигал скрытый огонь ревности, и еще какое-то темное чувство зарождалось в ней. Ни разу не подумала она, что, проникая в святая святых этой переписки, овладевая тайнами отца, она поступает против совести. Ни разу не усомнилась в своем праве... (В своем праве! Голос рассудка умолк. Говорила совсем другая сила — деспотическая!) Наоборот, она считала, что затронуты ее права — да, *ее права* затронуты отцом!

И все же она овладела собой. На миг она словно мельком увидела, как несообразна ее требовательность. Пожала плечами. Какие права были у нее на отца? Разве он был ей что-то должен? Властно говорили чувства: «Да». Бесполезно спорить! Аннета поддалась нелепой досаде, мучилась от укулов ревности и в то же время испытывала горькую радость от натиска жестоких сил, которые, впервые в жизни, острыми иглами вонзались в ее тело.

Часть ночи прошла за чтением. И когда, наконец, она решила лечь, под ее смежившимися веками еще долго мелькали строчки и слова, от которых она вздрагивала, пока крепкий сон молодости не одолел ее; она лежала теперь неподвижно, глубоко дыша, успокоенная, облегченная той растратой сил, которая свершилась в ней.

На другое утро Аннета все перечитала, она и в следующие дни не раз перечитывала письма, — только они и занимали ее мысли. Теперь мало-помалу она могла представить себе эту жизнь — вторую жизнь, которая шла параллельно ее жизни: мать — цветочница, Рауль

снабдил ее деньгами, чтобы она открыла магазин; дочь — модистка или портниха (точных сведений не было). Одна звалась Дельфиной, а другая (молодая) Сильвией. Судя по фантастически небрежному стилю, в непосредственности которого была своя прелесть, они походили друг на друга. Дельфина, вероятно, была премилой женщиной, и хоть она прибегала к некоторым уловкам, которые то тут, то там проскальзывали в письмах, но не очень дожимала Ривьера своими требованиями. Ни мать, ни дочь не воспринимали жизнь трагически. Впрочем, они были уверены, что Рауль любит их. Вероятно, это и было лучшим средством сохранить его любовь. Дерзкая их уверенность оскорбляла Аннету не меньше, чем то, с какой удивительной бесцеремонностью они обращались с ее отцом.

Сильвия особенно занимала ее ревнивое внимание. Другой не было в живых, и Аннета из гордости притворялась, будто ее ничуть не трогает близость Дельфины и ее отца; она уже забыла, как была оскорблена еще несколько дней назад, когда узнала о всех его привязанностях. Теперь, когда она вступила в борьбу с привязанностью более глубокой, всякие другие соперники ее не пугали. Напрягая мысль, Аннета старалась представить себе образ незнакомки: ведь она, хоть Аннета и презирала ее, была ей лишь наполовину чужой. Веселая бесцеремонность, спокойное «ты» в письмах, — чувствовалось, что Сильвия распоряжается ее отцом, будто он ее безраздельная собственность, — все это возмущало Аннету, она старалась пристально рассмотреть несносную незнакомку, чтобы ее уничтожить. Но самозванка избегала ее взгляда. Она будто говорила:

«Он — мой, во мне течет его кровь».

И чем сильнее раздражалась Аннета, тем крепче утверждалась в ней эта близость. Она слишком долго противодействовала и мало-помалу привыкла к борьбе и даже к своей противнице. Кончилось тем, что она больше не могла обходиться без нее. Утром, просыпаясь, она тотчас же начинала думать о Сильвии, и лукавый голос соперницы теперь твердил:

«Во мне течет твоя кровь».

И она так отчетливо слышала ее, так живо привиделась ей как-то ночью незнакомая сестра, что Аннета в полусне протянула руки, чтобы обнять ее.

На другой день Аннету, рассерженную и сопротивляющуюся, но побежденную, охватило неотступное желание увидеть сестру. И она отправилась на поиски Сильвии.

Адрес был в письмах. Аннета пошла на бульвар Мэн. Миновал полдень. Оказалось, что Сильвия в мастерской. Аннета не решилась пойти туда. Она выждала еще несколько дней и снова отправилась к Сильвии после обеда, под вечер. Сильвия еще не вернулась домой, а может быть, снова вышла: никто точно не знал. Каждый раз нервное нетерпение целый день держало Аннету в напряжении, в ожидании; она возвращалась разочарованная, и малодушие втайне подсказывало ей, что лучше отказаться. Но она была из тех людей, которые никогда не отказываются от принятого решения, не отказываются, как бы упорно ни было сопротивление и как бы ни страшились они того, что может случиться.

И она снова пошла как-то на исходе мая, около девяти вечера. На этот раз сказали, что Сильвия дома. Шестой этаж. Она поднялась одним духом — не хотела, чтобы было время на раздумье, чтобы можно было чем-то оправдать свое отступление. У нее захватило дыхание. Она остановилась на площадке. Она не знала, что ждет ее.

Длинный общий коридор, без ковра, вымощен плитами. Справа и слева две полуотворенные двери: жильцы громко переговаривались. На красных плитах рдели лучи заходящего солнца — они падали из двери налево. За нею и жила Сильвия.

Аннета постучалась. Не прерывая болтовни, ей крикнули: «Войдите!» Она толкнула дверь; отблески золотистого заката ударили ей в лицо. Она увидела — полураздетая девушка, в юбке, с голыми пухлыми плечами и босыми ногами в розовых стоптанных шлепанцах ходит по комнате, повернувшись к ней гибкой спиной. Она что-то искала на туалетном столике и болтала сама с собой, припудривая пуховкой нос.



— Ну! В чем дело? — спросила она сюсюкая, потому что рот у нее был полон шпилек.

И тут же ее отвлекла ветка сирени в кувшине с водой: она уткнулась носом в цветы и замурыкала от удовольствия. Подняла голову, взглянула смеющимися глазами в зеркало и увидела Аннету, — озаренная солнечными лучами, та нерешительно остановилась позади нее на пороге. Сильвия ахнула, повернулась к ней и, закинув голые руки, проворно заколола шпильками растрепанные волосы, потом подошла, протягивая объятия, но вдруг отдернула руки и любезным, гостеприимным жестом, но сдержанно, пригласила Аннету войти. Аннета вошла; она пыталась, но никак не могла выговорить ни слова. Сильвия тоже молчала. Предложила стул, накинула поношенный халат в голубую полоску и села напротив, на кровать. Обе смотрели друг на друга и выжидали — кто начнет...

Как они были различны! Они изучали друг друга пронизательным, оценивающим взглядом, без снисхождения, стараясь узнать, выпытать: «Какая же ты?»

Перед Сильвией стояла Аннета — высокая, свежая, широколицая, чуточку вздернутый нос, крутой лоб, темные под копной вьющихся каштановых волос с золотистым отливом, густые брови; широко раскрытые голубые глаза были чуть навывкате и иногда как-то странно темнели от сердечного волнения; рот большой, губы выразительные, со светлым пушком в уголках, обычно сомкнуты, и в их выражении — что-то готовое к отпору, сдержанное, решительное, но какая же всепобеждающая, застенчивая и светлая улыбка преображает все лицо, когда они раскрываются; подбородок и щеки полные, но не толстые, словно литые, шея, плечи, руки — цвета густого меда; прекрасная упругая кожа, омываемая здоровой кровью. Немного тяжеловатая талия, чуть грузен торс, а груди — широкие, пышные; опытный взгляд Сильвии, ощупывая их под тканью, задержался на гармоничной линии прекрасных плеч и шеи, на этой золотистой, округлой колонне, на самой совершенной линии тела Анкеты. Она умела одеваться, костюм был тщательно продуман, — по мнению Сильвии, чересчур уж тщательно;

волосы аккуратно заложены, ни одного завитка не выбивается, ни одной лишней прядки. И Сильвия спрашивала себя: «А нутро у нее такое же?»

Перед Аннетой стояла Сильвия — почти одного роста с ней (да, пожалуй, не ниже), но тоненькая, с узкой талией, с маленькой, не по фигуре, головкой, в халате, накинутом на полуголое тело, с небольшой грудью, но все же пухлая и плечи у нее полные, а бедра узкие, и сидит она, чуть покачиваясь, сложив руки на округлых коленях. Подбородок и лоб у нее тоже округлые, носик вздернутый, волосы светлокаштановые, очень тонкие и растут низко на висках, на щеках кудряшки, а на затылке и на белой, очень белой и изящной шее непослушные завитки. Комнатное растение. Профили у нее были ассиметричные: правый томный, сентиментальный — кошечка спит; левый хитрый, настороженный — кошечка кусается. Разговаривая, она вздергивала верхнюю губку, так что обнажались острые клычки. И Аннета подумала: «Худо будет, если она вцепится!»

Как они были различны! И все же обе с первого взгляда узнали друг в друге отца — его взгляд, светлые глаза, его лоб, складка в уголках рта...

Аннета, оробевшая, напряженная, овладела собой и произнесла свою фамилию холодным от безудержного волнения тоном. Сильвия, не прерывая ее, не сводила с нее глаз, а потом преспокойно сказала, вздергивая губку в недоброй улыбке:

— Я и так это знала.

Аннета вздрогнула.

— Каким образом?

— Видела вас — и часто — с отцом...

Она запнулась перед последним словом. Может быть, из злорадного чувства ей и хотелось сказать: «С моим отцом». Но она этого не сказала из насмешливого сострадания к Аннете, читавшей по ее губам. Аннета все поняла, отвела глаза, вспыхнула от унижения.

Сильвия ничего не упустила из виду: она смаковала ее смущение. Она продолжала говорить с важностью, не спеша. Рассказала, что на похоронах была в церкви, забилась в уголок и все видела. Она вела рассказ певучим голоском, произнося слова чуть в нос и не обнаруживая,

никакого волнения. Но если она умела видеть, то Аннета умела слышать. И когда Сильвия кончила, Аннета подняла глаза и спросила:

— Вы очень любили его?

Ласково посмотрели друг на друга сестры, но лишь на миг. Тень ревности скользнула в глазах Аннеты, и она продолжала:

— Он очень любил вас.

Ей искренно хотелось доставить Сильвии удовольствие, но в голосе, помимо воли, прозвучала досада. А Сильвии показалось, что она уловила покровительственную интонацию. Ее лапки выпустили коготки, и она сказала с живостью:

— О да, он меня очень любил!

Помолчала, а потом со снисходительным видом выпалила:

— Вас он тоже очень любил! Он часто говорил мне об этом.

Руки Аннеты, сильные, большие и нервные руки, дрогнули, пальцы сжались. Сильвия смотрела на них. Чувствуя, как подступает к горлу комок, Аннета спросила:

— Он часто говорил с вами обо мне?

— Да, часто, — подтвердила Сильвия с невинным видом.

Вероятно, это была неправда. Но Аннета не знала, что такое лицемерие, и верила людям; вот почему слова Сильвии ранили ее в самое сердце... Итак, отец говорил с Сильвией о ней, они говорили о ней вместе! Она же до самого последнего дня ничего не знала, была так уверена, что он доверяет ей, а он обманул, он все утаивал от нее; она даже не знала о существовании сестры! Непостоянство, несправедливость подавили ее. Она почувствовала, что побеждена. Но показывать это ей не хотелось; она искала оружие, нашла его и сказала:

— Вы очень редко видели его за последние годы.

— За последние годы — да, — поневоле уступила Сильвия. — Разумеется. Он же болел. Его взаперти держали.

Наступило враждебное молчание. Обе улыбались, обе сдерживали досаду. Аннета — суровая и надменная,

Сильвия — двуличная, ласковая, жеманная. Они считали очки, прежде чем продолжать игру. Аннету утешало, что она все же получила преимущество — хоть и незначительное, но в глубине души ей было стыдно за свои дурные мысли, и она постаралась повести разговор более сердечным тоном. Она сказала, что ей хотелось бы сблизиться с той, в ком возродилась «частица» отца. Но, помимо своей воли, она установила различие между ними, подчеркнула, что она — в привилегированном положении. Рассказала Сильвии о последних годах Рауля и не могла удержаться — дала ей понять, что была ближе отцу. Сильвия воспользовалась паузой и удружила Аннете — вспомнила, как был к ней привязан отец. И одна невольно завидовала роли другой и старалась похвастаться своей ролью. Говоря или слушая (не желая слушать и все же слыша), они осматривали друг друга с головы до ног. Сильвия снисходительно сравнивала свои длинные голени, тонкие щиколотки, босые ножки, болтавшие шлепанцами, с грузными ногами и широкими щиколотками Аннеты. Аннета же, рассматривая руки Сильвии, отмечала, как заросли лунки ее слишком розовых ногтей. Встретились не просто две девушки; то были две семьи-соперницы. И хотя казалось, что они непринужденно ведут беседу, взгляд их и язык разили мечом, они с неприязнью следили друг за другом. Звериным чутьем ревности каждая сразу, с первого же взгляда, вызнала всю подноготную другой, обнаружила тайные изъяны ее души, пороки, о которых та, быть может, и не подозревала. Сильвия видела в душе Аннеты сатанинскую гордость, упрямство, взбалмошность, которые, вероятно, еще не проявили себя. Аннета видела в душе Сильвии черствость и улыбающуюся двуличность. Позже, полюбив друг друга, сестры старались забыть то, что увидели одна в другой. А сейчас неприязнь заставляла их все рассматривать через увеличительное стекло. Временами они ненавидели друг друга. Аннета, чуть не плача, думала: «Как все это дурно, как дурно! Я должна показать пример».

Она оглядела скромную каморку, посмотрела на окно, на тюлевую занавеску, на крышу и трубы сосед-

него дома, залитого лунным светом, на ветку сирени в кувшине с отбитым краем.

Холодно, хотя душа ее пылала, Аннета предложила Сильвии дружбу и помощь... Сильвия выслушала с рассеянным видом, усмехнулась недоброй усмешкой, промолчала... Аннета была смертельно оскорблена, и, с трудом скрывая, как уязвлена ее гордость и какая нежность зарождается в ее душе, она внезапно поднялась. На прощание они обменялись пустыми любезностями. И Аннета вышла, опечаленная, разгневанная.

Она уже миновала коридор, выложенный плитками, уже спустилась с первой ступени лестницы, когда Сильвия, потеряв по дороге одну туфельку, подбежала к ней сзади и обхватила руками ее шею. Аннета обернулась, вскрикнула от волнения. В порыве чувства сжала Сильвию в объятиях. Сильвия тоже вскрикнула и засмеялась оттого, что Аннета с такой силой обняла ее. Они горячо поцеловались. Слова любви. Нежный шепот. Благодарность, обещание скоро увидеться...

Наконец, они расстались. Аннета, смеясь от счастья, очутилась внизу — она не помнила, как спустилась. Услышала наверху мальчишеский свист, будто кто-то звал собаку, и голосок Сильвии:

— Аннета!

Она подняла голову и на самом верху в круге света увидела рожицу Сильвии, крикнувшей со смехом:

— Лови!

И в лицо Аннете полетели брызги воды и мокрая ветка сирени — ее бросила Сильвия вместе с воздушными поцелуями...

Сильвия убежала. Аннета, закинув голову, все искала сестру глазами, хотя ее и след простыл. Тогда она сжала в руках мокрую ветку сирени и поцеловала ее.

До дома было далеко, да и не совсем безопасно ходить по иным улицам в такой поздний час, но Аннета все же вернулась пешком. Ей хотелось танцевать. А дома она не легла, пока не поставила сирень в вазу у своей кровати, — так была она счастлива, так возбуждена. Вскочила и переставила ветку в кувшин с водой,

совсем как у Сильвии. Затем опять улеглась, но лампу не загасила, потому что ей не хотелось расставаться с нынешним днем. А часа через три она вдруг проснулась среди ночи. Цветы были на месте. Ей не приснилось, в самом деле она виделась с Сильвией... И она снова заснула с милым образом в душе.

Дни покатались в жужжании пчел, строящих новый улей. Так вьется рой вокруг молодой царицы. Вокруг милой своей Сильвии Аннета создавала новое будущее. Старый улей был заброшен. Его царица мертва. Восторженная душа, стараясь скрыть дворцовый переворот, прикидывалась, будто любовь к отцу она перепесла на сестру, что обретет ее в Сильвии... Но Аннета знала, что с прежней любовью она простилась навеки.

Повелительно звала ее новая любовь, созидаящая и разрушающая... Воспоминания об отце были безжалостно отброшены. Его вещи были почтительно удалены в благоговейный полумрак комнат, — там уж некому было их трогать. Халат спрятан в старый шкаф. Аннета запрягла его, потом снова вытащила, постояла в нерешительности, прижалась к нему щекой и вдруг, вспомнив все, отшвырнула. Нет логики в любви! Кто же из них изменял?

Она была поглощена только что обретенной сестрой. Она совсем не знала ее! Но когда полюбишь, не известные тебе черты привлекают особенно. Прелесть тайны примешивается к тому, что уже знаешь. Видела она Сильвию мельком, и ей хотелось удержать в памяти лишь то, что ей понравилось. Потихоньку от самой себя она допускала, что и это нечто весьма неопределенное. Но стоило ей попытаться беспристрастно воспроизвести то, что было для нее туманным в облике Сильвии, как она тотчас же слышала топот маленьких шлепанцев в коридоре и голые руки Сильвии будто обвивались вокруг ее шеи.

Сильвия должна была прийти. Она обещала... Аннета готовилась к приему. Куда она проведет ее? В свою милую комнату. Сильвия сядет вот тут, на ее любимом месте, у растворенного окна. Аннета смотрела на все ее глазами, радовалась, что покажет ей свой дом, безделушки, деревья, одетые в нежную листву, и холмы, усы-

паннные цветами. При мысли, что Сильвия разделит вместе с ней уют и комфорт, она наслаждалась ими, испытывая свежее чувство новизны. Но вот она подумала, что Сильвия станет сравнивать свое жилье с булонским домом. Радость омрачилась. Неравенство в их положении тяготило Аннету, будто в этом была и ее вина. Но ведь она в силах все исправить, она заставит Сильвию воспользоваться благами, которые судьба предоставила ей, Аннете... Да, но, значит, за ней будет еще одно преимущество. Аннета предчувствовала, что предстоит борьба. Она помнила насмешливое молчание Сильвии в ответ на ее первое приглашение. Надо было посчитаться с ее щепетильностью. Как же быть? Мысленно Аннета перелопачивала несколько планов. Но ни один не годился. Раз десять она передвигала мебель в комнате; с детским удовольствием выставила напоказ самые ценные вещи, потом унесла и оставила лишь самые простые. Обдумала все до мелочей: где поставить на этажерке цветы, где — портрет... Только бы Сильвия не пришла, пока все не будет готово! Но Сильвия и не думала торопиться, у Анкеты времени было вдоволь, и она ставила и переставляла, передвигая все снова и снова. Она находила, что Сильвия очень медлит с приходом, и пользовалась этим, кое-что исправляя в своих планах. Бессознательная комедия! Она обманывала себя, придавая значение пустякам. Все это волнение, расстановка и перестановка вещей были просто предлогом, чтобы отвлечься от иного волнения — горячечных мыслей, нарушавших обычный порядок ее рассудочной жизни.

Предлог изжил себя. На этот раз все было готово. А Сильвия не шла. Аннета не раз уже принимала ее в своем воображении. Она устала от ожидания... Однако нельзя же было снова идти к Сильвии! Ну вот, она придет и вдруг прочтет в скучающих глазах Сильвии, что без нее прекрасно обходятся! Уже самая эта мысль терзала гордую душу Анкеты. Нет, лучше никогда не видеть ее, чем так унижаться! Однако... Она принимает решение, спешит, одевается, она пойдет за своей забывчивой Сильвией. Но не успела она застегнуть перчатки, как решимость уже оставила ее, ноги у нее подкосились,

она села на стул в прихожей, сама не зная, что же делать...

И в тот миг, когда Аннета, не снимая шляпы, уныло уселась у двери, не зная, идти ли, нет ли, в этот самый миг позвонила Сильвия!..

Не прошло и десяти секунд, как отзвучал звонок, а дверь уже распахнулась. Такая быстрота и восторженное выражение глаз Аннеты ясно показали Сильвии, как здесь ждали ее. И еще на пороге, не успели сестры обменяться словом, две рожицы прижались друг к другу. Аннета в порыве радости потащила Сильвию через весь дом; она не выпускала ее руки, не сводила с нее глаз, смеялась без причины, безумно, как счастливый ребенок...

И все вышло не так, как она себе представляла. Ни одна заготовленная фраза не пригодилась. Она не усадила Сильвию в свой излюбленный уголок. Обе уселись спиной к окошку на диван, рядышком, глядя друг другу в глаза, болтали наперебой, а взгляды их говорили:

(Аннета): «Наконец-то! Да ты ли это?»

(Сильвия): «Вот видишь, я и пришла...»

Сильвия, разглядывая Аннету, спросила:

— Вы собрались уходить?

Аннета мотнула головой: объяснять не хотелось. Сильвия все поняла, наклонилась и шепнула:

— Не ко мне ли ты собралась?

Аннета привскочила и, прижавшись щекой к плечу сестры, сказала:

— Зючка!

— Почему? — спросила Сильвия, целуя уголком губ золотистые брови Аннеты.

Аннета не ответила. Сильвии был известен ответ. Она улыбнулась, лукаво следя за Аннетой, а та избегала ее взгляда. Непокорная душа! Настроение у Аннеты упало. Вдруг путами ее связала робость. Они притихли, и старшая сестра прильнула к плечу младшей, очень довольной, что так быстро удалось взять в свои руки власть...

Потом Аннета подняла голову, и обе, поборов волнение, стали болтать, как закадычные подружки.

На этот раз враждебных намерений не было. Наоборот, они жаждали излить свои души... Впрочем, не до



конца! Они знали, что у каждой есть свое, сокровенное, — то, что нельзя показать. Даже когда любишь? Вот именно, когда любишь! Да что же это, поточнее? Они чувствовали взаимное доверие, но затаились, они прощупывали границы того, что любовь другой могла бы вынести. И не одно признание, сначала откровенное, посреди фразы меняло русло и премило оборачивалось ложью. Друг друга они не знали, были друг для друга по многим чертам неразгаданной загадкой: два характера, два мира, несмотря на все, чуждые. У сестры Сильвии (она думала об этом больше, чем хотела) пустила в ход все свое обаяние. А пленять она умела. Аннета была ею очарована, и в то же время ее коробили некоторые ужимки и манеры Сильвии, — ей было от них не по себе. Сильвия это замечала, но и не думала вести себя иначе; старшая сестра, независимая и наивная, бурная и сдержанная, привлекала ее и отпугивала (хотя, слушая ее болтовню, никто не догадался бы об этом). Прехитрыми и пренаблюдательными были и та и другая, они не пропускали ни взгляда, ни мысли. Они еще не были уверены друг в друге. В них была и недоверчивость и готовность излить и отдать друг другу душу. Однако отдать, не получая ничего взамен, не хотелось! В сестрах сидел бесенок гордыни. В Аннете он был сильнее. Но и любовь двигала ею сильнее. И скрыть этого она не могла. Она терпела поражение, отдавая больше, чем ей хотелось бы, и Сильвии это нравилось. Так представители двух договаривающихся сторон, горя желанием столкнуться, действуют с мудрой осмотрительностью и, следя за поведением друг друга, осторожно идут к цели.

Поединок был неравен. Сильвия очень скоро поняла, какая властная и жертвенная любовь владеет Аннетой. Поняла лучше, чем сама Аннета. Она испытывала сестру, играла мягкой лапкой как ни в чем не бывало. Аннета чувствовала, что побеждена. Она была и пристыжена и обрадована.

Сильвия попросила показать ей весь особняк. Аннета не предложила этого сама — побоялась, что сестру уязвит благоденствие, которое ее окружало; у нее отлегло от сердца, когда она увидела, что Сильвия ведет себя здесь

как дома. С довольным видом ходила она взад и вперед, смотрела, трогала, будто была у себя. Аннета была озадачена изумительной бесцеремонностью сестры, и в то же время ее любящее сердце радовалось. Проходя мимо постели Аннеты, Сильвия легонько шлепнула по подушке. Внимательно осмотрела туалетный столик, зорким взглядом пробежала по всем флаконам, рассеянно заглянула в библиотеку, пришла в восторг от занавесок, разобрала одно кресло, присела на другое, сунула нос в полуоткрытый шкаф, пощупала шелковое платье и, проделав круг, вернулась в спальню Аннеты, уселась в низенькое кресло около кровати, болтая без умолку. Аннета предложила ей чаю, но Сильвия предпочла глоток сладкого вина. Сильвия сосала бисквит и поглядывала на Аннету, а та что-то хотела сказать, но все не решалась, и Сильвия чуть не выпалила:

«Да говори же!»

И вот Аннета порывисто и резко, оттого что сдерживала свои чувства, предложила Сильвии поселиться у нее. Сильвия молча улыбнулась, проглотила бисквит и, обмакивая в малаге вместе с пальцами последний кусочек, снова мило улыбнулась, поблагодарила глазами и полным ртом, покачала головой, будто разговаривая с малым ребенком; потом уронила:

— Душечка...

И отказалась.

Аннета твердо стояла на своем, повелительно, чуть не силой вынуждала ее, согласиться. Теперь отмалчивалась Сильвия. Она извинялась — полунамеками, вкрадчивым голоском, даже застенчиво, но не без лукавства. (Она ведь горячо полюбила старшую сестру — порывистую, нежную, правдивую!..) Она твердила:

— Не могу.

Аннета спрашивала:

— Да почему же?

И, наконец, Сильвия сказала:

— У меня есть друг!

Аннета в первую секунду ничего не поняла. А потом поняла все и была сражена. Сильвия, посмеиваясь, наблюдала за сестрой, а немного погодя украдкой поднялась и ушла, расцеловав ее и прошептав что-то ласковое.

Воздушный замок Аннеты рухнул. На душе было тяжело, смутно от сумятицы чувств. В иные она предпочитала не вникать — они жгли ее и порою комком подступали к горлу. Она считала себя свободной от предрассудков, но мысль, что милая ее сестра... Да, все это было слишком тяжело! Сколько слез она пролила... Отчего? Как все глупо! Не ревность ли это снова? Да нет же!

Она передернула плечами и встала. Не хотелось больше ни о чем думать. И она думала без конца... Она мерила большими шагами комнаты, чтобы отвлечься. Заметила, что проделывает по квартире тот круг, который проделала сестра. Думала лишь о ней. О ней и о том, другом... Ревность, это ясно. Нет, нет, нет, да нет же!.. Она сердито топнула ногой. Не желала допускать ревность... Но допустила, нет ли, а на сердце было скверно. Она пыталась все объяснить с точки зрения нравственности. И объяснила. Узвлена была ее чистота. В ее сложной натуре, богатой противоречиями, которым не доводилось еще сталкиваться, была и пуританская строгость. Впрочем, не религиозное ханжество мешало ей. Воспитана она была отцом-скептиком и вольнодумкой-матерью вне всяких влияний религии и привыкла все обсуждать. Бесстрашно подвергала критике любые социальные предрассудки. Свободную любовь допускала в теории, допускала — и получалось отлично. Часто, разговаривая с отцом или однокурсниками, она защищала права свободной любви, и к требованиям этих прав даже почти не примешивалось желание, свойственное молодости, — казаться передовой: она вполне искренне считала, что свобода в любви законна, естественна и даже благоразумна. Никогда ей не приходило в голову осуждать хорошеньких девушек-парижанок, которые живут, как им хочется; она смотрела на них куда доброжелательней, чем на дам из своего, буржуазного, круга... Что же ее сейчас так огорчило? Ведь Сильвия пользовалась своим правом... Правом? Нет, не ее это право! Пусть другие, но только не она! Позволительно это тем, кто стоит не так высоко. К своей сестре и к самой себе Аннета предъявляла — правильно ли, нет ли, — да, правильно! — более строгие требования. Полюбить

на всю жизнь — вот что казалось ей высшим благородством сердца. Сильвия пала, и сестра сердилась на нее за это! «Полюбить на всю жизнь? Не тебя ли?.. Ревнивица, кто лжет тебе!..» И чем больше она ревновала Сильвию, тем сильнее любила. Ведь ни на кого так не сердилась, как на того, кого любишь!

Обаяние милой ее сестры потихоньку делало свое дело. Бесплезно сердиться, исправлять Сильвию, надо принимать ее такой, кака она ест. И мало-помалу Аннету стало терзать другое чувство: любопытство. Помимо воли, ум ее старался представить себе, как живет Сильвия. Она об этом слишком много думала. Она поставила себя на ее место. И смутилась, решив, что это было бы не так уж плохо. Досада и недовольство собой заставили ее еще суровее относиться к Сильвии. Она все сердилась на сестру и не разрешала себе навестить ее.

Аннета не подавала признаков жизни, но это нисколько не беспокоило Сильвию. Она распознала нрав старшей сестры и чувствовала, что Аннета вернется. Ожидание не тяготило ее. У нее было чем заполнить свое сердце. Прежде всего — друг, который, правда, занял лишь уголок сердца и то ненадолго, ну и еще всякая всячина! Она очень полюбила Аннету. Но ведь прожила же она без нее почти двадцать лет! Можно и еще несколько недель подождать. Она догадывалась, что происходит в душе сестры. Это ее забавляло, примешивались и отголоски враждебности. Две породы-соперницы. Два класса. Сильвия в гостях у Аннеты украдкой сравнивала свою и ее жизнь, свои и ее условия. Думала:

«Но все равно, и у меня, знаешь ли, есть крохотные преимущества. Есть то, чего нет у тебя... Ты думала меня удержать, — как же, так и удержишь!.. Да, да, кривой ротик, дуйся!.. Я, значит, оскорбила твою благопристойность. Ах, какой удар. Аннета, бедняжка!..»

И она хохотала, представляя себе разочарованное выражение лица Аннеты и посылая ей воздушные поцелуи. Она ничуть не огорчалась, хотя и знала, что Аннета мучается, что ей тяжело все это проглотить. И, словно уговаривая капризного ребенка съесть полную ложку, лукаво и задорно шептала:

«А ну-ка, малыш, открой ротик! Глотай!..»

Но дело было не только в оскорбленном чувстве благопристойности. Сильвия отлично сознавала, что задела Аннету в другом, в чем та и не сознается. И плутовка лукавила, ибо увидела, что она — хозяйка положения, что она будет вертеть сестрой как угодно. «Бедняжка Аннета! Попробуй, отбейся!..» Сильвия была уверена, совершенно уверена, что возьмет верх над сестрой. Она издевалась, но все же была растрогана и мысленно шептала сестре:

«Знаешь, злоупотреблять я этим не стану...»

Злоупотреблять не станет? А почему бы и не попробовать? Ведь злоупотреблять забавно! Жизнь — война. Все права — победителю! Раз побежденный пошел на это, значит ему так выгодно!

«Довольно! Там будет видно».

Как-то в понедельник утром она отправилась в город и, проходя по улице Севр, вдруг увидела, что чуть впереди в том же направлении идет Аннета. И она пошла вслед за Аннетой, забавы ради, чтобы понаблюдать за ней. Аннета, как всегда, шла большими шагами. Сильвия — семенящими, легкими шажками, словно приплясывая; она подсмеивалась над мальчишеской, спортивной походкой сестры, но оценила красоту стройного сильного ее тела. Аннета высоко держала голову и о чем-то раздумывала, не глядя вокруг. Сильвия догнала ее и теперь шагала рядом, но так, чтобы Аннета не заметила. Шла с ней в ногу и, поглядывая исподтишка на старшую сестру, казалось побледневшую, словно чем-то огорченную, не поворачивая головы и чуть шевеля губами, шепнула: — Аннета...

Услышать ее в уличном шуме было немислимо. Сама Сильвия едва себя услышала. Но Аннета услышала. А может быть, до ее сознания дошло, что двойник-пересмешник уже несколько минут молча сопровождает ее? Она вдруг заметила смеющийся профиль — губы уморительно шевелятся без слов, искоса смотрит насмешливый узенький глаз... И остановилась в порыве бурной радости, которая однажды так удивила, так обворожила

Сильвию. Внезапно протянутые руки! Восторг, охвативший все существо. Сильвия подумала:

«Сейчас подпрыгнет...»

Но все тотчас же прошло. Аннета овладела собой и чуть ли не холодно сказала:

— Добрый день, Сильвия.

Однако щеки ее порозовели, и, несмотря на свою сдержанность, она не устояла перед взрывом смеха сестры, которая была в восторге от своей шалости. Аннета тоже рассмеялась.

— Как ты меня провела!

Сильвия подхватила ее под руку, и они продолжали путь, дружно идя в ногу.

— Ты долго шла рядом? — спросила Аннета.

— Да с полчаса! — заявила, не колеблясь, Сильвия.

— Неужели? — изумилась доверчивая Аннета.

— Я следила за каждым твоим движением. Все заметила. Все, все. Ты шла и разговаривала сама с собой.

— Ну, уж это неправда, неправда! — отнекивалась Аннета. — Ах ты лгунишка!..

Они прижались друг к другу. Стали делиться впечатлениями. Обе радовались встрече. Сильвия, с восхищением рассказывая о выставке белья в магазине «Бон-Марше», где она уже успела побывать и куда Аннета только собиралась, вдруг шепнула на ухо сестре, в оглушительном шуме улицы, которую они переходили, лавируя между экипажами с ловкостью истинных дочерей Парижа:

— А ведь ты так меня и не поцеловала!

Порывистое движение Аннеты — и они чуть не погibli. Они выбрались на тротуар и на ходу расцеловались. Шагали, прильнув друг к другу, по более тихой улице, которая вела... Куда же она вела?..

— Куда мы идем?

Сестры остановились: смешно получилось — болтали, болтали и заплутались. Сильвия, ухватившись за руку Аннеты, сказала:

— Позавтракаем вместе!

Аннета не соглашалась (все неожиданное и восхищало и чуть смущало ее: она была методична), уверяла, будто дома ее ждет тетка. Но Сильвию такие пустяки не смущали: она завладела Аннетой и не отпустила бы ни

за что. Она заставила ее позвонить тетке по телефону и повела в молочную, где часто бывала. Скромный завтрак, которым угощала Сильвия свою сестру, сравнительно с ней — богачку (и все это понимавшую), привел девушек — Аннету особенно — в чудесное настроение. Аннета находила, что все превкусно. Она восторгалась хлебом, хорошо поджаренными котлетами. А под конец подали землянику со сливками, и они лакомились, подбирая ее с ложечки языком.

Впрочем, их языки больше были заняты разговором, чем едой. Хотя они и болтали о каких-то пустяках, но их души, их голоса, их сияющие взгляды сливались. У инстинкта свои пути — они короче и лучше. Еще не пришло время затрагивать важные вопросы. Сестры кружили вокруг да около, кружили весело, как осы, что, жужжа, облетят раз десять вокруг тарелки, пока не усядутся спокойно. Но им спокойно не сиделось...

Сильвия поднялась и сказала:

— Теперь пора на работу.

Аннета озадаченно посмотрела на нее, как ребенок, у которого неожиданно отнимают сладкое. И сказала:

— Было так хорошо! Мне этого мало.

— И мне, — ответила, смеясь, Сильвия. — Когда увидимся?

— Поскорее, и чтобы побыть подольше... А то так скоро все кончилось...

— Тогда сегодня же вечером. Приходи за мной к шестнадцати часам в мастерскую.

Аннета смутилась.

— А разве мы будем с тобой одни?

Ее тревожило, не встретится ли она с *ним*.

Сильвия прочла ее мысль.

— Да, да, будем одни, — ответила она снисходительно, с оттенком иронии. И преспокойно объяснила, что ее друг уехал на два-три дня домой, в провинцию.

Аннета покраснела оттого, что Сильвия отгадала ее мысли. Она уже не помнила, что еще накануне утром решила осудить ее за безнравственность. Все вопросы нравственности были забыты. Она думала об одном: «Сегодня вечером его не будет».

— Какое счастье! Весь вечер проведем вместе.

Сказав это, она захлопала в ладоши. А Сильвия сделала ножкой па, будто собралась танцевать, и воскликнула, построив забавную рожицу:

— Все довольны-предовольны!

Но, сразу же напустив на себя важность, потому что бошел какой-то посетитель, сказала:

— До свиданья, дорогая!

И понеслась стрелой.

Они встретились несколько часов спустя, когда из мастерской вылетел шумный рой ветрениц. Девушки болтали без умолку, украдкой поглядывая по сторонам, шли семенящей походкой, поправляя прическу перед карманным зеркальцем и у витрин, то и дело оборачиваясь, и их любопытные, живые глаза, обведенные синевой, впивались в Аннету, — отошли чуть подальше, семеня, украдкой поглядывая по сторонам, болтая без умолку, и снова обернулись — поглядеть на Сильвию, обнимавшую Аннету. И Аннете стало неприятно: она поняла, что Сильвия обо всем разболтала.

Она повела сестру обедать к себе, в булонский дом. Сильвия сама напросилась. А чтобы тетка не «охала» и не «ахала», решено было по дороге, что Сильвия будет представлена как подруга. Впрочем, это ничуть не помешало Сильвии после обеда, когда престарелая дама, покоренная ласковой плутовкой, удаляясь к себе, как бы в шутку сказать ей: «тетя».

Светлый летний вечер; они одни в большом саду. Нежно обнялись и идут мелкими шажками, вдыхая приятный аромат, который льют цветы на склоне знойного дня. Из душ их, подобно аромату цветов, изливались тайны. В этот раз Сильвия отвечала на вопросы Аннеты не очень скрытничая. Она рассказывала о своей жизни с самого детства; и прежде всего — об отце. Теперь они говорили о нем, не стесняясь, не ревнуя друг к другу; он принадлежал им обеим, и они говорили о нем со снисходительной, чуть иронической улыбкой, — как о большом ребенке, забавном, обаятельном, несерьезном, не очень благонаправленном (все мужчины такие!)... На него они не сердились...

— А знаешь, Аннета, был бы он благонаправленным, меня бы здесь не было...



Аннета сжала ей руку.

— Ай, потише!

И Сильвия стала рассказывать о цветочной лавочке — как она, когда была маленькой, сидела под прилавком, среди разбросанных цветов, слушая, о чем болтает мать с покупателями, и как первые ее грезы переплетались с навыками жизни в Париже, затем о смерти Дельфины (Сильвии было тогда тринадцать лет), о годах учения у портнихи, подруги матери, приютившей ее, затем о том, как через год умерла ее покровительница, здоровье которой изнашивалось в работе (в Париже изнашиваются быстро!), и о том, в каких только не пришлось ей побывать передрыгах. Она описывала свои злоключения и горькие испытания с веселой усмешкой, в уморительных тонах. Мимоходом давала меткие определения людям, дополняя рассказ каким-нибудь штрихом, черточкой, словом, гримаской. Рассказывала она не все — жизнь научила ее многому, — кое о чем умалчивала, кое о чем, быть может, ей было неприятно вспоминать. Зато она подробно рассказала о своем друге — последнем друге. (Были, вероятно, и другие страницы в ее жизни, — она их утаила.) Он — студент-медик; встретились они на балу в их квартале (она готова была отказаться от обеда, лишь бы потанцевать!). Не очень красив, но премил, высокий брюнет, смеющиеся глаза с прищуром, раздувающиеся ноздри, как у породистого пса, веселый, сердечный... Она описывала его без всякого воодушевления, но с симпатией, хвалила его достоинства, подшучивала над ним, довольная своим выбором. Сама себя прерывала, смеялась при иных воспоминаниях, — и о которых рассказывала и о которых умалчивала. Аннета превратилась в слух, примолкла, — ее и смущало и интересовало все это; порой она робко вставляла несколько слов. Сильвия, рассказывая, одной рукой держала ее руку, а другой ласково перебирала ее пальцы, словно четки. Она понимала, что Аннета смущена, ей это нравилось, и она забавлялась смущением сестры.

Девушки сидели на скамейке под деревьями; стало совсем темно, и они не видели друг друга. Сильвия — настоящий бесенок — воспользовалась этим и поведала о чуточку легкомысленных и очень нежных сценках, что-

бы окончательно смутить старшую сестру. Аннета догадалась о ее хитрости; она не знала, улыбаться ли, бранить ли сестру; хотелось побранить, но ее сестричка была уж очень мила! Ее голосок звучал так весело — право, ничего порочного не было в ее жизнерадостности! Аннета с трудом переводила дыхание, стараясь не показать, в какое смятение повергли ее любовные истории Сильвии. А Сильвия, чувствуя, как дрожат от волнения пальцы сестры, умолкла, очень довольная этим, придумывая новую каверзу; наклонилась к Аннете и вполголоса, как ни в чем не бывало, спросила, нет ли у нее друга. Аннета вздрогнула (она этого не ожидала) и покраснела. Проницательные глаза Сильвии старались разглядеть ее лицо, защищенное темнотой, но ничего не было видно; тогда она провела пальцами по щеке Аннеты и сказала, заливаясь смехом: — Да ты просто пылаешь!

Аннета принужденно смеялась, и щеки ее разгорелись еще жарче. Сильвия бросилась ей на шею.

— Глупышка ты моя, дурочка, какая же ты прелесть! Нет, до чего ты смешная! Не сердись на меня! Ведь я хохотунья! Очень я люблю тебя! Ну, полюби хоть капельку свою Сильвию! В ней хорошего мало. Но какая есть, такая есть, и вся твоя. Сестричка, Птичка моя! Дай я поцелую твой клювик, сердечко мое!..

Аннета с такой силой обняла ее, что Сильвия чуть не задохнулась. Она отбивалась и говорила тоном знатока:

— Обниматься ты умеешь! Кто тебя научил?

Аннета резким движением прикрыла ей рот рукой.

— Не надо так шутить!

Сильвия поцеловала ее в ладонь.

— Прости, больше не буду.

И, прижавшись щекой к плечу сестры, она благоразумно замолчала и принялась слушать ее, глядя на прозрачную полоску сумеречного неба, прорезанного ветвями деревьев, на лицо Аннеты, которая, склонившись к ней, о чем-то тихо говорила.

Аннета открывала ей сердце. Теперь рассказывала она — рассказывала о том полном счастье, которое выпало на ее долю в юности, в ее уединении, о заре жизни маленькой Дианы, пылкой, но не смущаемой страстями, которая имеет все, чего ни пожелает, ибо все, чего бы она

ни пожелала сегодня, завтра же осуществляется. И она так уверена в грядущем дне, что заранее упивается его медяным ароматом и не торопится срывать цветы.

Она поведала о безмятежном эгоизме тех лет, бедных событиями, до краев полных нектаром грез. Она говорила о той душевной близости, о всепоглощающей нежности, которые так роднили ее с отцом. И, странное дело, рассказывая о себе, она открывала себя: до сих пор ей не доводилось анализировать прошлое! И от этого она иногда терялась. Порой она прерывала рассказ: ей трудно было высказать мысли словами, порой она высказывала их взволнованно, горячо, образно. Сильвия не все понимала, ей было забавно, она слушала рассеяннo, но следила за выражением лица сестры, за ее движениями, за интонацией.

Аннета поведала о том, как мучила ее ревность, когда она узнала о второй семье отца, существование которой он от нее утаил, и о том, как она была потрясена, обнаружив, что у нее есть соперница, есть сестра. Она говорила горячо, откровенно и не умолчала даже о том, чего стыдилась; вся страстность ее проснулась, как только она вспомнила, и она сказала:

— Я тебя возненавидела!

Сказала с такой запальчивостью, что даже умолкла, пораженная звуком своего голоса. Сильвия, взволнованная гораздо меньше, но очень заинтересованная, почувствовала, как под ее щекой дрожит рука Аннеты, и подумала:

«Она у меня с огоньком!»

Аннета продолжала свою исповедь, и стояла она ей дорого. А Сильвия подумала:

«Чудачка, ну зачем она все мне рассказывает!»

И в то же время почувствовала, что в душе ее растет уважение к странноватой старшей сестре — конечно, уважение насмешливое, но полное бесконечной нежности, и она ласково потерлась щекой о родную ладонь...

Аннета довела рассказ до той поры, когда влечение к сестре-незнакомке овладело ею целиком, несмотря на внутреннее ее сопротивление, и когда она впервые увидела Сильвию. Но здесь прямога ее не совладала с сердечным волнением. Она попробовала продолжать, умолкла и, отказавшись от попыток, сказала:

— Не могу больше...

Стало тихо. Сильвия улыбалась. Она приподнялась и, прильнув щекой к щеке сестры, ущипнула ее за подбородок.

— Какая ты увлекающаяся! — шепнула Сильвия.

— Я? — переспросила, смешавшись, Аннета.

Сильвия вскочила со скамьи, встала перед сестрой и, нежно прижав ее голову к своей груди, сказала:

— Бедная... бедная моя Аннета!..

С того дня сестры виделись постоянно. Не проходило недели, чтобы они не встречались. Сильвия являлась под вечер на Булонскую набережную, неожиданно для Аннеты. Аннета навещала Сильвию реже. По молчаливому согласию они устраивались так, что Аннета не встречалась с «другом» Сильвии. В определенный день сестры завтракали в молочной; их забавляло, что они назначают друг другу свидание то в одном, то в другом уголке Парижа. Они радовались, когда им случалось бывать вместе. Это стало для них потребностью. В те дни, когда они не виделись, время тянулось медленно, старой тетке не удавалось вызвать Аннету на разговор, а Сильвия скучала и высмеивала своего приятеля, который был тут ни при чем. Только мысль о том, сколько расскажут они друг другу при встрече, скрашивала ожидание. Но порой она не выдерживала, и никогда Аннета не была так счастлива, как однажды вечером: уже пробило десять часов, когда Сильвия позвонила у двери и вошла, говоря, что она не могла дожидаться завтрашнего дня и явилась поцеловать ее. Аннета стала удерживать сестру, но Сильвия клялась, что в ее распоряжении всего лишь пять минут, и убежала, проболтав целый час без передышки.

Аннете хотелось, чтобы сестра жила в ее доме, пользовалась ее благосостоянием. Но Сильвия упорно отклоняла все предложения: она вбила себе в голову — в свою упрямую головенку, — что не примет никакой денежной помощи. Зато она без смущения принимала наряды или брала деньги «взаймы» (занимала, но забывала возвращать). Раза два она даже стянула кое-что... о, ничего ценного! Но, разумеется, она никогда не прикоснулась бы к деньгам! Ведь деньги — святыня! А вот безделушка,

какое-нибудь дешевенькое украшение... Против этого она не могла устоять. Аннета заметила ее сорочки замашки и даже растерялась. Почему Сильвия не попросила? С какой радостью она отдала бы ей все это! Она старалась ничего не замечать. Она любила обмениваться с сестрой лифчиком, блузкой, бельем: этим питалась нежность Аннеты. Сильвия учила сестру искусству наряжаться, и под влиянием ее вкуса менялся более строгий вкус Аннеты. Не всегда получалось удачно, ибо Аннета, обожавшая сестру, подражала ей и, теряя чувство меры, одевалась не в своем стиле, — Сильвии, которую все это очень забавляло, приходилось охлаждать ее рвение. Сильвия была поосмотрительней и, не говоря лишних слов, заимствовала у Аннеты ее благородную сдержанность, манеры и то, как надо произносить некоторые слова, как двигаться, но перенимала она все это до того тонко, что со стороны могло показаться, будто подлинник копирует ее.

И все же, несмотря на всю их близость, Аннете удалось узнать лишь об одной стороне жизни сестры. Сильвия охраняла свою независимость и давала это почувствовать. В сущности она не вполне освободилась от классовой неприязни к Аннете: ей хотелось показать Аннете, что распоряжаться ею нельзя, что она приходит к сестре лишь потому, что ей так нравится. Да и ее самолюбие было задето тем, что сестра не совсем одобряет ее поведение. Особенно ее любовную связь. Правда, Аннета старалась и с этим примириться, но не могла скрыть, как ее тяготит разговор о романе Сильвии. Она или избегала его, или, если и принуждала себя говорить о друге Сильвии с искренним желанием сделать сестре приятное, то в ее тоне чувствовалась неуловимая натянутость, — Сильвия это подмечала и мигом переводила разговор на другую тему. Аннета огорчалась. От всего сердца она хотела, чтобы Сильвия была счастлива, счастлива на свой лад. Лад этот был не совсем по душе Аннете, но она не хотела показывать вида. И, конечно, показывала. Человек больших страстей не умеет притворяться. Сильвия сердилась и мстила: умалчивала обо всем. И вот совершенно случайно Аннета узнала, что в жизни сестры произошли немаловажные события — и уже несколько недель назад.

По правде говоря, никак нельзя было заставить Сильвию признать, что они важны; они и в самом деле, вероятно, проскользнули мимо ее сознания — такая была у нее гибкая натура, а может быть, она из самолюбия уверяла, что все это пустяки. Аннета случайно узнала, что «с некоторых пор» (невозможно установить, когда именно: ведь это «давнишняя история»!) друга уже нет и в помине, связь порвана. Сильвию это не особенно печалило. Аннету — гораздо больше. Правда, она ничуть не сожалела о случившемся. Она попыталась — и очень неуклюже — выведать, что же произошло. Сильвия пожимала плечами, смеялась, говорила:

— Да ничего не произошло. Просто — прошло.

Аннета должна была бы радоваться, но слова сестры ее огорчали. Какое странное ощущение! До чего же она нелепая! И само это словечко «прошло»... о целом мире чувств! Да еще произносит со смехом!..

А вслед за этим значительным событием (значительным для нее) Аннета сделала еще одно открытие. Как-то раз она сказала, что встретит сестру у входа в мастерскую, и Сильвия преспокойно ответила:

— А я уже там не работаю...

— Что ты! — удивилась Аннета. — С каких это пор?

— Да с некоторых... (Как всегда, уклончиво! Произойти это могло и вчера и в прошлом году!)

— Что же случилось?

— Случилось кое-что... что случается ежегодно (как в песенке о Мальбруке: «На пасху иль на троицу...»). После скачек наступает мертвый сезон. Хозяйки звереют, находят уйму предлогов и самым благородным образом вышвыривают нас за дверь.

— Где же ты работаешь?

— И там и тут. Хожу, бегаю, понемногу подрабатываю.

Аннета — удрученно:

— Осталась без места, а мне не сказала!

Сильвия прикинулась, будто она из тех, кому «все нипочем», кто ко всему привык! Небрежно, со снисходительной ужимочкой (радуясь в глубине души, что из-за нее так волнуются), она созналась, что на скорую руку мастерит дешевые костюмы для магазинов готового платья,

подрубают детские платица, шьет мужские кальсоны (рассказала об этом в шутовском тоне). Но Аннете было не до смеха. Она вела дальше свое дознание и выпытала у сестры, что та обивает пороги в поисках места и что подчас берется за изнурительную, препротивную работу. Вот когда Аннета поняла, почему «с некоторых пор» она стала замечать, что ее сестричка побледнела... Вот почему Сильвия не приходила по нескольку дней, придумывая нелепые предлоги, пускалась на глупую ложь, а сама, вероятно, полночи шила, не смыкая глаз и не покладая рук. Сильвия продолжала рассказывать нарочито шутовски, с наигранным безразличием о пустячных своих неприятностях. Но она видела, что губы сестры дрожат от гнева. И Аннета вдруг вспылила:

— Какая подлость! Нет, я не могу, не могу я больше этого выносить! И ты еще смеешь говорить, что любишь меня, что ты сама хотела подружиться со мной, прикидываешься другом, а скрываешь все самое важное, все, что близко тебя касается!..

(Вздернутая губка Сильвии изобразила: «Вот еще, ничего тут нет важного!..» Но Аннета не дала ей говорить, поток прорвался.)

— ... Я доверяла тебе, думала, что ты мне расскажешь о своих горестях, неприятностях, как рассказываю тебе обо всем я, что все у нас будет общим... А ты от меня таишься, словно мы — чужие, и я ничего не знаю, ничего! Ведь случайно выяснилось, что тебе сейчас трудно, что ты ищешь места, что у тебя плохо со здоровьем; ты готова приняться за любую работу, лишь бы ни о чем не говорить мне, хотя знаешь, что помочь тебе было бы для меня счастьем... Как это гадко, как гадко! Ты меня обидела. Нет откровенности — нет дружбы! Но я этого больше не потерплю!.. Довольно!.. Для начала ты переедешь ко мне и останешься, пока не кончится безработица...

(Сильвия покачала головой.)

— ... Переедешь, не спорь! Послушай, Сильвия, иначе я с тобой не помирюсь! Скажи только «нет», и мы больше не увидимся — никогда в жизни...

Сильвия и не подумала извиняться, объясняться — она улыбалась и упрямо твердила:

— Нет, милочка, не перееду.

Ей доставило большое удовольствие волнение Аннеты,

а та уже не владела собой, чуть не плакала, готова была побить сестру. Сильвия подумала:

«Как же она хорошеет, когда волнуется!»

Она не сдавалась. Пусть Аннета видит, что и у нее есть своя воля.

Лицо Аннеты пылало от гнева, и она повторяла, умоляя, настаивая:

— Останься! Ты останешься... Мне так хочется... Хорошо? Останешься? Останешься? Ведь ты согласна? Отвечай же!..

А упрямыца вызывающе улыбнулась и ответила:

— Не останусь, милочка.

Аннета, вскипев, вскочила:

— Между нами все кончено.

Повернулась спиной, подошла к окошку, будто уже не замечая Сильвию. А та чуть подождала, тоже поднялась и сказала вкрадчивым голоском:

— До свиданья, Аннета!

Аннета, не оборачиваясь, уронила:

— Прощай.

Ее руки были судорожно сжаты. Одно движение — и кто знает, чем бы все кончилось! Она расплакалась бы, раскричалась... Но она не двинулась, смотрела надменно, холодно. Сильвия чуть смешалась; с затаенной тревогой, но все же посмеиваясь, она вышла и, затворяя за собой дверь, показала Аннете нос.

Особенно гордиться (немного-то она гордилась, впрочем) тем, что дала отпор, было нечего. Не очень гордилась своей вспышкой и Аннета. Она была подавлена, понимала, что отрезала пути к отступлению: надо было терпеливо, искусно завоевать Сильвию, а она чуть не выгнала ее! Сильвия не вернется — это несомненно. Аннета поставила перед ней дилемму, закрыла для сестры дверь своего дома. И себе запретила отворить ее. Нельзя же после такого заявления бежать за Сильвией! Признать себя побежденной! Гордость не позволяла ей сделать это. И неоспоримая правда. Ведь Сильвия поступила так дурно... Нет, ни за что она не пойдет к ней!

И, надев шляпку, она отправилась прямо к Сильвии.

Сильвия только что пришла. Она размышляла: пыталась разобраться в своем затруднительном положении.



Признавала, что все глупо, но выхода не видела, ибо не допускала мысли, что ее может поработить воля Аннеты, не допускала мысли, что Аннету может поработить ее воля. В сущности она считала, что Птичка права. Но сдаваться не хотелось. Сильвия была равнодушна к земным благам. Блага, которыми владела Аннета, немало искушали ее, возбуждали зависть, хоть и было это подсознательно. Попробуй побороть себя, даже когда ты независтлива — почти совсем независтлива! Да и можно ли побороть себя, когда твое молодое тело жаждет радостей, можно ли не думать о том, как бы ты распорядилась состоянием, как воспользовалась бы им, — гораздо лучше, чем тупицы, которым оно с неба в рот упало! И хоть она и не признавалась себе, но была немного зла на Аннету. Впрочем, если тут и была вина Аннеты, то она всячески старалась, чтобы Сильвия простила ее. Но Сильвия как раз и не считала нужным прощать. А в этом ведь не признаешься! Каждый из нас в тайниках своей души выпестовывает пять-шесть чудовищ-невеличек. Этим не хвастаются, их будто и не замечают, но отделаться от них никто не спешит. Правильнее было бы сказать себе, что ее искушали блага, которых у нее нет, но ей хотелось поважничать, прикинуться, будто она их презирает. Вот поважничала, а ничего хорошего не получилось. Нет, Сильвия решительно не испытывала удовольствия от своей победы, щегольнуть было нечем: победила, зато поплатилась собственной шкурой! И все складывалось особенно тяжело потому, что и в самом деле положение у нее было мало приятное. Сильвии нелегко было выпутаться из беды. Безработных появилось очень много, и, разумеется, предприниматели этим пользовались. Здоровье у нее было не блестящее. От изнуряющей жары (стоял знойный июль), бессонных ночей, плохого питания, противной воды, выпиваемой залпом, она заболела катаром кишечника и дизентерией и теперь очень ослабла. Крыша над ее комнатой накалилась от солнца, и Сильвия, опустив жалюзи, полураздевшись, чувствовала, как у нее горит все тело: ей хотелось дотронуться до чего-нибудь прохладного, охладить руки, и она думала о том, как сейчас было бы хорошо очутиться в доме на Булонской набережной; она была обделена другими богатствами, зато щедро

одарена чувством смешного и потешалась над собственной глупостью. Неплохо потрудились! А ведь они с Аннетой в сущности были всегда и во всем заодно! Заупрямились обе... Господи, какая чепуха! Ни одна не уступит!..

Она-то знала, что никогда не уступит, пусть уж так дурочкой до конца и останется; она усмехалась, вздергивая побледневшую верхнюю губку, как вдруг до нее из коридора донеслись стремительные шаги Аннеты. Она сразу их узнала, вскочила.

«Вернулась!.. Аннета, родная!»

Не ждала она сестру... Конечно, Аннета лучше ее!

Аннета уже вошла. Ее лицо пылало от волнения, от жары, от быстрой ходьбы. Она еще не знала, как поступит, но стоило ей войти — и все для нее стало ясным. Она задохнулась от духоты, стоявшей в раскаленной полутемной каморке, и снова ее охватил приступ ярости. Она шагнула к Сильвии, — та кинулась ей на шею, — нервными своими руками сжала ее влажные плечи и, не отвечая на ее поцелуи, раздраженно сказала:

— Я уважу тебя отсюда... Одевайся... И не спорь!

Сильвия все же спорила, уже просто по привычке. Делала вид, что противится. Но не мешала. Аннета распорядилась по-своему, одевала ее, натягивала ботинки, застегивала блузку, сердито нахлобучила ей на голову шляпку, вертела ее, как пакет. Сильвия твердила: «Не надо, не надо», возмущенно покрикивала для вида, но была в восторге от того, что с ней так обращаются. И когда Аннета одела ее, схватила руки сестры, расцеловала их крепко — даже зубы оттиснулись — и, смеясь от радости, сказала:

— Госпожа Буря... Ничего не поделаешь! Подчиняюсь... Увози!..

И Аннета ее увезла. Она схватила ее за руки своими сильными руками и держала, как в тисках. Они сели в такси. Когда они приехали, Сильвия сказала Аннете:

— Теперь признаюсь: до смерти хотелось к тебе!

— Зачем же ты так упрячилась? — спросила Аннета, сердитая, счастливая.

Сильвия взяла Аннету за руку, согнула ее указательный палец и постучала им по своему выпуклому лбу.

— Да, там упрямства немало! — сказала Аннета.

— Похож на твой, — заметила Сильвия, показывая в зеркале на крутые их лбы.

Обе улыбнулись друг другу.

— Нам-то известно, в кого они, — добавила Сильвия.

Комната ждала Сильвию давным-давно. Аннета, еще не ведая о существовании Сильвии, приготовила клетку для будущей подруги. Подруга так и не появилась; только два-три раза промелькнула ее тень. Самобытная натура Аннеты, ее манера вести себя то с холодком, то с горячей сердечностью, порывистая и неожиданная резкость, поражавшая в сдержанной ее натуре, странности, какая-то неосознанная требовательность, властность, тлевшие в ее душе и вспыхивавшие даже в те часы, когда она готова была пожертвовать собой со страстной покорностью, — все это отпугивало от нее сверстниц, которые, несомненно, уважали ее и, говорят, подпадали под ее влияние, но — осторожно, на расстоянии. Первой завладела клеткой дружбы Сильвия. Вошла она туда, разумеется, без волнения, зная, что без труда выйдет, — выйдет, когда ей вздумается. Перед Аннетой она ни сколько не робела. И комната, в которой она водворилась, ничуть ее не удивила. Тогда, в первый свой приход; она по некоторым мелочам — в них сказывалась предусмотрительная заботливость — и по тому, как неловко, смущенно держалась сестра, показывая комнату, догадалась, что все это предназначается для нее.

Теперь же Сильвия, признав себя побежденной, — на свое счастье, — не оказывала ни малейшего сопротивления. Она еще чувствовала слабость после острого кишечного заболевания, и Аннета так баловала свою выздоравливающую сестричку, что та утопала в блаженстве. Был призван врач, он нашел, что Сильвия малокровна, посоветовал переменить климат, пожить на высокогорном курорте. Но сестры не спешили покинуть свое общее гнездышко; они очаровали доктора и вынудили его сказать, что в конце концов и в булонском доме неплохо и что даже в некотором отношении, пожалуй, лучше восстановить силы больной в полном покое здесь, прежде чем подстегнуть их живительным горным воздухом.

И вот Сильвия может вволю нежиться в постели. Давно этого не бывало! Какое наслаждение спать вдоволь, наверстывать все упущенные сны, а самое чудесное — просто лежать, вытянувшись на отличных тонких простынях, до упорительного онемения во всем теле, искать ногой прохладное местечко в постели! И мечтать, мечтать!.. О, ее мечты не улетали в заоблачную высь! Они кружились на месте, как муха на потолке. В них не было стройности. Они двадцать раз плели одно и то же — какой-нибудь случай, план на будущее, мастерская, возлюбленный, шляпка. И вдруг все погружалось в стоячую воду сна...

— Послушай, Сильвия, да послушай же!.. (Она противилась сквозь сон.) Так нельзя... Очнись!

Полуоткрыв глаза, Сильвия видела лицо сестры, склонившейся над ней, и бормотала, с усилием выговаривая слова:

— Аннета! Разбуди меня!

— Сурок! — говорила Аннета и, смеясь, тормозила ее.

Сильвия разыгрывала из себя девочку:

— Ах, мамочка! Что же со мной такое? Все сплю и сплю!

Любовь Аннеты была так велика, что она по-матерински восторгалась сестрой. Она присаживалась на постель, и ей чудилось, что милая головка, которую она прижимает к груди, — головка ее дочери. Сильвия не противилась и жаловалась потихоньку:

— Как бы так сделать, чтобы никогда не работать?

— Ты и не будешь больше работать.

— Вот еще, как бы не так! — возмущалась Сильвия.

Сон ее как рукой снимало, и, высвободившись из объятий сестры, она приподнимала востроухую голову и впивалась в Аннету подозрительным взглядом.

— Ну вот, все воображает, что ее хотят задержать насильно! Ступай отсюда, детка! — говорила Аннета, смеясь. — Уходи, если так велит тебе сердце! Никто тебя не держит!

— Тогда остаюсь! — говорил дух противоречия. И Сильвия ныряла в постель, устав от напряжения.

Так, в праздности, прошло всего лишь несколько дней,

и Сильвия пресытилась сном; настала пора, когда ее уже нельзя было удержать на месте. Она целыми днями слонялась, полуодетая, в Аннетиных туфлях, в которых топили ее босые ноги, в Аннетином халате, который она подбирала наподобие тоги, с голыми руками и икрами; она переходила из комнаты в комнату, все рассматривая и все обследуя. У нее не особенно сильно было развито понятие о «твоем». (О «моем» — дело другое!) Сестра ей сказала: «Ты — дома», — и она поймала ее на слове. Она повсюду рылась. Все перетрогала. Часами плескалась в ванной комнате. Осмотрела каждый уголок. Однажды Аннета увидела, что сестра уткнулась в ее бумаги, — впрочем, они надоели Сильвии быстро. Как-то озорница устроила набег на комнату тетки, ошеломила старушку, перевернула все вверх дном, сдвинула с места все вещи, приласкалась к их владелице (которая с трепетом следила за каждым ее движением), оставила все в беспорядке и, приведя в умиление и негодование старую деву, убежала.

Дом был наполнен неумолчным щебетаньем, бессвязной болтовней — ей же было конца. Где угодно, в каком угодно виде, присев ли на подлокотник кресла, расчесывая ли волосы, с гребенкой в руке, остановившись ли вдруг на ступеньке лестницы, выходя ли утром в банном халате из ванной, — все равно сестры говорили, говорили, говорили, и раз начатый разговор велся целыми часами, даже целыми днями. Они забывали, что пора ложиться спать; напрасно тетка сердилась, покашливала, стучала наверху в пол; они старались говорить потише, задыхаясь от смеха, но через пять минут — взрыв! Снова гобоем звенел тоненький голосок Сильвии, а ему вторили радостные или возмущенные восклицания Аннеты, как всегда закусившей удила, — у этой девчонки, Сильвии, был особый дар по пустякам выводить ее из равновесия. Сверху тетка стучала еще сердитей. Тогда решали: пора «вздременуть». Но они тянули время, пока раздевались. Комнаты у них были смежные, сестры не затворяли дверей и, то и дело переступая порог, болтали — и в одних нижних юбках и сняв нижние юбки; они переговаривались бы и со своих кроватей всю ночь напролет, если бы сон, как это бывает в молодости, вдруг не застигал их и не прекращал болтовни. Он слетал на них мигом, будто ястреб

на мышеловку. Они падали на подушки, полуоткрыв рот, не договорив фразы. Аннета лежала на постели разметавшись, сон у нее был тяжелый, часто — беспокойный, горячечный, полный видений; она сбивала простыни, она говорила во сне, но никогда не просыпалась. Сильвия спала чутко, немножко похрапывала (если бы вы сказали ей об этом, она оглядела бы вас с видом оскорбленного достоинства), просыпалась, вслушивалась, посмеиваясь, в бессвязные речи сестры, иногда вставала, ходила вокруг кровати, где лежала распростертая Аннета и горой поднимались сбитые простыни. Сильвия склонялась над ней и при свете ночника (Аннета не могла спать без огня) с любопытством вглядывалась в отяжелевшие, непроницаемые черты, в необычайно страстное, подчас трагическое лицо спящей, потонувшей в океане снов. Сильвия ее не узнавала.

«Аннета? Ты ли это, сестра?..»

Ей хотелось сейчас же разбудить ее, обвить руками ее шею.

— Волчонок, ты тут?..

Но она была уверена, что волчонок тут, и не пробовала будить сестру. Она была не так чиста душой, как старшая неистовая сестра, была обыкновеннее ее, играла с огнем, но не обжигалась.

Они подолгу разглядывали друг друга, когда одевались и раздевались: любопытно было делать сравнения. У Аннеты были приступы дикой стыдливости, забавлявшие Сильвию, более вольную и вместе с тем какую-то более понятную. Часто Аннета становилась холодной, чуть ли не надменной; иногда на нее находила вспыльчивость, иной раз она плакала без причин. Завидное лионское равновесие, которым она прежде так гордилась, изменило ей. И всего важнее было то, что она об этом и не жалела.

Теперь они во многом откровенно признавались друг другу. Воспроизводить все это не стоит. Девушки, подружившись, в своих беседах — и это совершенно естественно — преспокойно договариваются до самых невероятных вещей, но в их устах все звучит почти невинно; когда же об этом рассказывают другие, вся невинность теряется. В бессвязных разговорах проявлялось различие их натур! добродушная, безвредная аморальность и беспечность

одной, и глубокий, страстный, беспокойный, заряженный электричеством строгий мир другой. Бывали столкновения: легкомыслие и веселая игривость, с какими Сильвия, смакуя, говорила о любовных делах, сердили Аннету. Она была смелой в душе, сдержанной на словах: казалось, ей было неприятно слышать то, что отвечало ее собственным мыслям. Иногда она замыкалась в угрюмом молчании, и сама плохо понимала — отчего. Сильвия понимала все гораздо лучше. За две недели совместной жизни она узнала Аннету глубже, чем Аннета знала себя.

Однако это не означало, что ее умственные способности были выше среднего уровня самой простой девушки-парижанки. У нее был на редкость трезвый и дальновидный практический ум; только она не извлекала из него то, что могла бы извлекать, предпочитая подчиняться своим прихотям; во всем же остальном она ничем не отличалась от девушек своего круга. Правда, все ее занимало, но ничто глубоко не интересовало, если не считать мод, а где уж модам быть глубокими! К искусству же — музыке, живописи, литературе — она относилась, как относится человек самый посредственный; иногда до нее просто ничего не доходило. Аннету часто коробил ее вкус. Сильвия замечала это и говорила:

— Уф! Опять я попала впросак... Ну, скажи, что сейчас модно в свете?

(О картине она говорила, как говорят о шляпке.)

— ...Чем нужно восторгаться? Мне бы только это узнать, а там все пойдет не хуже, чем у других...

Но Сильвия не всегда была так миролюбиво настроена: бывало, что она с пеной у рта отстаивала героя какого-нибудь бульварного романа или пошлый романс, видела в нем последнее слово в области искусства или чувств. Она все же вынудила старшую сестру признать достоинство или, скорее, признать будущее за одним из тех жанров, которые Аннета до сих пор упорно отрицала, хоть и совсем не знала: Сильвия была без ума от кино и смотрела все фильмы без разбора.

Случалось, что Сильвия не могла понять красоту книги, которую они обе читали, но иные страницы воздействовали на нее сильнее, чем на Аннету, — ведь Сильвия лучше знала жизнь, сестру же ее неприкрытая правда

приводила в замешательство. А жизнь и есть Книга Книг. Не всякому дано прочесть ее. Каждый носит ее в себе, и написана она вся, от первой до последней строчки. Но разберешься ты в ней лишь в тот день, когда суровый учитель, Опыт, научит тебя ее языку. Сильвия училась ему с малолетства и читала бегло. Аннета начала учиться поздно. Усваивала она медленно, зато знания ее были глубже.

Лето в том году стояло на редкость знойное. К середине августа пышные деревья в саду пожелтели. Душными ночами Сильвия вытягивала губы, всасывая воздух. Силы у нее восстановились, но была она еще бледненькой и плохо ела. Она всегда была плохим едоком, и если бы ей дали волю, не обедала бы, а довольствовалась в иные дни мороженым и фруктами. Но Аннета была начеку. Но Аннета сердилась. Много забот было у Аннеты. И вот она в конце концов решила отправиться в горы, хоть и откладывала поездку с недели на неделю, в глубине души надеясь, что удастся ее избежать. Ей хотелось, чтобы се-стра принадлежала только ей все лето.

Отправились они на курорт в Гризон. О нем Аннета сохранила чудесное воспоминание, была там давным-давно — прелесть какая гостиница, совсем простая, а вокруг успокаивающие душу пейзажи в пасторальном стиле, от всего веет старой Швейцарией. Правда, за несколько лет все изменилось. Появился рой гостиниц. Возник целый городок вычурных отелей. В луга врезались автомобильные дороги, а в лесах слышно было лязганье трамвая. Аннете хотелось бежать. Но ведь они целые сутки проторчали в душном вагоне, утомились; не знали, куда теперь поехать; хотелось одного — вытянуться, лежать не двигаясь: хоть и все здесь изменилось, зато воздух по-прежнему был чист, словно хрусталь, и Сильвия лакомилась им, как лакомилась мороженым, которое слизывала из стаканчика, стоя у тележки продавца среди гомона парижских улиц. Решили так: останутся на несколько дней, пока не спадет жара. А потом привыкли. И нашли, что тут хорошо.

Сезон был оживленный. Посмотреть игру в теннис слеталась неугомонная молодежь разных национально-



стей. Устраивались вечера с танцами, спектакли. Жу-  
жащий улей бездельничал, флиртовал, шеголял. Аннета  
обошлась бы без этого. Но Сильвия веселилась от всей  
души, сияла от удовольствия, и это передалось Аннете. На-  
строение у сестер было отличное, и не хотелось отказы-  
ваться от развлечений, до которых так падка молодежь.

Были они молоды, веселы, каждая была по-своему  
привлекательна, и их сразу окружили поклонники. Ан-  
нета похорошела. Спортивные игры на воздухе подчер-  
кивали ее прелесть. Она была прекрасно сложена, сильна,  
любила ходить, увлекалась спортом, была блестящей  
партнершей в теннисе — верный глаз, гибкие ноги, про-  
ворные руки, молниеносные ответные удары. Обычно  
жесты ее были скупы, но в нужную минуту она горячи-  
лась, и ее отдачи ошеломяли. Сильвия приходила в во-  
сторг, хлопала в ладоши, когда видела прыжки Анкеты,  
гордилась сестрой. Она восхищалась искренно — ведь в  
этой области она даже не пыталась состязаться с ней:  
хрупкая парижанка не была создана для спортивных игр,  
да они и мало ее привлекали — столько надо было дви-  
гаться! Она находила, что куда приятнее — и, главное,  
благоразумнее, — оставаться зрительницей. Времени она  
даром не теряла.

Она создала вокруг себя кружок придворных и ца-  
рила там с такою непринужденностью, будто только это и  
делала всю жизнь. Лисичка переняла у молодых светских  
дам, за которыми наблюдала, высокомерие, жеманство и  
все, что легко заимствовать. На вид — недотрога, очаро-  
вательная рассеянность, а ушки на макушке: ничто не  
ускользало от ее внимания. Но лучшей ее моделью по-  
прежнему оставалась Аннета. Чутье у нее было верное, и  
она умела не только перенимать многие и многие мелочи,  
но, перенимая, придавать им блеск, чуть видоизменяя и  
даже иногда доводя их до противоположности — о, только  
чтобы показать, как изысканно такое пустячное отступле-  
ние от светских правил! Она была неглупа и никогда не  
выходила за пределы той области, где чувствовала под  
ногами твердую почву. Ее манеры, поведение, тон были  
просто безукоризненны. Благовоспитанная девица с изыс-  
канной оригинальностью речи и манер. Аннета не могла  
удержаться от смеха, слушая, как сестра с очарователь-

ной самоуверенностью выкладывает перед своими поклонниками сведения, обрывками которых она накануне ее напичкала. Сильвия хитро ей подмигивала; не стоит углублять беседу. Несмотря на ум и хорошую память, Сильвия могла нечаянно попасть впросак, но она не допускала этого, бдительно следила за своими границами. К тому же она умела выбирать партнеров.

Почти всех их, молодых спортсменов-иностранцев, — англо-саксов, румын, — гораздо больше коробили ошибки в игре, чем ошибки в языке. Любимцем женского кружка был один итальянец. Он носил звонкую фамилию, был отпрыском старинного ломбардского рода (род угас давным-давно, но ведь фамилия не исчезает); он принадлежал к тому типу, который так часто встречается среди золотой молодежи Апеннинского полуострова и для которого характерны не столько национальные черты, сколько черты эпохи: в нем видишь любопытную помесь американца с Пятой авеню и итальянца — кондотьера четырнадцатого века, что в общем придает иногда внешности величавость (величавость оперного артиста). Туллио, красивый малый, высокий, статный, хорошо сложенный, с пламенным взглядом, круглой головой и бритым лицом, жгучий брюнет с крупным, властным носом, раздувающимися ноздрями и тяжелой челюстью, ходил мягкой походкой, расправив плечи. Надменность, заискивающая учтивость и грубость — все это смешалось в его манерах. В общем, мужчина неотразимый. Женские сердца падали ему под ноги — наклоняйся и подбирай. Но он не давал себе труда наклоняться. Он ждал, чтобы сердца эти ему поднесли.

Вероятно, именно потому, что Аннета не предложила ему своего сердца, Туллио и остановил на ней свой выбор. Он — первоклассный теннисист — оценил физические качества сильной девушки, а разговаривая с нею, узнал, что она вообще любит спорт; их вкусы сходились — верховой ездой, греблей Аннета увлекалась до страсти, которую она вносила во все свои поступки. Он крупным своим носом почуял, что избыток энергии переполняет девичье тело, и возжелал им овладеть. Аннета, угадав его намерения, была и пленена и оскорблена. Силы плоти, стесненные годами почти затворнической жизни, пробую-

ждались в пламени чудесного лета, в кругу молодежи, помышлявшей лишь об удовольствиях, в азарте спортивных игр. Последние недели, проведенные с Сильвией, их вольные беседы, какая-то безграничная нежность, переполнявшая Аннету, — все это повергало в смятение и тело ее и душу, которые она сама так плохо, так мало знала. Ненадежно был защищен ее дом от налета страстей. Аннета впервые ощутила, что такое острота чувственного влечения. Стыд, возмущение охватили ее, будто она получила пощечину. Но влечение не стало от этого меньше. Надо было бежать, она же гордо шла вперед с холодным видом и трепещущим сердцем. А он прикрывал свое вождение безукоризненной почтительностью, стал еще обаятельнее и увлекся еще сильнее, когда увидел, что она поняла его, что она противится ему. И вот начался другой матч, по-иному азартный! Они бросили друг другу дерзкий вызов, они вступили в ожесточенное единоборство, хотя никто этого не замечал. Когда он и учтиво и властно склонялся перед нею и целовал ей руку, когда она улыбалась ему надменно и обольстительно, — она читала в его глазах:

«Ты будешь моей».

И ее сомкнутые губы отвечали:

«Никогда!»

Рысьим взглядом следила Сильвия за поединком, она забавлялась, но горела желанием принять в нем участие. Какое участие? Право, она и сама не знала. Ну, просто хотелось поразвлечься и, конечно, — само собой разумеется, — выручить Аннету. Он — прелесть. Аннета — тоже прелесть. Как красит ее сильное чувство! Какая испепеляющая гордость! Бычок, готовый ринуться в бой; то вдруг зальют ее щеки волны румянца, то отхлынут, и Сильвия словно видела, как они пробегают по всему ее телу, будто дрожь... А мужчина с головой ушел в игру...

«Ничего не выйдет, мой мальчик, — твоей она не будет, да, да, не будет, если не захочет!.. А может быть, хочет? Или не хочет? Решайся, Аннета! Он увлечен. Добивай его! Глупышка! Не знает как... Хорошо, мы ей поможем...».

Похвалы, которые Сильвия расточала Аннете, сблизили ее с Туллио. Они вдвоем восхищались ею. Итальянец был бесспорно влюблен в Аннету. Сильвия сияла и, сверкая глазами, все больше входила в роль. Она искусно расхваливала Аннету и не менее искусно вооружилась всеми своими чарами: они были пущены в ход, и их уже нельзя было остановить. Напрасно она их уговаривала:

«Теперь уговоримся. Довольно. Слишком далеко зашли...»

Они ничего не слышали, оставалось одно: предоставить им свободу действия... Это было презабавно! И, конечно, этот болван тотчас воспламенился. До чего же глупы мужчины! Он воображал, что с ним любезны из-за его прекрасных глаз... Правда, глаза у него были прекрасные... Как же он теперь поступит? Рыбешка мечется между двумя крючками. Уж не хочет ли он проглотить обеих сразу? На что он решится? «А ну, приятель, выбирай!»

Она ничего не делала, чтобы облегчить ему выбор, она ступшевывалась перед Аннетой. Аннета — перед ней. Но Аннета инстинктивно удвоила усилия, чтобы затмить Сильвию. Сестры нежно любили друг друга. Сильвия гордилась, что Аннету расхваливают, Аннета гордилась тем, какое впечатление производит Сильвия. Они советовались друг с другом. Следили, чтобы у каждой был туалет к лицу. Умело, по контрасту, выделяли лучшее во внешности друг друга. На вечерах в гостинице привлекали всеобщие взоры. Но эти взоры невольно разжигали соперничество между ними. И хоть они запрещали себе это, но во время танцев одна сестра невольно оценивала успех, которым пользовалась другая. Особенно у того, кто, право, занимал их мысли теперь гораздо больше, чем им хотелось... Он стал занимать их мысли гораздо больше с тех пор, как сам перестал понимать, которая же больше занимает его мысли. У Аннеты портилось настроение, когда она видела, как Туллио увивается вокруг сестры. Обе прекрасно танцевали, каждая в своем стиле. Аннета старалась утвердить свое превосходство. И, конечно, танцевала лучше — на взгляд знатоков. Но Сильвия держалась непринужденней, танцевала с большим увлечением, а когда она поняла намерение Аннеты, то

стала просто неотразимой. И Туллио не устоял. Аннета увидела, что покинута, и ей было больно. В одну прекрасную летнюю ночь Туллио протанцевал несколько раз подряд с Сильвией, а потом оба вышли, болтая и смеясь. Аннета не владела собой. Она тоже вышла из зала. Она не решилась пойти следом за ними и попыталась разглядеть их из застекленной галереи, выходившей в сад; и она увидела их; увидела, что они идут по аллее, прижавшись друг к другу, что они целуются.

Но это не так огорчило ее, как то, что случился потом. Аннета поднялась в свою комнату и села, не зажигая света; внезапно к ней вбежала радостная Сильвия, разахалась, увидев, что сестра сидит одна в потемках, принялась гладить ей руки, чмокать в щеки; как всегда, наговорила уйму всяких милых пустяков; когда же Аннета, сказав, что ей пришлось уйти, потому что у нее вдруг началась мигрень, спросила сестру, как прошел вечер и гуляла ли она с Туллио, Сильвия с невинным видом ответила, что не гуляла, что понятия не имеет, куда делся Туллио, что вообще Туллио уже ей надоед, к тому же она не любит слишком красивых мужчин, а он еще и фатоват, да и смугловат... И она стала укладываться спать, напевая вальс.

Аннета не сомкнула глаз. Сильвия спала отлично. Она и не подозревала о буре, которую сама же вызвала. Аннета очутилась во власти демонов, сорвавшихся с цепи. Все, что произошло, было катастрофой. Катастрофой вдвойне. Сильвия стала ее соперницей. И Сильвия ей лгала. Любимая ее Сильвия! Сильвия — радость ее, надежда!.. Все рухнуло. Она больше не может ее любить... Не может любить? Но разве может, разве может она не любить ее? О, как внедрилась в нее эта любовь, сильнее, чем она думала! Но разве можно любить то, что презираешь? Ах да, предательство Сильвии еще не все! Что-то еще случилось... «Что-то еще... еще... Но что же это такое?» А! Тут замешан человек, которого Аннета не уважала, которого Аннета не любила и которого теперь любит. Любит? Нет! Которого хочет покорить. Гордость и ревность терзали ее, требовали, чтобы она пленила его, чтобы вырвала из рук *другой*, а главное, чтобы не

позволила той, *другой*, вырвать его из ее рук... (*Другая — вот чем стала Сильвия для Аннеты!*)

И часа не спала Аннета в ту ночь. Простыни жгли кожу. А с соседней кровати доносилось легкое посапывание — там спали сном невинности.

Когда утром они очутились лицом к лицу, Сильвия сразу увидела, что все изменилось, но она не поняла, что же произошло. Аннета, с кругами под глазами, бледная, суровая, надменная, но до странности похорошевшая (и похорошевшая и подурневшая — будто на призыв вдруг поднялись все затаенные ее силы), Аннета, в броне гордости, холодная, враждебная, замкнутая, посмотрела на Сильвию, послушала, как та болтает, по обыкновению, о всяких пустяках, еле слышно поздоровалась и вышла из комнаты... Сильвия запнулась на полуслове и тоже вышла, не сводя глаз с Аннеты, спускавшейся по лестнице.

Она все поняла. Аннета увидела Туллио, сидевшего в холле, и направилась прямо к нему. Он тоже понял, что положение изменилось. Она села рядом с ним. Заговорила о вещах самых незначительных. Высоко держа голову, полная презрения, Аннета смотрела в одну точку и старалась не встречаться с ним взглядом. Но у него не было сомнения: ее взгляд стремился к нему. словно избегая слишком яркого света, ее глаза, полузакрытые голубоватыми веками, спрашивали:

«Хочешь, чтобы я была твоей?»

А он рассматривал свои ногти, с самодовольным видом говорил какие-то глупости и, поглядывая, как кот, на ее тело, на упругие груди, допытывался:

«Ты ведь тоже этого хочешь?»

«Я хочу, чтобы хотел ты», — был ответ.

Сильвия не колебалась. Покружила по холлу, подошла и села между Аннетой и Туллио. Аннета была возмущена, взгляд выдал ее — один взгляд: его было достаточно. Она посмотрела на сестру в упор, и Сильвия прочла в ее взгляде презрение. Она прищурила глаза и прикинулась, будто ничего не заметила, но ошетинилось, как кошка, через которую пропустили электрический ток: она улыбалась, а готова была кусаться. Начался поединок — поединок втроем, притворно любезный. Сильвия,

казалось, перестала существовать для сестры: Аннета не обращала внимания на ее слова, разговаривала через ее голову с Туллио, который чувствовал себя неловко; а если старшей сестре все-таки приходилось выслушивать младшую, потому что она трещала без умолку, Аннета улыбкой или ироническим замечанием подчеркивала погрешности языка, которыми еще пестрила речь Сильвии (лисичке пока не удалось выполоть их из своего лексикона).

Сильвия была смертельно оскорблена и не видела уже в Аннете сестру, а видела лишь соперницу; она думала: «Подожди, ты у меня попляшешь».

Приподняв губу, она оскалила клычки:

«Око за око, зуб за зуб... Нет, два ока за око...»

И ринулась в бой.

Как неосторожна была Аннета! Чувство собственного достоинства не обременяло Сильвию: всякое оружие было для нее приемлемо — лишь бы выиграть. Аннета, закованная в латы гордости, сочла бы себя униженной, если бы Туллио заметил даже намек на ее чувство. Сильвию же не стесняли такие мелочи; пусть кавалер увидит, как они состязаются: это ему польстит.

«Что же ты предпочитаешь? Нравится ли тебе великолепное презрение, или нравится, чтобы тобой восхищались?..»

Она знала: мужчина — животное тщеславное. Туллио был падок на лесть. Сильвия на нее не скупилась. С простодушным, спокойным бесстыдством плутовка расхваливала совершенства молодого курортного Гаттамелаты: его фигуру, ум и одежду. Одежду главным образом — она угадала, что ею он дорожит больше всего. А он обожал похвалу. Разумеется, он сам знал, что красив, ну, а громкое имя отчасти заменяло ум. Но вот костюм был его собственным творением, и он не мог равнодушно отнестись к одобрению всеведущей парижанки. Сильвия, глядя на него взглядом знатока, посмеивалась про себя над его простоватым вкусом и любовью к ярким сочетаниям, а восхищалась всем — с головы до пят. Аннета сгорала от стыда и гнева — сестра хитрила так явно, что она спрашивала себя:

«Как он переносит все это?»

А он переносил отлично. Туллио упивался лестью. Сильвия, осматривая его сверху донизу, перешла от оранжевого галстука к лиловому поясу, к зеленым в золотистую полоску носкам и тут сделала передышку: у нее были свои соображения! Восторгаясь изяществом ног Туллио (он ими очень гордился), она выставила свои прехорошенькие ножки. Шаловливо и кокетливо приблизила она их к ногам Туллио, стала сравнивать, приоткрывая свои ноги до колен. Потом повернулась к Аннете, откинувшейся на качалке с презрительным видом, и произнесла с чарующей улыбкой:

— Душечка, а ну-ка покажи свои ножки!

И рывком подняла подол ее платья — показались топорные лодыжки бочонком, не очень изящные ноги. Только на две секунды. Аннета вырвалась из коварных коготков, и они, вполне довольные собой, спрятались. Туллио все видел...

На этом Сильвия не успокоилась. Все утро она изощрялась в сравнениях, делала их как бы нечаянно, но они были не в пользу Аннеты. Будто взывая к утонченному вкусу Туллио, она то и дело просила его взглянуть на воротничок, блузку или шарфик, привлекая его внимание к тому, что у нее было всего красивее, а у Аннеты — всего хуже. Аннета дрожала и с непроницаемым видом еле сдерживалась, чтобы не задушить ее. Сильвия, как всегда обворожительная, между двумя предательскими выходками прижимала пальчики к губам и посылала Аннете воздушный поцелуй. Но временами молнии их взглядов скрещивались.

(Аннета): «Презираю тебя!»

(Сильвия): «Возможно. Но любит он меня!»

«Нет! Нет!» — возмущалась Аннета.

«Да! Да!» — твердила Сильвия.

Они переглядывались с недобрим задором.

Аннета не в силах была долго скрывать неприязнь под улыбкой, как змею под цветами. Еще немного — и она закричала бы. Внезапно она покинула поле битвы. Ушла с высоко поднятой головой, напоследок бросив на Сильвию взгляд-вызов. Насмешливые глаза Сильвии ответили:

«Поживем — увидим».



Битва продолжалась на другой день и во все последующие дни под взглядами забавлявшейся публики: вся гостиница заметила, что сестры ведут борьбу, и досужие язвительные глаза подстерегали их; заключались пари. Соперницы были так поглощены своей игрой, что не обращали внимания на игру других.

Дело в том, что для них это уже не было игрой. Сильвия тоже увлеклась серьезно. Какая-то злая сила смущала сестер, возбуждала их чувственность. Туллио, гордый своей победой, не прилагал никаких усилий, чтобы разжечь огонь. Он действительно был красив, неглуп, и он сам горел желанием, которое разжег: стоило быть завоеванным. Он-то хорошо это знал.

По вечерам сестры-соперницы встречались у себя в комнате. Они ненавидели друг друга. Однако притворялись, будто не знают об этом. Их кровати стояли рядышком, бок о бок, и быть рядом по ночам стало бы невыносимо, если бы они все сказали друг другу; не избежали бы они и публичной огласки, которой боялись. Они устраивались так: выходили и входили в разное время, больше не разговаривали, притворяясь, будто не видят друг друга, ну, а если это было просто невозможно, холодно произносили: «доброе утро», «добрый вечер», словно ничего и не произошло. Всего честней, всего разумней было бы объясниться. Но они не хотели. Не могли. Если страсть овладела женщиной, не может быть и речи о честности; о рассудке — тем более.

Страсть стала для Аннеты отравой. Поцелуй, который однажды вечером на повороте аллеи Туллио, пользуясь своей властью, насильно запечатлел на губах гордой девушки, не защитившейся во-время, прорвал плотину страсти. Она была оскорблена этим, ожесточена, она боролась с собой. Но она не знала, как сопротивляться, — ведь поток страсти захватил ее впервые. Горе сборняющимся сердцам! Когда в них вторгается страсть, самое целомудренное становится самым доступным...

В одну из тех бессонных ночей, которые так ее терзали, Аннета задремала, хоть и думала, что бодрствует. Ей приснилось, будто она лежит в постели с открытыми

глазами, но не в силах двинуться, точно связана по рукам и ногам. Она знает, что Сильвия рядом притворяется спящей и что должен прийти Туллио. Вот она услышала, как в коридоре скрипнул пол, крадущиеся шаги все ближе, ближе. Аннета увидела: Сильвия приподнимается с подушки, из-под простыни показались ее ноги; она встает, скользит к двери, которую кто-то приоткрыл. Аннета тоже хочет встать, но не может. Сильвия, будто услышав, оборачивается, возвращается, подходит к постели, смотрит на Аннету, наклоняется, вглядывается в ее лицо. Да ведь это совсем, совсем и не Сильвия; даже не похожа на нее; и все же это Сильвия: ее злой смех, ее острые зубы; длинные черные волосы, без завитков, прямые, жесткие, упали Аннете на лоб, когда Сильвия наклонялась, попали в рот, в глаза. У Анкеты на языке привкус конского волоса, его терпкий запах. Лицо соперницы все ближе, ближе. Сильвия откинула одеяло. Аннета чувствует, что острое колено вдавливается ей в бедро. Она задыхается. В руке у Сильвии нож; холодное лезвие щекочет горло Аннете, она отбивается, кричит... Она очнулась — сидит на постели в тихой своей комнате, простыни сбиты. Сильвия безмятежно спит. Аннета, унимая сердцебиение, прислушивается к мерному дыханию сестры и все еще содрогается от ненависти и ужаса...

Она ненавидела... Кого же? И кого же любила? Она осуждала Туллио, не уважала его, боялась и совсем, совсем не доверяла ему. И вот из-за этого человека, которого она не знала еще две недели назад, который был для нее нулем, она готова возненавидеть сестру, ту, которую любила больше всего на свете, которую и сейчас любит... (Нет! Да! Которую любила всегда...) Ради этого человека она готова была, не задумываясь, пожертвовать своей жизнью. Да как же... как же все это случилось?

Она ужаснулась, но могла сделать лишь одно: установить, как всесильно наваждение. Минутами проблеск здравого смысла, пробужденная ирония, возврат былой нежности к Сильвии приподнимали ее голову над тече-

нием. Но достаточно было одного ревнивого взгляда, достаточно было увидеть Туллио, перешептывающегося с Сильвией, — и Аннета снова тонула...

Она сдавала позиции, и это было ясно. Поэтому-то страсть ее и бушевала. Она была неловка. Не могла скрывать, что ее достоинство уязвлено. Туллио, этот добрый принц, согласен был не делать выбора между ними, он соизволил бросить платок обеим. Сильвия проворно подняла его; Сильвия не церемонилась; она выжидала, она знала, что потом Туллио затащует под ее дудку. Ее нисколько не встревожило бы, если бы этот донжуан украдкой сорвал несколько поцелуев у Аннеты. Пусть неприятно, но и вида показывать не надо. Ведь это можно скрыть. Аннета не умела так вести себя. Она не допускала половинчатости, и явно было, как противная ей двойственная игра Туллио.

Туллио охладевал к ней. Серьезная страсть его стесняла, она «осточертела» ему (в этом слове, как и многие иностранцы, он видел особый, столичный шик). Немного серьезности в любви — хорошо. Но не слишком, не то получается какая-то повинность, а не удовольствие. Он представлял себе страсть в виде примадонны: с чувством исполнив каватину, она возвращается на сцену и, простирая руки, кланяется публике. Но страсть Аннеты, повидимому, не считалась с тем, что публика существует. Играла она лишь для себя. Играла плохо...

Аннета была так искренна, так искренно было ее увлечение, что она не способна была думать о том, как навести на себя лоск, как скрыть печать терзаний и тревог на лице и все следы дневных забот, которые женщина, следящая за своей внешностью, смягчает или стирает не один раз в день. Она потускнела. Она просто подурнела, увидев, что побеждена.

Торжествующая Сильвия, уверенная, что партия выиграна, смотрела на Аннету, выбитую из колен, с удовлетворением и насмешкой, приправленной издевкой, а в глубине души жалела сестру.

«Что, получила? Добилась своего? Хорош у тебя вид!.. Бедная, побитая собачонка...»

И Сильвии хотелось ее поцеловать. Но стоило ей приблизиться, и выражение лица у Аннеты делалось

таким враждебным, что задетая Сильвия повертывалась к ней спиной, бормоча:

«Как хочешь, моя милая... Дело твое! Устраивайся сама! Я-то добрая!.. Но каждый за себя, и к черту всех!.. Ну, а если эта дуреха страдает, то сама и виновата! Она всегда до смешного серьезна, к чему это?»

(Так о ней думали все.)

Аннета в конце концов отстранилась от борьбы. Сильвия вместе с Туллио устроили вечер живых картин, где Сильвия должна была показать все свои прелести и кое-что впридачу... (Она изображала парижанку-чародейку: лоскуток материи — и она превращается в своих двойников, вереницу двойников, причем каждый красивее оригинала, но, прибавляя к нему новое, они делают его очаровательнее всех предыдущих, ибо в нем заключаются все они.) Если бы Аннета попыталась соревноваться с ней, то потерпела бы полное поражение. Она это знала отлично; она предвидела свое поражение; как же стала бы она жить после? Она отказалась участвовать в вечере, сославшись на нездоровье — плохой вид служил ей оправданием. Туллио и не пытался ее уговоривать. Но когда Аннета отказалась, ее замучила мысль, что она сложила оружие. Даже безнадежная борьба — сама по себе надежда. Теперь полдня Туллио и Сильвия проводили вдвоем, с глазу на глаз. Аннета заставляла себя ходить на все репетиции, чтобы быть им помехой. Но им ничто не мешало. Она, пожалуй, их даже подзадоривала, — особенно бесстыдницу Сильвию, заставлявшую повторять раз десять ту сцену, когда одалиску, млеющую от наслаждения, похищает корсар байроновского типа, — мрачно сверкают его глаза, он скрежещет зубами, вид роковой и хищный, — ягуар, готовый к прыжку. Туллио вел свою роль так, словно вот-вот предаст огню и мечу весь «Палас-отель». А Сильвия вела роль так, что ей могли позавидовать двадцать тысяч гурий, выщипывающих бороду пророку в раю.

Наступил вечер представления. Аннета, забившаяся в последний ряд кресел, к счастью позабытая восхищенной публикой, не могла досидеть до конца. Она ушла

измученная. Голова у нее горела. Во рту было горько. Она думала все об одном: о своих страданиях. Поруганная страсть терзала ей душу.

Аннета вышла на лужайку, зеленевшую вокруг гостиной, но не было сил уйти совсем; она бродила около освещенного зала. Солнце уже закатилось. Стемнело. Звериный инстинкт заставил Аннету ревниво следить за той дверью, из которой, конечно, они оба выйдут. Боковая дверка сделана для актеров; не пересекая зала, они могут пройти в костюмерную, в другое крыло дома. И правда, они вышли; остановились в тени на лужайке, заговорили. Аннета притаилась за деревьями и услышала, как смеется, как хохочет Сильвия...

— Нет, нет, только не сегодня!

А Туллио настаивал:

— Почему же?

— Во-первых, хочется спать.

— Выспаться успеете!

— Нет, нет, мне всегда мало!

— Так, значит, завтра ночью.

— Но по ночам всегда так будет! И, кроме того, ночью я не одна. Меня стерегут!

— Значит, никогда?

Тут озорница Сильвия расхохоталась.

— Но я ведь и днем не боюсь! — ответила она. — А вы что, боитесь?

Больше Аннета не могла слушать. Шквалом налетели ярость, отвращение, отчаяние, и она убежала в темноту, куда-то вдаль. Наверное, было слышно, как она бежит, потеряв голову, как ломаются ветви, — так убегают затравленный зверь. Но Аннету больше не тревожило, что ее услышат. Она уже ни с чем не считалась. Она бежала, бежала... Куда? Она и сама не знала. И так никогда и не узнала. Бежала во мраке, стонала. Ничего не видела перед собой. Сколько она бежала? Пять минут, двадцать минут, час? Этого она так никогда и не узнала. Бежала, пока не споткнулась о корни, не упала во весь рост, не ударилась лбом о ствол дерева... И тут она закричала, завывала, уткнувшись ртом в землю, как раненое животное.

Мрак вокруг. Небо черное, ни луны, ни звезд. Земля не дышит, не прошелестит букашка. Тишина. Только журчит ручей, струясь по голышам, у ствола сосенки, о которую Аннета расшибла лоб. Да из глубины ущелья, разрезавшего высокое обрывистое плато, поднимается яростный рев потока. Его стоны вторят стонам измученной женщины. Словно то извечный вопль земли...

Она кричала и ни о чем не думала. Судорожные рыдания, сотрясая тело, разрядили тоску, тяжесть которой давила ее столько дней. Разум молчал. И вдруг тело ее, изнемогая, перестало стенать. Прорвалась вся скорбь ее души. Аннета поняла, что покинута. Одинока и предана. Круг ее мыслей дальше не простирался. Не было сил собрать их разбредшееся стадо. Даже подняться не хватало сил. Она прикинула к земле... Ах, если бы земля расступилась!.. Поток рокотал, говоря и думая за нее.

Он омыл ее раны. И наступила минута, — а их, вероятно, прошло немало в муках и душевной слабости, — и вот истомленная Аннета стала медленно подниматься. Ссадина на лбу ныла довольно сильно: боль отвлекала мысли. Аннета омочила в ручье расцарапанные руки, приложила их к израненному, горящему лбу. И потом долго сидела, сжав виски и глаза мокрыми ладонями, ощущая, как проникает в нее ледяная чистота. И горе ее осталось где-то далеко позади. Она, как посторонняя, внимала его стонам и уже не понимала своего иступления. Она думала:

«Почему? Для чего? Да стоит ли из-за этого огорчаться?..»

Поток вторил во мраке:

«Безумье, безумье, безумье... все тщета... все суета... Аннета горестно улыбалась:

«Чего же я хотела? И сама не знаю... Где же оно, большое счастье? Пусть его берет кто хочет!.. Оспаривать не стану...»

И вдруг перед ней встали, налетели на нее призраки этого счастья, которого она все-таки жаждала, и жгучие порывы тех желаний, которые, хоть и отвергал их разум, все еще владели ее телом и которым суждено было еще долго владеть им. И вслед за ними, за их ожесточенным натиском, зазвучал гадкий отголосок ревности... Она вы-

держала их приступ молча, согнулась, будто под порывом вихря, потом подняла голову и громко заговорила:

— Я была не права... Сильвию он полюбил сильнее... И это справедливо. Она больше, чем я, создана для любви. И она гораздо красивее. Я знаю это и люблю ее. Люблю, потому что она такая. Значит, ее счастье должно стать моим счастьем. Я эгоистка... Но только почему, почему она мне солгала? Все остальное неважно! Почему она обманула меня? Почему чистосердечно не сказала, что любит его? Почему все делала назло мне, как враг? Да и во всех ее черточках, которые я старалась не замечать, есть что-то не очень чистое, не очень порядочное, не очень красивое! Но тут нет ее вины. Как она могла в этом разобраться? Ведь какую жизнь с самого детства ей пришлось вести! Вправе ли я упрекать ее? Разве я была искренна?.. И то, что было во мне, разве было чище?.. То, что было? То, что есть!.. Ведь я отлично знаю, что это попрежнему во мне...

Она передохнула. И добавила:

— Ну, пора с этим кончать! Ведь я — старшая. А я безумствую!.. Пусть Сильвия будет счастлива!

Но, сказав «ну», она на некоторое время словно застыла. Она внимала тишине и все раздумывала, покусывая кончики исцарапанных пальцев. Потом еще раз вздохнула, поднялась и молча пустилась в путь.

Аннета возвращалась в темноте. Луне пора было всходить, но она еще была далеко, хотя уже чувствовалось, что она выбирается из пучины мрака за самым горизонтом. Слабое сияние бахромой повисло над вершинами гор, они замыкали плато, словно края — чашу; все отчетливее вырисовывались на светящемся фоне их черные силуэты. Аннета шла не спеша и всей грудью, теперь, как прежде, вздымавшейся ровно, вдыхала запах скошенных трав.

Вдали кто-то быстро шел по дороге. Сердце ее застучало. Она остановилась. Она узнала шаги и заторопилась навстречу. И там, вдали, тоже слышали ее шаги. Встретившийся голос позвал:

— Аннета!

Аннета не ответила: она не могла, она была слишком потрясена; зажурчал ручеек радости, — осадок от всех горестей, все, все исчезло. Она не ответила, но пошла еще быстрее, быстрее. А та, другая, уже бежала. И повторяла голосом, полным тоски:

— Аннета!

В неясном фосфорическом сиянии луны, которая всходила за темной стеной гор, из светящего мрака показалась маленькая серенькая фигурка. Аннета крикнула:

— Родная!..

И бросилась вперед. Как слепая — с протянутыми руками...

Они так спешили, что столкнулись. Обнялись. Прильнули губами друг к другу...

— Аннета!

— Сильвия!

— Сестра моя! Любимая!

— Сестричка! Любовь моя!

Руки гладили в темноте щеки и волосы, дотрагивались до затылка, шеи, плечей, обретали свое, утраченное.

— Родная! — воскликнула Сильвия, почувствовав, что у Аннеты голые плечи. — Ты без пальто! Тебе нечем прикрыться!..

Аннета заметила, что на ней действительно вечернее платье; ей вдруг стало холодно, она вздрогнула.

— Безумная, просто безумная! — кричала Сильвия, укутывая сестру своей накидкой, и руки ее нащупали изъязры на платье. — Разорвано... Как же так? Что случилось? Волосы разметались по щекам... А это еще что? Что у тебя на лбу? Да ты упала, Аннета?..

Аннета не отвечала. Не в силах больше сдерживаться, она уткнулась лицом в плечо Сильвии и заплакала. Сильвия усадила ее у дороги. Луна, преодолев преграды гор, осветила израненный лоб Аннеты, и Сильвия покрывала его поцелуями.

— Скажи мне, что ты сделала? Скажи, что произошло? Мое сокровище, мой родной волчонок, я так



испугалась: поднялась к нам в комнату, а тебя там нет!.. Я тебя звала... Ищу тебя целый час... Ах, какой это был ужас!.. Я так боялась, так боялась... Даже не могу сказать, чего боялась... Почему ты ушла? Почему убежала?

Аннета не хотела отвечать.

— Сама не знаю, — говорила она, — мне стало не по себе, захотелось... походить, подышать...

— Нет, ты говоришь неправду. Аннета, скажи мне все!

Она склонилась над ней и тихонько добавила:

— Душенька, не из-за него?..

Аннета прервала ее:

— Нет! Нет!

Но Сильвия настаивала:

— Не лги! Скажи правду! Скажи! Скажи своей сестренке! Из-за него?

Аннета вытерла глаза и сказала, стараясь улыбнуться:

— Да нет же, уверяю тебя... Было немного тяжело, это верно... Так все глупо... Но с этим теперь покончено. Я счастлива, что он тебя любит.

Сильвия подскочила, всплеснула руками и со злостью выпалила:

— Так значит, из-за него!.. Но ведь я-то ни чуточки, ни чуточки не люблю этого красавчика!..

— Нет, любишь...

— Нет! Нет! Нет!

Сильвия затопала ногами.

— Забавно было кружить ему голову, я просто играла, но он для меня — ничто, ничто по сравнению с тобой... Ах, все поцелуи мужчины не вознаградят меня за одну твою слезинку!

Аннета была вне себя от счастья.

— Правда? Правда?

Сильвия бросилась ей в объятия.

Когда они немного успокоились, Сильвия сказала Аннете:

— Теперь сознавайся: ты тоже любила его?

— Тоже? А, вот видишь! Ты и проговоришься, что любишь его!..

— Да нет же, говорят тебе, нет, я тебе запрещаю... Я не желаю больше о нем слышать. Кончено, конечно.

— Кончено, — повторила Аннета.

Они возвращались по дороге, залитой лунным сиянием, улыбаясь, в восторге, что снова обрели друг друга. Вдруг Сильвия остановилась и, грозя кулаком луне, воскликнула:

— Скотина!.. Он мне за все заплатит!..

И обе расхохотались при этом не очень доброспорядочном заявлении, ибо молодость никогда не теряет своих прав.

— А знаешь, что мы сделаем? — добавила злопаятная Сильвия. — Вернемся, сейчас же уложим вещи и завтра, завтра утром уедем с первой почтовой каретой. Он выйдет к столу во время завтрака — никого... Птички упорхнули! А потом... (Она прыснула.) Я и забыла!.. Я назначила ему свидание в десять часов, в лесу, на горе... Он проищет меня все утро...

Она расхохоталась еще звонче. И Аннета тоже. Пресмешное выражение лица будет у разочарованного, разъяренного Туллио. Шалуны! Горести остались далеко.

— Однако, — проговорила Аннета, — пожалуй, не очень это хорошо, дорогая, так себя компрометировать.

— Вот еще! Для меня это ровно ничего не значит, — возразила Сильвия. — Я с этим не считаюсь... А впрочем, пора бы мне, — продолжала она, ласково покусывая руку Аннеты, легонько теребившую ее за ухо, — пора бы поумнеть, теперь, когда я стала твоей сестрой. И я поумнею, обещаю тебе... Но, знаешь ли, хоть ты и старшая сестра, а ведь ты была не умнее меня.

— Ты права, — произнесла покаянным тоном Аннета. — И боюсь, что временами я вела себя еще глупее... Ах, странное у нас сердце! — продолжала она, прижимаясь к сестре. — Никогда не знаешь, что же там в душе делается: что-то изнутри поднимается и, кажется, сейчас унесет тебя... А куда?

— Вот поэтому-то, — ответила Сильвия, крепко обнимая ее, — я и люблю тебя! У тебя это здорово получается!

Они уже были у входа в гостиницу. Крыши блестели под лунным светом. Сильвия обвила руками шею Аннеты и щепнула ей на ухо горячо, с непривычной для себя серьезностью:

— Ах ты, сестра моя старшая! Никогда не забуду, как ты намучилась этой ночью, как ты мучилась из-за меня... Да, да, не отрицай! У меня было время обо всем подумать, когда я бежала, когда искала тебя, дрожа от горя... Если бы что-нибудь случилось... Что случилось бы со мной!.. Я бы не вернулась.

— Родная, — взволнованно ответила Аннета, — ты не виновата, ты ведь не знала, что делаешь мне больно.

— Знала, очень хорошо знала, что мучаю тебя, и даже, — послушай, Аннета! — и даже мне это доставляло удовольствие!

У Аннеты упало сердце, но она подумала, что ведь она тоже упивалась бы, видя, как Сильвия страдает, и что готова была заставить ее мучиться еще больше. И она сказала об этом. Они сжали друг другу руки.

— Но что же это такое было, что же это такое? — спрашивали они друг друга, пристыженные и подавленные, хотя их и утешало сознание, что они обе одинаковы.

— Это — любовь, — проговорила Сильвия.

— Любовь, — машинально повторила Аннета. И в тревоге спросила: — Так это и есть любовь?

— И знаешь ли, — заметила Сильвия, — это только начало.

Аннета запальчиво объявила, что больше не хочет любить.

Сильвия посмеивалась над ней. Но Аннета повторяла вполне серьезно:

— Больше не хочу! Не создана я для любви.

— Ах, вот как! — рассмеялась Сильвия. — Не повезло тебе, бедненькая моя Аннета. Но ты — ты перестанешь любить, когда перестанешь жить!

## Часть вторая

Первые — пасмурные и тихие — дни октября. Воздух застыл. Не спеша сеет прямой теплый дождь. Пряный, сильный запах мокрой земли, спелых плодов в подвале, виноградного сока в давилнях...

У открытого окна на даче Ривьеров, в Бургундии, друг против друга сидели сестры и шили. Они склонили головы над работой и, казалось, вот-вот стукнутся своими крутыми чистыми лбами. Лоб у них совсем одинаковый — выпуклый, только у Сильвии он поуже, а у Аннеты пошире, у одной капризный, у другой упрямый, — козочка и бычок. Но когда они поднимали головы, глаза их обменивались понимающим взглядом. А языки отдыхали, неугомонно протрезвонив столько дней подряд. Они еще раз переживали лихорадку переезда, свои восторги, залпом высказанные слова и все то, что узнали и познали за много дней, ибо теперь они по-настоящему привязались друг к другу и им хотелось все взять друг у друга и все отдать. А пока они молчали, раздумывая о спрятанной добыче.

Но напрасно хотелось им все увидеть и всем обладать: в конце концов они так и остались загадкой друг для друга. И в самом деле, всякое существо для всякого существа — загадка, и в этом есть своя прелесть. Сколько же в каждой из них таится такого, чего никогда не постичь другой! Тщетно они говорили себе (ибо они это знали):

«Что значит взаимопонимание? Понимать — это объяснять. А когда любишь, нет нужды объяснять...»

И все же это имеет большое значение! Ведь если не

понимаешь, то не можешь обладать целиком. А любить, как любили они друг друга? Каждая любила по-своему. Обе дочери Рауля Ривьера унаследовали от отца живительные жизненные силы, — они лежали под гнетом у одной, были рассеяны у другой. Различие их натур особенно проявлялось в любви. Легкомысленная и ласковая Сильвия, веселая, шаловливая, самоуверенная, но по существу очень рассудительная, быстро воспламенялась, однако никогда не теряла головы; шелестя крылышками, летала лишь вокруг своей голубятни. Темный демон любви притаился в Аннете, и о его существовании она узнала только за последние полгода; она его подавляла, старалась его упрятать, потому что сама его страшилась: инстинкт подсказывал ей, что другие неправильно судили бы о нем, — Эрос в клетке, с завязанными глазами, беспокойный, алчный и голодный, молча бьется о решетку мира и медленно грызет стены своей темницы — сердца! Жгучее жало впивалось непрерывно, безмолвно и незаметно тревожило рассудок Аннеты; она все время ощущала его, впад в раздражающее оцепенение, в котором было что-то чувственное; мурашки пробегали у нее по коже, как бывало, когда она прикасалась к жесткой материи, когда ей мешала одежда или когда она проводила рукой по неровному дереву мебели, по холодящей шершавой стене. Она словно жевала терпкую кору ветки, и тогда на нее находило какое-то самозабвение и забвение времени; у нее бывали провалы в сознании, и она не могла бы сказать, сколько это продолжалось — четверть ли секунды, час ли? И сразу собиралась с мыслями; ей становилось стыдно, она подозрительно ловила незримый взгляд Сильвии, которая прикидывалась, что работает, а сама лукаво следила за ней украдкой. Сестры молчали. Обе сидели, как ни в чем не бывало, а горячие волны крови приливали к щекам Аннеты. Сильвия, мало что понимая, вынюхивала своим носиком ее внутреннюю жизнь, которая, задремав на солнце, то вдруг успокаивалась, то одичало извивалась, как уж под листьями: Сильвия считала, что старшая сестра — чудачка, что она не в своем уме, право — на людей не похожа... И не страстные порывы, не горячность и не то, что она угадывала в тревожных мыслях Аннеты, особенно удивляли ее, но

то серьезное, чуть ли не трагическое начало, которое во все вносила сестра. Трагическое? Ну что за выдумки! Серьезное? Ради чего серьезничать? Все идет своим чередом. Так все и надо принимать. Сильвию вовсе не беспокоили тысячи фантазий, которые ей лезли в голову. Они приходят и уходят. Все, что хорошо и приятно, — просто и естественно, а что плохо и неприятно, — тоже свойственно жизни. Хорошее ли, нехорошее ли, а изволь глотать, и я глотаю мигом! Зачем разводить антимо-нии? Ох, уж эта запутавшаяся Аннета! Дебри горячих и холодных мыслей, пряжа страхов и желаний, пучки страстных и целомудренных чувств перемешиваются во всех закоулках души... И кто только ее распутает? Но, как бы там ни было, чудная, странная, непостижимая Аннета очень занимала Сильвию, интриговала ее, притягивала к себе. И за это она еще сильнее любила сестру.

Молчание затягивалось, оно бывало насыщено тревожащими тайнами. И Сильвия вдруг прерывала его, начинала тараторить. Быстро-быстро, вполголоса, уткнувшись носом в шитье, будто ругая его, она цедила сквозь зубы бессмысленные словечки, несла тарабарщину — все слова оканчивались на «и», получалось «ки-ки-ки-ки», — точь-в-точь болтовня зяблика, стрекочущего от радости. Но вдруг она напускала на себя важный вид, словно говоря: «Кто? Я? Я ничего!» Или же, перекусывая нитку, напевала тоненьким гнусавым голоском преглупый романс, в котором говорилось о цветах, о птишках-щебетуньях, какую-нибудь легкомысленную песенку и, лукаво разыгрывая благовоспитанную девочку, вдруг отчетливо произносила грубейшую непристойность. Аннета подскакивала, полусмеясь, полусердясь:

— Замолчи, замолчи же, наконец!

И становилось легко. Атмосфера разряжалась. Неважно, что за слова были сказаны! Голоса, как руки, восстанавливают связь. Снова соединяешься. «Где пропадала? Остерегайся молчания! Знаешь ли ты, что минута забвения может мигом нас разлучить? Поговори со мной! Я говорю с тобой. Я держусь за тебя. Держи меня крепче!»

И они держались друг за друга. Они твердо решили, что бы ни случилось, не покидать друг друга. Что бы ни случилось, ничто не коснется главного: «Я — это я. Ты — это ты. Уговорились. По рукам. Теперь уже нельзя отрекаться». То было взаимное самопожертвование, молчаливое соглашение, как бы духовный союз, сильный тем, что никакое внешнее принуждение — ни письменное обязательство, ни религиозное или гражданское воздействие — не тяготело над ним. Ну что из того, что они такие разные? Ошибается тот, кто думает, будто самые крепкие союзы основаны на сходстве или же на противоположности. Ни на том, ни на другом, а на внутреннем решении: «Я выбрала, я хочу, и я даю обет», — решении, прошедшем через горнило жизненного опыта и отечаненном двойной твердой волей, как у этих двух крутолобых девушек. «Ты — моя, и теперь я уже не властна ни вернуть тебя, ни взять обратно себя... Впрочем, ты свободна: люби, кого хочешь, делай, что тебе нравится, вытворяй, что угодно, грешь, если тебе заблагорассудится (знаю, что ты этого не сделаешь, но даже если и так), — это не нарушает нашего договора... Кто как хочет, пусть так и толкует». Если бы Аннета по своей добросовестности и дерзнула довести до конца свою мысль, ей пришлось бы признаться себе, что она далеко не уверена в нравственной стойкости Сильвии, в ее будущих поступках. А Сильвия, смотревшая на все трезво, не дала бы руку на отсечение, что Аннета в один прекрасный день не выкинет что-нибудь сногшибательное. Но все это касалось других и к ним обоим не имело никакого отношения. Обе верили друг в друга, вполне доверяли друг другу. Пусть все остальные устраиваются, как им угодно! Отныне они с закрытыми глазами заранее все прощали одна другой — лишь бы поступки их не отражались на их взаимной любви.

Все это, пожалуй, не было очень уж нравственно. Ну и пусть! Будет еще время вести нравственный образ жизни когда-нибудь потом.

Аннета была чуть-чуть педанткой, жизнь знала по книгам, — что не помешало ей, однако, познать ее позже (ведь жизнь, разумеется, звучит по-иному, чем в кни-

гах), — и теперь она вспоминала прекрасные строки Шеллера:

О мои дети! Мир исполнен зла  
И помыслов лукавых. Каждый любит  
Лишь самого себя. Не прочны связи,  
Которые удача нам сплетает,  
Единый миг — и сеть разорвалась.  
Верна одна природа. Лишь она  
Стоит на верном якоре, в то время  
Как все кругом, в кипящем море жизни,  
Теряет путь. Приязнь дарует друга,  
Удача нам соратников приносит,  
Лишь брата нам рождение дает.  
Его не даст нам счастье. Вместе с счастьем  
Приходит друг. И часто в мире этом,  
Вражды и злобы полною, он двулик<sup>1</sup>.

Сильвия, конечно, не знала этих строк! Она, наверно, нашла бы, что для выражения такого простого чувства не требуется столько непонятных слов. Но, взглянув на поникшую голову Аннеты, отложившей работу, на сильную ее шею, густые волосы, собранные в узел, Сильвия подумала:

«Сестра все еще мечтает, опять пошли сумасбродства. Когда это кончится? Какое счастье, что я здесь! При мне она не очень развернется...»

Ведь у младшей было убеждение, вероятно преувеличенное, в превосходстве своего разума и опыта. И она твердила себе:

«Буду ее охранять».

Но она сама нуждалась в опеке. Она была не менее сумасбродна. Только она все свои выходки знала наперед и смотрела на них, как домовладелец смотрит на жильцов. Хоть и сдает им помещение, но не даром. Да и потом: «Делай что хочешь, будь что будет!» Когда все это касается только тебя — пустяки. Выпутаться всегда можно... А вот охранять сестру — это чувство новое и необыкновенно приятное.

Да, но... Аннета сидела с поникшей головой; она отложила работу, она лелеяла точно такое же чувство. Она думала:

---

<sup>1</sup> Перевод Н. Вильмонта. — Ш е л л е р. «Мессинская невеста». — *Прим. ред.*



«Моя дорогая, безрассудная сестренка! Какое счастье, что я появилась во-время около нее, чтобы руководить ею!..»

И она строила планы будущего Сильвии, заманчивые планы, но о них она не совещалась с Сильвией.

И вдоволь намечтавшись о счастливом будущем друг друга (а заодно, конечно, и своем собственном), сестры восклицали:

— Ах ты! Иголка сломалась!

— Да и ничего больше не видно!

И они, бросив работу, выбегали подышать воздухом; шли под дождем, укрываясь одним плащом, по саду, под плакучими ветвями деревьев, ронявших прядями листву; в беседке из виноградных лоз срывали янтарную гроздь и уплетали — мокрые ягоды вкуснее — и говорили, говорили... Вдруг умолкали, вдыхая осенний ветер, запах (так бы и съела его!) перезревших плодов, палого листа, вбирая в себя неяркий свет октябрьского дня, угасавший с четырех часов, слушая тишину оцепеневших, задремавших полей, тишину земли, пившей дождь, тишину ночи...

И, держась за руки, они мечтали вместе с трепещущей природой, которая боязливо и пылко лелеет надежду о весне — загадке будущего...

Они привыкли вместе коротать эти серенькие октябрьские дни, затканые туманом, будто опутанные паутиной, и это стало для них такой необходимостью, что они спрашивали себя, как же до сих пор они без этого обходились.

А ведь обходились и будут обходиться! В двадцать лет жизнь не замыкается, как бы дорог ни был тот, с кем тебе хорошо вдвоем, — особенно жизнь существ таких окрыленных. Им надо испытать силы в воздушных просторах. Сколь непреклонно ни утверждалась воля их сердца, инстинкт их крыльев сильнее. Аннета и Сильвия нежно говорили:

— Как мы могли так долго жить друг без друга?

Однако не признавались себе:

«А ведь рано или поздно, придется (какая обида!) жить друг без друга!»

Ибо никто другой не может жить за вас и на вашем месте, да и вы не захотели бы этого. Конечно, потребность во взаимной нежности была глубока, но у каждой была еще и другая потребность, более сильная, исходившая из самых истоков существа обеих дочерей Ривьера: потребность в независимости. Уйма различных черт была у них, но они обладали одной одинаковой чертой, именно этой (и нельзя сказать, что им повезло). Они хорошо это знали; она даже была одной из причин — они, правда, не отдавали себе в этом отчета — того, что они так сильно полюбили друг друга, ибо каждая в другой узнавала себя. Но в таком случае чего же стоил их план — основать совместную жизнь?! Каждая лелеяла мечту, что будет охранять жизнь сестры, но сознавала, что сестра, как и она сама, не согласится на это. То была сладостная мечта, их игрушка. Им хотелось, чтобы игра продолжалась как можно дольше.

А ей не суждено было долго продолжаться.

Если бы они были просто двумя независимыми державами! Но у этих республик-крошек, дорожащих своей свободой, как и у всех республик, помимо их воли, были деспотические наклонности. Каждая стремилась подчинить своим законам другую — ей казалось, что они лучше. Аннета, склонная к самоосуждению, бранила себя, вторгнувшись в область господства сестры, но все повторялось сызнова. В ее цельном и страстном характере, вопреки ее желанию, было что-то властное. Натура ее могла под покровом нежной любви на время смягчиться, но она упорствовала. Нужно сознаться, впрочем, что если Аннета и старалась применить к воле Сильвии, то Сильвия нисколько не старалась облегчить сестре задачу. Она поступала так, как приходило ей в голову, а за двадцать четыре часа в ее голове рождалось не меньше двадцати четырех желаний, которые не всегда совпадали. Аннета, методичная, любившая порядок, сначала смеялась, но потом стала терять терпенье — так быстро менялись причуды сестры. Она прозвала Сильвию: «Вьюн», «Я хочу... А собственно чего я хочу?» А Сильвия ее прозвала: «Шквал», «Госпожа повели-

тельница» и «Полдень ровно в двенадцать» — пунктуальность сестры ее раздражала.

Они нежно любили друг друга и все же вряд ли могли бы долго вести одинаковый образ жизни. Вкусы их и привычки были различны. Они так любили друг друга, что Аннета снисходительно внимала Сильвии, охотнице чуточку посплетничать, очень тонко умевшей все подметить, еще лучше — услышать, но не очень тонко выразить. А Сильвия прикидывалась, будто слушает с интересом, хотя незаметно позевывала («Довольно! Ну довольно же!..»), когда Аннета, которой хотелось разделить с ней удовольствие, читала вслух прескучные вещи.

— Боже, да это дивно, дорогая!

Или пускалась в нелепые рассуждения о жизни, о смерти, об общественном строе...

(«Чепуха!.. Как бы не так!.. Делать людям нечего!»)

— А ты как думаешь, Сильвия? — спрашивала Аннета.

(«Да ну тебя!» — думала Сильвия.)

— Думаю, как ты, дорогая!

И все это ничуть не мешало им восхищаться друг другом. Но только немного стесняло, когда они разговаривали.

А чем заполнить время, когда они совсем одни в унылом доме, на самой опушке леса, когда перед ними обнаженные поля, а над ними низкое осеннее небо, сливающееся в тумане с голой равниной? Напрасно Сильвия говорила и сама верила, будто обожает деревню, но сельские развлечения ей быстро прискучили; здесь у нее не было дела, не было цели, она слонялась как тень. Природа, природа!.. Скажем откровенно: природа наводила на нее скуку. Нет! Препротивные тут края... Просто невыносимы все эти напасти: ветер, дождь, грязь (грязь на парижских улицах, напротив, ей нравилась); за ветхими перегородами шмыгали мыши, пауки забирались в комнаты, на зимние квартиры, а это ужасное зверье — комары — по ночам трубили и пировали на ее руках и ногах. Много слез она пролила из-за них, от досады и раздражения. Аннету же радовали вольные просторы и уединенная жизнь с любимой сестрой, скука ее не брала,

она смеялась над комариными укусами и, позвав Сильвию с собой на прогулку, шагала по грязи, не примечая, что сестра недовольна, насупилась. Порыв ветра с дождем пьянил ее; она забывала о Сильвии. Шла большими шагами по вспаханной земле или по лесной тропинке, встряхивая мокрые ветви; не скоро вспоминала она о покинутой сестре. А Сильвия, надувшись, с сокрушением рассматривала в зеркале свое припухшее лицо, умирала от скуки и думала:

«Когда же мы вернемся?»

И все-таки среди тысячи и одного намерения у младшей Ривьер было одно доброе, стойкое намерение, и ничто не могло его изменить, а деревенский воздух лишь придал ему новизну. Она любила свое ремесло. Любила по-настоящему. Она принадлежала к крепкой семье парижских рабочих; труд, иголка и наперсток были ее потребностью, ей хотелось занять свои пальцы и мысли. У нее был врожденный вкус к шитью; она испытывала физическое наслаждение, часами ощупывая материю, легкую ткань, шелковый муслин, делая складки, сборки, шелкая пальцем по банту из лент. Да и умишко ее, который, слава богу, не пытался понимать идеи, загромождавшие умную голову Аннеты, знал, что тут, в своей области, в царстве тряпок, и у него есть идеи, которыми можно заинтересовать кого угодно. Так что ж, прикажете отказать от этих идей? Говорят, что самое большое удовольствие для женщины носить красивые платья! Для женщины, по-настоящему даровитой, еще большее удовольствие их творить. И раз вкусив это удовольствие, уже нельзя от него отрешиться. В изнеженной праздности держала Сильвию сестра, и когда прекрасные руки Аннеты скользили по клавиатуре, Сильвия с тоской вспоминала лязг больших ножниц и стук швейной машины. Если бы кто-нибудь преподнес ей все произведения искусства на свете, они не заменили бы ей милого безголового манекена, который драпируешь, как вздумается, вертишь и перевортываешь, перед которым приседаешь, которого исподтишка тербишь или, подхватив, кружишься с ним в танце, когда закройщица выйдет. Только несколько слов роняла

Сильвия, но по ним нетрудно было угадать ход ее мыслей, и Аннета, сердясь и видя, как загораются глаза сестры, понимала, что мысленно Сильвия уже за работой.

И вот когда они вернулись в Париж и Сильвия заявила, что она переедет к себе домой и возьмется за постоянную работу, Аннета вздохнула, но не удивилась. Сильвия ждала, что ее решение примут в штыки, поэтому вздох и молчание сестры растрогали ее сильнее, чем любые слова. Она подбежала к Аннете, сидевшей в кресле, опустилась перед нею на колени, обняла, поцеловала.

— Не сердись на меня, Аннета!

— Дорогая, — ответила Аннета, — твое счастье — мое счастье, ты ведь знаешь.

Но ей было тяжело. Сильвии тоже.

— Не моя это вина, — сказала она, — я так тебя люблю, верь мне!

— Знаю, девочка, верю.

Она улыбалась, но еще раз глубоко вздохнула. Сильвия, стоя на коленях, ладонями сжала ее лицо, приникла к нему:

— Не смей вздыхать! Глупышка! Если будешь так вздыхать, я не уйду. Ведь я не живодерка.

— Конечно, нет, дорогая... Я не права, больше не буду... Да я и не упрекаю тебя. Просто тяжело расставаться.

— Расставаться... Новое дело! Глупышка! Будем видаться, каждый день видаться. Ты придешь. Я приду. Комнату мою ты сохранишь. Уж не надумала ли ты отнять ее у меня? Нет, нет, она моя, не отдам. Только устану — приеду понаслаждаться. Или так: вечер, ты меня не ждешь, я прихожу в неурочный час, у меня ключ, вбегаю и застаю тебя врасплох... Смотри не вздумай проказничать! Вот увидишь, сама увидишь, мы еще больше подружимся, и все у нас пойдет еще лучше. Расстаться! Да разве я брошу тебя, разве я могу обойтись без своей расчудесной Аннеты?

— Ах подлиза, нахальная девчонка! — сказала Аннета, смеясь. — Ловко заговариваешь зубы! Врунишка ты, мошенник!

— Аннета! Перестань браниться! — строго заметила Сильвия.

— Ну, хорошо. Пусть только — врунишка... Так можно?

— Это еще так-сяк, — сказала Сильвия великодушно.

Она бросилась Аннете на шею, стала душить ее в объятиях.

— Я, по-твоему, врунишка, я, по-твоему, врунишка! Держись, проглочу!

Нежностью и хитростью добилась она у Аннеты прощения. Попросила сестру помочь ей открыть свою собственную мастерскую. Двухдцатилетней «девчушке» хотелось стать хозяйкой, выйти из подчинения и получить в подчинение не только свой манекен. Аннета пришла в восторг, что можно дать ей денег. Вместе составили смету; обсуждали без конца, как все устроить в новом жилье, бегали несколько дней в поисках квартиры, потом выбирали мебель и материю для обивки, потом все перевозили, потом получили согласие городских властей, вечерами составляли список заказчиц, строили план за планом, обдумывали шаг за шагом; захлопотались так, что Аннета в конце концов вообразила, будто обзаводится хозяйством вместе с Сильвией. И ей не приходило в голову, что жизнь их отныне пойдет разными путями.

Заказчицы у Сильвии не замедлили появиться. Аннета, отправляясь в гости, надевала самые красивые платья, сшитые милой ее портнихой, и расхваливала сестру. Ей удалось направить к ней несколько молодых женщин своего круга. Кроме того, Сильвия без зазрения совести воспользовалась адресами заказчиц своих старых хозяек. Впрочем, она была разумна и не торопилась расширять сферу своей деятельности. Спешить нечего. Жизнь длинна. Времени много. Она любила работу, но не до мании, как иные человекоуравьи, — особенно женского пола, — которые на ее глазах изнуряли себя трудом. Ей хотелось уделить место и удовольствию. Работа тоже удовольствие. Но не единой работой существуешь. «Всего понемножку» — таков был девиз Силь-

вии, умеренной в своих аппетитах, но лакомки и выдумщицы.

Жизнь ее скоро стала так заполнена, что для Аннеты у нее оставалось не слишком много времени. Все же часть его, что бы ни случилось, Сильвия посвящала сестре: обет свой она выполняла. Но для сердца Аннеты части было мало. Она не умела отдавать себя наполовину, на треть, на четверть. Ей суждено было узнать, что мир в чувствах своих подобен мелкому торговцу, — он ими торгует в розницу. Долго не понимаешь этого, а еще дольше с этим примиряешься. Пока она брала первые уроки.

Она молча страдала, видя, как мало-помалу отстраняется от жизни Сильвии. Сильвия никогда больше не бывала одна ни дома, ни в мастерской. А скоро она уже не бывала одна и когда не работала. Снова обзавелась другом. Аннета отступила. Любовь к сестре теперь оберегала ее и от вспышек ревности и от строгого осуждения, как бывало прежде. Но не оберегала от тоски. Сильвия все же так любила сестру, что, несмотря на свое легкомыслие, сознавала, как огорчает ее; и время от времени она вырывалась из хоровода своих дел и делишек и внезапно, в час работы или свидания, бросала все, даже самые неотложные дела, и мчалась к Аннете. Вихрем налетала нежность. И вихрь нежности налетал на Сильвию с неменьшей силой, чем на Аннету. Но вихрь улетал; и когда он перебрасывал Сильвию от Аннеты к делам или, скорее, к удовольствиям, Аннета, благодарная урагану ласковой болтовни, сумасшедших признаний, смеха и объятий, врывавшемуся к ней, вздыхала, еще больше томясь от одиночества и от душевного смятения.

Однако это не означало, что ей нечего было делать. Дни у Аннеты были заполнены не меньше, чем у Сильвии.

Жизнь ее, двойственная жизнь — духовная и светская, прерванная смертью отца, — снова вошла в свою колею. Умственные запросы, вытесненные за последний год велениями сердца, пробудились с новой силой. И отчасти оттого, что ей хотелось заполнить пустоту, образовавшуюся после ухода Сильвии, отчасти оттого, что ин-

теллект богато одаренного человека созревает в испытаниях жизни, полной страстей, ее потянуло к научным занятиям, и она сама удивилась тому, что разбирается в научных вопросах лучше, чем прежде. Она увлекалась биологией и вынашивала план диссертации о происхождении эстетического чувства и его проявлениях в природе.

Она восстановила и светские связи, вернулась в тот круг, который прежде посещала с отцом. Теперь это доставляло ей особое удовольствие. Ее пытливому уму, ставшему более зрелым, было приятно, когда у тех, кого она, казалось бы, превосходно знает, неожиданно обнаруживались такие черты, о которых она и не подозревала. Немало удовольствий доставляла ей и совсем иная область — в одних она признавалась себе, другие же от себя утаивала: она получала удовольствие от того, что нравилась, и от темных сил вождения (и отвращения), которые возникают в нас, и от взаимного влечения умов и тел, скрывающегося под обманчивой шелухой слов, и от приглушенных инстинктов обладания, которые порой всплывают на ровную и однообразную поверхность салонных мыслишек и, кажется, тут же исчезают, а на самом деле клокочут в глубинах.

Светские развлечения и научные занятия заполняли лишь небольшую часть ее времени. А по-настоящему жизнь бывала насыщена, когда Аннета оставалась наедине с собой. В долгие вечера и в часы ночи, когда сон бросает душу, а вместе с ней и горячие мысли, в мир бодрствования, будто вал, что, отхлынув, оставляет на берегу мириады живых существ, выхваченных из черных пучин океана, Аннета созерцала прилив и отлив внутреннего своего моря и берег, усеянный его дарами. То был период весеннего равноденствия.

Не все силы, разбушевавшиеся в Аннете, были для нее новостью; пока мощь их приумножалась, умственный взор ее проникал в них исступленно и зорко. От их противоречивых ритмов сердце темнело, замирало... Нельзя уловить, есть ли в этом сумбуре какой-нибудь внутренний порядок. Неистовый взрыв чувственности, раскатом летнего грома всколыхнувший сердце Аннеты, надолго оставил отголосок. Хотя воспоминание о Тулио и стерлось, но внутреннее равновесие было нару-



шено. Спокойное течение жизни, без всяких событий, вводило Аннету в обман: можно было вообразить, будто ничего и не происходит, и беспечно повторять возглас сторожей, раздающийся дивными ночами в Италии: «Темпо серено!»<sup>1</sup> Но жаркая ночь снова вынашивала грозы, и неустойчивый воздух трепетал от тревожных дуновений. Вечное смятение. Души умершие, оживающие сталкивались, встречались в этой пылкой душе... С одной стороны, опасное отцовское наследие, забытые, заснувшие вожеления вдруг поднимались, словно волна из глубы морской. С другой — силы, идущие им наперекор: душевная гордость, страстное стремление к чистоте. И еще одна страсть — стремление к независимости, которая так властно вмешивалась в ее отношения с Сильвией и которой были суждены — Аннета с тревогой это предчувствовала — другие, более трагические, столкновения с любовью. Эти движения души занимали ее, заполняли ее досуг в долгие зимние дни. Душа, словно куколка, прятавшаяся в коконе, сотканном из затуманенного света, грезилась о будущем и прислушивалась к себе, грезящей...

И вдруг почва уходит из-под ног. Какие-то провалы в сознании, как бывало нынешней осенью, в Бургундии, пустоты, в которые низвергаешься... Пустоты? Нет, не пусто там, но что же происходит в глубинах? Станные явления, неприметные, а может быть, и не существовавшие еще десять месяцев казад, возникшие в дни летней встряски, повторялись все чаще. У Аннеты было смутное чувство, что бездны в сознании зияют порой и по ночам, когда она спит тяжелым сном, словно загнипнотизированная. Она выбиралась оттуда, будто появившись издалека, и ничего не помнила, однакож ее преследовала неотвязная мысль, точно видела она что-то очень значительное, какие-то миры, нечто неопишное, — то, что выходит за пределы, допускаемые, постигаемые разумом, что-то животное и что-то сверхчеловеческое, поражающее нас в чудовищах древнегреческих скульпторов, в пастях химер на водостоках соборов. Ком глины, липнувшей к пальцам. Чувствовалась живая связь

---

<sup>1</sup> Погода ясная! (итал.)

с неведомым миром снов. Было тоскливо, стыдно, тяжело; унижало и терзало жгучее ощущение, будто ты в сообщничестве, но не можешь понять, в каком же. Все тело на несколько дней пропитывалось противным запахом. Словно она, сберегая тайну, проносила ее среди нестойких впечатлений дня, и ее прятали за семью замками гладкий безмятежный лоб, безразличный взгляд, устремленный внутрь, и руки, благоразумно скрещенные на груди, — спящее озеро...

Аннета вечно витала в грезах — и на шумной улице, и в университете, и в библиотеках, где она усердно занималась, и в гостиных, за пустой светской болтовней, которую оживляют легкий флирт и легкая ирония. На вечерах замечали, что у девушки отсутствующий взгляд, она рассеяннo улыбается — не столько тому, что ей говорят, сколько тому, о чем она рассказывает сама себе; что она наугад подхватывает чьи-нибудь слова и отвечает невпопад, прислушиваясь к никому неведомому пению птиц, спрятанных в клетке ее души.

Однажды так громко распелся мирок ее души, что она, изумившись, заслушалась, а ведь рядом ее радость, Сильвия, смеялась, оглушала милой своей болтовней, говорила... О чем же она говорила? Сильвия все подметила, расхохоталась, встряхнула сестру за плечи:

— Ты спишь, спишь, Аннета?

Аннета отнекивалась.

— Да, да, вижу: спишь стоя, как старая извозчицья кляча. Что же ты по ночам делаешь?

— Плутовка! А скажи-ка, что ты сама делаешь?

— Я-то? Хочешь знать? Прекрасно! Сейчас расскажу. Скучно не будет.

— Не надо, не надо! — со смехом твердила Аннета, окончательно пробудившись.

Она зажала сестре рот рукой. Но Сильвия отбилась, обхватила руками голову Аннеты, заглянула в глаза:

— Прекрасные у тебя глаза, лунатик. Ну, показывай, что там внутри... О чем ты мечтаешь, Аннета? Скажи, скажи! Скажи, о чем! Рассказывай! Рассказывай же!

— Что же тебе рассказать?

— Скажи, о чем ты думала.

Аннета оборонялась, но в конце концов ей всегда приходилось сдаваться. Сестрам доставляло огромное удовольствие, — в этом проявлялась их нежность, а быть может, эгоизм, — все друг другу рассказывать. Это им не надоедало. И тут Аннета начинала распутывать свои грезы, скорее для собственного успокоения, чем для Сильвии. Она пересказывала, чуть запинаясь, очень серьезно, очень добросовестно, чем ужасно смешила Сильвию, все свои безрассудные мысли, наивные, искренние, шальные, дерзкие, иной раз даже...

— Ах, Аннета, Аннета! Ну, договаривай, раз на то пошло! — восклицала Сильвия, прикидываясь, будто негодует.

Вероятно, и ее внутренняя жизнь была не менее странной (не менее и не более, чем у всех нас), но она над этим не задумывалась и ничуть этим не интересовалась, ибо, как и подобает существу практичному, она раз и навсегда уверовала лишь в то, что видит и что осязает, в ту трезвую и неизменную мечту, которая облечена в плоть всего земного, и отстранялась от всего, что могло смутить ее покой, считая, что это чепуха.

Она хохотала до упаду, слушая сестру. Вот так Аннета, кто бы мог подумать! С невиннейшим видом, вполне серьезно, говорит порой сногшибательные вещи! А от самых простых, всем известных вещей иной раз смущается. И поверяет их Сильвии с преважным видом — смех да и только! Бог знает, какие нелепые мысли приходят ей в голову! Сильвия считала, что сестра у нее хорошая, сумасбродная и черт знает до чего нескладная. Ужасно любит ломать себе голову над всем, о чем стоит только «петь, как поется!»

— Как петь, — говорила Аннета, — когда во мне звучит с полдюжины мелодий?

— Да это превесело, — замечала Сильвия, — совсем как на празднике в честь Бельфорского Льва<sup>1</sup>.

— Ужас! — восклицала Аннета, затыкая уши.

— А я это обожаю. Три-четыре карусели, тиры, звон трамваев, шарманка, бубенцы, свистульки, все кри-

---

<sup>1</sup> Памятник в честь жертв франко-прусской войны 1870 года на одной из площадей Парижа. — *Прим. ред.*

чат, ничего не разберешь, стараешься перекричать других, все ревет, все гогочет, все грохочет, все веселит сердце...

— Ты у меня простолюдинка!

— Положим, ваше аристократство, ты сама такая же, только что призналась! Ну, а не нравится — бери пример с меня. Порядок у меня во всем. Каждая вещь на своем месте. Всему свой черед!

И она говорила правду. Какой бы сумбур ни царил у нее в комнате на площади Денфэр или в ее умишке, она все живо расставляла по местам. Мигом навела бы порядок в самом беспросветном беспорядке. Умела сочетать все свои, такие разноречивые, запросы — и духовные, и материальные, и близкие, и чуждые обывденной жизни. И для каждого — свой ящик. Аннета говорила:

— Ты — настоящий комод... Вот ты что!

(И показывала на знаменитый шкафчик времен Людовика XV, где лежали письма отца.)

— Да, — с лукавым видом отвечала Сильвия, — «он» похож на меня.

(Не о шкафчике шла речь.)

— А главное, именно я и есть «всамделишная»...

Ей хотелось позлить Аннету. Но Аннета больше не «попадалась на удочку». Ей уже не хотелось владеть всем наследием отца. Свою долю его черт она унаследовала. И уступила бы их охотно. В иные дни эти жильцы порядком мешали!

Как это случилось, она и сама не знала, но за последний год логика начала ей изменять, стали оступаться крепкие ноги, прежде твердо стоявшие в мире реального; она не могла представить себе, как теперь обретет все это снова. Дорого бы она дала, чтобы ей впору пришлось тупельки Сильвии, уверенно, без колебаний стучавшие по земле каблучками. Она чувствовала, что оторвалась от той каждодневной, каждоминутной жизни, которую ведут все вокруг. В противовес сестре она была чересчур захвачена жизнью своего внутреннего мира и почти не захвачена жизнью мира, освещенного солнцем. Конечно, и он бы захватил ее, если бы она не попала в могучую

западню полового влечения, а мечтатели попадают в нее куда как скоро и куда как неловко. Опасный час близился. Силки были расставлены...

Только удержать ли надолго и этим силкам душу — большую, вольнолюбивую?

Но пока она кружила вокруг да около, разумеется не думая об этом, а если бы и подумала, то отпрянула бы с гневом и возмущением. Все равно! С каждым шагом она все ближе подходила к западне...

Пришлось признаться себе: еще год назад она держалась с мужчинами спокойно, ровно, по-товарищески, ну, разумеется, чуточку кокетливо, мило, но равнодушно — ничего от них не желала, не боялась их; теперь же смотрит на них совсем иными глазами. Она наблюдала за ними, она жила в тревожном ожидании. После встречи с Туллио она утратила весь свой душевный покой — покой безмятежный, завидный.

Теперь она знала, что без них ей не обойтись, и отцовская улыбка трогала ее губы, когда она вспоминала свои ребяческие рассуждения о браке. Осиное жало страсти осталось в ее теле. Целомудренная и темпераментная, наивная и искушенная, Аннета прекрасно понимала все свои желания; она заточала их вглубь своего сознания, но они заявляли о своем присутствии, приводя в смятение все ее мысли. Деятельность ума была нарушена. Способность мыслить была парализована. Когда она занималась — читала или писала, — то чувствовала, что теперь воспринимает все гораздо хуже. Сосредоточиться на чем-нибудь могла только ценой невероятных усилий; быстро уставала, раздражалась. И напрасно старалась: узел ее внимания тотчас же развязывался. Все, о чем только она ни размышляла, заволакивалось тучами. Те цели, которые она поставила перед собой на пути к познанию, ясно очерченные — отлично очерченные и отлично освещенные, — стусевывались в тумане. Прямая дорога, которая шла к ним, вдруг обрывалась. Аннета, приуныв, думала:

«Никогда мне до них не добраться».

Было время, когда она гордо утверждала, что женщины наделены такими же умственными способностями, как и мужчины, теперь же униженно говорила себе:

«Я ошиблась».

Она изнывала от тоски и, раздумывая, пришла к выводу (может быть, правильному, может быть, неправильному), что некоторые изъяны женского ума, пожалуй, можно объяснить тем, что у женщин веками не вырабатывалось той привычки к отвлеченному мышлению, к активной деятельности ума объективного, не засоренного ничем личным, которая нужна настоящей науке, настоящему искусству, а также тем — такое объяснение еще вероятнее, — что женщина втайне одержима все-сильными священными инстинктами, заложенными в нее природой, тем, что этот щедрый вклад обременяет. Аннета чувствовала, что быть одной — значит быть неполноценной, неполноценной и умственно, и физически, и в сфере чувств. О двух последних областях она старалась раздумывать поменьше: слишком рьяно они напоминали о себе.

Для нее наступила та пора, когда больше нельзя жить без спутника. И особенно женщине, ибо любовь пробуждает в ней не только возлюбленную, она пробуждает в ней мать. Женщина не отдает себе в этом отчета: оба чувства сливаются в одно. Аннета еще не задумывалась ни над тем, ни над другим, но всем сердцем стремилась отдать себя существу, которое будет и сильнее ее и слабее, которое обнимет ее и прикинется к ее груди. И думая об этом, Аннета изнемогала от нежности: если бы кровь ее превратилась в молоко, она всю кровь свою отдала бы ему... Пей! Пей, любимый мой!

Отдать все!.. Нет, нет! Все отдать она не может. Это ей не дозволено... Все отдать! Ну да — свое молоко, свою кровь, свою плоть и свою любовь... Но ведь не все же! Не свою же душу! Не свою же волю! И на всю жизнь?.. Нет, нет, она знала: ни за что так не сделает. Не могла бы, даже если бы захотела. Нельзя отдать то, что не наше, — свою свободную душу. Свободная душа мне не принадлежит. Я принадлежу своей свободной душе. Нельзя ею распоряжаться. Спасать свою свободу — не только наше право, а наш священный долг.

В рассуждениях Аннеты не было широты — в этом сказывалось наследие матери, но Аннета все переживала страстно, ее бурная кровь словно горячила самые отвле-

ченные мысли... Ее «душа»!.. «Протестантское» слово! (Она так говорила, часто повторяла это выражение!) Разве у дочери Рауля Ривьера была только одна душа? У нее было целое полчище душ, и две-три сами по себе прекрасные души в этом скопище порой не уживались...

Однако внутренняя борьба велась в области бес-  
сознательного. У Аннеты еще не было случая испытать на деле противоречивые свои страсти. Их борьба пока была игрой ума, азартной, волнующей, но не опасной; ничего не нужно было решать, можно было позволить себе роскошь мысленно предпринимать тот или иной шаг.

Сколько они с Сильвией хохотали, обсуждая одну из таких проблем нашего сердца, которыми упивается юное сердце в пору праздности и ожидания, пока жизнь сама сразу все не решит за тебя, ничуть не заботясь о прекрасных твоих воздушных замках! Сильвия очень хорошо понимала раздвоенность в чувствах Аннеты, но для нее самой ни в чем не было противоречия; и Аннете нужно поступать так, как поступает она: нравится тебе — люби, а не нравится — будь свободной...

Аннета покачивала головой:

— Нет!

— Что нет?

Объяснять она не хотела.

Сильвия, посмеиваясь, спрашивала:

— Считаешь, что это подходит только мне?

Аннета отвечала:

— Да нет, дорогая. Ты ведь знаешь, что я люблю тебя такой, какая ты есть.

Но Сильвия не ошибалась. Аннета из любви к ней отказывалась осуждать (тихонько вздыхая) свободную любовь Сильвии. Однако она не допускала мысли, что может поступать так сама. Сказывались не только пуританские убеждения матери, для которой это было бы позором. Цельность ее натуры, полнота ее чувства не позволяли ей разменивать любовь на мелочи. Несмотря на невнятный, но могучий зов чувственности, жившей своей жизнью, Аннета в ту пору не могла без возмущения подумать о том, что бывает такая любовь, когда твое существо, чувства твои, сердце, ум, уважение к себе, уважение к другому, священный порыв души,

охваченной страстью, не пируют все вместе. Отдать тело и приберечь душу — нет, об этом не может быть и речи... Это предательство! Итак, оставалось одно решение: выйти замуж, полюбить на всю жизнь. Могла ли сбыться эта мечта у такой девушки, как Аннета?

Могла или нет, а помечтать не возбранялось. И она мечтала. Она вышла на опушку леса своей юности в тот прекрасный миг, когда, нежась напоследок в тени, под покровом грез, вдруг видишь, что на равнине, залитой солнцем, убегают вдаль длинные, нехоженные дороги. На которой же останется след твоих ног? Не спеши выбирать: время терпит. Ум, помедлив, со смехом выбирает все. Счастливая девушка, не ведающая житейских забот, озаренная светом любви, собравшая целые охапки надежд, видит, что сердцу ее предлагаются на выбор десятки жизней, и, даже не спросив себя: «Какую же предпочесть?» — берет весь сноп: ей хочется вдохнуть его аромат. Аннета любила представлять себе картину будущего, и ее избранником был то один, то другой, то третий, она отбрасывала надкусанный плод, пробовала другой, снова брала тот, что бросила, и тут же отведывала еще один — и все не выбирала. Пора колебаний, беспечная восторженная пора! Но и в эту пору человек скоро начинает узнавать, что такое усталость, удручающий упадок сил, а иногда и сомнение без надежд.

Так мечтала Аннета о своей жизни — о предстоящих ей жизнях. Она поверяла свои неясные чаяния одной лишь Сильвии. А Сильвию забавляло, что сестра растрожена, истомилась и ничего не может решить. Все это ей было не очень понятно, ибо она привыкла (и хвасталась этим, приводя Аннету в негодование) сначала принимать решение, а потом уж выбирать. Но решаться сразу. Будет еще время выбрать.

— По крайней мере, — говорила она с самодовольной усмешкой, — знаешь, о чем идет речь!

Аннета пользовалась большим успехом в свете. За ней ухаживали почти все молодые люди. Поэтому девушки, — а многие были красивее Аннеты, — недолюбливали ее. Особенно же их уязвляло, что Аннета как будто



и не старалась понравиться. Казалась она рассеянной, какой-то отсутствующей и ничего не делала, чтобы возбудить интерес у мужчин, волочившихся за нею, или польстить их самолюбию. Спокойно пристроится, бывало, где-нибудь в уголке гостиной, позволяет им подходить, будто и не замечает их присутствия, улыбается, слушает (но никто не знал, слышит ли); ее ответы не выходят за рамки самой обычной любезности. И все же мужчины окружали ее, старались понравиться, все — и светские львы, и блестящие собеседники, и просто милые молодые люди.

Завистницы уверяли, что Аннета притворяется, что ее безразличие — прием опытной кокетки; они начали замечать, что с некоторых пор Аннета стала одеваться не в своем чересчур уж строгом стиле, а элегантно и нарядно, и что оригинальные туалеты придают яркость, как они говорили, ее бесцветной, некрасивой внешности. Злые языки добавляли, что вокруг нее увиваются поклонники не ее прекрасных глаз, а ее состояния. Искусство изящно одеваться, впрочем, не было заслугой Аннеты; то было творчество Сильвии, ее вкуса, ее выдумки. Конечно, Аннета была «хорошей партией», кружок ее вздыхателей, разумеется, принимал это в расчет, поэтому он изъявлял ей нежные чувства с особым уважением, но только такую роль и играло это обстоятельство. Была бы она бесприданницей — поклонников у нее не стало бы меньше, только ухаживали бы они за ней смелее.

Сила ее обаяния заключалась в другом. Аннета не была кокеткой, но за нее действовали инстинкты. Могучие и неодолимые инстинкты сами знали, что нужно делать, и действовали наверняка, потому что воля ее держалась в стороне. Пока Аннета улыбалась, замирая и словно погружаясь в свой внутренний мир, плывя по ласковым волнам неясных своих грез, все видя и слыша в каком-то сладостном полусне, плоть говорила за нее; непреодолимое очарование исходило от ее глаз, губ, от всего ее свежего, сильного тела, от молодого ее существа, отягченного любовным томлением, как глициния — цветами. Велико было ее обаяние, и никому (кроме женщин) и в голову не приходило, что она некрасива. Она говорила мало, но стоило ей обронить слово в пустой

болтовне, как открывался широкий кругозор ее незаурядного ума. Поэтому к ней стремились те, кто ищет в женщине душу, и желали ее те, кто отгадал, что в дремлющем ее теле (спящей заводи) покоится сокровищница неизведанных наслаждений.

Она как будто ничего не видела, а на самом деле видела отлично. Таково свойство женщин. У Аннеты вдобавок была богатая интуиция, она часто бывает свойственна натурам сильным и жизнедеятельным; благодаря ей мы без слов и жестов сейчас же начинаем понимать тот безмолвный язык, на котором разговариваем друг с другом. Когда Аннета казалась рассеянной, это значило, что она прислушивается к голосу своей интуиции. Темный лес сердец!.. И они и она охотились. Выслеживали. Аннета некоторое время шла то по одному, то по другому следу и, наконец, сделала выбор.

Молодые люди, среди которых она могла выбирать, были представителями той крупной буржуазии, образованной, деятельной, передовой (по крайней мере все они так думали), к которой принадлежал и Рауль Ривьер. Недавно отшумел ураган, поднятый делом Дрейфуса. Он сблизил инакомыслящих — их объединило общее для всех инстинктивное стремление к социальной справедливости. Это инстинктивное стремление, как выяснилось потом, оказалось не очень устойчивым. Социальная несправедливость свелась для Ривьера к одной лишь этой несправедливости. И таких, как Ривьер, были тысячи: беззакония, творившиеся на свете, не мешали ему спокойно спать; он даже умудрился без зазрения совести заключить превыгодные сделки с султаном — в те времена, когда его величество, не моргнув глазом, изволило под боком у снисходительной Европы учинить первую армянскую резню, и тем не менее он был глубоко, искренне возмущен пресловутым делом Дрейфуса. Нельзя слишком много требовать от людей! Раз в жизни они сразились за справедливость — и уже выбились из сил. Зато они раз в жизни были справедливы — так будем же им признательны! Они и сами себе признательны за это. Круг Ривьера, те семьи, отпрыски которых увивались сейчас за Аннетой, нисколько не сомневались в том, что они немало преуспели в защите права и что в приумно-

жении своей славы они не нуждаются. Раз и навсегда люди эти возомнили себя сторонниками прогресса и сложили руки.

Успокоенные к тому же международным положением в то переходное время, когда социальная борьба почти заглушила национальные распри, не считая застарелой англофобии, этой головни, разгоревшейся в дни Англо-бурской войны и еще чадившей, наделенные умеренными патриотическими чувствами, весьма не воинственными, склонные к терпимости и благодушию, ибо принадлежали они к партии-победительнице и были хорошо обеспечены, — они составляли ту часть общества, которая, повидимому, жила припеваючи, проповедовала свободную мораль с налетом какого-то неопределенного гуманизма, а вернее утилитарную, полную скептицизма, без особых принципов, но и без особых предрассудков... (Доверяться чрезмерно не следовало!..) В их рядах насчитывалось несколько католиков-либералов, немало протестантов, еще больше евреев, костяк же составляла добропорядочная Французская буржуазия, чуждая религии и заменившая ее политикой; носила она самые разнообразные ярлычки, но не совсем отрешилась от республиканского духа, который, продержавшись тридцать лет, приобрел наиболее удобную форму — форму консерватизма. Были тут и поклонники социализма — молодые, богатые и образованные буржуа, покоренные красноречием и примером Жореса. Еще длился медовый месяц социализма и республики.

Аннета никогда серьезно не интересовалась политикой. Так богата была ее внутренняя жизнь, что у нее не оставалось для этого времени. Но была пора, когда она, как и другие, горячо принимала к сердцу дело Дрейфуса. Любовь к отцу заставляла ее на все смотреть его глазами. По велению сердца, из свободолюбия, заложенного в ее натуре, ей суждено было всегда принимать сторону угнетенных. Вот почему она познала минуты сильного волнения, когда Золя и Пикар бесстрашно напали на лютого Зверя — на общественное мнение, сорвавшееся с цепи. И когда она проходила мимо тюрьмы «Шерш-Миди», вероятно и у нее, как у многих девушек, сердце громко стучало от тревоги

за того, кто там томился. Но она не отдавала себе отчета в этих чувствах; Аннета не могла заставить себя внимательно проанализировать дело Дрейфуса. Политика внушала ей отвращение; она попробовала было приглядеться к ней, но тотчас же отпрянула — так стало ей скучно и противно, а почему — в этом она даже не пыталась разобраться. Она всегда смотрела правде в глаза и видела, что каждая сторона, в общем, убога и нечистоплотно почти в равной степени. А сердцу, не такому ясновидящему, как ее глаза, все хотелось поверить, что партия, которая ратует за идеи справедливости, должна состоять из людей самых справедливых. И Аннета упрекала себя в том, что от лени — так ей казалось — не разузнала получше об их деятельности. Вот почему она относилась к ним с каким-то выжидательным доброжелательством, не более, — так, слушая новое музыкальное, произведение, порукой которому служит имя знаменитого композитора, невольно проникаешься к нему благоговением, хотя и не понимаешь его, заранее готов поверить, что оно прекрасно, и, быть может, только значительно позднее откроешь его для себя.

Аннета, человек с чистым сердцем, верила в незапятнанность ярлыков, не ведая, что нет большего обмана, чем в торговле идеями. Она еще верила в жизнеспособность иных наспех сфабрикованных «измов», этикетки на которых возглашали о различных политических настроениях, и ее привлекали те, которые возвещали о партиях передовых. Она заблуждалась, в глубине души надеясь, что именно там и встретит спутника жизни. Она привыкла к вольному воздуху и тянулась к тем, кому, как и ей, претили застарелые предрассудки, заплесневелые привычки и спертый воздух в здании прошлого. Она и не думала чернить это старинное жилье. Ведь оно было хранилищем мечты целых поколений. Но воздух там был скверный. Если кому угодно, пусть там и остается! А ей нужен чистый воздух. И она глазами искала друга, который помог бы ей перестроить дом, сделать его просторным и светлым.

В гостиных собиралось немало молодых людей, казалось бы способных понять ее, помочь ей. Многие —

с ярлыком и без ярлыка — отличались смелостью взглядов. Но, к несчастью, их смелость шла иными путями. «Жизненный порыв», по выражению одного философа, у них был ограничен. Сразу он никогда не распространяется во все стороны. Редко, крайне редко встречаешь умы, которые освещают все вокруг и идут вперед. Большинство тех, кому удалось зажечь светоч (а таких немного), озаряют своим факелом только часть, крохотную часть пути, лежащего перед ними, вокруг же царит непроглядная тьма. И даже можно сказать, что, продвигаясь вперед, почти всегда платишься тем, что в другом направлении отступаешь. Революционер в политике иногда бывает бездарным консерватором в искусстве. А если он и отбросил горсточку своих предрассудков (из тех, которых придерживался меньше всего), то еще крепче держится за оставшиеся.

Ни в одной области с такой силой не обнаруживалось в ту пору, до чего неровен этот ухабистый путь в будущее, как в моральной эволюции полов. Женщина, стараясь порвать с ошибками прошлого, вступала на одну из тропинок, ведущих к новому обществу, и редко удавалось ей встретиться с мужчиной, который тоже стремился бы к новым формам жизни. Он выбирал иной путь. И если их крутым дорогам и суждено было на миг скреститься на вершине горы, то они поворачивались друг к другу спиной. Такое различие целей особенно изумляло в ту эпоху во Франции, где умственное развитие женщин прежде отставало, а вот уже несколько лет готовилось сделать скачок, в чем мужчины тогда не отдавали себе отчета. Да и женщины не всегда ясно представляли себе это, пока в один прекрасный день сами не наталкивались на стену, отделявшую их от попутчиков. Удар был страшен. Аннете привелось — и это обошлось ей дорого — столкнуться с таким печальным недоразумением.

Души целым роем витали вокруг Аннеты, и ее глаза, ее рассеянные глаза, которые неприметно оглядывали каждую, только что сделали выбор. Но ничего не сказали. Ей хотелось подольше притворяться перед самой собой, будто она все еще колеблется. Когда больше не мучит нерешительность, так приятно мысленно повто-

рять: «Ведь я еще ничем не связана» — и напоследок широко распахнуть врата надежды.

Их было двое — два молодых человека лет двадцати восьми — тридцати, Марсель Франк и Рожэ Бриссо, — между ними и колебалась Аннета, строя планы на будущее, хотя отлично знала, кто именно ее избранник. Оба принадлежали к состоятельным буржуазным семьям, были изысканны, учтивы, умны, но и среда, окружавшая их, и характеры были у них совсем разные.

В Марселе Франке, наполовину еврее, было то обаяние, которое нередко порождается смешанным браком лучших представителей двух рас. Рост средний, фигура тонкая, стройная, изящная, матовый цвет лица, синие глаза, нос с горбинкой, светлая бородка; удлинненный профиль, чуть-чуть лошадиный, напоминал профиль Альфреда де Мюссе. Такой же умный, ласковый взгляд — то нежный, то дерзкий. Его отец, богатый коммерсант, занимавшийся торговлей сукном, оборотистый делец и увлекающийся человек, имевший пристрастие к современному искусству, поддерживавший молодую журналистику, покупавший полотна Ван-Гога и таможенного чиновника Руссо, женился на красавице тулузке, — она получила вторую премию в театральном училище и некоторое время была на первых ролях у Антуана и Пореля. Иона Франк, человек напористый, сначала взял ее приступом, потом вступил с ней в законный брак; тогда она покинула сцену, несмотря на шумный успех, и с большим тактом стала вести одновременно и дела мужа и свой литературный салон, хорошо известный в мире искусств. Супруги жили в согласии: по безмолвному сговору они сквозь пальцы смотрели на поведение друг друга, во имя общих интересов все так ловко устраивали, что избегали пересудов, и воспитали единственного сына в атмосфере взаимной дружбы — насмешливой, но снисходительной. Марсель Франк усвоил мысль, что труд и удовольствие гармонируют, что в мудром их сочетании и состоит искусство жить. И он изучал это искусство так же глубоко, как всякое другое, и стал его тонким знатоком. Служил он в управлении национальных музеев и давно уже славился как искусствовед. Его медлительный, проницательный, дерз-

кий и в то же время снисходительный взгляд умел читать не только по картинам, но и по живым лицам. И лучше всех вздыхателей Аннеты умел читать в ее душе. Она это хорошо знала. Иной раз только очнется от туманных своих грез или, говоря об одном, начнет думать совсем о другом — и вдруг взглядом встретится с его любопытным взглядом, как будто говорившим ей:

«Аннета, вижу вас всю — нагишом».

И вот что странно: она, целомудренная Аннета, ничуть не смущалась. Ей хотелось спросить:

«Что ж, я вам нравлюсь?»

Они обменивались понимающими улыбками. Пусть срывает с нее покровы, ей было все равно: она знала, что никогда не будет ему принадлежать. Марсель читал это в ее душе, но встревожен не был. Думал:

«Поживем — увидим!»

Ибо он знал *другого*.

*Другой*, Рожэ Бриссо, был его товарищем по лицу. Франк отлично понимал, что Аннета отдает предпочтение Бриссо. Во всяком случае пока... «Ну, а дальше?.. Посмотрим!..» Бриссо был хорош собой: открытое, красивое, простодушное лицо, веселые карие глаза, правильные, чуть грубоватые черты, полные щеки, крепкие зубы, чисто выбрит, над умным лбом по-юношески густая грива черных волос, расчесанных на боковой пробор. Высокий, широк в плечах; ноги длинные, руки мускулистые; легкая походка, порывистые движения. Говорил он хорошо, очень хорошо, голос у него был задушевный, мелодичный, низкий и звучный, который так всем нравился, который нравился ему самому. В учении он соперничал с Франком, был на редкость способен, схватывал все на лету, привык к тому, что занятия идут у него успешно, однако не меньше наук любил упражнения, развивающие мускулатуру. Бывая в Бургундии, — земли его родителей, леса и виноградники граничили с усадьбой Ривьеров, — ходил без усталости, охотился, ездил верхом. И Аннета не раз встречалась с ним, гуляя в тех краях. Но тогда она мало думала о спутнике, любила бродить одна; да и Рожэ, попав на вольные просторы, вырвавшись из Парижа на несколько месяцев, разыгрывал юного Ипполита;

притворялся, будто ему веселее проводить время с конем и собакой, чем с девушкой. Встречались молча, обменивались поклоном и взглядами. Но и это не прошло бесследно. Осталось приятное воспоминание, бессознательное влечение двух физически хорошо подобранных существ.

Родители Рожэ думали об этом не раз. Не только юная пара, — казалось, и имения были созданы для того, чтобы соединиться. Однако, пока был жив Рауль Ривьер, отношения хотя и были добрососедскими, но холодноватыми и отчужденными. Презабавно было то, что Ривьер, который никогда не поступался своим свободолобием, брал заказы на архитектурные работы в аристократических и реакционных кругах, из хитрости кадил им и (на сей раз без метафоры) хаживал к обедне, если было нужно для дела, чтобы обратить на себя внимание, за что и прослыл среди радикальных республиканцев, у себя в провинции, реакционером, даже клерикалом (что очень его потешало). А Бриссо были столпами радикализма. Все представители рода, принадлежавшего к судейскому сословию, — адвокаты и прокуроры, — кичились тем, что уже больше века род их — приверженец республики (и действительно, так оно и было во времена Первой Республики, но все они по забывчивости не упоминали, что их предок, бывший член Конвента, был награжден орденом Лилии, когда вернулись Бурбоны), верили в республику, как иные веруют в господа бога, и воображали, будто они — носители всех ее традиций: положение обязывает! Поэтому-то Бриссо и считали своим долгом сурово порицать Рауля Ривьера и держались от него на расстоянии; такое отношение, впрочем, ничуть не огорчало Рауля, ибо он не ждал от них заказов. Но вот началось знаменитое дело Дрейфуса, и Ривьер — это было ясно для всех — очутился неожиданно для себя в прогрессивной партии. И мигом его обелили; поставили крест на прошлом; открыли в нем высокие общественные и республиканские качества, — он их в себе и не подозревал, но, вероятно, не преминул бы извлечь из них выгоду, если бы смерть не спутала все его планы.

На планах Бриссо это не отразилось. Эти убежденные республиканцы, которые на протяжении целого века умело сочетали благоговейное отношение к своим принци-



пам с благоговейным отношением к своим выгодам, были богаты и, разумеется, стремились стать еще богаче. Было известно, что Ривьер оставил дочери изрядное состояние. Недурно было бы присоединить ее бургундское имение к владениям Бриссо. Правда, единомышленники Бриссо отводят второстепенное место расчету на богатство, хотя это — первое, что приходит им в голову: когда речь идет о браке, утверждают они, прежде всего следует принимать в соображение, что представляет собой сама девушка. В данном случае девушка удовлетворяла всем требованиям. То, что было известно о ней, укрепляло Бриссо в их мнении: и ее положительный характер и то, что говорили о ее преданности отцу. Изумительные способности, простота. Превосходно держится в обществе. Уравновешена. Неглупа. Здорова. Правда, находили что-то неестественное в ее занятиях в Сорбонне, в ее исследованиях, диссертации. Но полагали, что просто образованная, скучающая девушка придумала себе такое развлечение и что все это до первого ребенка. Кстати, неплохо показать всем, что они, Бриссо, поклонники просвещения, даже просвещения женщин, лишь бы оно не было помехой. Аннета, слава богу, была бы не первой образованной женщиной в семье. Г-жа Бриссо, мать Рожэ, и его сестра, мадемуазель Адель, слыли — и отчасти справедливо — не только сердечными, но и умными женщинами, участвовали и в духовной и в деловой жизни мужчин Бриссо. Образование Аннеты служило порукой, что по крайней мере тут нечего опасаться веяний клерикализма, а это так важно! Вообще в новой семье ее нежно опекали бы, и это оберегало бы ее от всяких пагубных увлечений. Их дорогой девочке так легко будет слиться воедино с теми, чью фамилию она будет носить, — она осиротела и как же будет счастлива, когда попадет под крылышко второй матери и сестры постарше, которые только одного и хотели: руководить ею. Ведь дамы Бриссо — а были они весьма наблюдательны — находили, что Аннета пресимпатична, благовоспитанна, мягка, вежлива, сдержанна, робка (по их мнению, это не являлось недостатком), чуть холодновата (а это уже было почти добродетелью).

Итак, Рожэ с согласия всего своего семейства — вопрос предварительно обсудили — стал ухаживать за Аннетой.

Он ничего не утаивал от своих, всегда был уверен, что его одобряют. Все близкие обожали этого взрослого ребенка. Платил он тем же. В семье Бриссо царил взаимное преклонение. Правда, некоторая иерархия соблюдалась, но каждый расценивался высоко. Право же, нельзя было не признать, что все они наделены изрядным умом, приятной внешностью, богатством. И они — люди благовоспитанные — признавали это, даже весьма охотно, но не показывали этого людям, которых определенно считали ниже себя. Впрочем, кто мог бы сомневаться во всем этом, видя, какой спокойной уверенностью дышат их лица! Они были уверены в себе и всего увереннее в Рожэ. Он был их любимцем, гордостью и, пожалуй, не без оснований. Никогда еще дерево рода Бриссо не приносило такого сочного плода. Рожэ был наделен лучшими чертами своего рода, а если и обладал его недостатками, то они не раздражали: он был так мил, так молод, что их не замечали. А талантов у него была пропасть: все ему легко давалось, особенно ораторское искусство. Красноречие было ленным владением Бриссо. В их роду уже прославился один адвокат, у них у всех была врожденная склонность к витийству. Было бы несправедливо утверждать, будто им нужно говорить, чтобы думать, как говорунам-южанам. Но то, что говорить им было нужно, — это бесспорно. В пышных фразах словно расцветали все их способности — Бриссо зачали бы от молчания. Отец Рожэ, в прошлом один из знаменитейших болтунов, прославивших трибуну палаты депутатов, — избиратели сыграли с ним плохую шутку, не избрав вторично, — задыхался от красноречия, замкнувшегося в своей скорлупе, и Рожэ, которому в ту пору было шесть лет, наивно говорил, когда они вдвоем сидели у камина:

— Папа, произнеси-ка для меня речь!

Теперь он делал это сам. Первые же выступления молодого человека на собраниях адвокатов и в суде создали ему блестящую репутацию. Под стать всем Бриссо, он отдал свои дарования на службу политике. Превосходным трамплином были для него митинги по поводу дела Дрейфуса; он бросился в бой, он наговорился всласть. Юношеский пыл, смелость, красивые слова, лившиеся пото-

ком, прекрасная внешность — все привлекало к нему симпатии восторженных дрейфусисток и молодежи. Семейство Бриссо, — а оно только и думало, как бы не отстать по дороге прогресса, и больше всего боялось, как бы не сделать слишком рано лишний шаг вперед, — осторожно разведав почву, наставило своего наследника, свою гордость и надежду, на путь социализма, однако весьма благомысленного. Впрочем, и самого Рожэ чутье влекло на этот путь. Он, как все лучшие представители молодежи того времени, подпал под обаяние Жореса и старался перенять приемы великолепного оратора, речи которого были полны пророческих предначертаний и всяческих иллюзий. Он провозгласил, что долг народа и интеллигенции — сблизиться. И это стало темой весьма красноречивых его выступлений. Если народ, у которого просто не хватало на это досуга, многого и не понял, то все же это скрасило досуг молодых представителей буржуазии. Рожэ — ему помогла подписка и узкий круг друзей — основал кружок, газету, партию. Сам же потратил на это уйму времени и немножко денег. Все Бриссо умели рассчитывать, умели и тратить с толком. Им льстило, что их чадо — вождь нового поколения. И они подготовляли почву для приближающихся выборов. Было намечено для Рожэ местечко в будущей палате депутатов. И он об этом знал. Рожэ привык, что в него с самого детства верят все близкие, и уверовал в себя; он толком не знал, какие же у него убеждения, однако нисколько в них не сомневался. Никакого высокомерия. Он был полон самодовольства и совсем не скрывал этого. Ему везло во всем; он привык к этому, ему казалось, что это вполне естественно; он и не думал этим гордиться и был бы потрясен, если бы удача ему изменила: устоям, которые он свято чтит, был бы нанесен сокрушительный удар. Он был такой славный! Эгоистом он был, сам того не ведая, и отнюдь не закоренелым, а каким-то наивным, был добряком, красавцем, мог бы давать другим, но намеревался от других только брать и не представлял себе, что кто-то может ему в чем-либо отказать; простой, славный, сердечный, требовательный юноша все ждал, что к его ногам падет весь мир. Право же, он был весьма привлекателен.

И Аннета увлеклась. Она хоть и составила о нем довольно верное суждение, но оно не помешало ей полюбить его еще сильнее. Ее умиляли его слабости, они были ей бесконечно дороги. Ей казалось, что именно из-за них в нем столько ребяческого, — больше, чем мужественного. И эта двойственность радовала ее сердце. Ей нравилось, что Рожэ ничего не скрывает: сразу было видно, какой он. Его наивное восхищение собою говорило о том, какая у него непосредственная натура.

С Аннетой он был особенно откровенен оттого, что влюбился в нее. Пылко, безудержно. Он не знал половинчатости в чувствах. А вот видел все лишь наполовину.

Любовь к ней вспыхнула как-то вечером, в одной из гостиных, — он был в ударе и блистал красноречием. Аннета не проронила ни слова. Но она была чудесной слушательницей. (Так по крайней мере ему казалось.) В ее умных глазах он читал свои собственные мысли и находил, что они стали еще яснее, еще возвышеннее. Ее улыбка радовала его — значит, он хорошо говорил, а еще более глубокую радость доставляло ему сознание, что она разделяет его мысли. А как прекрасна была его слушательница! Какой замечательный ум, какая возвышенная душа светились в ее пристальном и выразительном взгляде, в ее проникновенной улыбке! Он говорил один, а ему казалось, что он разговаривает с нею. Во всяком случае теперь он говорил только для нее, и он чувствовал, что этот мысленный диалог — таинственный, безмолвный — возвышает его...

Аннета, по правде говоря, и не слушала. Она была так умна, что быстро схватила главную мысль Рожэ и с привычной рассеянностью следила лишь за красивыми, гладкими фразами. Но она воспользовалась тем, что он был поглощен собственными речами, и решила получить его рассмотреть: глаза, рот, руки и как, когда он говорит, у него двигается подбородок, как раздуваются красивые ноздри, словно у заржавшего жеребца, и какая милая у него манера произносить некоторые буквы, и что же все это выражало — и внешне и внутренне...

Смотреть она умела. Видела, как ему хочется, чтобы им восхищались, видела, как ему нравится, что он нравится, и то, что она считает его красивым, умным, красно-

речивым, удивительным. Она не находила, — нет, пожалуй, чуть-чуть, совсем чуточку! — что он смешон. Наоборот, была полна умиления.

(«Да, милый, ты хорош собой, ты чудный, умный, красноречивый, удивительный... Тебе хочется, чтобы я улыбнулась? Вот, милый, я даже два раза тебе улыбнулась... и смотрю на тебя так ласково... Ты доволен?»)

И в глубине души она смеялась, видя, как он счастлив, как торжествует, — еще громче заливается, словно вешняя пташка.

Он смаковал похвалы, пил их, не разбавляя, не подбавляя к ним ни капли собственной иронии, жаждал еще, никогда не пресыщался. И, упиваясь своим пеньем, сливал с ним и ту, которая им любовалась. Он вообразил, что она — воплощение всего, что было в нем самого лучшего, чистого, гениального, и стал обожать ее.

А та, чьей души с первых же взглядов коснулась любовь, почувствовала, что тонет в его обожании, и совсем перестала сопротивляться. Исчезла даже ласковая ирония, которой она прикрывала, будто латами, свое трепещущее сердце, и она подставила страсти свою незащищенную грудь. Как жаждала она любви! Как сладостно утолить жажду (она предвкушала это), прильнув к губам того, кто ей так нравился! А то, что он предвосхитил ее желание и так пылко тянулся к ней губами, наполняло ее какой-то восторженной благодарностью.

Пламя разбушевало. Каждый воспламенялся от страсти другого и питал ее своею страстью. И чем пламеннее было чувство влюбленных, тем большего они ждали друг от друга и тем больше старались превзойти взаимные ожидания. Это очень утомляло. Но у них в запасе были нерастраченные силы молодости.

А пока силы Аннеты дремали в бездействии. Им не давали воли. На нее нахлынуло чувство Рожэ. Она тонула. Он не позволял ей передохнуть. Натура у него была общительная, безудержная, и его потребностью было все высказать, всем поделиться: мыслями о будущем, о настоящем, о прошлом. Как пространно он говорил! Это было его свойство. А к тому же он хотел все узнать, все присвоить. Он вторгся в тайны Аннеты. Аннета, отступая, напоследок с трудом защищалась. Все это ее отчасти

возмущало, отчасти радовало и забавляло; не раз пыталась она рассердиться на Рожэ за этот натиск, но завоеватель был так мил! И она с наслаждением шла на уступки; она не сопротивлялась насилию чужой воли («Et cognovit lat...» — Он совсем ее не знал!..), а втайне подчас вся горела то от возмущения, то от удовольствия.

Да, не очень благоразумно без сопротивления отдать себя целиком. Иногда, забыв обо всем на свете, поверишь свои тайны, а потом тот, кому ты доверился, обернет их против тебя же. Но Аннета и Рожэ мало об этом заботились. В ту пору их любви ничто друг в друге не могло им разонравиться, ничто не могло поразить. Все то, что поверял любимый, не только ничуть не удивляло любящую, но, казалось, совпадало с ее невысказанным мнением. Рожэ теперь не следил за собой — следил еще меньше, чем прежде, и Аннета слушала его откровенные признания снисходительно, однако, помимо воли, все заминала до мелочей.

Радостно было, что у них столько общего в прошлом, а еще радостнее, что и настоящее и прошлое утопают в мечтах о будущем — их будущем, ибо хотя Аннета и ничего еще не сказала, ничего не обещала, но на ее согласие так полагались, так рассчитывали, так его требовали, что она в конце концов и сама вообразила, будто уже дала его. Полуприкрыв свои счастливые глаза, она слушала, как Рожэ (он принадлежал к тем, кто наслаждается завтрашним днем больше, чем нынешним) с неиссякаемым воодушевлением описывал блистательную жизнь, богатую мыслями, заполненную полезной деятельностью, приутовленную... Кому? Ему, Рожэ. Ну и ей, разумеется, тоже, ведь она отныне — частица Рожэ. И она не сердилась, что от ее личности ничего не оставалось, она слишком была поглощена чудесным своим Рожэ, — не могла его наслушаться, на него наглядеться, нарадоваться. Он много говорил о социализме, справедливости, человеколюбии, об освобожденном человечестве. Поистине был великолепен. На словах душевное его благородство было безгранично. Это волновало Аннету. Ей казалась отрадной мысль, что и она примет участие в его деятельности во имя всемогущего добра. Рожэ никогда не спрашивал ее, что она об этом думает. Подразумевалось, что она ду-

мает так же, как и он. Да и не могла она думать иначе. Он говорил за нее. Он говорил за них обоих — ведь он говорил лучше. Он ронял:

— Вот что мы сделаем... У нас будет...

Она ничего не оспаривала. Напротив, чуть ли не благодарила. Планы были так необъятны, так расплывчаты, так бескорыстны, что просто не было причин считать себя обделенной. Рожэ стал для нее светом, стал для нее свободой... Пожалуй, в этом было что-то неопределенное. Аннете, пожалуй, и хотелось, чтобы все было поточнее. Но ведь все это придет позже, ведь сразу всего не выскажешь. Продлим же удовольствие! Будем сегодня наслаждаться неоглядными планами на будущее...

Больше всего она наслаждалась, глядя на его очаровательное лицо, чувствуя, как жадно тянутся друг к другу их влюбленные тела, по которым внезапно пробегали электрические токи, огонь желаний, пылавший в них обоих, сильных силою непорочной молодости, здоровых, крепких, горячих.

Всего красноречивей был Рожэ, когда внезапно умолкал. И тогда слова, отзвучав, рисовали перед ними упоительные картины, а глаза встречались: им казалось, будто они вдруг прикоснулись друг к другу. Налетал такой порыв страсти, что захватывало дыхание. Рожэ больше не думал ни оболящать, ни говорить. Аннета больше не думала ни о будущем человечества, ни даже о своем будущем. Они забывали обо всем, обо всем, что их окружало: о том, что они в гостях, о том, что вокруг люди. В эти секунды они сливались в единое целое, словно воск на огне. Ничего не существовало, кроме их влечения друг к другу — этого закона природы, единого, всепоглощающего и чистого, как огонь. У Аннеты темнело в глазах, щеки у нее вспыхивали, а после, поборов головокружение, она с трепетной и томительной уверенностью думала о том, что придет день и она поддастся соблазну...

Ни для кого их страсть уже не была тайной. Они не могли ее скрывать. Пусть Аннета молчала — глаза говорили за нее. Они так красноречиво выражали согласие и без слов, что, по мнению всех, да и самого Рожэ, она как бы уже безмолвно связала себя обещанием.

И лишь семейство Бриссо не теряло из виду, что Аннета еще далека от этого. Признания Рожэ Аннета выслушивала с явным удовольствием, но ответа не давала, уклонялась, ловко переводила разговор на какую-нибудь возвышенную тему, а простачок Рожэ жертвовал добычей ради миража и, очертя голову и млея, пускался в рассуждения. Аннета отмалчивалась. Бриссо — люди, умудренные опытом, — два-три раза подмечали ее маневр и решили сами взяться за дело. Конечно, они ничуть не сомневались в согласии Аннеты: ведь для нее такая блестящая партия — счастье. Но, знаете ли, надо считаться с прихотями взбалмошных девиц! Жизнь Бриссо знали. Знали все ее ловушки. То были хитрые провинциалы-французы. Если решение вопроса задерживается, надо пойти навстречу — так советует предусмотрительность. Обе дамы Бриссо пустились в путь.

Существовала особая улыбка, которую в кругу их знакомых, в Париже, звали улыбкой Бриссо: умильная и елейная, приветливая и снисходительная, шутливая, вместе с тем осторожная, все предугадывающая, изливающая благоволение, но совершенно безразличная; она сулила щедрые дары, только дары эти так и оставались посулами. Обе дамы Бриссо улыбались именно такой улыбкой.

Госпожа Бриссо, мать Рожэ, высокая представительная дама, широколицая, толстощекая, жирная, грузная, с внушительной осанкой и пышным бюстом, говорила вкрадчиво и такие преувеличенно лестные вещи, что Аннете, всегда искренней, становилось не по себе. Лстыла она не только Аннете (которая это скоро, и с облегчением, заметила). На похвалы вообще не скупилась. И вечно все пересыпала шутками — так Бриссо из вежливости проявляли присущую всем им самоуверенность, желая показать, что относятся к этой своей черте с добродушной иронией, принимают этот дар благодушества.

У сестры Рожэ, мадемуазель Бриссо, тоже высокой и полной, волосы были такие светлые, даже обесцвеченные, что казались чуть ли не белыми, как у альбиноски. Вдобавок — слой рисовой пудры на щеках и подмазанные губы. Она подделывалась под пастели времен Людовика XV. Натье написал бы с нее Фебу Бургундскую — жеманную, бесцветную и дородную. Мать называла крепкую



эту девицу «бедной крошкой», ибо мадемуазель Бриссо, хоть и чувствовала себя великолепно, решила, созерцая в зеркало свои бледные ланиты, что здоровье у нее слабое, но не сочла выгодным холить себя. Зато воспользовалась предложением, чтобы показать, какая она стойкая и как она презирает изнеженных представительниц своего пола, которые стенают из-за пустячной царапины. И правда, она была просто изумительна — деятельна, неутомима, все читала, всюду бывала, все знала, разбиралась в живописи, понимала музыку, рассуждала о литературе, ежедневно вместе с г-жой Бриссо наносила визиты, входящие в число тех двухсот — трехсот визитов, которые им надлежало сделать за определенный промежуток времени, в свою очередь принимала визитеров, давала обеды, посещала концерты, театры, заседания палаты и выставки, не поддавалась усталости и не жаловалась на нее, — только, если выпадал подходящий случай, вздыхала, но тотчас же мужественно пересиливала себя; однако, истязая свою плоть, она умела и поддерживать силы — любила плотно покушать (как все семейство) и спала крепко, без снов. Она была хозяйкой и своего сердца и своего тела. Она не спеша подготавливала почву для своего замужества с неким политическим деятелем лет сорока, который сейчас был губернатором одной из крупных заморских колоний. Она и не подумала поехать туда за ним. Отказаться от Парижа и фамилии Бриссо она намеревалась лишь в том случае, если ошастливленный избранник предложит ей во Франции положение, достойное ее. Вообще же постаралась, чтобы в высоких сферах его не забыли. Они вели задушевную и деловую переписку. Этот роман на расстоянии длился уже не один год. Придет время, и она выйдет замуж. Она не спешила. Муж будет уже в летах. Тем лучше — так считала мадемуазель Бриссо. Голова у нее была светлая. Да и у всех Бриссо голова была на плечах. А у мадемуазель Бриссо она была в высшей степени склонна к политике. Мадемуазель Бриссо, по словам ее мамы, была настоящей Эгерией<sup>1</sup>. Г-жа Бриссо восторгалась познаниями мадемуазель

---

<sup>1</sup> Эгерия — римская богиня, наставница и покровительница мифического римского царя Нумы Помпилия.

Бриссо. Мадемуазель Бриссо восторгалась хозяйственностью и умом г-жи Бриссо. В их отношениях было много показного, жеманного. При Аннете они то и дело целовались. Ведь это было так мило!

Однако с некоторых пор они стали умеренно восхвалять друг друга — они льстили теперь Аннете. Они рассыпались в комплиментах ей, ее дому, туалетам, вкусу, уму, красоте. Они так захваливали Аннету, что ей это было неприятно; однако нельзя совсем равнодушно относиться к тому, что другие о тебе лестного мнения, особенно если они, эти другие, в твоих глазах посланцы того, кого ты нежно любишь. Да и как было не поверить похвалам: ведь дамы Бриссо то и дело упоминали имя Рожэ, о чем бы ни зашел разговор. В похвалы ему они вплетали похвалы Аннете; шутливо и назойливо намекали на то, какое впечатление произвела на него Аннета, на то, что знают, о чем она ему говорила, — он тотчас же все с восхищением им пересказывал (все пересказывал; Аннета и сердилась и тем не менее была тронута). Они рисовали, не жалея красок, его блестящее будущее, и голос у г-жи Бриссо звучал проникновенно, когда она высказывала надежду, даже уверенность, что Рожэ найдет — да собственно он уже и нашел — достойную подругу жизни. Они не называли ее, но все было понятно. Эти уловки были видны издали невооруженным взглядом. Так нарочно и делалось. Напоминало это салонную игру в фанты: разговор затевался ради одного слова, которое у каждого вертелось на языке, но которое нельзя было вымолвить. Казалось, г-жа Бриссо с улыбкой подстерегает это слово, готовое слететь с губ Аннеты, чтобы провозгласить:

«Фант!»

Аннета улыбалась, открывала рот. Но слово не слетало...

Бриссо приглашали Аннету на семейные вечера в свою квартиру на улице Прованс. Она познакомилась с самим Бриссо-отцом, — высокий, тучный, хитрые глазки, глядящие из-под густой чащи бровей, лицо красное, седая борода, повадки стряпчего-ловкача, притворы; его избитые остроты и любезности просто удручали Аннету. Он тоже попытался было поиграть в салонную игру, но все время садился в лужу со своими иносказа-

ниями. Они вспугнули Аннету. Г-жа Бриссо сделала знак мужу не вмешиваться. Тогда он вышел из игры, стал следить за ней втихомолку, посмеивался и был вполне согласен, что это не его забота — гораздо лучше справятся женщины.

Госпожа Бриссо искусно повела дело: сначала она пригласила вместе с Аннетой всего лишь трех-четырех близких друзей, потом — двух, потом — одного, потом — никого, кроме нее. И Аннета очутилась одна, лицом к лицу с четверкой Бриссо. «В кругу семьи», — умильно говорила г-жа Бриссо елейно материнским, многообещающим тоном. Аннета чувствовала, что она в западне, но не убегала, — так хорошо было ей около Рожэ. Из любви к нему она снисходительно относилась к его родным, закрывала глаза на все то, что в их среде ее глухо раздражало. Тонкое женское чутье предупредило дам Бриссо (хоть и велико было их самолюбие, но оно никогда не вредило их интересам): по молчаливому соглашению они стушевались — меньше говорили, взвешивали свои слова, часто оставляли влюбленных наедине, не вмешивались в их разговоры. Но лучшим защитником дела Рожэ был он сам. Он становился все влюбленней, все больше тревожила его Аннетина сдержанность, которая не так уж волновала бы его, если бы мать и сестра не указали ему на нее, и никогда он не был так обаятелен, как с той поры, когда поколебалась его самоуверенность. Он больше не разглагольствовал, его красноречие угасло. Впервые в жизни он старался читать в душе другого. Он сидел рядом с Аннетой, и его покорный, горящий, ненасытный взгляд молил живую загадку, пытался ее разгадать. Аннета наслаждалась и его смятением, и не свойственной ему робостью, и тем, с каким боязливым ожиданием он подстерегает каждое ее движение. Она колебалась. В иные минуты она готова была согласиться, произнести решительное слово. И все же не произносила. В последнюю секунду инстинктивно отстранялась, сама не зная почему; вдруг начинала избегать признания в любви, которое собирался сделать Рожэ, и согласия. Она вырывалась из рук...

Но вот западня захлопнулась. Мать и дочь Бриссо обычно вслушивались в бесплодный разговор, притаившись в одной из соседних комнат. Иногда с деловым

видом проходили по гостиной, улыбались. Бросали несколько приветливых слов, но не останавливались. А влюбленные продолжали долгую свою беседу.

Однажды вечером они рассеянно перелистывали альбом, который служил им предлогом сблизить головы, обменивались вполголоса своими мыслями и вдруг замолчали; Аннета тотчас же почувствовала опасность. Она хотела было вскочить, но рука Рожэ уже обвилась вокруг ее талии, а жадные губы прильнули к ее полуоткрытым губам. Она попыталась защититься. Но как защищаться от самой себя! Ее губы вернули поцелуй, а хотели его избежать. И все же она вырвалась, но тут, с другого конца гостиной, затрубил растроганный голос г-жи Бриссо:

— Ах, милая моя дочь!

И она стала звать:

— Адель!.. Господин Бриссо!..

И не успела ошеломленная Аннета оглянуться, как ее окружило все семейство Бриссо — сияющее, умиленное. Г-жа Бриссо осыпала ее поцелуями, прикладывала к глазам носовой платочек и твердила:

— Любите же его!

Мадемуазель Бриссо повторяла:

— Сестричка!

А г-н Бриссо, как всегда, промахнулся:

— Наконец-то! Сколько времени даром потеряли!..

Пока все это происходило, Рожэ стоял перед Аннетой на коленях, целовал ее руки, робким, пристыженным взглядом просил о прощении и твердил:

— Не отказывайте!

Аннета, словно окаменев, принимала поцелуи; мольба глаз, которые она так любила, путами связала ее. Она сделала последнее усилие, попробовала сопротивляться;

— Да ведь я ничего еще не сказала!

Но в глазах Рожэ мелькнуло такое искреннее отчаяние, что она не могла этого перенести: заставила себя улыбнуться; и когда лицо Рожэ засветилось от счастья, то ее лицо тоже засияло от радости, которую она ему даровала. Она сжала его голову руками. Рожэ вскочил, крича от восторга. И они поцеловались под благословляющим взглядом родителей поцелуем обручения.

Когда вечером Аннета осталась дома наедине с собой, то почувствовала, что сражена. Больше она себе не хозяйка. Она отдала себя... Отдала себя! Жизнь свою отдала... Сердце сжималось от тоски.

Аннета преувеличивала прочность уз, принять которые только что согласилась. Она была не из тех современных девиц, которые при женихе, мило кокетничая, говорят о разводе. Она не давала одной рукой, чтобы другой отнять. Больше она не принадлежала себе. Принадлежала всем этим Бриссо. И вдруг ей показалось, что все Бриссо — ее враги. Все то, на что за последние недели она насмотрелась, предстало теперь перед ней в ярком свете: и все их старания сблизиться с нею, чтобы опутать ее, и заговор против ее свободы, и, наконец, эта комедия — вынудили дать согласие, застали ее врасплох... (Уж не был ли соучастником и Рожэ, сам Рожэ?) И она ошестилась, как зверек во время облавы, который видит, что его теснят со всех сторон, чувствует, что сейчас погибнет, и вот-вот ринется, наклонив голову, на загонщиков, чтобы проложить себе путь или умереть, но зато отомстить. В первый раз все, что ей так претило в Бриссо, но о чем до сих пор она старалась не думать, показалось ей таким пошлым, гадким, невыносимым... Даже сам Рожэ!.. Никогда не станет она жить, замкнувшись в мирке этого человека, этой семьи, этого круга интересов, которые не были ее интересами, которые никогда ими не будут. Она решила порвать...

Порвать? Но как же? Ведь она только что связала себя обещанием! Согласится ли Рожэ? Нужно, чтобы согласился! Ему не помешать ей... И Аннета возненавидела его, подумав, что он, пожалуй, станет противиться. Сейчас уже не шли в счет страдания другого: без колебания она разбила бы его сердце, только бы вернуть себе свободу. А потом представились ей его умоляющие глаза, и ее сердце дрогнуло... Но все равно! Эгоизм погибающего, инстинкт самосохранения пересилили все, пересилили нежность, пересилили жалость! Надо было спастись. И горе тому, кто преградил бы ей выход!

Всю ночь напролет она ворочалась с боку на бок, ее истомила лихорадочная бессонница, она заранее переживала встречу с Рожэ. Она сказала, она перебрала все

слова, которые он скажет ей, а она — ему. Пыталась убедить его, спорила, выходила из себя, жалела его, ненавидела. Очнулась она на заре — измученная, но полная решимости. Она пойдет к Рожэ... Впрочем, нет! Напишет ему — так будет легче выразить до конца, что хочется, и никто не прервет ее. Все будет кончено. А чтобы Бриссо и не пытались снова завладеть ею, она уедет из Парижа — на несколько дней скроется в какой-нибудь гостинице за городом. Аннета встала, написала письмо — тысячу раз передумала все слова, а потом торопливо начала собираться.

Сборы были в разгаре, когда явился Рожэ. Она и не подумала, что надо охранять вход в дом, не ждала, что он придет так рано. Рожэ вошел, горя любовью и нетерпением, — он опередил слугу, докладывавшего о его приходе. Он принес цветы. Был полон счастья и благодарности. И был так нежен, так молод, так обаятелен, что Аннета, увидав его, не нашла в себе сил поговорить с ним. Все ее мудрые решения были позабыты, с первого же взгляда у нее снова отняли сердце. С удивительной недобросовестностью, свойственной любящим, она тотчас нашла ровно столько же доводов в пользу замужества, сколько минуту назад находила против. Она пыталась бороться, но радость сияла в ее глазах, обведенных кругами после всего, что пережила она ночью. Она смотрела на своего Рожэ, который впивался в нее восхищенным взглядом, и думала:

«Однако ведь я решила... Ведь я должна, однако, решить... А что же я решила?»

Но где тут знать, когда существует на свете этот взгляд, выпивающий до дна твою душу! Думать? Как тут думать, как тут обрести себя вновь! Она сама ничего не знала, она гибла... А пока — до чего же хорошо, когда тебя так любят! Лишь одно она и могла сделать — для этого понадобилось невероятное усилие: попросить Рожэ не торопиться со свадьбой. И выражение лица Рожэ сразу стало таким разочарованным, таким удрученным, что у Аннеты не хватило мужества продолжать. Разве можно огорчать родного своего мальчика? И она поспешила приласкать его, успокоить, сказать, что любит его; она робко попыталась настаивать на отсрочке, но он так

рьяно воспротивился, будто дело шло о его жизни. Наконец, после нежных препирательств, они согласились уступить друг другу наполовину и решили, что поженятся в середине лета.

А потом Рожэ уехал. Аннета посмотрела в зеркало на свое растерянное лицо и снова заколебалась. Как выпутаться! Она взглянула на вещи, приготовленные было к отъезду.

— Поработала!

Пожала плечами, засмеялась. Что за прелесть этот Рожэ! Снова спрятала в комод белье и вещи, которые собиралась уложить в чемодан.

«И все же, — думала она, — я не хочу, не хочу!..»

Вспылив, уронила рубашки. Бух! Вслед полетели туалетные щетки... Она отшвырнула ногой груды вещей, рассердилась...

Потом стала поднимать — нагнулась до полу. Но, не закончив уборки, вдруг почувствовала усталость и уседелась прямо на паркет — гордиться силой воли было нечего.

— Полно! — заметила она, вытянувшись на ковре. — Впереди у меня целых четыре месяца, — успею перемешать решение...

Зарылась лицом в подушку и, лежа на животе, принялась считать дни...

Бриссо благоразумно пошла навстречу желаниям Аннеты отложить свадьбу: они боялись, что, поспешив, испортят дело. Но сочли необходимым пока окружить Аннету заботами. Нельзя предоставлять ее самой себе: девушка со странностями, как бы не выскользнула из рук.

Приближалось вербное воскресенье. Бриссо пригласили Аннету провести пасху у них — в бургундском имении. Аннета приняла приглашение неохотно: было соблазнительно и страшно — страшно, что отягчит цепи, которые уже связывали ее, страшно, что совсем потеряет себя или все разорвет, страшны были и всякие другие вещи, поопаснее, в которых ей не хотелось разбираться. Она и не пыталась расстаться с влюбленностью и нерешительностью, которыми убаюкивала себя, — все это немало тяготило ее, но была в этом и своя прелесть. Хотелось, чтобы такое состояние продолжалось долго, долго.

Но она хорошо понимала, что это вредно и что она не имеет на это права... перед Рожэ.

В конце концов она решилась откровенно сказать о своих тревогах сестре. Она еще и словом не обмолвилась Сильвии о своей любви к Рожэ, а ведь поверяла ей все: часто рассказывала о других своих вздыхателях. Да, но других-то она не любила! А вот имя Рожэ утаивала.

Сильвия разахалась, назвала ее «тихоней» и хохотала как сумасшедшая, когда Аннета попыталась объяснить ей причину своей нерешительности, своих сомнений, терзаний.

— Ну, а твой птенчик хорош собой? — спросила она.

— Да, — ответила Аннета.

— Любит он тебя?

— Да.

— И ты его любишь?

— Люблю.

— Что же тебя удерживает?

— Ах, все это так сложно! Как бы это объяснить? Я его люблю... Очень люблю... Он премилый!

(Она принялась с увлечением описывать его под насмешливым взглядом Сильвии. Вдруг замолкла.)

— Очень, очень люблю его... И в то же время не люблю... В нем есть что-то... Не буду я жить вместе с ним... Никогда не буду... И потом... Потом он чересчур уж меня любит. Так и съел бы меня.

(Сильвия расхохоталась.)

— Правда, так всю и съел бы, всю мою жизнь, мысли мои, воздух, которым я дышу... О, мой Рожэ любит поесть! Одно удовольствие видеть его за столом. Аппетит у него хороший. Но я-то не хочу, чтобы меня съели.

Она тоже смеялась от души, и Сильвия смеялась, обняв ее за шею и сидя у нее на коленях. Аннета продолжала:

— Ужасно вдруг почувствовать, что тебя вот так, живо, проглотили, что не осталось у тебя ни капельки своего, что ты не можешь больше ни капельки своего сохранить... А он этого даже и не подозревает. Любит меня до сумасшествия, но, по-моему, он, знаешь ли, и не старается меня понять, даже не думает об этом. Пришел, взял, унес...



— Чертовски приятно! — встала Сильвия.  
— У тебя одни глупости на уме! — сказала Аннета, обнимая ее.

— А что же у меня должно быть на уме?

— Замужество. Это дело важное.

— Важное? Положим, не такое уж важное!

— Что? Отдать всю себя, ничего не сохранить — и это не важно?

— Да кто об этом говорит? Только сумасшедшие!

— Но он хочет завладеть всем!

Сильвия хохотала, извиваясь, как рыбешка.

— Ах ты, Птичка! Преглупенькая! Простачок-дурачок!..

(Ничего сложного, казалось ей, тут нет: говори, что хочется, отдавай, что хочется, а все остальное сохраняй да помалкивай! Она, любя, трунила над мужчинами и их требованиями. Не очень-то они хитры!)

— Да, но ведь и я — я тоже не хитра, — сказала Аннета.

— Уж это так! — воскликнула Сильвия. — Ты все принимаешь всерьез.

Аннета с сокрушенным видом согласилась.

— Просто несчастье какое-то! Хотелось бы мне быть такой, как ты. Вот ведь выпало человеку счастье!

— Давай меняться! Уступи мне свое! — предложила Сильвия.

Аннета совсем не хотела меняться. Сильвия ушла, приободлив ее.

И все же Аннета не понимала себя! Была сбита с толку.

«Занятно! — раздумывала она. — Я хочу все отдать. И хочу все сохранить!..»

На другой день — то был канун отъезда, — когда она, сложив вещи, опять начала мучить себя, пришел неожиданный гость и усилил ее тревогу, которую она вдруг осознала яснее. Ей доложили о Марселе Франке.

Он любезно и учтиво поговорил о чем-то, а потом намекнул на помолвку — Рожэ не делал из нее тайны. Мило поздравил Аннету; в его тоне и глазах было что-то ласково насмешливое, сердечное. Аннета чувствовала себя

с ним непринужденно, как с прозорливым другом, которому не нужно все говорить и от которого нечего скрывать, потому что понимаешь его с полуслова. Заговорили о Рожэ, которому Марсель Франк завидовал — и с улыбкой признался в этом. Аннета знала, что он говорит правду, что он влюблен в нее. Но это им ничуть не мешало. Она спросила, какого он мнения о Рожэ, — молодые люди были хорошо знакомы. Марсель рассыпался в похвалах, но она настаивала, чтобы он рассказал о нем не такие общеизвестные вещи; поэтому Марсель шутя ответил, что описывать Рожэ не к чему, — ведь она знает его так же хорошо, как и он. И, говоря это, он в упор смотрел на нее таким пронизательным взглядом, что Аннете стало не по себе и она отвела глаза. Потом она тоже в упор посмотрела на него, подметила его тонкую усмешку, доказывавшую, что они поняли друг друга. Разговор зашел о каких-то пустяках, как вдруг Аннета прервала его и озабоченно спросила:

— Скажите откровенно: вы находите, что я не права?

— Никогда не осмелюсь заявить, что вы не правы, — ответил он.

— Без любезностей, пожалуйста! Только вы и можете сказать мне правду.

— Вы же знаете, что положение у меня особенно щекотливое.

— Знаю. Но ведь я знаю и то, что оно не повлияет на искренность ваших суждений.

— Благодарю! — сказал он.

Она продолжала:

— Вы считаете, что и Рожэ и я — мы не правы?

— Считаю, что вы ошибаетесь.

Она опустила голову. Потом сказала:

— И я так считаю.

Марсель не ответил. Он все смотрел на нее и все улыбался.

— Почему вы улыбаетесь?

— Уверен был, что вы так думаете.

Аннета вскинула на него глаза.

— Теперь скажите, какое у вас мнение обо мне?

— Ничему оно вас не научит.

— Зато поможет лучше во всем разобраться.

— Вы влюбленная бунтарка, — ответил Марсель. — Вечно влюбленная (простите!) и вечно бунтующая. У вас потребность отдавать себя и потребность сохранять себя... (Аннета привскочила — не удержалась.)

— Я обидел вас?

— Ничуть, ничуть, напротив! Как это правильно! Ну, говорите же дальше!

— Вы — сама независимость, — продолжал Марсель, — но жить в одиночестве не можете. Таков закон природы. Вы чувствуете его острее других, потому что вы жизнедеятельнее.

— Вот вы меня понимаете! Понимаете лучше, чем он. Но...

— Но любите вы его.

В тоне ни капли горечи. Они по-приятельски смотрели друг на друга и, улыбаясь, думали о том, до чего же любопытная штука человеческая натура.

— Да, не легко, — сказала Аннета, — не легко жить вдвоем.

— Ошибаетесь, было бы совсем легко, если бы люди на протяжении веков не умудрялись осложнять жизнь, мешая друг другу. Надо покончить с этим, только и всего. Но, разумеется, нашему милейшему Рожэ, как и всякому добропорядочному, косному французу, не постичь этой мысли. Все они считали бы, что пришла их гибель, если бы вдруг им перестало мешать прошлое. «Где нет помех, там нет улады», особенно когда тот, кому мешают, сам мешает своему ближнему.

— А как все же вы смотрите на брак?

— Как на разумный союз выгод и утех. Жизнь — это виноградник, которым пользуются сообща; возделывают его и собирают виноград вместе. Но распивать вино всегда вдвоем, с глазу на глаз, никто не обязан. Идут на взаимные уступки: друг у друга просят и отдают друг другу гроздь утех, которой владеет каждый, но благоразумно позволяют друг другу побывать на сборе и в ином месте.

— Уж не ратуете ли вы за свободу адюльтера?

— Устарелое, допотопное выражение! Я ратую за свободу любви — самую насущную из всех свобод.

— Ну, она-то мне меньше всего нужна, — сказала

Аннета. — Для меня брак не перекресток, на котором отдаешь себя любому встречному. Я отдаю себя одному человеку. И если б я перестала его любить или полюбила другого, то ушла бы в тот же день; я и себя не поделила бы между ними и не потерпела бы дележа.

Марсель иронически пожал плечами, словно говоря: «Да важно ли это?..»

— Видите, мой друг, — заметила Аннета, — вот и оказалось, что вы мне еще более чужды, чем Рожэ.

— Значит, и вы приверженица старой доброй системы, провозглашающей: «Да помешаем же друг другу»?

— Брачный союз оттого только и возвышен, что зиждется на единолюбии, на верности двух сердец, — возразила Аннета. — Что же от него останется, не считая кое-каких практических преимуществ, если и это утратится?

— Тоже вещь немаловажная, — заметил Марсель.

— Недостаточная, чтобы возместить жертвы, которые ты приносишь, — ответила Аннета.

— Если вы так рассуждаете, то чего же вы плачетесь? Надевайте оковы, от которых вас пытались избавить.

— Свобода, к которой я стремлюсь, — возразила Аннета, — не есть свобода сердца. Я чувствую, мне достанет сил сохранить его безупречным по отношению к тому, кому я его отдала.

— Вы вполне уверены? — с невозмутимым видом спросил Марсель.

Вполне уверена Аннета не была! И ей знакомо было сомнение. Сейчас говорила дочь своей матери, а не вся Аннета. Но ей не хотелось соглашаться, да еще в споре с Марселем. Она сказала:

— Мне так хочется.

— Капризничать в таких делах! — заметил Марсель со своей тонкой усмешкой. — Ведь это же все равно, что взять да и постановить: огню красному стать огнем зеленым. Любовь — это маяк с меняющимися огнями.

Но Аннета упрямо твердила:

— Не для меня! Я так не хочу!

Она отлично чувствовала, как насущна для нее и потребность в перемене и потребность оставаться неизменной — два пламенных врожденных влечения, присущих

сильной натуре. Но возмущалось по очереди то, которому казалось, что именно ему и угрожает большая опасность.

Марсель, хорошо знавший гордую и настойчивую девушку, вежливо поклонился. Аннета, которая судила о себе так же верно, как судил о ней он, произнесла чуть-чуть сконфуженно:

— В общем, мне не хотелось бы...

После этой уступки, на которую она пошла в силу правдивости своей натуры, Аннета продолжала увереннее, чувствуя, что она теперь в своей сфере:

— Но мне хотелось бы, чтобы, принеся в дар друг другу верную любовь, каждый сохранил бы право жить так, как подскажет ему душа, идти своим путем, искать свою правду, отстаивать, если придется, поле своей деятельности, — словом, соблюдать закон своей духовной жизни и не поступаться им во имя закона, соблюдаемого другим, пусть даже самым дорогим на свете существом, ибо никто не имеет права приносить себе в жертву душу другого, ни свою душу — другому. Это — преступление.

— Все это прекрасно, милый мой друг, — сказал Марсель, — но, знаете ли, все эти разговоры о душе не по моей части. Вероятно, это скорее по части Рожэ. Боюсь, впрочем, что в данном случае он понимает ее совсем не так. Я не вполне ясно представляю себе, могут ли Бриссо постичь в своем семейном кругу, что возможен какой-то иной «духовный» закон, кроме закона, охраняющего их, Бриссо, благополучие, политическое и личное.

— Кстати, — сказала, смеясь, Аннета, — завтра я уезжаю к ним в Бургундию на две-три недели.

— Что ж, вот у вас и будет случай сравнить свои и их идеалы, — ответил Марсель. — Они ведь тоже великие идеалисты! Впрочем, может быть, я и заблуждаюсь. Думаю, что вы столкнетесь. В сущности вы просто созданы друг для друга.

— Не дразните! — сказала Аннета. — Вот возьму и вернусь оттуда законченной Бриссо.

— Черт возьми! Веселенькая будет история! Не делайте этого, пожалуйста! Бриссо ли, не Бриссо, а нашу Аннету сохраните.

— Увы! Хотела бы я ее утратить, да, боюсь, не удастся, — заметила Аннета.

Он откланялся, поцеловал ей руку.

— Как все-таки жаль!..

Он ушел. И Аннѣте тоже стало жаль, однако не того, о чем жалел Марсель. Он правильно разбирался в ней, но понимал ее не больше, чем Рожэ, который совсем в ней не разбирался. Понять ее могли бы более «верующие» души — более свободно верующие, чем души почти всех молодых французов. Те, кто верует, веруют в духе католицизма, а это означает подчинение и отречение от свободного полета мысли (особенно когда речь идет о женщине). А те, кто свободно мыслит, редко задумываются о сокровенных потребностях души.

Рожэ ждал с коляской у маленькой бургундской станции, куда на следующий день приехала Аннета. Стоило ей увидеть его — и все сомнения улетучились. Рожэ так обрадовался! Она не меньше. Она была бесконечно благодарна дамам Бриссо: они придумали какую-то отговорку и не явились встречать.

Ясный весенний вечер. На фоне золотого округлого горизонта нежно зеленела волнистая лента — светлая молодая листва — и розовели вспаханные поля. Заливались жаворонки. Шарабан несли по гладкой дороге, звеневшей под копытами горячей лошади; свежий ветер хлестал Аннету по румяным щекам. Она приникла к молодому своему спутнику, а он правил, и смеялся, и говорил ей что-то, и вдруг наклонялся, срывал с ее губ поцелуй на лету. Она не сопротивлялась. Она любила, любила его! Но это не мешало ей сознавать, что она вот-вот снова начнет осуждать его и осуждать себя. Одно дело осуждать, другое дело любить. Она любила его, как любила воздух, небо, аромат лугов, как некую частицу весны... Отложим раздумья до завтра! Она взяла отпуск на нынешний день. Насладимся чудесным часом! Он не повторится! Ей казалось, будто она парит над землей вместе с любимым.

Доехали они слишком быстро, хотя от последнего поворота шагом взбирались по тополевой аллее, а когда остановились, чтобы передохнула лошадь, то долго сидели

молча, крепко обнявшись, под защитой высокой ограды, заслонявшей фасад замка.

Бриссо обласкали ее. Осторожно навели разговор на воспоминания об ее отце, нашли какие-то душевные слова. В первый вечер, проведенный в кругу семьи, Аннета поддалась ласке: была благодарна, растрогана, — так долго ей не хватало домашнего уюта! Она тешилась иллюзией. Каждый из Бриссо старался по-своему быть милым. Сопrotивляемость ее ослабла.

А ночью она проснулась, услышала, как в тиши старого дома скребется мышь, и ей сразу представилась мышеловка; она подумала:

«Попалась я...»

Ей стало тоскливо, она попробовала успокоить себя:

«Ну нет, ведь я не хочу этого, вовсе я и не попала...»

От волнения испарина покрыла ее плечи. Она сказала себе:

«Завтра поговорю с Рожэ серьезно. Надо, чтобы он узнал меня. Надо честно обсудить, сможем ли мы жить вместе...»

Наступил завтрашний день, и она так рада была видеть Рожэ, так хорошо было тонуть в его горячей любви, вдыхать вместе с ним пьянящие нежные запахи, доносившиеся из вешних далей, мечтать о счастье (быть может, неосуществимом, но — кто знает? Кто знает? Быть может, оно совсем рядом... только протяни руку...), что отложила объяснения до следующего дня... И потом опять до следующего... И потом опять до следующего...

И каждую ночь ее охватывала тоска, такая острая, что ныло сердце.

«Надо, надо поговорить... Надо для самого Рожэ... С каждым днем он привязывается ко мне все больше, привязываюсь и я. Не имею я права молчать. Ведь это значит обманывать его...»

Господи, господи, какой же она стала слабовольной! А ведь прежде слабой не была. Но дуновения любви подобны тем знойным ветрам, от которых ты изнываешь, сгораешь, падаешь с ног; чувствуешь, как замирает сердце, теряешь силы, изнемогаешь в какой-то

странной истоме. Боишься двигаться. Боишься думать. Душа, притаившаяся в грезах, страшится яви. Аннета хорошо знала, что стоит шевельнуться — и разобьешь мечту...

Но пусть мы не двигаемся — за нас движется время, и дни в беге всем уносят иллюзию, которую так хотелось бы удерживать. Тщетно ты будешь следить за собой — если вы вместе с утра до вечера, то в конце концов проявишь себя, всю свою сущность.

И семья Бриссо показала себя без прикрас. Улыбка была вывеской. Аннета вошла в дом. Увидела занятых делами, прескучных буржуа, которые с алчным удовольствием управляли своими имениями. Тут помина не было о социализме. Взывали только к декларации прав собственности, а не к другим бессмертным принципам. Несдобровать было тому, кто на нее посягал. Их сторожа только и делали, что, не зная отдыха, привлекали всех к ответственности. Да и Бриссо самолично вели за всем строжайший надзор — источник их радостей и горестей. Они словно из засады шли с боем на свою прислугу, на фермеров, виноградарей и на всех соседей. Неуживчивость, сутяжничество, присущие их роду и всем провинциалам, пышным цветом расцвели в семье. Папаша Бриссо весело смеялся, когда ему удавалось поймать в ловушку того, кого он подсиживал. Но не он смеялся последним: противник был вылеплен из той же — из бургундской — глины, его нельзя было застичь врасплох; на другой день, в отместку, он устраивал какой-нибудь подвох на свой лад. И все начиналось сначала.

Конечно, Аннету не втягивали во все эти дразги; Бриссо обсуждали их в гостиной или за столом, когда Рожэ и Аннета, казалось, были поглощены друг другом. Но внимание у Аннеты было острое, и она следила за всем, о чем говорилось вокруг. Да и Рожэ вдруг прерывал нежную беседу и вступал в общий разговор, который велся с воодушевлением. Тут все начинали горячиться; говорили, не слушая друг друга; об Аннете забывали. Или утверждали, будто она — свидетельница событий, о которых она и понятия не имела. Так все и шло, пока г-жа Бриссо не вспоминала о присутствии



той, которая слушает их, не пресекала спора, не улыбалась ей сладенькой своей улыбочкой и не переводила разговора на путь, усеянный цветами. И все, как ни в чем не бывало, опять становились приветливыми, милыми. Забавное смешение показной добродетели и вольных шуточек было характерно для стиля их разговоров — под стать тому, как сочетались в замке жизнь на широкую ногу и скарденность. Весельчак Бриссо любил побалагурить. Девица Бриссо любила поговорить о поэзии. На эту тему рассуждали здесь все. Воображали, будто знают толк в поэзии. Вкус же их устарел лет на двадцать. О всех видах искусства суждения у них были незыблемые. Зажидились они на мнении, проверенном должным образом и высказанном «нашим другом таким-то» — членом академии, притом сплошь украшенным орденами. Нет на свете умишек трусливей — даже у людей с весом, — чем у таких представителей крупной буржуазии, которые почитают себя людьми передовыми и в области искусства и в области политики, но которые не являются людьми передовыми ни в той, ни в другой области, ибо и в той и в другой области они выступают — и делают это вполне сознательно — лишь после того, как другие выиграли за них сражение.

Аннета чувствовала, как далека она всем им. Приглядывалась, прислушивалась и думала:

«Да какое мне дело до всех этих субъектов?»

Мысль, что мамаша или дочка вздумают ее опекать, уже не возмущала, а смешила Аннету. Она спрашивала себя, что подумала бы Сильвия, если бы ее одарили такой семейкой. Вот бы ахала, вот бы смеялась!

И порой Аннета, оставшись одна в саду, тоже смеялась. Случалось, Рожэ услышит, удивится и спросит:

— Что вас так насмешило?

Она отвечала:

— Ничего, милый. Сама не знаю. Так, чепуха...

И она старалась принять свой обычный благонравный вид. Но пересилить себя не могла — смеялась еще звонче, и даже в лицо г-же Бриссо. Просила извинения, а дамы Бриссо говорили снисходительно, но с легкой досадой:

— Она еще совсем дитя! Ну, пусть себе посмеется!

Но не всегда ей бывало смешно. Ее чудесное настроение вдруг омрачалось. Целыми часами, озаренными радостью, была она полна нежности и доверия к Рожэ, но вдруг без всякого перехода, без всякой причины на нее нападали хандра, сомнение, тоска. Душевная неуравновешенность, возникшая нынешней осенью, не только не прошла, а, пожалуй, усилилась за эти месяцы взаимной любви. Лавиной обрушивались какие-то удивительно разноречивые настроения: Аннета раздражалась, язвила, зло подтрунивала, смотрела недоверчиво и надменно, сердилась — и не объяснить было, отчего. Немало усилий делала Аннета, чтобы перебороть себя. Ничего хорошего не получалось: она замыкалась в каком-то тревожном, враждебном молчании. Рассудок попрежнему был ясен, — вот почему ее поражали такие быстрые смены настроения, и она укоряла себя. И, однако, почти все оставалось по-прежнему. Зато, сознавая свои недостатки, она — и это скорее шло от разума, чем от души, — начинала снисходительно относиться к недостаткам всех этих «чучел». (Опять!.. Невежа!.. «Простите, больше не буду!..») Ведь они были родственниками Рожэ, а раз она принимала Рожэ, то должна была принимать и их. Вопрос заключался лишь в том, принимает ли она Рожэ. Господи, да разве важно, разве важно все остальное, когда защищаешься вдвоем?

Только вдвоем ли? Защитит ли ее Рожэ? Прежде чем спрашивать себя, принимает ли она Рожэ, надо узнать, примет ли ее искренно, с открытым сердцем сам Рожэ, когда увидит ее такой, какая она есть на самом деле. Пстому что до сих пор он видел только ее рот и ее глаза. А вот то, о чем она — настоящая Аннета — размышляла, чего хотела, он, казалось, не очень-то стремился знать: находил, что куда удобнее ее выдумывать. Однако Аннета тешила себя надеждой, что любовь поможет им, когда они смело заглянут друг другу в душу, решить так:

«Я беру тебя. Беру тебя со всем, что есть в тебе. Беру тебя со всеми твоими недостатками, твоими страстями, твоими потребностями, с твоим законом жизни. Ты есть то, что ты есть. Со всем, что есть в тебе, я и люблю тебя».

Она-то знала, что готова пойти на все во имя любви. Последние дни она подолгу наблюдала за Рожэ своими

большими глазами, которые все подмечали, благо этого никто не остерегался. Рожэ стал очень неосмотрителен: он проявлял себя более типичным Бриссо, чем ей хотелось, с увлечением защищал то, что было выгодно его родичам, вникал во всякие распри, внося во все дух крючкотворства. Некоторые черточки, говорившие о жестокости его характера, о его мелочности, ей претили. Но ей не хотелось судить его строго, как она судила бы кого-нибудь другого. Она считала, что все это в нем наносное. Рожэ во многом представлялся ей малым ребенком, который слепо подчиняется своим родным, следует их примеру с благоговейной доверчивостью; ей казалось, что ум у него несмелый, вопреки его выпрненным речам. Хотя она и начинала постигать, как неосновательны все его проекты улучшения общественного строя, и уже не была одурочена его идеализмом на словах, однако не сердилась на него, ибо знала, что он не хотел ее обмануть, что одурочен он сам; она даже готова была с мягкой иронией устранить с его дороги все, что могло бы развеять иллюзию, жизненно важную для него. Даже его откровенный эгоизм, который порой так раздражал Аннету, теперь уже не отпугивал ее, казался ей безвредным. В сущности все его недостатки были недостатками, порожденными слабостью. И забавно было то, что порисоваться он любил именно силой... Закаленный человек... *Aes triplex*...<sup>1</sup> Беденький Рожэ! Это просто трогательно! Аннета тихонько посмеивалась над ним, но берегла для него целую сокровищницу снисходительности. Она очень любила его. Несмотря ни на что, считала, что он добрый, великодушный, увлекающийся. Так нежная мать, чья рука не карает родное дитя за грешки, в ее глазах совсем не страшные, находит, что дитя за них не отвечает, и готова еще больше жалеть его и лелеять. Да и к тому же Аннета смотрела на Рожэ не только глазами снисходительной матери! У нее были глаза влюбленной, а они очень пристрастны. Говорила плоть. Громко звучал ее голос. Разум мог говорить все что ему угодно — можно так прислушиваться к его голосу, что даже хула разжигает страсть. Да, Аннета все видела. Но как тот, кто, склонив голову и прищулив

---

<sup>1</sup> Трижды медь... (лат.)

глаза, видит, до чего гармонично сочетаются все линии ландшафта, так и Аннета, видя неприятные черты Рожэ, смотрела на них под таким углом зрения, что они смягчались. Она была близка к тому, чтобы полюбить в нем даже все самое гадкое: ведь еще больше отдаешь себя, полюбив недостатки того, кого любишь; когда же любишь то, что в другом прекрасно, не отдаешь, а берешь. Аннета размышляла:

«Люблю тебя за то, что ты несовершенен. Ты рассердился бы, когда б узнал, что я это вижу. Прости! Ничего я и не видела... А вот я не похожа на тебя: хочу, чтобы ты увидел меня во всем моем несовершенстве! Будь, чем ты есть, — это я и ценю. В моем несовершенстве больше меня самой, чем во всем прочем. Если ты берешь меня, то возьми именно такой. Возьмешь? Да ты ведь не хочешь меня утешать. Когда же ты потрудишься рассмотреть меня?»

Рожэ не спешил. Аннета не раз тщетно пыталась увлечь его на этот опасный путь, а он словно его избегал; но вот однажды, когда они гуляли, Аннета вдруг умолкла, остановилась, взяла его за руки и сказала:

— Нам нужно поговорить, Рожэ.

— Поговорить! — повторил он, смеясь. — Но, по моему, мы только и делаем, что говорим.

— Я не про то, — ответила она, — не про ласковые речи: поговорим серьезно.

На его лице мелькнул испуг.

— Не бойтесь, — заметила она. — Мне хочется поговорить с вами о себе.

— О вас? — сказал он, просияв. — Что может быть приятнее!

— Подождите, подождите! — остановила она его. — Выслушайте меня, и тогда вы, пожалуй, больше этого не скажете!

— Ничего нового я не услышу. Столько дней мы провели вместе и разве не обо всем сказали друг другу?

— Я лишь успевала соглашаться, — возразила Аннета, смеясь. — Ведь только вы и говорите.

— Вот злючка! — сказал Рожэ. — Разве я говорю не о вас?

— Да, и обо мне. Даже за меня говорите.

— Вы находите, что я много говорю? — с простодушным видом спросил Рожэ.

Аннета прикусила губу.

— Нет, нет, Рожэ, милый, мне нравится, когда вы говорите. Но когда вы говорите обо мне, я сижу и слушаю; все это до того прекрасно, до того прекрасно, что я думаю: «Пусть будет так». Но ведь это не так.

— Вы — первая женщина на свете, которая сетует, что портрет ее прекрасен.

— Я предпочитаю, чтобы в нем было сходство. Ведь не прекрасный портрет намерены вы, Рожэ, повесить у себя в доме? Я — живая, я — женщина, у которой свой мир желаний, страстей, мыслей. Уверены ли вы, что она может войти в ваш дом со всеми своими пожитками?

— Принимаю ее с закрытыми глазами.

— Откройте их, прошу вас.

— Я вижу вашу ясную душу, она отражается на вашем лице.

— Милый, хороший мой Рожэ! Вам ничего не хочется видеть.

— Я люблю вас. Мне этого достаточно.

— Я тоже люблю вас. И мне этого недостаточно.

— Недостаточно? — переспросил он упавшим голосом.

— Нет. Мне нужно видеть.

— Что вам хочется видеть?

— Хотелось бы видеть, *какая* у вас любовь ко мне.

— Я люблю вас больше всех на свете.

— Разумеется! Мельчить не в вашем характере. Но я не спрашиваю, сколько у вас любви ко мне, а спрашиваю, *какая* она... Да, я знаю, что я — ваша желанная, но что именно желали бы вы сделать из своей Аннеты?

— Свою половину.

— Вот как!.. Дело в том, друг мой, что я не половина. Я — Аннета, вся целиком.

— Так принято говорить. Я хочу сказать, что вы — это я и что я — это вы.

— Нет, нет, не будьте мною! Пусть мною, Рожэ, буду я сама!

— Мы соединяем наши жизни, и разве отныне у нас не будет единая жизнь?

— Вот это меня и тревожит. Боюсь, что одинаковой жизни у нас не будет.

— Что вас смущает, Аннета? Что у вас на душе? Вы любите меня, не правда ли? Любите. Это главное! Об остальном не тревожьтесь. Остальным займусь я. Вот увидите: я все так устрою, — вместе с моими родными, которые станут вашими родными, мы так устроим вашу жизнь, что вам останется лишь одно: позволить носить себя на руках.

Аннета, опустив голову, чертила по земле ногой вензеля. Она улыбалась:

«Милый мальчик! Ничего-то он не понимает...»

Затем подняла глаза на Рожэ, который преспокойно ждал ответа.

— Рожэ, взгляните на меня. Ведь правда, у меня сильные ноги?

— Сильные и красивые, — ответил он.

— Не в этом дело... — сказала она, погрозив пальцем. — Ведь правда, я — неутомимый ходок?

— Несомненно, — подтвердил он, — и это меня восхищает.

— Неужели вы думаете, что я соглашусь, чтобы меня носили на руках? Вы очень, очень добры, и я благодарю вас, но позвольте мне ходить самой! Я не из тех, кто боится дорожной усталости. Отнять ее у меня, значит отнять у меня вкус к жизни. Мне иногда кажется, что вы и ваши родные — все вы собираетесь действовать и выбирать за меня, что вы, Рожэ, со всеми удобствами расставляете по предназначенным для этой цели полочкам свою жизнь, их жизнь, мою жизнь, — все будущее. Но я бы этого не хотела. Я этого не хочу. Я чувствую, что я в начале пути. Я иду. Я знаю, что мне необходимо искать, искать себя.

Выражение лица у Рожэ было ласковое и насмешливое.

— Что же вы будете искать?

Он считал, что все это — ребяческая прихоть. Она это почувствовала и сказала взволнованно:

— Не насмехайтесь! Я не представляю собой ничего особенного, ничего не воображаю о себе... Но все же я знаю, что я существую, что мне дана жизнь — коротенькая жизнь... Жизнь не длинна, и живешь только раз. Я имею право... Нет, не право, если хотите, — это звучит эгоистично... Мой долг не упускать ее, не швыряться ею...

Его это не растрогало, наоборот — обидело:

— Значит, по-вашему, вы швыряетесь ею? Разве вы упустите ее? Разве она не получит хорошего, превосходнейшего применения?

— Конечно, получит... Но какое же? Что вы мне предлагаете?

Он снова стал с жаром описывать свою политическую карьеру, будущее, о котором мечтал, свои чаяния — личные и общественные — во всем их величии. Она послушала его; потом мягко остановила в самом разгаре речи, ибо тема эта ему никогда не надоедала.

— Да, Рожэ, — сказала она. — Конечно. Это очень, очень интересно. Но по правде сказать — вы только не обижайтесь! — я не верю так же твердо, как вы, в то дело, которому вы себя посвятили.

— Что? Вы в него не верите? Да ведь вы же верили, когда я говорил вам о нем в начале нашего знакомства в Париже...

— Я несколько изменила свое мнение, — ответила она.

— Что заставило вас его переменить? Нет, нет, это невозможно... Вы опять его перемените. Моя великодушная Аннета не может стать безучастной к народному делу, к обновлению общества!

— Да я к нему и не безучастна, — сказала она. — Я безучастна только к политическим проблемам.

— Одно с другим связано.

— Не совсем.

— Победа одного повлечет за собой победу другого.

— Сомневаюсь.

— Однако это единственный способ служить прогрессу и народу.

(Аннета подумала: «Служа самому себе». Но ей стало стыдно.)

— А я вижу и другие.

— Какие же?

— Самый старый и пока еще самый лучший. Способ тех, кто следовал за Христом: отдавать все, бросать все и вся во имя служения людям.

— Утопия!

— Да, пожалуй. Вы не утопист, Рожэ. Я так думала на первых порах. Я разуверилась в этом теперь. В политической деятельности вами руководит практическая жилка. Вы очень талантливы, и я убеждена, что вы добьетесь успеха. В деле вашем я сомневаюсь, зато не сомневаюсь в вас. Перед вами великолепная карьера. Я предсказываю вам, что вы будете лидером партии, признанным оратором, сколачивающим в парламенте большинство, министром...

— Полно, перестаньте! — воскликнул он. — «Макбет, ты станешь королем!»

— Да, я, пожалуй, вещунья... для других. Но вот до сада — не для себя.

— А ведь тут все ясно! Если я стану министром, то и на вас это отразится... Скажите откровенно, разве вы этому не обрадуетесь?

— Чему? Если стану министершей? Господи! Да ни чуточки! Простите, Рожэ, — за вас, конечно, я порадуюсь. И если я буду с вами, то, конечно, постараюсь как можно лучше играть свою роль, счастлива буду помочь вам... Но (вы ведь хотите, чтобы я была откровенна, не правда ли?) сознаюсь: такая жизнь не наполнила бы, отнюдь не наполнила бы моей жизни.

— Это вполне понятно. Женщина, созданная для того, чтобы стать спутницей жизни политического деятеля, — возьмите, например, такую замечательную женщину, как моя мать, — этим не ограничится. Истинное ее назначение — у очага. Ее призвание — материнство.

— Знаю, ведь никто и не оспаривает, что это наше призвание, — проговорила Аннета. — Но (я боюсь вам это сказать, боюсь, что вы меня не поймете)... я еще не знаю, что мне даст материнство. Я очень люблю детей. Думаю, что буду очень привязана к своим... (Вам не нравится это слово? Да, вам кажется, что я холодна.) Быть может, буду обожать их... Возможно. Не знаю... Но мне не хочется рассуждать о том, чего я не чувствую.



И, откровенно говоря, это «призвание» во мне еще не совсем проснулось. А сейчас, пока жизнь не разбудила во мне того, что мне неизвестно, я считаю, что женщина ни в каком случае не должна всю свою жизнь отдавать любви к ребенку... (Не хмурьтесь!) Я убеждена, что можно очень любить своего ребенка, добросовестно исполнять домашние обязанности, однако надлежит беречь богатство своего «я» во имя того, что важнее всего на свете.

— Важнее всего?

— Во имя своей души.

— Не понимаю.

— Как заставить другого постичь твою внутреннюю жизнь? Слова так туманны, так неясны, нелепы! Душа... Смешно говорить о своей душе! Что это значит? Не объяснишь, что. Но она есть. Это — я сама, Рожэ. Самое во мне правдивое, самое сокровенное.

— Разве вы не отдаете мне все самое свое правдивое, самое сокровенное?

— Все отдать не могу, — сказала она.

— Значит, вы меня не любите?

— Нет, Рожэ, люблю. Но все отдать никто не может.

— Это не любовь. Когда любишь, нет и мысли, что надо сберечь что-то для себя. Любовь... любовь... любовь...

И он разразился длиннейшей речью. Аннета слушала, как он восхваляет в выпренных словах полную отдачу самого себя, радость самопожертвования ради счастья любимого человека. И думала:

«Милый, зачем ты все это говоришь? Воображаешь, будто я этого не знаю? Воображаешь, будто я не могла бы принести себя в жертву тебе, если понадобилось бы, и не обрела бы в этом радости? Но при одном условии: чтобы ты этого не требовал... Почему ты требуешь? Почему ты ждешь этого так, словно это твое право? Почему нет у тебя веры в меня, в мою любовь?»

Наконец, он замолчал, и она сказала:

— Все это великолепно. Я не способна, как вы знаете, так блистательно выражать свои мысли. Но при случае, может быть, я была бы способна это почувствовать...

— Может быть! При случае! — воскликнул он.

— Вы находите, что этого мало, не правда ли? А ведь это больше, чем вам кажется... Но я не люблю обещать больше (а вдруг окажется даже меньше?) того, что могу выполнить. Заранее не знаю... Нужно доверять друг другу. Мы люди порядочные. Мы любим друг друга, Рожэ. Будем делать друг для друга все, что можно.

— Все, что можно!.. — всплеснув руками, снова воскликнул он.

Аннета улыбнулась.

— Согласны вы доверять мне? — продолжала она. — Я вынуждена призвать вас к этому. Просить придется о многом...

— Говорите! — осторожно ответил он.

— Я вас люблю, Рожэ, но хочу быть правдивой. С детства я жила довольно замкнутой и очень привольной жизнью. Отец предоставлял мне полнейшую независимость, которой я не злоупотребляла, потому что она казалась мне естественной и потому что она была здоровой. Я привыкла рассуждать, и теперь мне трудно обойтись без этого. Я отдаю себе отчет в том, что немного отличаюсь от большинства девушек моего класса. И все же, мне кажется, я чувствую то же, что чувствуют и они; только я осмеливаюсь сказать об этом, яснее сознаю все это... Вы просите, чтобы я соединила свою жизнь с вашей. Я тоже хочу этого. Самое сокровенное желание каждой из нас — найти спутника, милого сердцу. И мне думается, Рожэ, что вы могли бы им стать... если... если бы вы захотели...

— Если бы я захотел! — воскликнул он. — Да вы шутите. Только этого я и хочу.

— Если бы вы по-настоящему захотели стать спутником моей жизни. Я не шучу. Подумайте!.. Ведь соединить наши жизни не означает покончить с той или с другой... А что мне предлагаете вы? Правда, вы этого не сознаете, потому что люди давным-давно привыкли к такому неравенству. А для меня оно — новость... Вы входите в мою жизнь не только со своей любовью. Входите со своими близкими, друзьями, знакомыми, со своей родней, со своей карьерой, со своим будущим, ясным для вас, со своей партией и ее догматами, со своей семьей и ее традициями — с целым миром, который принадлежит

вам, с целым миром, который и есть вы сами. А мне, которая тоже обладает своим миром и которая тоже сама есть целый мир, вы говорите: «Бросай свой мир! Отшвырни его и входи в мой!» Я готова войти, Рожэ, но войти вся целиком. Принимаете вы меня всю целиком?

— Но я же и хочу обладать всем, — ответил он, — а вот вы только что сказали, что отдать мне все не можете.

— Вы меня не хотите понять. Я говорю: «Принимаете ли вы меня свободной? И принимаете ли всю целиком?»

— Свободной? — ответил осмотрительный Рожэ. — Во Франции все свободны с тысяча семьсот восемьдесят девятого года...

(Аннета улыбнулась: «Вывернулся!»)

— Нужно же, наконец, договориться. Ясно, что, выйдя замуж, вы тотчас перестанете быть совсем свободной. Другими словами, возьмете на себя некоторые обязательства.

— Не очень-то я люблю это словечко, — сказала Аннета, — хотя смысл его меня не пугает. Радостно, охотно приняла бы я на себя часть забот и трудов того, кого я люблю, — те обязанности, которые приходится исполнять в совместной жизни. И чем тягостнее были бы они, тем стали бы мне дороже, потому что мне помогла бы любовь. Но и ради этого я не откажусь от тех обязанностей, которые требует от меня моя личная жизнь.

— Какие же это еще обязанности? Судя по тому, что вы мне рассказали и что, мне кажется, знаю я сам, жизнь ваша, дорогая моя Аннета, жизнь ваша, до сих пор такая тихая, такая скромная, как будто не предъявляла к вам особых требований. Чего же ей угодно сейчас? Вы подразумеваете свои занятия? Вам хотелось бы их продолжать? Я считаю, признаюсь вам, что такой род деятельности обманывает ожидания женщин. Если, конечно, нет призвания. По-моему, в семейной жизни это помеха... Впрочем, не думаю, что вы обременены сим даром богов. Слишком вы земная, уравновешенная.

— Нет, речь идет не о призвании. Тогда это было бы просто: возьми и следуй ему... Просьбу, требование (как вы говорите), которое предъявляет мне жизнь, не так

легко выразить яснее: это не очень определенное требование, но зато необычайно широкое. Речь идет о праве, которым должна пользоваться всякая живая душа: праве изменять.

— Изменять! Изменять любви? — снова воскликнул Рожэ.

— Даже если душа вечно хранит верность, — а я стремлюсь к любви на всю жизнь, — она имеет право изменять... Я понимаю, Рожэ: вас пугает само слово «изменить». Меня оно тоже тревожит. Когда нынешний час прекрасен, так хотелось бы затанцевать даже дыхание!.. Жаль, что нельзя остановить время навеки!.. Но ведь мы не имеем права это делать... да и не можем, впрочем. На месте не останавливаются. Живешь, идешь, тебя подталкивает что-то, надо, надо двигаться вперед! Любовь от этого не пострадает. Ее уносят с собой: ведь она может длиться всю жизнь, но всю жизнь она не заполняет. Подумайте, Рожэ, милый, что, любя вас, я ведь могу вдруг почувствовать (и уже чувствую), что задыхаюсь в кругу вашей деятельности и ваших мыслей. Я не стану осуждать путь, избранный вами, но зачем же принуждать меня идти по нему? Не находите ли вы справедливым дать мне волю, чтобы я растворила окно, если мне не хватит воздуха, и даже дверь (о, я не уйду далеко!), чтобы у меня была своя маленькая область деятельности, свои духовные запросы, свои собственные привязанности, чтобы не оставалась я в заточении где-то на одной точке земного шара, с куцым кругозором, а старалась расширить его, чтобы я могла переменить обстановку, уехать... (Я говорю: если так будет нужно... ведь я еще не знаю. Но во всяком случае я должна чувствовать, что вольна так поступать, вольна этого захотеть, вольна дышать, вольна... вольна быть вольной... даже если я никогда и не стану пользоваться своей волей.) Простите, Рожэ, но, может быть, вы находите, что потребность эта — чепуха, ребячество? Вы не правы, уверяю вас, это сама суть моего существа, дыхание, без которого нельзя жить. Отнимите у меня все это, и я умру... Во имя любви я сделаю все... Но принуждение для меня убийственно. Самая мысль о принуждении меня возмущает... Нет, союз двух существ не должен оборачиваться для них цепями. Он дол-

жен цвести пышным цветом. Хотелось бы мне, чтобы мы не ревновали друг друга к свободной, деятельной жизни, чтобы счастьем нашим было помогать друг другу. Будет ли это счастьем для вас, Рожэ? Будете ли вы любить меня такой — свободной, свободной от вас?

(«Тогда я была бы тебе еще ближе!..» — думала в это время она.)

Рожэ слушал ее озабоченно, раздраженно, чуть обиженно, как всякий мужчина на его месте. Аннете следовало бы взяться за дело поискусней. Но она так стремилась быть откровенной, так боялась ввести его в обман, что подчеркивала как раз то, что, по ее мнению, было ему всего неприятней. И если бы чувство Рожэ было глубже, он понял бы это. А Рожэ, — не говоря уже о том, как уязвлено было его самолюбие, — обуревало двойственное чувство: он не хотел принимать всерьез женский каприз и испытывал досаду при виде этого духовного бунта. Он не воспринял тревожного призыва, обращенного к его сердцу. Он понял лишь одно: что над ним нависла какая-то непостижимая опасность и что его, собственника, ущемляют в правах. Был бы он поопытней в обращении с женщинами, он затаил бы обиду и наобещал бы, наобещал, наобещал... все, чего хотелось Аннете. «Обещания влюбленного — пустые слова! Зачем же на них скупиться?» Но хоть и были у Рожэ недостатки, были у него и достоинства: этот, как говорится, «добрый малый» слишком был полон собой, чтобы хорошо изучить женщин, с которыми вдобавок мало имел дела. Скрыть досаду он не мог. Аннета ждала великодушных речей, но с разочарованием заметила, что, слушая ее, он думает лишь о себе.

— Признаюсь, Аннета, — начал он, — я никак не пойму вашей просьбы. Вы говорите о нашем браке так, словно для вас он — тюрьма; у меня такое впечатление, что вы только и думаете, как бы из нее вырваться. В окнах моего дома решеток нет, и он так построен, что в нем легко дышится. Нельзя жить, распахнув двери настежь, а мой дом создан для того, чтобы его не покидали. Вы говорите, что вам хотелось бы уходить из него, завести свою личную жизнь, своих знакомых, своих друзей и даже, если я понял вас правильно, иметь возможность

бросить, когда вам вздумается, семейный очаг, отправиться на поиски бог его знает чего — чего-то, что вам не удалось обрести дома, — а потом вернуться, когда заблагорассудится... Несерьезно это, Аннета! Вы это до конца не продумали. Да разве супруг потерпит положение, столь унижительное для него, столь двусмысленное для его супруги?

Рассуждения эти были, пожалуй, не лишены здравого смысла. Но бывают минуты, когда один лишь здравый смысл без участия сердца — бессмыслица. Аннета, чуть уязвленная, сказала надменным и холодным тоном, скрывавшим ее волнение:

— Рожэ, нужно верить женщине, которую любишь; нельзя, женившись на ней, оскорблять ее, думая, будто она меньше вас оберегает вашу честь. Уж не воображаете ли вы, что такая женщина, как я, могла бы повести себя двусмысленно, унижить вас? Всякое ваше унижение было бы унижением и для нее. И чем была бы она свободней, тем больше чувствовала бы, что долг ее — оберегать ту сторону вашей жизни, которую вы ей доверили. Нужно относиться ко мне с бóльшим уважением. Или вы не доверяете мне?

Он почувствовал, что высказывать сомнения опасно, что это только отдалит ее, и, подумав, что, пожалуй, не стоит придавать слишком большое значение всем этим женским выдумкам, что будет время и потом все это обсудить (если она вспомнит), вернулся к первой своей мысли: все превратить в шутку. Итак, он счел за благо предупредительно сказать:

— Я доверяю вам во всем, Аннета! Верю вашим прекрасным глазам. Поклянитесь мне только, что всегда будете любить меня, что будете любить меня одного! Бóльшего я у вас не прошу.

Но маленькая Корделия не могла примириться с тем, что ее собеседник так легкомысленно уклоняется от прямого ответа, от которого зависела вся ее жизнь, и отказалась обещать невозможное:

— Нет, Рожэ, я не могу, не могу поклясться вам в этом. Я очень люблю вас, но не могу обещать то, что от меня не зависит. Я обманула бы вас, а я никогда не стану вас обманывать. Обещаю лишь одно: ничего от вас

не скрывать. И если я разлюблю вас или полюблю другого, вы узнаете об этом первый, — даже раньше того, другого. И вы поступите так же! Будем, Рожэ, правдивыми!

Но это ничуть его не устраивало. Правда стесняет, поэтому она не была завсегдатаем в доме Бриссо. Только постучится у порога, а ей спешат сказать:

«Никого нет!»

И Рожэ не преминул сделать так же. Он воскликнул.

— Милая, до чего вы хороши! Право же, поговорим о чем-нибудь другом!..

Аннета вернулась с прогулки разочарованная. Ведь она так надеялась на откровенный разговор! Правда, предвидела сопротивление, но рассчитывала, что сердце Рожэ озарит его ум. И больше всего огорчало ее не то, что Рожэ не понял ее, а то, что он и не старался понять. Словно не видел для нее во всем этом ничего трагического. Он был человек поверхностный и все мерил своей меркой. А ничто не могло больше огорчить женщину со сложным внутренним миром.

Аннета не ошибалась. Ее слова озадачили, уязвили Рожэ, но он не предполагал, как они серьезны, считал, что они останутся без последствий. Он раздумывал о том, что Аннете приходят в голову странные, немного парадоксальные мысли, что она «оригиналка», был этим недоволен. Его мать, его сестра умудрялись быть женщинами необыкновенными и не быть «оригиналками». Но нельзя же было требовать таких талантов от всех. У Аннеты были другие достоинства, которые Рожэ, пожалуй, особенно и не превозносил, но которыми (следует признаться) он дорожил сейчас гораздо больше. В предпочтении этом тело играло более заметную роль, чем разум, но и разум играл тут роль. Рожэ очень нравилось, как она горячится под влиянием первого же порыва, — нравилось, когда это не задевало его. Он не тревожился. Аннета со всей прямоотой сказала, что любит его. Он был убежден, что она с ним не расстанется.

Он и не догадывался, какая внутренняя драма разыгрывается перед ним. На самом деле Аннета до того

любила его, что не могла примириться с его заурядностью. Ей хотелось верить, что она ошибается. Она еще не раз пыталась поговорить с ним, вкладывала в это всю душу. Рожэ не признавал за ней права на независимую жизнь, но какое же место по крайней мере оставлял он ей в своей жизни? Снова и снова приходил он к тем же обескураживающим заключениям. В своем наивном эгоизме Рожэ водворял ее за обеденный стол, в гостиную и в постель. Он был так мил, что собирался рассказывать ей о своих делах, ей же только и останется с ним соглашаться. Он уже не собирался признавать за женой права коллеги, который стал бы критиковать его политическую деятельность и мог бы изменить ее, больше того: он не собирался позволять ей заниматься общественной деятельностью, отличной от его деятельности. Ему казалось вполне естественным (так велось испокон веков), что любящая жена должна отдать мужу всю свою жизнь, а взамен получить лишь частицу его жизни. В глубине его души таилась уверенность в своем превосходстве, истари свойственная мужчине, который мнит, будто все, что отдает он, по существу своему гораздо ценнее. Впрочем, Рожэ в этом не сознавался: ведь он был славным малым и учтивым французом. Случалось, Аннета в подтверждение некоторых прав жены приводила в пример права мужа:

— Разные это вещи, — с усмешкой говорил Рожэ.

— Почему? — вопрошала Аннета.

Рожэ ловко уклонялся от ответа. Не так опасно поколебать убеждение, которое не обсуждается. А убеждения у Рожэ были косные. И Аннета избрала неправильный путь, когда хотела заставить его усомниться в себе. Уступчивость ее и то, как она старалась прийти к соглашению после тщетной попытки внушить ему свои взгляды, Рожэ истолковал как новое доказательство своей власти над ней. И становился все самоувереннее, проникался самомнением. Аннета, случалось, вдруг вспылит, ее голос дрогнет от возмущения. И Рожэ тотчас осекался, переводил разговор, применял тот метод, который, по его мнению, был так удачен: со смехом обещал все, что от него хотели. Говорят, что дело не в словах. А для Рожэ все это были одни слова. И Аннете было и обидно и больно.

Вставали и другие, более важные, вопросы. Под угро-



зой оказывалась дружба Аннеты и Сильвии. Было ясно, что всякая независимая девушка вряд ли была бы принята в этой среде, а швея тем более. Тщеславные, чопорные Бриссо ни за что не допустят, чтобы у них или у их невестки была такая позорящая их родственница. Пришлось бы утаить ее. А Сильвия не согласилась бы, Аннета тоже. Каждая была по-своему горда, и сестры гордились друг другом. Аннета любила Рожэ; ее тянуло к нему сильнее, чем она себе признавалась, но никогда ради него она не пожертвовала бы Сильвией. Слишком она любила ее. И пусть любовь эта потускнела, но Аннета не забывала, что в иные минуты, именно благодаря ей, она постигала всю глубину страсти (знала об этом лишь она одна, даже Сильвия не совсем об этом догадывалась). В те часы, когда и Рожэ и Аннета все откровенно повеяли друг другу, она рассказала ему многое. Рожэ как будто заинтересовался, растрогался. Да, но при условии, что все это прошлое. Его совсем не устраивало такое компрометирующее родство. И втайне он даже решил заставить ее порвать с Сильвией, исподволь, так, будто он здесь и ни при чем. Не желал он ни с кем делить привязанность своей жены. *Своей* жены... «Эта собака принадлежит мне». Он, как и вся его семья, очень дорожил тем, что ему принадлежало.

И чем дольше гостила у них Аннета, тем больше превращалась в их собственность — так пошло с той минуты, как они начали выказывать ей, свою благосклонность. Бриссо все прибирали к рукам. Каждый день в тысяче мелочей обнаруживалась домашняя тирания дам Бриссо. У них было «готовое», как говорится, мнение обо всем — шла ли речь о хозяйстве, о светских развлечениях, о делах житейских, или о величайших проблемах жизни духовной. Раз и навсегда привешивался, приклеивался ярлык. Все было расписано: что подобает восхвалять, что следует отвергать, особенно много следовало отвергать. Что только не подвергалось остракизму! Сколько людей, вещей, мнений и действий осуждалось, чему только не выносился приговор бесповоротный и окончательный! Тон и улыбка были такие, что и спорить не хотелось. Весь вид их говорил (они часто и на самом деле так говорили): «Тут не может быть двух мнений, душечка».

А когда Аннета пыталась доказать все же, что у нее есть свое мнение, они роняли:

— Душечка, вы, право, забавны!

И она тут же умолкала.

С ней уже обращались, как со своей, но девица была вышколена неважно, следовало ее поучить всему, что принято в их кругу. И все Бриссо ее учили, в каком порядке у них расписаны дни, месяцы и времена года, какие у них знакомые тут, в провинции, какие у них знакомые в Париже, какие родственные связи, какие визиты, обеды, — бесконечна была эта цепь светских повинностей, от которых дамы стонут и которыми они очень гордятся, ибо вечная суета хоть и утомляет их, но создает иллюзию, будто они служат какому-то делу. Бессмысленная эта жизнь, двуличность, вечные условности были нестерпимы для Аннеты. Всему, очевидно, отводилось время заранее: и трудам и удовольствиям, ибо и у них были свои удовольствия, только время им отводилось заранее!.. Да здравствуют непредвиденные осложнения, нарушающие уклад жизни! Но не было никакой надежды, что даже осложнения могут нарушить уклад здешней жизни. Аннета чувствовала, что ее замуровали — словно камень в стене! Песком и известью. Римский цемент. Замешен семейством Бриссо...

Она преувеличивала незыблемость уклада их жизни. В этой жизни, как и во всем, играли роль случай, непредвиденные обстоятельства. Дамы Бриссо на словах были страшнее, чем на деле; им хотелось главенствовать, но не так уж невозможно было провести их за нос, — надо было только найти их слабую струнку и сыграть на ней. Лстить им, кадить. И хитрая девушка, оценив их правильно, решила бы так: «Говорите, что хотите! А я буду поступать по-всеми».

Вероятно, им никогда не удалось бы подавить такую непреклонную волю, какая была у Аннеты. Но Аннета жила сейчас в том нервном возбуждении, которое охватывает женщин, когда они так долго всматриваются в предмет, занимающий их помыслы, что теряют представление об его подлинной сущности. Стоило днем каким-то словом встревожить ее, и вечером ее воображение вылепляло чудовище. Ее ужасала борьба, которую ей неустанно

предстояло вести, и она твердила, что никогда не защитить ей себя от них всех. Она чувствовала, что не очень сильна. Сомневалась в своей энергии. Боялась за свой характер; боялась неожиданных колебаний, из-за которых все не приходил в равновесие ее беспокойный ум, внезапных, необъяснимых перемен настроения. И, конечно, все это происходило оттого, что слишком сложна была ее одаренная натура; лишь постепенно, с годами, суждено ей было вновь обрести покой, а до тех пор она жила под вечной угрозой, что какая-то сила вот-вот застанет ее врасплох, и тогда она поддастся гневу, истоме, вожделению, раздумью, — поддастся коварным, роковым случайностям, устроившим засаду за поворотом минуты, под глыбами камней, лежащих на пути...

И в сущности она была в таком смятении оттого, что усомнилась в своей любви. Сама ничего не понимала... Не то разлюбила, не то любила попрежнему. Разум и сердце ее — разум и чувства ее — вели борьбу. Разум все видел слишком ясно: он уже не заблуждался. А вот сердце — нет, и плоть ее разбушевалась, потому что теряла желанного; страсть рокотала:

«Не желаю отступаться!»

Аннета чувствовала, как бунтует ее плоть, и это ее унижало; силы ее души стойко противодействовали, взывали к ее оскорбленной гордости. Она говорила:

«Я разлюбила его...»

И теперь, с неприязнью вглядываясь в Рожэ, она искала повод, чтобы разлюбить его.

Рожэ ничего не замечал. Он окружал Аннету вниманием, цветами, нежной заботой. Ведь он считал партию выигранной. Ни на секунду не подумал он о том, что гордая, дикая душа, скрытая от взоров, наблюдает за ним, горит желанием отдать себя, но лишь тому, кто скажет ей таинственный пароль, означающий, что они родственны друг другу. А он все не произносил его. Напротив, говорил какие-то необдуманные слова, которые ранили Аннету в самое сердце, хоть она и не показывала вида. А через минуту он уже не помнил, о чем говорил. Аннета же, которая будто ничего и не слышала, могла бы повторить дословно все, что он сказал, и десять дней и десять лет спустя. Оставалось яркое воспоминание, открытая рана.

И происходило это помимо ее воли, ибо она была великодушна и упрекала себя в том, что ничего не в силах забыть. Впрочем, самая добрая женщина на свете прощает тем, кто причинил ей душевную боль, но не забывает о ней никогда.

Шли дни, и все чаще рвалась тонкая ткань, вытканная любовью. Никто этого не замечал. Ткань попрежнему была натянута, но даже от легкого дуновения она тревожно колыхалась.

Аннета, наблюдая за Рожэ в семейном кругу, видела, как много в нем черт, присущих всей семье, как он резок, как черствы иные его слова, как он презирает простых людей, и размышляла:

«Он выцветает. Пройдет несколько лет — и от всего того, что я любила в нем, и следа не останется».

Но она еще любила его, поэтому ей и хотелось избежать горького разочарования, унижительных пререканий, которые — это она предвидела — возникнут, если они соединят свои жизни.

За два дня до пасхи решение было принято. Тягостная ночь. Пришлось побороть влечение к нему, растоптать упрямую надежду, которая все не желала умирать. В мечтах Аннета уже свила гнездо для себя и Рожэ. Сколько было грез о счастье, — таких, о которых тихонечко нашептываешь себе! И от них отказаться! Признать, что ошиблась! Твердить себе, что не создана для счастья!..

Она твердила себе об этом, потому что упала духом. Другая на ее месте ни за что не отвергла бы его. Почему же она не может принять его? Почему же не в силах пожертвовать частицей своего «я»? Да, она была не в силах сделать это! Как нелепо устроена жизнь! Не прожить без взаимной любви, а тем более не прожить без независимости. И то и другое — святыня. И то и другое необходимо, как воздух. Как их совместить? Тебе говорят: «Пожертвуй собой! А если не можешь пожертвовать собой, какая же это любовь?..» Но почти всегда те, кто создан для большой любви, всех неудержимей стремятся к независимости, ибо все чувства их сильны. И если они приносят в жертву любви гордость свою, то чув-

ствуют, что унижены в своей любви, что бесчестят свою любовь. Нет, совсем не так это просто, как пытаются нам внушить проповедники самоуничтожения или проповедники гордыни — христиане и ницшеанцы. Не сила в нас противодействует слабости, не добродетель — пороку, а две силы, две добродетели, два долга выступают друг против друга. Единственной на свете истинной моралью, которая соответствует жизненной истине, была бы мораль, проповедующая гармонию. Но человеческое общество знает пока лишь одну мораль, проповедующую угнетение и самоотречение, сдобренные ложью. Аннета лгать не могла.

Что же делать? Скорее, любой ценой выйти из двусмысленного положения! Она убедилась, что их совместная жизнь невозможна, значит надо порвать, и не медля!

Порвать!.. Она представила себе, как будет поражена вся семья, как будет возмущена... Все это пустяки... Но как огорчится Рожэ! Лицо любимого всплыло перед ней во мраке... И когда она увидела его, поток страсти вновь отбросил все остальное. То жаром, то холодом обдавало Аннету, и, лежа на спине в постели, не шевелясь и не смыкая глаз, она старалась обуздать свое сердце.

«Прости меня, Рожэ, родной мой! — умоляла она. — Ах, если бы я могла избавить тебя от этой муки! Но не могу, не могу!»

И тут она почувствовала такой прилив любви, такие угрызения совести, что готова была броситься к Рожэ, упасть на колени перед его кроватью, поцеловать ему руки, сказать ему:

«Сделаю все, что ты хочешь...»

Как! Она все еще любила его? Она возмутилась...

«Нет, нет! Я больше не люблю его!...»

Она лгала себе в исступлении:

«Больше не люблю его!...»

Тщетно! Она все еще любила его. И так сильно никогда еще не любила. Вероятно, это было не самое ее возвышенное чувство. (Но что такое возвышенное чувство? И что такое невозвышенное?) Нет, и самое возвышенное и самое невозвышенное! Тело и душа! Если бы было так: перестала уважать, перестала и любить! Как было

бы хорошо! Но когда страдаешь по милости того, кого любишь, от любви не избавляешься, с горечью сознаешь, что разлюбить бессильна!.. Чувства Аннеты были оскорблены, и она страдала оттого, что ей не доверяли, в нее не верили, оттого, что неглубока была любовь Рожэ. Она так страдала, так горько было ей видеть, что погибло столько надежд, которые она вынашивала, никому о них не рассказывая! Именно оттого, что так горячо любила она Рожэ, и было для нее так важно заставить его согласиться на ее самостоятельность. Ей хотелось вступить в брачный союз, чтобы стать не просто женой, обезличенной, бездеятельной, а свободным и верным товарищем. Он же не придавал этому ровно никакого значения. И она снова почувствовала, как ей обидно, как негодует ее оскорбленная любовь...

«Нет, нет! Не люблю его больше! Не должна, не хочу больше любить...»

Но тут Аннета не выдержала, и не успел отзвучать крик возмущения, как она заплакала... во мраке, в тишине... Увы! Она слушала холодный голос рассудка... сгорала... Не хотелось ей себе признаваться, но с какой радостью она всем пожертвовала бы ему, всем, что принадлежало ей, даже независимостью, если бы заметила хоть одно благородное движение его души, если бы он попытался, только попытался пожертвовать собой, а не стремился лишь к тому, чтобы принести ее в жертву себе! Ведь она и не позволила бы ему жертвовать собой. Она ничего не требовала бы у него, кроме великодушия, кроме этого доказательства настоящей любви. Но хоть он и любил ее по-своему, однако на такое доказательство чувств был не способен. Ему это и в голову не приходило. Он посчитал бы желания Аннеты просто-напросто женским капризом, который нельзя принимать всерьез, в котором нет смысла. Ну, чего ей еще желать? Черт знает из-за чего заплакала! Потому что любит его! Как же быть?

«Вы любите меня, не правда ли? Любите. Это главное!..»

Да, она не забыла эти слова!

Аннета улыбнулась сквозь слезы. «Милый Рожэ! Надо его принимать таким, какой он есть. Нечего на него

сердиться. Но себя мы не переделаем. Ни он, ни я. Вместе жить мы не можем...»

Она вытерла глаза.

«Итак, нужно с этим покончить...»

Миновала бессонная ночь (Аннета задремала на заре и проспала часа два), и она встала, полная решимости. Вместе с рассветом вернулось к ней и спокойствие. Она оделась, причесалась аккуратно, хладнокровно, отгоняя все, что могло пробудить в ней сомнение, тщательнее, внимательнее, чем обычно, следя за каждой мелочью туалета.

Около девяти часов в дверь весело постучал Рожэ. Он звал ее на прогулку — так повелось у них по утрам.

И они пошли; за ними, прыгая, бежала большая собака. Свернули на дорогу, уходившую в чащу леса. Леса зеленели, и сквозь молодую листву пробивались солнечные лучи. С ветвей струилось пение птиц. На каждом шагу — взлет, хлопанье крыльев, шелест листьев, шуршанье веток, растерянный бег зверьков через лес. Собака возбужденно тявкала, обнюхивала землю, кружила. Дрались сойки. На макушке дуба ворковали два диких голубка. А где-то вдали куковала кукушка — то поближе, то подальше, без усталости повторяя свою старую-престарую шутку. Весна была в самом разгаре...

Рожэ расшумелся, развеселился, хохотал, дразнил собаку и сам напоминал большого резвого пса. Аннета молча шла чуть позади. Думала:

«Вот тут... Нет, вон там, на повороте...»

Она смотрела на Рожэ. Внимала лесу... Как все переменялось бы сразу, если бы она заговорила! Миновали поворот. Она промолчала. Потом окликнула:

— Рожэ!

Неуверенно, глухо прозвучал ее голос — и оборвался... Рожэ не слышал. Он ничего не замечал. Стоял впереди нее и, наклонившись, срывал фиалки; болтал, болтал без умолку. Аннета повторила:

— Рожэ!

На этот раз в ее голосе звучала такая мука, что он тревожно обернулся. И, только сейчас заметив, как

смертельно побледнело ее строгое лицо, подошел... Ему стало страшно. Она сказала:

— Рожэ, нам придется расстаться.

Изумление, испуг исказили его лицо. Он тихо спросил:

— Что вы сказали? Что вы сказали?

Она повторила твердо, стараясь не смотреть на него:

— Нам придется расстаться, Рожэ, придется, как это ни печально. Я убедилась, что не могу, не могу стать вашей женой...

Ей не удалось договорить. Он прервал ее:

— Нет, нет, это неправда! Замолчите, замолчите! Вы сошли с ума!..

— Я уезжаю, Рожэ, — сказала она.

— Уезжаете? Не пушу!.. — крикнул он и, схватив ее за руки, сжал до боли.

И вдруг увидел такое гордое, такое волевое и холодное лицо, что сразу понял: все погибло; тогда он выпустил ее руки, стал просить прощения, требовать, молить:

— Аннета! Девочка моя! Останьтесь, останьтесь!.. Нет, это невозможно!.. Да что же произошло? Чем я провинился?

Суровое лицо вновь смягчилось от жалости.

— Присядем, Рожэ... — сказала она.

Он послушно сел рядом с ней на холмике, поросшем мохом; его глаза, не отрываясь, смотрели на нее, звали к каждому ее слову.

— Успокойтесь, нам нужно объясниться... Прошу вас, успокойтесь! Поверьте, что и мне очень трудно сохранять спокойствие... Я заставляю себя говорить...

— А вы не говорите! — сказал он. — Это просто безумие!..

— Так надо.

Он хотел было зажать ей рот рукой. Она отстранилась. Решение ее, очевидно, было так непоколебимо, несмотря на все душевное смятение, что Рожэ это понял, отказался от борьбы и слушал подавленно, растерянно, уже не смея на нее взглянуть.

Аннета, голос которой звучал бесстрастно, холодно, угрюмо, хотя то и дело пресекался, два-три раза умолкала, чтобы перевести дыхание, но сказала все, что решила сказать, в ясных, обдуманных, тактичных выраже-



ниях, казавшихся от этого еще неумолимей. Ей искренно хотелось испытать, могут ли они жить вместе. Вначале она надеялась, хотела этого всей душой. И увидела, что это неосуществимая мечта. Многое их разделяет. Слишком велика разница в среде, в образе мыслей. Она берет вину на себя; теперь она твердо уверена, что замужество не для нее. Ее взгляды на жизнь, на независимость женщин не совпадают со взглядами Рожэ. Быть может, Рожэ и прав. Почти все мужчины, а может быть, и женщины, придерживаются его мнения. Она, вероятно, не права. Но права ли, нет ли, а такой уж у нее характер. К чему же причинять горе другому и самой себе? Она не создана для жизни вдвоем. Она возвращает Рожэ его обязательства и снова получает свободу. Да ведь они ничем и не были связаны. Никакой фальши в их отношениях не было. И расстаться они должны без фальши, как друзья.

Она говорила, не отводя глаз от былинки, зеленевшей у ее ног, она боялась посмотреть на Рожэ. Но она слышала его прерывистое дыхание, и договорить ей было не легко. Договорила и решилась на него взглянуть. Тут была потрясена и она. Лицо у Рожэ было такое, будто он тонул: он побагровел, дышал с шумом, у него не было сил кричать. Он как-то неловко взмахнул судорожно сжатыми руками и, с трудом вздохнув, простонал:

— Нет, нет, не могу, не могу...

И вдруг разрыдался.

С пашни, с лесной опушки, донесся голос крестьянина, скрип плуга. Аннета растерялась, схватила Рожэ за руку, повела вглубь леса, подальше от дороги. Он совсем обесилел, шел покорно и все твердил:

— Не могу, не могу... Что же со мной станется?..

Она ласково просила его замолчать. Но его охватило отчаяние: уязвленная любовь, уязвленное самолюбие, мысль о том, что всем будет известно о его унижении, что счастье, о котором он так мечтал, теперь несбыточно, — все смешалось; взрослый ребенок, избалованный жизнью, никогда ни в чем не выдавший отказа, был подавлен своим поражением; то была катастрофа, крушение всех его надежд, он терял уверенность в себе, он терял почву под ногами, ему не за что было ухватиться. Аннета, растроганная его отчаянием, говорила:

— Друг мой... друг мой... не плачьте! У вас, перед вами чудесная жизнь... Я не нужна вам.

А он все твердил:

— Я не могу обойтись без вас. Я ничему больше не верю... Не верю больше, что жизнь мне удалась...

И молил, упав на колени:

— Оставайтесь! Оставайтесь!.. Я буду делать все, что вы хотите... все, что захотите...

Аннета отлично знала, что он не сдержит обещания, но душа ее смягчилась. Она ласково ответила:

— Нет, друг мой, хоть вы это и говорите искренне, но сдержатъ свое слово вы не можете, а если и сдержите, то это будет вам в тягость, да и мне также; жизнь наша превратилась бы в одно сплошное препирательство...

Он понял, что ему не поколебать ее решения, и залился слезами, как ребенок, прильнув к ее ногам. Сердце Аннеты дрогнуло от любви и от жалости. Ее воля никла. Она хотела дать отпор, но не устояла перед его слезами. О себе она больше не думала, думала только о нем. Она ласкала милую голову, припавшую к ее коленям, шептала нежные слова. Она приподняла своего безутешного взрослого мальчика, своим платком вытерла ему глаза, снова взяла за руку, заставила идти. Он был совсем без сил, позволял ей делать с собой все, что ей хотелось, и все время плакал. Они шли, и ветки хлестали их по лицу. Шли по лесу, ничего не замечая, не зная, куда идут. Аннета чувствовала, как ширятся в ней смятение и любовь. Она говорила, поддерживая Рожэ:

— Не плачьте! Милый мой... Мальчик мой... Не терзайте мою душу... Я этого не вынесу... Не плачь! Я люблю вас... Люблю тебя, мой бедный маленький Рожэ...

А он твердил всхлипывая:

— Не любите...

— Нет, люблю тебя, люблю, ты никогда так не любил меня, в тысячу раз больше люблю... Ради тебя я на все готова... Да, готова на все... Ведь ты мой, Рожэ!

Так они шли, и вдруг лес поредел, — они очутились у забора, окружавшего имение Ривьеров, у старого их дома. Знакомые места... Аннета взглянула на Рожэ. И внезапно в нее вторглась страсть. Испепеляющий шквал. Чувства охмелели, будто от пьянящего запаха

акции... Она подбежала к двери, не выпуская руку Рожэ. Они вошли в пустой дом. Ставни были закрыты. После яркого света оба словно ослепли. Рожэ натыкался на мебель. Он ничего не видел, ни о чем не думал, он послушно шагал — пылающая рука вела его в темноте по первому этажу дома. Аннета не колебалась, жребий был брошен... В самой дальней комнате, комнате сестер, там, где от прошедшей осени еще оставался аромат их тел, она подошла с ним к широкой кровати, на которой обе они тогда спали, и, изнемогая от жалости и страсти, отдалась ему.

Когда утих порыв страсти и они пришли в себя, их глаза уже привыкли к темноте. В комнате стало словно светлее. Из щелей в ставнях, приплясывая, тянулись полоски света, будто напоминая, что там, за стенами, ясный день. Рожэ покрывал поцелуями нагое тело Аннеты; он пылко благодарил ее...

Но, выговорившись, вдруг умолк, прильнул к Аннете, прижался к ней лицом... Аннета лежала молча, неподвижно — и думала... В саду, в кусте роз у стены, жужжали пчелы... И Аннета слышала, как слышишь песнь, замирающую вдали, что любовь Рожэ улетает...

Он уже не так сильно любил ее. Рожэ и сам со стыдом и досадой чувствовал это, но допустить этого не желал. В глубине души он был поражен, что Аннета так поступила. Смешная требовательность мужчины! Его влечет к женщине, а когда она доверчиво и искренне отдается ему, он готов расценить ее поступок, исполненный душевного благородства, как неверность!

Аннета склонилась к нему, приподняла его голову, молча долгим взглядом посмотрела ему в глаза, грустно улыбнулась. А он почувствовал, что ее взгляд проник ему в самую душу, но попытался ввести ее в заблуждение. Решил, что лучше всего прикинуться пылким и влюбленным.

— Теперь, Аннета, вам не уйти, — сказал он. — Я обязан жениться на вас.

Аннета снова печально улыбнулась. Она так хорошо читала в его сердце!

— Нет, друг мой, — заметила она, — ничуть не обязаны.

Он опомнился:

— Мне хочется...

Она в ответ:

— Я уезжаю.

Он спросил:

— Почему?

И не успела она ответить, как он понял, отчего она уезжает. Однако счел своим долгом отговорить ее. Она прикрыла ладонью его рот. Он поцеловал ладонь страстно, гневно... Ведь он так любил ее! Он стыдился своих мыслей. Уж не заметила ли она?

А мягкая, нежная ладонь прижалась к его губам, словно говоря:

«Ничего не заметила...»

Порой издали долетал звон сельского колокола... Они долго молчали, наконец Аннета вздохнула. Итак, на этот раз все кончено...

— Пора уходить, Рожэ... — негромко сказала она.

Объятия разомкнулись. Он опустился на колени перед постелью, прижался лбом к оголенным ногам Аннеты. Словно хотел доказать ей:

«Я твой».

Но ему не удавалось отогнать какие-то непрошенные мысли.

Он вышел из комнаты — Аннета осталась одна и принялась одеваться. Он ждал ее в палисаднике, облокотившись о забор, и, рассеянно слушая шум лесов и полей, упивался воспоминанием о том, что сейчас совершилось. Тягостные мысли исчезли. Он блаженствовал; удовлетворены были и его самолюбие и чувственность. Он был горд собой. Подумал:

«Бедная Аннета!»

Но тут же спохватился:

«Милая Аннета!»

Она вышла из дома. Спокойная, как всегда. Но только очень бледная... Кто бы мог сказать, что пережила она в те мгновения, пока оставалась одна: вспышки ли страсти, тоску ли, отчаяние? Рожэ ничего не приметил, он занят был только собой. Он пошел навстречу, снова попы-

тался уговорить ее. Она приложила палец к губам: не надо! У живой изгороди, опоясывавшей сад, сорвала ветку боярышника, разломилась надвое, полветочки протянула ему. А когда выходила из ворот, прильнула губами к губам Рожэ.

Возвращались молча по лесной тропинке. Она попросила его не прерывать молчания. Он держал ее за руку. Был очень нежен. Она улыбалась, полузакрыв глаза. Теперь он вел ее. И уже забыл, как плакал здесь час назад...

А в чаще леса собачий лай вспугивал дичь...

Она уехала наутро. Предлогом было письмо, внезапная болезнь какой-то престарелой родственницы. Но Бриссо нельзя было провести. Они все видели лучше Рожэ и последнее время подозревали, что упустят Аннету. Но им приличествовало не показывать вида, будто они допускают такую возможность, и прикинуться, будто отъезд не вызывает у них никаких сомнений. До последней минуты разыгрывался фарс на сюжет неожиданной разлуки и скорой встречи. Аннете была тяжела эта вынужденная роль, но Рожэ попросил ее объявить о своем решении попозже, написать из Парижа. И Аннета созналась себе, что ей было бы очень неприятно сообщить семейству Бриссо о нем устно. Поэтому-то, расставаясь, они улыбались, разговаривали с искусственным оживлением, обнимались, но не было во всем этом сердечности.

Снова Рожэ вез Аннету в шарабане, но теперь уже на станцию. Обоим было грустно; Рожэ, как подобает порядочному человеку, снова просил ее выйти за него замуж; сказал, что обязан жениться на ней, — ведь он был джентльмен. Джентльменского в нем было даже слишком много. Уж теперь, по его мнению, он был вправе показать Аннете свою власть, на благо ей самой. Он считал, что Аннета, отдавшись ему, потеряла чувство собственного достоинства, что отныне положение их не совсем одинаково и что он должен настаивать на браке. Аннета отлично понимала, что если они теперь поженятся, то он найдет себе в тысячу раз больше оправданий, чем прежде,

лишая ее самостоятельности. Конечно, она была признательна ему за то, что он так настойчив, тактичен. Но... она отказала ему... Рожэ втайне негодовал. Не мог понять ее. (Он воображал, что прежде понимал!) И строго ее осудил. Но себя не выдавал. Она же подметила все со смешанным чувством печали, иронии и, как всегда, нежности. (Ведь во всем этом был Рожэ!)

Когда подъезжали к станции, она положила руку, затянутую в перчатку, на руку Рожэ. Он вздрогнул.

— Аннета!

— Простим друг другу! — сказала она.

Он хотел ответить, но не мог. Они не разнимали рук. И не смотрели друг на друга. Но Аннета и Рожэ сдерживали слезы, набегавшие на глаза, и оба знали об этом...

Приехали на станцию — надо было следить за собой. Рожэ усадил Аннету в вагон. В ее купе были люди. Пришлось ограничиться обычными любезностями, но они не могли наглядеться друг на друга — хотелось запечатлеть в памяти милое лицо.

Паровоз свистнул. Они сказали:

— До свидания!

А подумали:

«Прощай навеки!»

Поезд ушел. Рожэ возвращался домой под вечер. Он был опечален и сердит. Сердит на Аннету. Сердит на себя. Его мучила тоска. Он испытывал — о стыд! — чувство облегчения.

Он остановил лошадь на пустынной дороге и, изнемогая от презрения к себе, от презрения и от любви к себе, горько заплакал.

Аннета возвратилась домой в Булонский лес и стала жить затворницей. Письмо к Бриссо ушло, и она порвала связь с миром. Никто из друзей не знал, что она вернулась. Писем она не распечатывала. Целыми днями не выходила из квартиры. Старая тетка никогда не понимала ее и, привыкнув, ничуть не тревожилась и не нарушала ее уединения. Жизнь внешне словно прекрати-

лась. Зато другая — внутренняя жизнь — стала еще напряженнее. В безмолвии порой неистовствовала раненая страсть. Аннете нужно было остаться одной, чтобы жить только ею. После бурных вспышек она чувствовала себя надломленной, обескровленной; губы пересыхали, лицо пылало, руки и ноги леденели. Потом она надолго впадала в оцепенение, грезилась в тяжелом полусне. Грезилась она наяву и не пыталась руководить своими мыслями. Ею овладели какие-то смутные ощущения, и не было им числа... Мрачная печаль, горькая нежность, привкус пепла во рту, несбыточные мечты, внезапно вспыхнувший луч воспоминаний, от которого сердце готово было выпрыгнуть из груди, приступы уныния, муки уязвленной гордости и страсти, ощущение гибели, ощущение чего-то непоправимого, рокового, против чего напрасны все усилия, — все это сначала подавляло, потом стало просто наводить тоску, потом понемногу вылилось в какое-то безразличие, окрашенное уходящей печалью, в которой было что-то удивительно приятное. Она не понимала, что с ней...

Ей как-то приснилось, что она в лесу, отягченном набухшими почками. Будто она совсем одна. Она бежала по лесной чаще. Ветки цеплялись за ее платье; не пускал мокрый кустарник; вот она вырвалась, но разорвала платье, ей стыдно — ведь она полуголая. Нагнулась, прикрылась юбкой, разодранной в клочья. И вот она видит: перед ней на земле круглая корзина, под грудой листьев, освещенных солнцем, — не желтых и не золотых, а серебристых, белых, как кора березы, белых, как тонкое-претонкое полотно. Она взволнованно всматривается, опускается на колени. Вдруг под полотном что-то шевельнулось. Сердце у нее колотится, она протягивает руки — и просыпается... Волнение не утихло... Она не могла понять, что с ней...

Настал день, когда она поняла все. Больше она не была одинока. В ней пробуждалась жизнь, новая жизнь...

Шли недели, а она вынашивала в себе целую вселенную.

«...Любовь, ты ли это? Любовь, покинувшая меня в тот час, когда я вообразила, будто овладела тобою, не ты ли сейчас во мне? Крепко-прекрепко я держу тебя, и ты не уйдешь, о родной мой пленник, крепко держу я тебя, ты — в моем чреве. Мсти! Поглоти меня! Крошка моя, грызи мое чрево! Пей мою кровь! Ты — это я. Ты — моя мечта. На земле я тебя не нашла и создала тебя из самой себя... Вот когда, Любовь, я завладела тобой! Я воплотилась в того, кого люблю!..»



# **Книга вторая**

## **ЛЕТО**

---

To strive, to seek, not to find, and not to yield.

Стремиться, искать, не находить, но и не сдаваться.

*Перевод*  
*М. АБКИНОЙ*

## *Часть первая*

В комнате с прикрытыми ставнями царил полумрак. Аннета в белом пенюаре сидела на кровати, ее только что вымытые волосы были распущены по плечам. В открытое окно вливался послеполуденный жар золотого августовского дня. Здесь словно чувствовалось сонное оцепенение Булонского леса, дремавшего на солнце где-то за окнами. И Аннета испытывала такое же состояние тихого блаженства. Она способна была часами лежать; не двигаясь, ни о чем не думая, не чувствуя потребности о чем-нибудь думать. Ей было достаточно сознания, что она не одна, что теперь их двое, и она даже не пыталась разговаривать с тем крохотным человечком, который жил в ней, — она была уверена, что он чувствует то же, что и она, и, значит, они без слов понимают друг друга. При мысли о нем волна нежности поднималась в ней. Потом, сонно улыбаясь, Аннета снова погружалась в свое блаженное забытие.

Но в то время как душа дремала, ощущения сохраняли удивительную остроту, мгновенно отзываясь на тончайшие вибрации воздуха и света. Вот из сада повеяло сладким ароматом клубники... И Аннета уже с наслаждением вдыхает его, ощущает вкус ягод на языке. От ее слуха не ускользает ни один звук, и все тешит его — шелест листьев, тронутых ветерком, скрип песка под чьей-то ногой, голос на улице, звон колокола, зовущего к вечерне. Вдали, как огромный муравейник, гудит Париж. Париж 1900 года... Лето всемирной выставки. Марсово поле напоминало огромный чан, в котором бродят на солнце тысячи гроздей человеческого винограда... Это

чудовищное кипение было настолько близко, что Аннета слышала и ощущала его, и вместе с тем достаточно далеко, так что она чувствовала себя в безопасности и еще больше наслаждалась прохладой и мирной тишиной своего уголка. «О суета сует! Истинное счастье — здесь, внутри меня!..»

Рассеянным и чутким, как у кошки, ухом Аннета ловила один за другим все звуки и лениво следила, как они замирают. Вот внизу у входной двери звякнул звонок, и она узнала мелкие шагжки Сильвии, которая, как всегда, не шла, а взбегала по лестнице. Аннете хотелось быть одной. Но счастье ее было так прочно, что она знала: кто бы ни пришел, он ничем не сможет омрачить его.

Сильвия узнала новость только неделю назад. Она с весны не имела от Аннеты никаких вестей. Но, занятая своим новым романом, хотя и не очень глубоко волновавшим ее, она не замечала долгого молчания Аннеты. Когда же с романом было покончено и он уже не занимал ее мыслей, у Сильвии нашлось время подумать о сестре, и она забеспокоилась. Решив справиться у тетки, что с Аннетой, она пошла в их дом на Булонской набережной и была очень удивлена, узнав, что Аннета вернулась — и так давно! Она хотела было хорошенько разбранить сестру за такое невнимание, но Аннета приготовила ей еще и другой сюрприз: скрывая волнение, она сразу рассказала Сильвии все без утайки. Сильвии стоило больших усилий дослушать до конца. Как! Аннета, благоразумная Аннета могла сделать такую глупость, да еще потом отказалась выйти замуж, — нет, это неслыханно, этого нельзя допустить! Новоявленная Лукреция была возмущена. Она накинулась на Аннету, назвала ее сумасшедшей. Аннета отнеслась к этому спокойно и кротко. Было ясно, что ее ничем не проймешь. Сильвия видела, что с этой упрямницей ей не сладить. Она готова была ее прибить! Но можно ли было долго сердиться на это милое существо, которое слушало ее с обезоруживающей улыбкой! И потом — тайное очарование материнства...

Сильвия кляла это материнство как несчастье, но она была женщиной, и оно вызывало в ней невольное умиление...

Тем не менее она и сегодня пришла с твердым намерением «расшевелить» Аннету, сломить, наконец, ее нелепое упорство, заставить ее потребовать брака, а иначе... «иначе я рассержусь!» Она вихрем влетела в комнату. От нее пахло порохом и рисовой пудрой. И, так сказать, для разбега, не успев даже поздороваться с Аннетой, она стала ругать «сумасбродов, которые проводят дни взаперти в темной комнате». Но, взглядевшись в счастливые глаза Аннеты, которая протянула ей обе руки, Сильвия не выдержала и поцеловала сестру. Впрочем, она и после этого продолжала ее бранить:

— С ума сошла! С ума сошла! Совсем спятила! Полюбуйтесь-ка на нее: распустила волосы, нарядилась в белое платье — ангел да и только... Вот ошибется, кто этому поверит!.. Хороша недотрога! Дрянная девчонка!..

Она трясла Аннету за плечи. А та с усталым и довольным видом терпеливо сносила все. Сильвия вдруг замолчала, не докончив тирады, взяла сестру обеими руками за голову, откинула ей волосы со лба:

— Смотрите, свежа, как роза! Никогда еще у нее не было такого чудесного цвета лица. И какой победоносный вид! Есть чему радоваться! И тебе не стыдно?

— Ни капельки! — сказала Аннета. — Я никогда еще не была так счастлива. Я чувствую в себе столько сил, мне так хорошо! Только теперь жизнь моя полна, и ничего мне больше не нужно. Мне так давно хотелось иметь ребенка — еще тогда, когда я сама была ребенком. Да, мне и семи лет не было, а я уже мечтала об этом.

— Врешь! — возразила Сильвия. — Не далее как полгода назад ты говорила мне, что никогда не чувствовала призвания к материнству.

— Неужели? Я так говорила? — в замешательстве спросила Аннета. — Ах да, да, правда!.. Ну, что же, — я и тогда не лгала и теперь не лгу... Как бы тебе объяснить? Я не выдумываю. Я это хорошо помню.

— Знаю, и со мной так бывает, — заметила Сильвия. — Всякий раз, как мне кто-нибудь приглянется, я начинаю воображать, что всю жизнь только о таком и мечтала.

Но Аннета недовольно поморщилась.

— Нет, ты не понимаешь! Во мне заговорила теперь моя подлинная душа. И мне всегда нужно было именно это, только я не смела себе признаться, пока не пришло время: боялась обмануться. А теперь... О, теперь я вижу, что это еще чудеснее, чем я ожидала!.. И в нем я нашла себя, всю целиком. Я ничего больше не хочу...

— Когда тебе нужен был Рожэ или Туллио, ты тоже ничего больше не хотела, — язвительно заметила Сильвия.

— Ах, ты ничего, ничего не понимаешь!.. Разве можно сравнивать? Когда я любила (ведь вы называете это любовью), не я хотела, а что-то во мне, чему я должна была покоряться... И как же я страдала от этой силы, которая мною завладела, которой я не могла противиться! Сколько раз я молила бога освободить меня! И вот в самом деле пришло избавление — это он, он, мой малышечка, пришел мне на помощь, когда я билась в тисках той муки, которую называют любовью. Он пришел и спас меня... Ох ты, мой маленький спаситель!..

Сильвия расхохоталась. Она ровно ничего не поняла из объяснений сестры. Но одно ей было понятно и без объяснений: материнский инстинкт, проснувшийся в Аннете. И это сближало обеих сестер. Они принялись с умилением болтать о маленьком незнакомце (кто это будет, мальчик или девочка?) и о тысяче вещей, пустяковых и в то же время таких важных, связанных с его появлением на свет, — вещей, о которых женщины никогда не устают говорить.

Так сестры разговаривали долго, пока Сильвия не спохватилась, что она пришла собственно затем, чтобы как следует отчитать Аннету, а вовсе не подпевать ей. И она сказала:

— Аннета, будет тебе дурить! Всему свое время. Рожэ обязан жениться на тебе. И ты должна этого потребовать.

Аннета устало отмахнулась от нее.

— Опять ты за свое! Ведь я же тебе сказала, что Рожэ мне это предлагал, но я сама не захотела.

— Мало ли что! Если человек сделал глупость, он должен это признать и суметь ее исправить.

— А я не имею ни малейшего желания что-либо исправлять.

— Да почему же? Ведь ты была влюблена в Рожэ. Я уверена, что ты и сейчас еще влюблена. Что произошло между вами?

Аннета не отвечала. Сильвия продолжала допытываться, без всякого стеснения высказывая догадки об интимных причинах разрыва с Рожэ. Аннета, наконец, сделала резкое движение. Сильвия взглянула на нее и оторопела: губы Аннеты были злобно сжаты, брови нахмурены, глаза смотрели сердито.

— Ты что?

— Ничего, — отрезала Аннета и порывисто отвернулась.

Сильвия разбередила рану, о которой Аннете хотелось забыть. В силу каких-то глубоко скрытых и противоречивых свойств ее натуры, ей самой непонятных, она, радуясь тому, что у нее будет ребенок, в то же время сердилась на человека, который дал ей этого ребенка. Она не прощала себе неожиданного порыва чувственности и нежности, который отдал ее во власть этому человеку, — не прощала и ему того, что он воспользовался ее слабостью. Это инстинктивное возмущение и было истинной причиной (причиной, которую она скрывала не только от других, но и от себя самой) ее бегства от Рожэ, ее решения не встречаться с ним больше. В глубине души она его ненавидела. Ненавидела за то, что полюбила. Но так как у нее был честный ум, она подавляла в себе эти, по ее мнению, дурные инстинкты. Зачем же Сильвия вынуждает ее сейчас снова разбираться во всем?..

Посмотрев на сестру, Сильвия перестала к ней приставать, и Аннета успокоилась. Сейчас ей уже было стыдно за те чувства, которые она в себе заметила и невольно выдала Сильвии. Пытаясь обмануть себя, она сказала спокойно:

— Я не хочу выходить замуж. Я не создана для таких тесных уз. Ты мне на это скажешь, что миллионы

женщин принаравливаются к ним, что я слишком серьезно смотрю на брак. Что поделаешь, такова уж я, — все принимаю всерьез. Когда я отдаюсь, то отдаюсь вся — и скоро начинаю задыхаться: мне кажется, что я тону с камнем на шее. Может быть, я недостаточно сильный человек, не умею постоять за себя! Слишком тесные узы, как лианы, высасывают из меня энергию, и мне ее не хватает для своей личной жизни. Чтобы нравиться любимому человеку, я изо всех сил стараюсь быть такой, какой ему хочется меня видеть. А это всегда кончается плохо: если изменяешь самой себе, насилуя свою натуру, то перестаешь себя уважать, и жизнь становится неведомою, а если бунтуешь, — причиняешь страдания другому... Нет, Сильвия, я — эгоистка, и мне надо жить одной.

(Аннета не лгала, говоря это, — она просто приводила те доводы, которые заслоняли истину от нее самой.)

— Не смей меня! — возразила Сильвия. — Разве такая женщина, как ты, способна прожить без любви?

— Ненавижу ее! — сказала Аннета. — Но больше она уже меня не настигнет, нет! Теперь у меня есть защита.

— Вот так защита! — воскликнула Сильвия. — Ни от чего он тебя не защитит, это тебе придется его защищать. Ты не хочешь себя связывать браком, а подумала ты, как тебя свяжет этот живой комочек, какая это обуза?

— Это счастье! Как вспомню, что скоро он будет лежать у меня на руках! Мои руки так долго тосковали по этой ноше!

— Ты жизни не знаешь, потому так и говоришь. Кто его растить будет?

— Я.

— А как же отец? Ведь он имеет права на ребенка. Новая судорога гнева пробежала по лицу Аннеты... Права! Права на ее ребенка!.. Да, это и его ребенок, ребенок того мужчины, зачатый в мгновение слепой страсти; отец уже позабыл об этом мгновении, а ее оно связало на всю жизнь! «Ни за что!.. Ребенок мой, мой!» Вслух она сказала:

— Сын будет мой и больше ничей!

— Он выберет, кого захочет.

— Я знаю, кого он выберет!



— Обольстительница!.. А если он все-таки упрекнет тебя потом, что ты его лишила отца?

— Я заполню его сердце так, что в нем не останется даже самого маленького местечка для кого-нибудь другого.

— Ты чудовищная эгоистка!

— Ну да, я же тебе говорила.

— И будешь за это наказана!

— Что ж, если я не заставляю себя полюбить, тем хуже для меня! Но нет такой силы, которая помешала бы мне любить его и отняла бы его у меня.

— Если он тебе вправду так дорог, ты должна прежде всего думать о его будущем. Немало женщин ради ребенка выходят замуж за тех, кто им не по душе...

— Ну, знаешь, Сильвия, это просто возмутительно! — сказала Аннета. — Ставить мне в пример женщин, которые из любви к ребенку обрекают себя на жизнь, полную лжи, а то и ненависти! Ты мне напоминаешь ту мать, которая говорила дочери, что ради нее она не ушла от мужа, хотя их семейная жизнь была адом. А дочка ей ответила: «Так ты думала, что ад — подходящий семейный очаг для ребенка?»

— Ребенку нужен отец.

— А как же тысячи детей вырастают без отцов? Сколько таких, которые совсем не знали отца или лишились его в раннем детстве, и мать одна воспитывала их! И что же, разве они от этого хуже? Ребенку нужна любовь — вот и все. Почему ты думаешь, что ему будет недостаточно моей любви?

— Ты слишком надеешься на свои силы, Аннета. Знаешь ли ты, что тебя ждет?

— Знаю, знаю! Детские ручонки будут обнимать мою шею.

— А ты подумала, какой ценой люди заставят тебя платить за это? Уж лучше бы тебе быть замужней женщиной, которая изменяет мужу с кем угодно, но только не «девушкой-матерью», как они это называют! Пойти на все тягости и муки материнства, не запасшись сперва штампом законного брака, — да это же никогда не прощается женщине вашего круга!.. Случись такое со мной — это еще куда ни шло! Такие, как я, могут распорядиться

своим телом, как хотят, — это никого не беспокоит. А твоим буржуа это даже на руку: смотри, как они, например в «Луизе»<sup>1</sup>, славят свободную любовь девушек из народа! Но девушка буржуазного круга — это заповедник! Ты их собственность. Тебя можно приобрести только по контракту, заключенному у нотариуса. Ты не смеешь отдаться свободно, сказав: «Это мое право». Боже упаси, как можно! До чего мы дойдем, если собственность начнет восставать против своего владельца и заявлять: «Я свободна. Приди, сеятель!...»

Даже сердясь, Сильвия не способна была говорить серьезно.

— Общепринятая мораль создана мужчинами, — сказала Аннета с улыбкой. — Это я знаю. Они осуждают женщину, которая посмела рожать детей вне брака и не посвятила всю жизнь отцу этих детей. И для многих женщин брак — это рабство, потому что они не любят мужей. Они тоже предпочли бы быть одинокими и свободными и сами растить своих детей, но у них на это не хватает мужества. А я постараюсь, чтобы у меня его хватило.

— Бедная дурочка! — В голосе Сильвии звучало сострадание. — Ты жила до сих пор, как за каменной стеной, — предрассудки и привилегии той буржуазии, которая держала тебя взаперти, защищали тебя от жестокой жизни. Стоит тебе вырваться на волю — обратно больше не впустят. А тогда ты узнаешь, что такое жизнь!

— Да, Сильвия, ты права: до сих пор я пользовалась в жизни привилегиями. Значит, справедливо, что теперь пришел мой черед узнать те страдания, которые выпали на долю вам.

— Слишком поздно! К ним надо привыкать с детства. А в твоем возрасте это уже невозможно... Счастье еще, что ты богата и не будешь терпеть нужды. Но есть другие мучения — нравственные... Из твоего клана ты будешь изгнана, все тебя осудят, каждый день ты будешь страдать от мелких обид и уколов... А сердце у тебя гордое и нежное. Оно будет истекать кровью.

---

<sup>1</sup> «Луиза» — опера французского композитора XIX века Гюстава Шарпантье. — *Прим. ред.*

— И пусть! Когда счастье приходится покупать дорогой ценой, оно еще слаще. Я хочу нормального человеческого счастья, честного и чистого, вот и все! И не боюсь людских толков.

— А если от них будет страдать твой малыш?

— Неужели они посмеют? Ну, что ж, тогда мы будем вдвоем воевать с этими трусами!

Аннета выпрямилась и тряхнула волосами, как лев гривой.

Сильвия, глядя на нее, пыталась сохранить суровую мину, но не выдержала — расхохоталась и, пожимая плечами, сказала со вздохом:

— Бедная сумасбродка!..

Аннета спросила с вкрадчивой нежностью:

— Ведь ты-то нас поддержишь? Да?

И Сильвия, неистово целуя ее, погрозила стене кулаком:

— Пусть только посмеют тебя тронуть!

Она ушла. Утомленная спором, Аннета вернулась к своим мечтам. Одна победа — над сестрой — была одержана! Но этот разговор оставил в ее душе смутное беспокойство, — мучило одно слово, оброненное Сильвией. Неужели ее ребенок когда-нибудь упрекнет ее?..

Она легла на спину и, сложив руки на животе, прислушивалась к тому, что творилось у нее внутри: маленький начинал уже шевелиться. И Аннета — как это часто бывало теперь — принялась беседовать с ним без слов. Спрашивала, хорошо ли это, что она решила владеть им одна; настойчиво молила его ответить, права ли она, доволен ли он ее решением. Она ведь не хочет делать ничего такого, в чем он мог бы упрекнуть ее потом! И малыш, разумеется, отвечал, что она поступила правильно, что он доволен. Говорил, что ни с кем не хочет делить ее и, если она решила всецело посвятить себя ему, она должна быть свободна и жить только с ним вдвоем. Она и он...

Аннета смеялась от радости. Сердце ее было так переполнено, что слова замирали на губах. Голова у нее отяжелела, и, усталая, захмелевшая от счастья, она скоро уснула.

Когда беременность Аннеты начала уже становиться заметной, Сильвия заставила сестру уехать из Парижа. Подходила осень, и все знакомые, проводившие лето за городом, скоро должны были возвратиться. Вопреки опасениям Сильвии Аннета и не подумала протестовать. Людские толки ее не пугали, но сейчас все, что могло вызвать внутренний разлад, было для нее нестерпимо. Ничто не должно было нарушать ее душевный покой!

Сильвия увезла ее на Лазурный берег, но Аннета там не осталась. Все в этом месте мешало ей сосредоточиться. Близость моря рождала какое-то тягостное беспокойство. Аннета чувствовала себя хорошо только на суше; она способна была восхищаться океаном, но не могла жить в близком соседстве с ним. Она испытывала на себе его властное очарование, но дыхание его не было для нее благотворно: оно будило слишком много тайных томлений, поднимало со дна души то, чего Аннета не хотела признавать. Нет, только не сейчас! Еще не время, нет!.. Иногда от людей приходится слышать, что они не любят того или иного, потому что боятся его полюбить (а не значит ли это, что они уже любят?). Аннета остерегалась моря, потому что остерегалась самой себя, той опасной Аннеты, от которой она во что бы то ни стало хотела убежать.

Она поехала дальше на север и близ озер Савойи, в маленьком городке у подножия гор, решила поселиться на всю зиму. Сильвии она написала уже после того, как обосновалась тут. Ремесло Сильвии не позволяло ей отлучаться из Парижа, она могла приезжать к сестре лишь изредка и ненадолго, и ее тревожило, что Аннета одна в такой глуши. Аннета же в этот период своей жизни более всего стремилась быть одной, и никакое место не казалось ей достаточно уединенным. Она от души наслаждалась своим тихим убежищем. Чем богаче становилась ее внутренняя жизнь, тем сильнее она ощущала потребность в мирной, безоблачной тишине вокруг. Сильвия напрасно думала, что Аннете в ее положении тяжело быть заброшенной среди чужих людей. Прежде всего в душе Аннеты был такой запас нежности, что никто не казался ей чужим, а так как дружелюбие всегда вызывает ответное доброе чувство, то и она для других не-

долго оставалась чужой. Впрочем, местные жители любопытством не отличались и не старались поближе познакомиться с ней. Проходя мимо, здоровались, перекидывались несколькими приветливыми словами с порога дома или через изгородь. Отношение к Аннете было самое доброжелательное. Разумеется, на такого рода доброжелательность в трудную минуту особенно полагаться нельзя, но и то уже хорошо, что она скрашивает жизнь в ее обычном течении. Для Аннеты эта равнодушная приветливость незнакомых славных людей, которые не лезли к ней в душу, была приятнее, чем деспотическое попечение родных и друзей, присваивающих себе право угнетать нас своей опекой.

Середина ноября... Сидя под окном, Аннета шила и смотрела на луга, покрытые первым снегом, на деревья в белых париках. Но взгляд ее то и дело возвращался к письму... Это было извещение о браке Рожэ Бриссо с девушкой из парижских политических сфер (Аннета ее знала)... Да, Рожэ не терял времени. Дамы Бриссо, возмущенные бегством Аннеты, поспешили состряпать другой брак, прежде чем неудача Рожэ станет известна. А Рожэ с досады согласился и одобрил их выбор. Аннета понимала, что ей ни удивляться, ни сетовать на это не приходится. Она даже старалась уверить себя, что рада за беднягу Рожэ. Однако новость взволновала ее больше, чем она хотела. Столько воспоминаний еще теснилось в ее душе и теле! И в этом теле зачиналась теперь новая жизнь, пробужденная им, Рожэ... Где-то в темной глубине оживали волнения тех дней... «Нет, нет, Аннета, не давай им всплыть!» Она с отвращением вспоминала пережитую любовную горячку. Даже мысль о былых взрывах чувственности утомляла, вызывала в ней брезгливый протест. И враждебное чувство к отцу ее ребенка... (Сейчас она уже не скрывала этого от себя.) Отголосок первобытной ненависти самки к оплодотворившему ее самцу...

Она шила, шила, она хотела забыть обо всем. Так бывало часто: когда на ее горизонте появлялась грозовая туча и ее мучило беспокойство, она хваталась за работу, как верующий — за четки. Она шила, и мысли ее приходили в должный порядок.

Вот и сегодня она этого добилась. Полчаса усердного безмолвного труда — и тревога улеглась, улыбка снова осветила лицо Аннеты. Когда она подняла голову от шитья, в глазах ее уже было умиротворенное выражение. Она промолвила вслух:

— Что ж, пусть будет так!

Солнце играло на снегу. Аннета отложила работу, оделась для прогулки. В последнее время у нее немного отекали ноги, но она заставляла себя ходить, и эти прогулки на воздухе доставляли ей большое удовольствие: ведь она гуляла не одна, а со своим малышом. Он уже давал о себе знать. Особенно по вечерам он заполнял ее тело и тихонько толкался повсюду, словно говоря:

«Боже, как тут тесно! Будет этому когда-нибудь конец или нет?..»

И снова засыпал. Днем на прогулке он вел себя примерно. Можно было подумать, что это его глазами мать смотрит вокруг, — так ново казалось ей все. Какая свежесть красок! Природа словно только что нанесла их на полотно. Хороши были и краски на щеках Аннеты. Ее сердце билось сильнее, разгоняя кровь по телу. Она упивалась запахами, и все казалось ей вкусным. Когда ее никто не видел, она набирала в ладони снег и глотала его... Какая прелесть... Она вспоминала, что в детстве делала то же самое, стоило только няне отвернуться... Она сосала и влажные обледенелые стебли тростника — от этого в горле начиналась сладкая, обессиливающая дрожь, и от наслаждения Аннета таяла, как таяли снежинки у нее на языке...

Побродив час-другой за городом по заснеженным дорогам, под серым сводом зимнего неба, одна — и не одна, потому что он был тут, в ней, она шла домой с красными, исхлестанными ветром щеками и блестящими глазами, прислушиваясь к щебетанью весны внутри себя. По дороге заходила в кондитерскую: она не могла устоять перед искушением поесть сладкого — шоколаду или меду (малыш был такой лакомка!). А потом, к концу дня, шла в церковь и садилась перед алтарем, который был, как мед, темнозолотой. И она, Аннета, никогда не соблюдавшая религиозных обрядов, неверующая (так она думала), теперь сидела здесь до тех пор, пока цер-

ковь не запирали, и мечтала, молясь и любя. Наступал вечер, лампы над алтарем, тихо покачиваясь, собирали в темноте последние отблески света. Аннета сидела в каком-то оцепенении, немного зябла в легком шерстяном плаще и согревалась только мыслями о своем солнце. В сердце была священная тишина. Ей рисовалась в мечтах жизнь ее ребенка, полная сладости и покоя, укрытая теплом ее любящих рук.

Ребенок родился в один из первых дней нового года. Сын. Сильвия приехала как раз во-время, чтобы его принять. Несмотря на боли, исторгавшие у Аннеты по временам стоны (но не слезы), она была сосредоточенно внимательна, заинтересована и немного разочарована, с удивлением замечая, что чувствует себя скорее сторонним наблюдателем события, чем главным действующим лицом. Ожидаемого великого чувства она в себе не нашла. С той минуты, как начинаются роды, женщина — в западне. Этой западни никак не избежать — надо идти до конца. И тогда покоряешься и напрягаешь все силы, чтобы это как можно скорее кончилось. Сознаешь все ясно, но энергия души и тела целиком уходит на то, чтобы перетерпеть боль. О ребенке совсем не думаешь. В это время не до нежностей и не до восторгов. Эти чувства, раньше наполнявшие сердце, отходят сейчас на задний план. Роды — поистине «труд»<sup>1</sup>, тяжелый, напряженный труд, работа тела и мускулов, в которой нет ничего красивого и благотворного... до той минуты освобождения, когда чувствуешь, что из тебя вдруг выскользнуло маленькое тельце... Наконец-то!

В сердце тотчас снова вспыхивает радость. Стуча зубами, обессиленная, чувствуя, что погружается куда-то на дно ледяного океана, Аннета протягивает оледеневшие руки, чтобы схватить и прижать к своему разбитому телу его живой плод — возлюбленного сына!

Теперь она раздвоилась. Нет больше двух в одной, как прежде. Есть частица, оторвавшаяся от нее и суще-

---

<sup>1</sup> Слово «travail» во французском языке означает и «труд» и «роды». — *Прим. ред.*

ствующая отдельно в пространстве, подобно маленькому спутнику планеты, есть какая-то новая малая величина, психологическое значение которой огромно. И удивительное дело: в этой новой паре, которая возникла благодаря расщеплению одного существа, большой ищет опоры в маленьком чаще, чем маленький — в большом. Крик ее младенца своей беспомощностью придавал Аннете сил. Какими богатыми делает нас любимое существо, когда оно не может обойтись без нас! Из своих отвердевших сосков, которые жадно сосал маленький детеныш, Аннета с наслаждением вливала в тело сына потоки молока и надежды, распиравших ей грудь.

И вот начался первый волнующий цикл этой *vita puova* — открытие мира; оно старо, как мир, но его вновь переживает каждая мать, склоненная над колыбелью. Неутомимо бодрствуя над своим спящим красавцем, Аннета с бьющимся сердцем подстерегала его пробуждение. У него были сапфировые глаза, похожие на две темные фиалки и такие блестящие, что Аннета гляделась в них, как в зеркало. Что видел этот взгляд ребенка, неопределенный и бездонный, как великое небесное око, в котором неизвестно что скрыто — пустота или глубина, но в ясной синеве которого заключен целый мир?.. И какие внезапные тени отбрасывают на это чистое зеркало облака страданий, неведомых страстей, тайных бурь, неизвестно откуда налетающих? «Что это, тени моего прошлого или твоего будущего? Лицевая или обратная сторона той же медали? Мой сын, ты — это я в прошлом. А я — это ты в будущем. Но какой ты будешь? И что такое я сейчас?» — спрашивала Аннета у своего отражения в глазах маленького сфинкса. И, наблюдая час за часом, как его сознание всплывает из бездны, она, сама того не зная, наблюдала в этом гомункуле повторяющийся вновь и вновь процесс рождения человечества.

Одно за другим отворял свои окна в мир маленький Марк. На ровной поверхности его расплывчатого взгляда уже начинали мелькать более четкие отблески, — как стаи птиц, ищущие, где бы сесть. Через несколько недель на этом живом кусте расцвел первый цветок: улыбка. А там принялись щебетать поселившиеся в его ветвях



птицы... Забыт трагический кошмар первых дней! Забыт ужас перед неведомым миром, вопль существа, которое грубо оторвали от материнской плоти и голым, истерзанным выволокли на яркий свет!.. Маленький человечек успокоился и вступил во владение жизнью. И она ему нравилась. Он исследовал ее, ощупывал и жадно пробовал ртом, глазами, ножками, ручками. Он радовался своей добыче и с восторгом развлекался звуками, которые издавала его флейта. Еще новое открытие: голос! Он заслушивался сам себя. Еще большее удовольствие доставляло это пение его матери. Аннета упивалась им. Она слушала слабый голосок, похожий на лепет ручейка, от его звуков у нее таяло сердце. Даже когда этот голосок поднимался до пронзительного крика, резавшего уши, она испытывала сладострастное наслаждение:

— Кричи, кричи громче, милый! Заявляй о своих правах!

И он заявлял о себе с энергией, которая не нуждалась в поощрении. Криками на все лады он выражал свою радость, гнев и разные прихоти. Аннета, как неопытная мать и никуда не годная воспитательница, только умилялась и была не в силах устоять против этих деспотических требований. Она готова была вставать десять раз в ночь, только бы малыш не плакал. И она позволяла этой жадной пиявке сосать себя с утра до вечера. Это и ребенку не шло на пользу, а ей и подавно — она чувствовала себя очень плохо.

Весной, навестив сестру, Сильвия заметила, что Аннета похудела, и это ее встревожило. Аннета попрежнему казалась очень счастливой, но в ее счастье чувствовалось что-то лихорадочное. Каждое ласковое слово вызывало у нее слезы. Она признавалась, что недосыпает, что не умеет требовать от людей услуг и безоружна перед практическими трудностями, с которыми сталкивается в уходе за ребенком и заботах о его здоровье. Аннета говорила это, притворно смеясь над своим малодушием, но в тоне ее уже не было прежней счастливой уверенности. Ее поразило открытие, что она вовсе не так крепка и вынослива, как думала. Она никогда раньше не болела и потому не знала предела своих сил, вообра-

жала, что может тратить их без оглядки. А сейчас оказывалось, что запас их невелик и нельзя безнаказанно переходить границы. Какая же это хрупкая штука — человеческая жизнь! В другое время Аннета не стала бы терзаться этой мыслью, но теперь, когда жизнь ее раздвоилась, когда от этой хрупкой жизни зависит другая, еще более хрупкая... Боже! Что будет, если она умрет? В бессонные ночи Аннета снова и снова возвращалась к этой страшной мысли. Она слушала, как спит ребенок, и стоило ей уловить малейшую перемену — немного учащенное дыхание, стон или минутное затишье, — как у нее замирало сердце. Закравшаяся в сердце тревога поселялась там надолго. Аннета не знала больше священного, бездумного покоя ночных часов, когда, отдыхая от движения и мыслей, тело и душа грезят без сна, подобно водяным цветам, которые тихо покачиваются на поверхности ночного пруда. Сердце способно оценить райское блаженство покоя только после того, как его утратило. Отныне Аннета настороже, каждое мгновение приносит ей новые тревоги и сомнения. Даже в том, что казалось всего надежнее, она с трепетом чувствует опасность...

Сильвию трудно было обмануть. За мужественной веселостью Аннеты, подшучивавшей над своей слабостью, она угадала физическое недомогание и ту тоску, какую испытывает животное вне стада. Она решила, что Аннете надо уехать отсюда и поселиться в каком-нибудь деревенском домике, в нескольких часах езды от Парижа. Тогда она, Сильвия, сможет ее навещать почти каждый день, и вместе с тем возвращение Аннеты не вызовет толков. Аннета не прочь была вернуться — но открыто — в Париж, к себе домой. Она слушать не хотела никаких возражений. Напрасно Сильвия доказывала ей, что это безрассудство, что она рискует потерять покой. Аннета заартачилась. Гордость не позволяла ей прятаться от людей из страха перед общественным мнением. Все то счастливое время, пока она носила ребенка, она не думала о том, что скажут люди. Она жила наедине со своим счастьем — ни для чего другого не оставалось места. Теперь ее счастье было все так же велико, но ей уже хотелось поведать о нем миру, ей было тяжело, что она должна его скрывать. Это оскорбляло ее. Как! Пря-

тать от людей, как что-то постыдное, ее сокровище, ее гордость! Ведь это все равно что отречься от него!..

«Отречься от тебя, мое солнышко! — Она страстно поцеловала сына. — Мне не следовало уезжать. Я должна была объявить о тебе всем в первый же день. Нет, довольно играть в прятки! Я покажу им тебя и скажу: «Смотрите, какой он у меня красавец! Скажите сами, вы, другие матери, — ведь такого нет ни у кого из вас?»

Она вернулась в Париж и там осталась. Дочь Рауля Ривьера хорошо понимала, что не так-то легко будет заставить общество примириться с ее поступком! Она, как и отец, презирала мнение «света», но не научилась у отца ловко обходить светские правила и предрассудки, делая вид, что подчиняется им. Нет, она намерена была с ними бороться и победить.

Первый опыт был довольно удачен. Старая тетушка Викторина в отсутствие Аннеты оставалась хранительницей дома — это уже много лет было ее обязанностью. Маленькой женщине перевалило за шестьдесят, но у нее был свежий цвет лица и щеки гладкие, без единой морщинки, обрамленные плотно прилежавшими бровями в папильотках. Тихая, кроткая и безобидная, до крайности боязливая, она умела оградить себя от всего, что могло бы нарушить ее покой. Аннета с детства привыкла видеть тетушку всегда в хлопотах по хозяйству. Старушка избавила ее от всех домашних забот, следила, чтобы в доме было чисто и уютно, надзирала за кухней (она и сама любила вкусно поесть), — словом, была на положении преданной старой служанки, которой не стесняются, потому что она стала как бы предметом домашней обстановки, чем-то вроде мебели. С мнением тетушки не считались, впрочем она и не имела своего мнения. За тридцать лет жизни в доме брата тетушка Викторина могла бы насмотреться и послушаться странных вещей, но она ничего не видела, ничего не слышала. Только насильно можно было бы заставить ее увидеть то, чего она не хотела замечать, а Рауль был далек от этого! В тесном кругу друзей он называл тетушку Викторину глухонемым стражем своего серала. Он открыто смеялся над

ней, вышучивал и дразнил, называл «толстой дурищей» и часто доводил до слез, а потом всячески умасливал, звонко чмокал в обе щеки и позволял себя баловать, как старого мальчика. Она вспоминала о нем, как о человеке с золотым сердцем, более того — как о святом, что могло бы немало позабавить Рауля Ривьера в могиле, если бы этого ненасытного любителя земных радостей могло что-либо развеселить в ненавистном ему подземном мире!

Тетушка Викторина была столь же высокого мнения и о племяннице: Аннете нетрудно было внушить ей такое мнение. Став хозяйкой дома, Аннета стала и предметом того поклонения, каким эта старая домашняя кошка окружала прежнего хозяина. Надо было только не разрушать ее иллюзий. И Аннета долго медлила, прежде чем на это решилась, долго скрывала от тетки свою историю. Отъезд из Парижа она объяснила нездоровьем и желанием попутешествовать. Это было малоправдоподобно, но тетушка как будто поверила: она хоть и была любопытна, но боялась новостей, которые могли бы ее взволновать. Однако нельзя было дольше оставлять ее в неведении. И, когда ребенок родился, Сильвия взялась сообщить об этом тетушке. Бедную старуху чуть удар не хватил. Ей было очень трудно понять, что произошло, — ведь она никогда ни с чем подобным не сталкивалась! Она писала племяннице отчаянные письма, полные темных намеков и такие сумбурные, что можно было подумать (так уверяла Аннета — молодость безжалостна!), будто это сама тетушка Викторина только что разрешилась от бремени. Аннета утешала ее, как умела. Сильвия была убеждена, что старая дама покинет дом Аннеты. Но такая мысль меньше всего могла прийти в голову тетушке Викторине. Душа ее металась в безысходной растерянности. Она была совершенно не способна дать какой-нибудь совет — ей самой нужен был советчик! Она умела только плакать и жаловаться. Но так как слезами не проживешь, а жить все-таки надо, то в конце концов тетушка стала смотреть на беду, случившуюся с Аннетой, как на посланное небом испытание. Она уже начинала к нему привыкать, тем более что отсутствие Аннеты

как бы отдаляло прискорбное событие. Но вот Аннета известила ее, что возвращается в Париж.

Входя в дом, Аннета волновалась. На вокзале встретила ее только Сильвия. Тетушка не могла на это решиться. Когда она, сходя с лестницы, услышала стук входной двери, то поспешно вернулась наверх, убежала к себе в комнату и заперлась. Аннета застала ее там в слезах. Обнимая ее, тетушка твердила:

— Бедная моя девочка!.. Но как же... как же это?..

Аннета, стараясь скрыть волнение, сказала с напускной уверенностью, быстро и весело:

— Потом все расскажу, успеется! А сейчас идем обедать.

Старушка позволила увести себя в столовую. Она продолжала хныкать, а Аннета ее уговаривала:

— Полно, полно, тетя, милая! Плакать не надо...

Тетушка тщетно искала в памяти все, что собиралась сказать. Она заранее приготовила солидный запас жалоб, наставлений, упреков, вопросов, восклицаний. Но из всего этого запаса она ничего не могла вспомнить и только выпускала глубокие вздохи. Аннета сразу показала ей малыша, который спал блаженным сном, откинув головку, и при виде этого нежного пухленького тельца тетушка пришла в экстаз и молитвенно сложила руки: ее сердце старой няни тотчас дало обет верно служить новому главе дома. И с этого часа тетушка Викторина, помолодев, впряглась в колесницу своего маленького кумира. Время от времени она вспоминала, что ведь он все-таки навлек позор на их дом, и опять приходила в смятение. Но Аннета, продолжая болтать с притворной беззаботностью, уголком глаза наблюдала за милой старушкой и, заметив, что у нее снова вытянулось лицо, спрашивала:

— Ну, что еще? Успокойся же, наконец!

Тетушка разражалась бессвязными жалобами.

— Ну, да! — говорила Аннета, похлопывая ее по рукам. — Ну, да! Но чего бы ты собственно хотела? Чтобы мы лишились нашего дорогого мальчика?

(Она хорошо знала, что делает, вкрадчиво подчеркивая слово «нашего»).

Суеверная тетушка в ужасе протестовала:

— Ради бога, Аннета, перестань! Ты накличешь беду... Как это можно говорить такие вещи?

— Ну, тогда не делай кислой мины! Раз наш мальчик явился на свет, — что же делать? Будем его любить и радоваться на него, ничего больше не остается.

Тетушка могла бы, конечно, спросить:

«Да, но зачем он появился?»

Однако у нее уже не хватало духу жалеть об этом. Разумеется, этого требовали нравственность, этого требовали общество и религия. Да и для ее чести и спокойствия (пожалуй, в особенности для спокойствия) было бы лучше, если бы не было этого ребенка. Где-то глубоко-глубоко, на самом дне души, шевелилось тайное сожаление, в котором тетушка и себе самой не признавалась:

«О господи, лучше бы эта несчастная девочка мне ничего не рассказывала!»

Примиришь столько противоречивых мыслей было невозможно, и в конце концов тетушка Викторина решила больше об этом не думать. Повинуясь инстинкту старой наседки, которая всю жизнь выращивала чужих цыплят, она покорилась обстоятельствам.

Однако Аннете не пришлось особенно этому радоваться. Бывают победы, которые приносят больше неприятностей, чем выгод. Очень скоро через тетушку в дом стали проникать волновавшие Аннету людские толки. Г-жа Викторина была болтлива, любопытна и жадно прислушивалась ко всему, что говорили соседи о ее племяннице. Она возвращалась домой бегом, в слезах и все пересказывала Аннете. Аннета ласково журила тетушку за это, но глупые сплетни все-таки расстраивали ее. Когда старушка приходила домой, Аннета с невольным содроганием спрашивала себя:

«Что еще она мне расскажет?»

Она запретила тетушке говорить с ней об этом, но когда тетушка Викторина молчала, было еще хуже: она донимала Аннету многозначительными намеками и недомолвками, вздохами, унылой миной. И в душе Аннеты накапливалось раздражение против ядовитого общественного мнения, с которым она пыталась не считаться.

Будь Аннета благоразумнее, она избегала бы всяких возможностей сталкиваться с ним. Но она была слишком живым человеком, чтобы вести себя благоразумно. Люди становятся благоразумными только после того, как обожгутся из-за своего неблагоразумия. И такова уж человеческая натура: презирая мнение света, Аннета, однако, сгорала от желания узнать, что говорится за ее спиной. Каждое утро она дрожала при мысли, что день принесет ей отголоски неприятных пересудов, но в те дни, когда они до нее не доходили, готова была сама бежать узнавать их. Впрочем, ее избавляли от этого труда. От родни — двоюродных братьев и сестер, с которыми она поддерживала только официальные родственные отношения, — приходили негодующие письма в нестерпимо назидательном тоне. Их выступления в роли ее судей и защитников фамильной чести должны были бы скорее смешить, чем возмущать Аннету, которая знала всю подноготную этих аристархов<sup>1</sup>, так как отец охотно посвящал ее в тайны семейной хроники. Но Аннета не смеялась; получив такое письмо, она хваталась за перо и строчила язвительный ответ, который, озлобляя родственников, давал им еще лишний повод осуждать ее — и теперь уже беспощадно.

Эти суровые цензоры нравов могли хотя бы объяснить свое вмешательство родственными правами. Конечно, они ими злоупотребляли, но эти права были по крайней мере узаконены обычаем. А с какой стати к ней были так жестоки люди совершенно посторонние, которым уж ровно никакого ущерба не было от того, что она жила, как хотела? Встретив как-то на улице одну приятную светскую даму, в салоне которой она бывала прежде, Аннета остановилась, чтобы перекинуться с нею несколькими любезными словами. Но та, меряя ее любопытным взглядом, слушала с холодной вежливостью, почти не отвечала и скоро ушла. Другая знакомая, которой Аннета написала, потому что ей нужно было что-то узнать у нее, не ответила на письмо. Аннета все-таки продолжала эти опыты: она обратилась к одной подруге

<sup>1</sup> А р и с т а р х — александрийский филолог II в. до н. э., издатель и комментатор Гомера и других греческих авторов, имя которого стало нарицательным. — *Прим. ред.*

своей матери, старой даме, которую очень уважала, и попросила разрешения навестить ее. Дама эта всегда проявляла к ней самые нежные чувства, но на этот раз Аннета получила от нее путаное письмо, в котором дама выражала сожаление, что не может ее принять, так как уезжает из Парижа... Все эти уколы обострили чувствительность Аннеты. Она стала бояться новых обид, но, как ни странно, этот терзавший ее нервы страх толкал ее навстречу неприятностям, заставляя бросать людям вызов.

Так, например, вышло у нее с Люсиль Кордые. Они были давно знакомы, и в том кругу, где обе вращались, Люсиль больше всех нравилась Аннете. Между ними не было особой близости, но они всегда охотно встречались. И вот Аннета узнала от тетки, что сестра Люсиль только что вышла замуж. Люсиль ее об этом не известила, но Аннета все-таки написала ей поздравительное письмо. Люсиль хранила молчание. Причина была ясна, и Аннете не следовало упорствовать. Но она упорствовала из какой-то странной потребности лишний раз убедиться в том, что и так хорошо знала, и сделать себе больно.

Она отправилась к Люсиль. Из гостиной слышался шум голосов. Аннета, уже входя, вспомнила, что у Люсиль сегодня приемный день. Но отступать было поздно... В гостиной шел оживленный разговор. Здесь было человек десять, почти все — знакомые Аннеты. При ее появлении все смолкло. Только на несколько секунд. Аннета, взволнованная, как человек, который бросается в бой, вошла с улыбкой и, не глядя по сторонам, направилась прямо к Люсиль. Та в замешательстве встала ей навстречу. Люсиль была миниатюрная блондинка с хитрым и умильно ласковым выражением прищуренных глаз, с хорошеньким, но помятым личиком, которому немного выступающие вперед зубы придавали сходство с мышинной мордочкой. Люсиль была умна, делала вид, что любит людей и страстно увлекается идеями, на самом же деле была глубоко равнодушна и к тем и к другим. Осторожная, не очень искренняя, слабохарактерная, она хотела всем нравиться, а главное — старалась со всеми ладить и ко всему приспособляться. Поведение Аннеты ее лично ничуть не возмущало. Своим



любопытным остреньким носиком Люсиль заранее чужа всякий скандал и тешилась им. То, что случилось с Аннетой, казалось ей просто глупым приключением и только развлекло ее, но она считалась с мнением света и потому была сейчас в затруднительном положении. Когда Аннета написала ей, что вернулась в Париж, Люсиль подумала:

«Какая неприятность! Что же ей ответить?»

Ей не хотелось обижать Аннету, но она не хотела и рисковать своей репутацией в свете. Не зная, на что решиться, она со дня на день откладывала ответ. Собиралась повидать Аннету — не сейчас, а через некоторое время («ведь это не к спеху!»), и так, чтобы об этом никто не узнал. Это не мешало Люсиль за глаза высмеивать Аннету и, говоря о ней с другими, принимать вид возмущенной добродетели.

Внезапное появление Аннеты в ее гостиной («нет, это уж слишком!») вынуждало Люсиль принять решение немедленно. Она гораздо больше сердилась на Аннету за то, что та сыграла с ней такую скверную шутку, чем за то, что та родила незаконного ребенка. («Хоть двух, пожалуйста, — только меня пусть оставит в покое!...»)

В ее глазах вспыхнул на миг злой огонек, но она пожала протянутую руку Аннеты и ответила на ее улыбку медовой улыбкой, которая была так хорошо знакома Аннете, — против ее обольстительной нежности никто не мог устоять. Но это было только в первую минуту. Быстрые глаза и настроженный слух Люсиль мгновенно уловили иронию в настроении окружающих. Лицо ее сразу приняло ледяное выражение, и, сказав Аннете из вежливости несколько слов, она с деланным оживлением возобновила прерванную беседу. Все остальные, словно по молчаливому уговору, тоже принялись болтать.

Аннета, которую не вовлекали в этот общий разговор, почувствовала себя отверженной. Однако она не сдалась. Она знала, как слабохарактерна Люсиль. И, во всеоружии своей гордой улыбки, усевшись среди гостей, которые делали вид, что не замечают ее, и оживленно обменивались пустыми фразами, стала осматриваться по сторонам. Встречаясь с нею взглядом, все начинали моргать глазами и смотрели в сторону. Только одна дама не

успела отвести глаза, устремленные на Аннету с злобным выражением. Аннета узнала широкое румяное лицо Марии-Луизы де Бодрю, дочери богатого нотариуса и жены судейского чиновника, семья которого издавна поддерживала с Ривьерами внешне дружеские отношения, но втайне недолго любила их. В этой дородной даме воплотились самые устойчивые черты ее класса — крупной буржуазии: любовь к порядку, честность, отсутствие любознательности, черствость сердца и в особенности ума; все узаконенные добродетели: твердая вера — чисто формальная, очищенная от всяких сомнений и мыслей, словно ее выпетрировали на прилавке мясника, — и культ собственности, всех видов собственности: своей семьи, своего имущества, своей страны, своей религии, своей морали, своих традиций, своих антипатий, — словом, своего пассивного и компактного «я», подобного глыбе, заслоняющей солнце. Рядом с ней нет места для бочки Диогена! Всем Бодрю особенно ненавистна была всякого рода независимость — религиозная, нравственная, умственная, политическая и социальная. Она внушала им органическое отвращение, и для всех ее видов у них было одно общее название: «анархизм», которое они произносили как бранное слово. Этот «анархизм» они всегда чувствовали в семье Ривьеров. И Мария-Луиза, как и все ее родные, относилась к Аннете с инстинктивным недоверием. Она не прощала ей той свободы, которая предоставлена была Аннете в юности ее воспитателями. Быть может, в ее нелестном мнении об Аннете была и крупинка зависти. Открыто высказывать это мнение ей мешало только одно: богатство Ривьеров. Богатство внушает людям уважение, оно — самая надежная опора общественного порядка. Но это лишь при условии, если не поколеблена его основа — законная семья. За этим следят столпы общества, и лучше их не гневить. Аннета посягнула на священные законы морали, и сторожевой пес проснулся. Он пока еще молчал — он никогда не рычит в обществе, но глаза говорили за него. Во взгляде Марии-Луизы де Бодрю Аннета прочла злобное презрение. Но она спокойно посмотрела на толстощековую защитницу нравственности и, поздоровавшись с ней дружеским кивком головы, вынудила ее ответить.

Задыхаясь от досады, что не может воспротивиться этому насилию, Мария-Луиза поклонилась, вознаградив себя только тем, что бросила на Аннету весьма суровый взгляд. Аннета отнеслась к этому равнодушно — она уже не смотрела на Марию-Луизу. Глаза ее, обежав гостиную, снова остановились на Люсиль.

Без всякого смущения она вмешалась в разговор; перебив Люсиль, сделала какое-то замечание и вынудила ее ответить. Пришлось беседующим принять ее в свой круг. Ее поневоле слушали — впрочем, не только из вежливости, а с интересом и не без удовольствия, потому что Аннета была остроумна. Но слушали, не отвечая, с притворной рассеянностью, и тут же заводили речь о другом. Разговор замирал, лишь время от времени вспыхивая на минуту, перескакивая с одного на другое. Скоро Аннета заметила, что она одна разглагольствует среди общего молчания; она слушала свой голос, как голос постороннего человека. Аннета была настоящая женщина, чуткая, впечатлительная и гордая, и от нее не ускользнула ни одна из этих унижительных подробностей. С детства привыкнув понимать лживый язык салонов, да и самой им пользоваться, она под этим намеренным невниманием, двусмысленными усмешками и неискренней учтивостью угадывала желание оскорбить ее. И она страдала, но смеялась и продолжала разговор. А окружающие думали:

«Ну и апломб у этой девушки!»

Люсиль, чтобы отделаться от Аннеты, воспользовалась тем, что одна из дам собралась уходить, и пошла ее проводить в переднюю. Аннета осталась одна среди группы людей, твердо решивших не замечать ее. Не желая длить это мучение, она уже готовилась встать и тоже уйти. Но тут с другого конца гостиной к ней направился Марсель Франк. Он пришел давно, однако Аннета была так поглощена своими усилиями скрыть охватившее ее отчаяние, что не заметила его. А Марсель, с насмешливым состраданием наблюдая за ней, удивлялся ее дерзости и думал:

«Чего ради ей взбрело на ум прийти сюда дразнить этих скотов? Бедная фантазерка!.. Вот умора!..»

Он решил, что надо ее выручить. Подошел, приветливо поздоровался. Глаза Аннеты засветились благодар-

ностью. А вокруг них все молчали, у всех были замкнутые, настроенные лица...

— А, великая путешественница! — сказал Марсель. — Наконец-то вы вернулись! Ну что, вволю нагладелись на «лазурь средиземных вод»?

Он хотел направить разговор в безопасное русло. Но Аннета (какой бес подтолкнул ее? Что это было — гордость, бессознательная бравада или просто искренность?) весело ответила:

— Лазурь я уже несколько месяцев созерцаю только в глазах моего малыша.

Легкий ветер насмешки всколыхнул все общество. Одни усмехались, другие исподтишка переглядывались. А Мария-Луиза де Бодрю в негодовании встала. Вся красная, выпятив пышную грудь, так бурно вздымавшуюся от желчного презрения, что трещал лиф, она оттолкнула стул и, ни с кем не простясь, вышла. Температура в гостиной сразу понизилась на несколько градусов. Аннета осталась в своем углу одна с Марселем Франком. Он посмотрел на нее с насмешливой жалостью и пробормотал:

— Какая вы неосторожная!

— А в чем вы видите неосторожность? — спросила Аннета громко и внятно.

Взглядом она словно искала чего-то у себя под ногами. Через минуту она спокойно и неторопливо встала и пошла к выходу, прощаясь со всеми холодными поклонами, на которые ей отвечали так же холодно.

Кто увидел бы ее на улице, когда она шла своей плавной походкой, с высокоподнятой головой и светски бесстрастным видом, тот ни за что не угадал бы, какая гроза бушует в ее раненом сердце. Только вернувшись домой, запершись в своей комнате наедине с ребенком, она дала волю горьким слезам. Потом, крепко прижав к себе малыша, вызывающе засмеялась.

В Париже было немало людей интеллигентных, которые с почетом приняли бы Аннету в свой круг, — особенно в той среде, которую дочь архитектора Ривьера должна была бы хорошо знать: в среде артистов, дале-

ких от филистерства светского общества и лишенных его предрассудков, хотя в них и очень силен дух семейных традиций и даже в свободные союзы они вносят буржуазные добродетели. Но Аннета до сих пор мало встречалась с женами артистов. Ей, при ее сдержанности и здравом, уравновешенном уме, чужда была всякая богема и не очень нравились манеры и разговоры этих дам, хотя она и отдавала должное их неоспоримым достоинствам: мужеству, чистосердечию, жизненной закалке. А в обыденной жизни, надо прямо сказать, близость между людьми зиждется не столько на уважении, сколько на одинаковых склонностях и привычках. Притом Рауль Ривьер давно растерял своих прежних приятелей. Как только успех открыл ему доступ в мир богатства и почестей, этот человек с ненасытными аппетитами порвал с *haud augea mediocritas*<sup>1</sup>. Он был умен и потому общество людей труда ценил выше, чем общество парижских салонов и клубов, о котором в тесном кругу отзывался с жестокой иронией. Тем не менее он обосновался именно в этом светском обществе, ибо здесь находил более обильный подножный корм. Он все же ухитрялся делать тайные вылазки в другое, весьма смешанное, общество, где удовлетворял свою страсть к удовольствиям и потребность в неограниченной свободе, которая была ему нужна, так как он вел двойную, а то и тройную жизнь. Об этом мало кто знал, дочери же была известна только его светская и деловая жизнь.

Круг знакомых Аннеты состоял главным образом из богатых и довольно благовоспитанных представителей крупной буржуазии, которая, как новый господствующий класс, ценой больших усилий создала себе в конце концов какое-то слабое подобие традиций и вместе с другими атрибутами власти купила и просвещенность. Но просвещенность эта напоминала свет лампы под абажуром, и более всего буржуазия боялась, как бы не сместился или не расширился освещенный кружок на столе, ибо малейшая перемена могла поколебать ее уверенность в себе. Аннета же, инстинктивно стремившаяся к свету,

---

<sup>1</sup> не золотой посредственностью (лат.).

искала его, где могла, искала в своих университетских занятиях, которые в ее среде считали оригинальничаньем. Однако свет, исходивший из аудиторий и библиотек, был искусственно смягчен, — это были лучи не прямые, а преломленные. Аннета обрела там смелость мысли, но смелость чисто отвлеченную, которая даже у наиболее одаренных ее товарищей-студентов уживалась с полнейшей практической беспомощностью и робостью при столкновении с реальной действительностью. Была еще одна завеса, заслонявшая от глаз Аннеты жизнь вне ее мира: ее богатство. Вопреки воле Аннеты этот барьер отгораживал ее от великой человеческой общины. Аннета не сознавала даже, до какой степени она отгорожена от мира. Такова оборотная сторона богатства: это — загон для привилегированных, но все-таки загон, окруженное забором пастбище.

И мало того — теперь, когда нужно было выйти из него на волю, Аннета, давно предвидевшая такую возможность и думавшая о ней без всякого страха, уже не хотела выходить. Осуждать ее за это может только тот, кто не прощает людям отсутствия логики. Человек — а женщина в особенности — состоит не из цельного куска, тем более в том переходном возрасте, когда к мятежным порывам и жажде нового примешивается уже парализующая их консервативная сила привычек. Одним взмахом не освободишься от предрассудков своей среды и крепко укоренившихся потребностей. На это не способны даже самые вольнолюбивые души. Человека одолевают сожаления, сомнения, ничем не хочется жертвовать, все хочется сохранить. Честная Аннета не хотела лгать, она искренне жаждала любви и свободы, и все-таки ей жаль было лишиться преимуществ прежней жизни. Она готова была порвать со своей социальной средой, но не могла стерпеть того, что общество само ее изгоняло. Она не мирилась с положением отверженной. Ее молодая гордость, которой жизнь не успела еще сломить, вставала на дыбы при мысли, что надо искать прибежища в другой среде, хотя и более достойной, но менее привилегированной и блестящей. Это в глазах светского общества значило признать себя побежденной.

Ей казалось легче остаться одинокой, чем быть деклассированной.

Эта, на первый взгляд, мелочная и суетная забота была не лишена оснований. В борьбе между классовыми условностями и бунтовщиком, дерзко восставшим против них, весь класс объединяется против неосторожного, выбрасывает его за борт, принуждает бежать и подстерегает каждый его неверный шаг, стараясь этим оправдать его изгнание.

Ведь так же точно действует и мать-природа: как только какое-нибудь из ее творений проявит признаки слабости и окажется беззащитной и доступной добычей, пауки тотчас опутают его паутиной. И в этом нет ничего противоестественного, никакого тайного коварства! Таков закон природы. В ее царстве никогда не прекращается охота. И каждый в свой черед бывает либо охотником, либо дичью... Аннета теперь была дичью.

Охотники появились и начали действовать с просто-душной откровенностью. К Аннете пришел в гости ее приятель, Марсель Франк.

Она была дома одна. Ребенка тетушка Викторина вывезла на обычную прогулку. Аннета, немного утомленная, отдыхала у себя в комнате. Она никого не хотела видеть, но когда ей подали визитную карточку Марселя, она обрадовалась и приняла его. Она была ему благодарна за то, что он поддерживал ее в гостинной Люсиль. Правда, поддерживал осторожно, не компрометируя себя, но Аннета большего и не требовала.

Она приняла его без церемоний, как старого друга, полулежа на кушетке, в утреннем пенюаре. С тех пор как она стала матерью, она утратила ту любовь к порядку, ту подтянутость и требовательность к своему туалету, над которой всегда подтрунивала Сильвия. Марсель ничуть не жалел об этом. Он находил, что Аннета похорошела: свежая приятная полнота, нежная томность, влажный блеск подобревших от счастья глаз. Аннета болтала с ним охотно и непринужденно, — ее радовало, что она вновь обрела проницательного друга, которому когда-то поверяла все свои сомнения; ей нравились в Марселе его деликатность и живой ум, она чувствовала к нему

доверие. Франк, как всегда, понимал ее с полуслова, говорил с ней сердечно, но Аннета с самого начала почуяла в его обращении с ней поразивший ее новый оттенок фамильярности.

Они вспоминали свою последнюю встречу перед злощастной поездкой Аннеты в Бургундию к Бриссо, и Аннета признала, что Марсель верно предсказал ей тогда ее будущее. Говоря это, она имела в виду только несостоявшийся брак с Рожэ, но вдруг покраснела при мысли, что Марсель может понять ее иначе и в душе посмеется над ней. А Марсель сказал лукаво:

— Да вы и сами это знали не хуже меня!

И с видом сообщника стал подшучивать над тем оборотом, какой приняла вся эта история. Аннета испытывала чувство неловкости, но старалась скрыть его под маской иронии.

А Марсель еще больше разошелся:

— Да, вы это знали лучше меня! Мы, мужчины, просто смешны, когда воображаем, будто женщинам нужно учиться у нас нашей хваленной мудрости. Мы попадаемся на их удочку, когда они вкрадчивым голоском, глядя на нас широко открытыми милыми глазками, робко спрашивают, что им делать. Они сами это отлично знают и просто потакают нашей мании: мы ведь очень любим поучать. А между тем не мы женщинам, а они нам могли бы давать уроки! Когда я предсказывал, что Бриссо не удастся поймать вас в свои сети, я никак не думал, что вы выпутаетесь из этих сетей таким блестящим образом. Это я называю настоящей смелостью. Bravo! Ну еще бы, уж если вы на что-нибудь решились... Хвалю, хвалю за бесстрашие!

Аннета слушала его в замешательстве. Странно! Она решила защищать свое право поступать так, как поступила. Еще недавно в гостинной Люсиль она готова была отстаивать это право перед целым светом. А теперь ее коробили похвалы Марселя и его новый тон! Это оскорбляло ее целомудрие и чувство собственного достоинства. Она сказала:

— Не хвалите меня! Я не такая смелая, как вы думаете: я не хотела того, что произошло. У меня и в мыслях этого не было...



Но ее гордость и совестливость не мирились с ложью, и она тут же поправила себя:

— Нет, это неверно! Конечно, я думала об этом. Но не потому, что хотела, а потому, что боялась этого. И одно мне до сих пор непонятно: как я могла пойти навстречу тому, чего боялась, чего вовсе не хотела?

— Ну, это естественно, — сказал Марсель. — То, чего мы страшимся, всегда притягивает нас. Когда боишься чего-нибудь, это еще вовсе не значит, что в глубине души ты этого не желаешь. Но осмелиться на то, что тебя страшит, способен далеко не всякий. А вы осмелились. Вы не побоялись совершить ошибку. Жизнь нельзя прожить, не делая ошибок. Ведь ошибаться — значит познавать. А познавать необходимо... Но мне все же думается, дорогая моя, что, проявив такую смелость, вы должны были принять некоторые предосторожности. Ваш партнер очень виноват в том, что взвалил на вас такую обузу.

Аннета, несколько задетая, возразила:

— Это для меня вовсе не обуза.

Марсель, подумав, что Аннета из великодушия хочет оправдать Рожэ, сказал:

— Так вы его все еще любите?

— Кого? — спросила Аннета.

— Ну, теперь ясно, что больше не любите! — со смехом заметил Марсель.

— Я люблю своего ребенка, — сказала Аннета. — Все остальное для меня уже прошлое. А о прошлом никогда нельзя знать наверное, было оно или нет. Его перестаешь понимать. Это печально...

— Но в этом тоже есть своя прелесть, — отозвался Марсель.

— Я ее совсем не чувствую. Смаковать ощущения не в моем характере, — сказала Аннета. — А вот мой сын — это настоящее, и это на всю жизнь.

— Это настоящее нас вытесняет, и придет день, когда вы для него в свою очередь станете прошлым.

— Что поделаешь! Впрочем, мне радостно даже от того, что меня топчат его маленькие ножки.

Марсель стал подсмеиваться над ее страстной любовью к сыну. Аннета сказала:

— Где вам меня понять! Вы же не видели моего Марка — это настоящее чудо! Да если бы и увидели, не сумели бы его оценить. Вы годны только на то, чтобы судить о картинах, о скульптуре, о всяких бесполезных игрушках. А единственное в мире чудо — тельце ребенка — вы не способны увидеть по-настоящему. Не стоит и описывать его вам...

Но она все-таки принялась его описывать — подробно, любовно. Она сама смеялась над своими восторженными, пылкими преувеличениями, но ничего не могла с собой поделать. Ее отрезвил только снисходительно-насмешливый взгляд Марселя.

— Я вам надоела... Простите!.. Вам это непонятно?

О нет; Марсель понимал, Марсель способен был понять все! Что ж, каждому свое. О вкусах не спорят...

— Итак, давайте подведем итог, — сказал он. — Вы, родили ребенка, что называется, под кустом родили и, следовательно, выступили против установленного порядка и законного брака. Притом вы ничуть не раскаиваетесь и бросаете вызов всем устоям общества.

— Каким устоям? — спросила Аннета. — Я никого и ничего не задеваю.

— Как? А общественное мнение, а традиции, а кодекс Наполеона?

— Мне нет дела до мнения других!

— Вот это-то и есть самый дерзкий вызов, этого-то люди никогда и не прощают!.. Ну, хорошо, пусть так. Все порвано, вы отошли от своего клана. А дальше что? Что вы намерены делать теперь?

— То же, что делала до сих пор.

Марсель посмотрел на нее скептически.

— А что? Вы думаете, я не смогу жить, как прежде?

— Не стоит!.. И кроме того...

Марсель вместо доказательств напомнил ей о визите к Люсиль: вряд ли она может надеяться занять прежнее положение в свете. Аннета и сама это понимала, ей незачем было это объяснять. Больно уязвленная, она не имела ни малейшего желания делать новые попытки. Но ее удивляло, что Марсель так настойчиво это подчеркивает. Обычно он бывал тактичнее. Она сказала:

— В конце концов мне сейчас все равно — у меня есть ребенок!

— Но не можете же вы ограничить свою жизнь воспитанием ребенка?

— По-моему, это значит не ограничить, а сделать ее шире, богаче. В сыне я вижу целый мир, мир, который будет расти, и я буду расти вместе с ним.

Марсель с большим азартом, но и с не меньшей иронией стал ей доказывать, что этот мирок не сможет удовлетворить такую жадную и требовательную натуру, как у нее. Аннета слушала его, сдвинув брови, испытывая саднящую боль в сердце, и мысленно с возмущением протестовала:

«Нет! Неправда!»

Все же она не могла отделаться от некоторого беспокойства: она помнила, что Марсель уже раз оказался дальновиднее ее. Однако зачем он так старается убедить ее? Чего ради он из кожи вон лезет, доказывая, что ей следует пользоваться завоеванной свободой и не бояться жизни вне общества? (Он называл это «быть выше буржуазных условностей».)

В Аннете жили две или даже три Аннеты, и обычно говорила одна, а другие слушали. Но в эту минуту заговорили две разом: одна — пылкая и сентиментальная, легко поддававшаяся обманчивым впечатлениям, другая, — насмешливая и трезвая наблюдательница скрытых пружин человеческого сердца. У этой второй Аннеты были зоркие глаза, она видела Марселя насквозь. Роли переменялись. Раньше он читал ее тайные мысли. Теперь... (с каких же это пор? Да после происшедшей с ней «метаморфозы») теперь она, Аннета, обрела способность угадывать тайные побуждения других людей. Новизна их (по правде говоря, не всегда одинаково любопытная) занимала ее и отвлекала от собственных забот.

Она лежала в кресле, заложив руки за голову, и смотрела в потолок, но в то же время сквозь полуопущенные ресницы искоса наблюдала за ораторствовавшим Марселем. Она заранее знала все, что он скажет, знала, что сейчас произойдет, но не мешала ему из

чутьочку насмешливого любопытства, за которое она себя упрекала.

(«Но он же сам сейчас сказал, что надо все увидеть и познать! Да, познавать... изучать...»)

И она изучала своего друга...

(«О, я его отлично понимаю!.. Аннета упала, как плод с дерева, и он думает, что ее недурно было бы подбрать. Он для того и трясет тихонько дерево, чтобы плод поскорее оторвался и упал. Он хочет воспользоваться моей растерянностью... А ведь он меня любил!.. Да, любил... Хороши же эти мужчины!.. Как вкрадчиво он воркует!.. Уже становится нежен... А сейчас он... Берегись, Аннета! Держу пари, что сейчас начнется...»)

Она вдруг увидела совсем близко белокурую бородку наклонившегося над ней Марселя, его губы, уже готовые целовать... Она решила избавить его от унижения. И, как раз во-время поднявшись, положила Марселю руки на плечи и слегка оттолкнула его от себя со словами:

— Прощайте, мой друг!

Марсель заглянул в ее глаза, проникательно и с тайным лукавством изучавшие его лицо, и улыбнулся. Он был разочарован. Но это была честная борьба. Он не скрывал от себя, что ему только что самым хладнокровным образом дали отставку. И все-таки он был уверен, что Аннета к нему равнодушна. Вот и пойми тут что-нибудь! Эта странная девушка ускользала от него.

Марсель больше не приходил, и Аннета не звала его. Они оставались друзьями, но сердились друг на друга. Именно потому, что Марсель был ей не безразличен, Аннету так задело то, что она прочла в его мыслях. Она не оскорбилась: обычная история, слишком даже обычная!.. Нет, Аннета была не в обиде на Марселя. Но она не могла забыть!.. Бывает, что разум прощает, а сердце не в силах с этим согласиться... Быть может, тайная досада Аннеты отчасти объяснялась тем, что вольное обращение с ней Марселя еще острее, чем нелюбезный прием в салоне Люсиль, заставило ее почувствовать перемену в ее положении. Она увидела, что не

может больше рассчитывать на знаки уважения, которые общество оказывает своим членам, покорно соблюдающим условности и внешние приличия. Отныне она лишена защиты. Ей придется самой себя защищать.

Она никого не принимала. Сильвии она боялась рассказать о пережитых неприятностях: ведь Сильвия это предсказывала и теперь стала бы торжествовать. Аннета все сохранила в тайне и, уединившись от всех, решилась жить только для ребенка.

Когда маленький Марк под вечер, после визита Марселя, вернулся с прогулки, она встретила его с истинным восторгом. Увидев мать, он, улыбаясь, потянулся к ней и задрогал всеми четырьмя лапками. А она набросилась на него, как голодная волчица на добычу, осыпала жадными поцелуями, делая вид, что откусывает кусочки от его тела; брала в рот его ножки и, раздевая, щекотала его губами всего сверху донизу...

— Ам! Вот я тебя съем!.. И тот дурак смел уверять, что мне тебя будет недостаточно! — восклицала она, словно призывая ребенка в свидетели. — Как тебе нравится такая наглость?.. Это тебя-то недостаточно, тебя, моего повелителя, моего маленького боженьки!.. Ну, скажи, что ты мое божество!.. А я — что же я тогда? Мать бога!.. Весь мир — наш. Нам доступно все, что можно делать вдвоем!.. Мы можем все увидеть, все иметь, все испытать, испробовать, все сотворить!..

Они и в самом деле творили все, — разве открывать и творить не одно и то же? На нашем славном французском языке «находить» означает «изобретать». Люди находят то, что изобретают, и открывают то, что создают, о чем мечтают, что вылавливают в реке грез. Для матери и ребенка началась эпоха великих открытий. Первые слова малыша, его попытки исследовать окружающий мир, который он словно измерял ручками и ножками... Каждое утро Аннета и ее сын отправлялись завоевывать этот мир. И она наслаждалась не меньше, а то и больше, чем он. Она словно переживала сызнова свое детство, но теперь во всей полноте сознания, а значит, и во всей полноте радости. Немало радовался и ее сынок! Он был красивый ребенок, толстенький, крепыш, этаким аппетитный розовый поросенок. (Сильвия говорила:

«Хоть сейчас на вертел — чего еще ждать?») В его упругом и пухлом тельце чувствовался избыток сосредоточенной энергии, как в резиновом мячике, который вот-вот запрыгает. Каждое новое соприкосновение с жизнью приводило его в бурный восторг. Беспредельная сила воображения, которой одарен ребенок, обогащала его открытия, и радость неумолчно звенела в нем. Аннета ни в чем ему не уступала, и можно было подумать, что между ними происходит состязание — кто сильнее обрадуется и наделает больше шума. Сильвия называла Аннету сумасшедшей, но и она на ее месте вела бы себя точно так же. После неугомонной возни наступали часы полнейшего покоя и блаженного изнеможения. Малыш, утомленный бегом, сразу сладко засыпал. Аннета тоже от усталости валилась с ног, но боролась с дремотой, чтобы как можно дольше любоваться спящим ребенком. Она подавляла порывы нежности, и любовь ее, как свеча, заслоненная рукой, чтобы не разбудить спящего, горела тихим и долгим пламенем, поднимаясь к небу. Она молилась, как некогда дева Мария у яслей... Молилась на своего сына...

То были чудесные, озаренные радостью месяцы. Но уже не такие ясные, как в прошлом году. Не такие безоблачные. В счастье Аннеты было что-то преувеличенно-восторженное и беспокойное.

Такая сильная и здоровая натура, как Аннета, должна была творить, постоянно творить, вкладывая в это все силы души и тела. Творить или хотя бы вынашивать будущие творения. Это непреодолимая потребность, и такие люди находят счастье только в ее утолении. Каждый период творчества имеет свой предел, свою линию взлета и неизбежно наступающего затем снижения. Аннета уже прошла через высшую точку этой кривой. Однако творческий порыв матери длится еще довольно долго после рождения ребенка. Кормление продолжает процесс перехода крови матери в кровь ребенка, и невидимые узы связывают два тела. Полнота творческих сил ребенка возмещает упадок этих сил в душе матери. Мелеющая река стремится принять в себя воды выходящего из берегов ручья. Она бурлит, сливаясь с ним, но ручей бежит дальше, обгоняя ее, а

она остается позади. Ребенок Аннеты уже уходил от нее, и она едва поспевала за ним.

Еще язык его не справлялся с целой фразой, а ум уже имел свои тайники, свои запретные ящички, и ключ к ним он прятал от всех. Бог его знает, что он там прятал! Вероятно, свои суждения о людях, обрывки мыслей, беспорядочное нагромождение образов, ощущений, любимых слов. Он еще не знал, что означают эти слова, но ему нравился их звук, и он твердил их в своих певучих монологах, не имевших ни начала, ни продолжения, ни конца. У него было отчетливое сознание, что он что-то скрывает, хотя он, быть может, еще и не знал, что именно. И чем больше окружающие старались узнать, о чем он думает, тем больше он хитрил, стараясь, чтобы они этого не узнали. Ему даже доставляло удовольствие сбивать их с толку: язычок его, такой же беспомощный, как ручонки, еще путал слова, а уже он пробовал лгать, морочить взрослых. Ведь как приятно доказывать и себе и другим свои права, потешаться над тем, кто хочет проникнуть в мир, тебе одному принадлежащий. Этот живой комочек, едва появившись на свет, уже безошибочным чутьем понимал, что такое «мое» и «твое»: «У меня есть хороший табак, но ты его не получишь». У него были в запасе только обрывки мыслей, но он уже воздвигал стены, чтобы скрыть их от глаз матери. Аннета, недалёковидная, как все матери, была горда тем, что он умеет так твердо говорить «нет!», что в нем так рано проявляется самостоятельная личность. Она с важностью заявляла:

— У него железная воля!

И воображала, что это железо выковано ею. Но против кого же?

Прежде всего против нее самой, ибо для этой крохотной личности она была «не я», а чужой мир, — правда, живой, теплый, мягкий и полный молока, мир, который был полезен, в котором хотелось господствовать. Но все-таки — мир внешний. «Этот мир — не я, но он мне принадлежит. А я — я ничуть ему не принадлежу!...»

Нет, он ей не принадлежал! И Аннета уже начинала это чувствовать: кроха желала принадлежать только

себе самой. Сын нуждался в ней, но и она нуждалась в нем, — малышу подсказывал это инстинкт. Быть может, этот инстинкт, подкрепленный эгоцентризмом, говорил ему, что мать нуждается в нем гораздо больше, чем он в ней, а значит, он имеет право этим злоупотреблять. И ведь это было верно! Он ей был гораздо нужнее, чем она ему...

«Ну, что ж, справедливо это или нет, — эксплуатируй меня, маленькое чудовище! Все равно, как ни старайся, ты не сможешь долго обходиться без меня. Ты в моей власти. Вот я тебя кладу в ванночку. Протестуй, рыбка моя, сколько хочешь!.. Смотрите, какая негодующая мина! Этот человечек разевает рот, словно он задыхается от оскорбленного достоинства, видя, что с ним обращаются, как с вещью... А вот я тебя все-таки переверну, и еще раз!.. Боже, какая музыка!.. Ты будешь певцом, сыночек! Ну-ка, возьми еще раз верхнее «до»!.. Bravo! Ты поешь, а я тебя заставляю плясать... Ну не безобразие ли так пользоваться твоей беспомощностью? Ах, гадкая мама!.. Бедный мальчик!.. Ничего, ты ей отомстишь, когда вырастешь... А пока протестуй! Вот не посмотрю на все твое достоинство и поцелую твой задик!..»

Он брыкался. Она заливалась смехом. Он был у нее в руках, но что толку? Ведь она распоряжалась только раковиной, а улитка уползала от нее вглубь своего убежища. И с каждым днем все труднее становилось поймать ее. Это была охота, увлекательная, как любовная борьба. Но все же охота, борьба, не дававшая передышки. Приходилось все время быть начеку.

Тысячи постоянных мелочных забот, которых требует ребенок, заполняют день. При всей своей несложности и однообразии они не оставляют места ни для чего другого. Ни на чем вне его, его одного, ум не может сосредоточиться. Самая быстрая мысль десять раз обрывается. Ребенок вытесняет все, этот кусочек мяса заслоняет от вас горизонт. Аннета об этом не жалела. Да у нее и времени не оставалось для сожалений. Она жила в состоянии постоянного утомления и озабоченности, и это состояние, вначале для нее спасительное, с каждым днем все заметнее переходило в смутное чув-



ство изнеможения. В такие периоды жизни у человека тают силы, а душа блуждает, как лунатик, и, вдруг проснувшись, не знает, куда идти. Однажды Аннета проснулась с ощущением этой усталости, накопившейся за много месяцев. И неуловимая тень омрачила радость, которая жила в ней.

Ей хотелось верить, что это только физическое переутомление. И, чтобы убедить себя в том, что счастье ее неизменно, она стала проявлять его слишком бурно. В особенности на людях: она словно боялась, что другие заметят то, чего она не хотела видеть. А когда она оставалась одна, после неумеренной веселости наступал упадок сил. Что это было — печаль? Нет. Непонятное томление, глухое беспокойство, чувство какой-то неудовлетворенности, которое она старалась отогнать. Аннета ничего не ожидала от внешнего мира — пока она еще обходилась без него, — но она страдала оттого, что какие-то стороны ее натуры не находили себе применения. Бездействовала уже давно и какая-то часть ее умственных способностей, а это нарушало внутреннее равновесие. Лишенная общения с людьми, предоставленная всецело себе самой, Аннета чувствовала, что душу ее начинает щемить тоска, и пыталась заглушить ее чтением, надеясь, что книги заменят ей людей. Но книги лежали раскрытыми все на той же странице: мозг ее отвык от усилий, разучился следить за разворотом цепи слов. Вечная забота о ребенке, беспрестанно врываясь в ее мысли, нарушала их ход, рассеивала внимание и только раскачивала дремлющее, ослабленное сознание, как приязанную у берега лодку, которая пляшет на волнах и не может ни двинуться вперед, ни стоять на месте. Вместо того чтобы бороться с этим, Аннета сидела взаперти, предаваясь сонным мечтам над раскрытой книгой, или старалась заглушить тоску взрывами бурной нежности и дурашливой болтовней с ребенком. Наблюдая, как она тщетно пытается истратить на малыша весь запас своей разносторонней душевной энергии, Сильвия говорила ей:

— Тебе следует чаще выходить, делать гимнастику, много гулять, как прежде.

Аннета, чтобы отделаться от нее, обещала чаще выходить, — и не двигалась с места. На то была причина, которую она хранила про себя: она боялась встреч с прежними знакомыми и обидных проявлений холодной отчужденности. Такова была внешняя причина, которую она приводила самой себе. В другое время ее ничуть не трогали бы эти мелочные обиды. Теперь же у нее появилось стремление избегать всякого соприкосновения с людьми — признак неврастения. Но тогда почему бы не уехать из Парижа, не поселиться в деревне, как ей советовала Сильвия? Аннета не возражала против этого, но ничего не предпринимала: нужно было на что-то решиться, а ей не хотелось выходить из своего сонного оцепенения.

И она мирилась с тем, что дни уплывали без малейших волнений, бездеятельные и тихие, как море в штиль перед отливом. То был перерыв, кажущаяся остановка в вечном ритме жизни. Дыхание приостановилось. Радость уходит на цыпочках. Бесшумными шагами приближается горе. Его еще нет, но уже *pescio quid*<sup>1</sup> предупреждает: «Не шевелись!.. Оно у дверей!»

Горе пришло. Но совсем не то, какого ждали. Напрасно пытаемся мы заранее представить себе грядущее счастье или горе. То и другое приходит всегда в совсем ином, неожиданном облике.

Однажды ночью, когда Аннета витала где-то между небом и землей, на грани счастья и душевного мрака, плыла в царство сна, не сознавая, находится ли она по ту или по эту его сторону, она вдруг почуяла опасность. Еще не зная, какая это опасность и откуда эта опасность надвигается, она собиралась с силами, чтобы броситься на помощь к спавшему рядом мальчику. Сознание ее, настороженное и во время сна, уже подсказало ей, что ребенку что-то угрожает. Она преодолела дремоту и с беспокойством прислушалась. Да, она не ошибалась, не могла ошибиться! Ведь даже в глубоком сне она чуяла всегда малейшую перемену в дыхании лю-

---

<sup>1</sup> что-то (лат.).

бимого малютки. Он дышал часто и неровно, и Аннета в силу какой-то таинственной телесной связи с ним почувствовала, что и ей стало трудно дышать. Она зажгла свет и склонилась над колыбелью. Мальчик не проснулся, но сон его был беспокоен, он метался. Мать утешило то, что личико у него не было красно. Потрогав его, она заметила, что кожа суха, а ручки и ножки холодные. Она укрыла его потеплее, и он как будто успокоился. Еще несколько минут она наблюдала за ним, потом потушила свет, мысленно уверяя себя, что это пустая тревога. Но скоро дыхание ребенка опять участилось и стало прерывистым. Аннета, сколько могла, обманывала себя:

«Нет, он дышит ничуть не тяжелее, это мне так кажется от волнения...»

И она заставляла себя лежать неподвижно, как будто внушая ребенку свою волю. Но сомнений уже быть не могло — ребенок дышал все чаще, начиналось удушье. Вдруг он закашлялся и, проснувшись, заплакал. Аннета вскочила, взяла его на руки. Мальчик весь горел, личико было бледно, губы приняли лиловатый оттенок. Аннета обезумела. Разбуженная тетюшка Викторина тоже всполошилась. Вдобавок ко всему в тот день телефон у них был выключен из-за ремонта сети, и невозможно было вызвать врача. А поблизости не было ни одной аптеки. Дом их на Булонской набережной стоял уединенно, и у служанки не было никакой охоты идти по пустынным улицам в такой поздний час. Приходилось ждать до утра. А признаки болезни становились все заметнее. Было от чего потерять голову! И Аннета была близка к этому, но, понимая, что этого никак нельзя, она ее не теряла. Тетка хныкала, металась, как муха под абажуром. Аннета сурово сказала ей:

— От твоего оханья пользы мало. Помогите мне, а если ты ни на что не способна, ступай спать и оставь меня в покое! Я одна буду его спасать.

И ошеломленная тетка взяла себя в руки. Понаблюдав за ребенком, она на основании многолетнего опыта рассеяла одно из самых страшных опасений Аннеты: это был не круп. Аннету все еще мучили сомнения, и

тетушку, вероятно, тоже: ведь так легко ошибиться. Да если это и не круп, мало ли других смертельных болезней? То, что они ничего об этих болезнях не знали, еще усиливало страх. Но, хотя у Аннеты душа леденела от ужаса, она делала как раз то, что нужно, и делала спокойно. Ничего не зная, слушаясь лишь материнского инстинкта, она наилучшим образом ухаживала за ребенком (как сказал ей врач на другой день): не давала ему долго лежать в одном положении, перекладывала, старалась облегчить удушье. Любовь подсказывала ей то, чего не могли подсказать ни опыт, ни знания, — ведь она испытывала все те мучения, что и ее мальчик. Она страдала даже сильнее — от чувства ответственности...

Мало сказать — ответственности! Тяжкое горе, а в особенности болезнь любимого человека, часто делает нас суеверными, и мы виним себя в его страданиях. Аннета не только упрекала себя в том, что была неосторожна и недостаточно оберегала ребенка, — нет, она уже открывала в себе какие-то преступные задние мысли: мысль, что она устала от ребенка, тень бессознательного сожаления о том, что вся жизнь отдана ему... Чувствовала ли она действительно по временам такую усталость и сожаления, и подавляла ли их в себе? Очевидно, да, раз они сейчас вспоминались ей... Впрочем, как знать, не выдумала ли она это из присущей нам всем потребности — в тех случаях, когда мы бессильны помочь делом, — лихорадочно искать причины несчастья и зачастую обращать против себя всю силу своего отчаяния?..

Аннета винила не только себя, но и могущественного врага — неведомого бога. Осторожно, размеренными движениями поднимая мальчика, чтобы ему легче было дышать, она смотрела на его распухшее личико и мысленно горячо просила у него прощения за то, что родила его на свет, вырвала из мирного небытия и бросила в жизнь, обрекла на жертву страданиям, случайностям, злым прихотям какой-то неведомой, слепой силы! Ощетинившись, как зверь, защищающий вход в свое логово, он чуяла приближение могучих богов-истребителей, готовилась отбить у них своего детеныша и заранее рычала и

них, оскалив зубы. Подобно всякой матери, когда ее сыну грозит опасность, она превратилась в Ниобею, которая, чтобы отвлечь на себя смертельную стрелу, бросает яростный вызов убийце...

Между тем никто из окружающих не догадывался о той немой борьбе за сына, которую вела Аннета.

Утром пришел врач. Он похвалил ее за то, что она не растерялась и сумела оказать ребенку первую помощь, сказал, что часто чрезмерное беспокойство любящей матери только вредит больному. Но Аннета из всего сказанного доктором запомнила одно: что в Париже сейчас свирепствуют грипп и корь и что сын ее, возможно, схватил воспаление легких. Значит, она виновата перед ребенком — зачем она не послушалась совета уехать из Парижа! Она беспощадно осуждала себя. Это раскаяние принесло по крайней мере ту пользу, что вытеснило из сознания Аннеты все другие упреки, которые она делала себе, и таким образом как бы уменьшило размеры ее вины.

Услышав печальную новость, тотчас примчалась Сильвия, и теперь у маленького больного не было недостатка в сиделках. Но Аннету невозможно было отогнать от его постели. Она почти не спала, оставаясь бессменно днем и ночью на своем посту. Пот, выступавший на маленьком тельце, смачивал и ее кожу, от его удушья ее бросало в жар. Боль перемесила мать и сына в одно тесто. И ребенок как будто понимал это: в те минуты, когда он корчился, со страхом ожидая нового приступа кашля, глазки его с укором и мольбой искали глаза матери. Он, казалось, говорил:

«Вот мне опять будет больно! Тот сейчас придет! Спаси меня!»

И она отвечала, прижимая его к себе:

«Да, да, я тебя спасу! Не бойся! Он тебя не тронет».

Тем не менее припадок наступал, ребенок задыхался. Но он страдал не один, мать корчилась вместе с ним, пытаясь разорвать душившую его петлю. Он чувствовал, что она борется за него, что великая защитница его не покинет. И уверенность, звучавшая в ее ласковом

голосе, прикосновения ее пальцев вселяли в него надежду, говорили ему:

«Я здесь».

Он плакал и колотил ручонками по воздуху, но знал: она победит того, безыменного.

И она побеждала. Болезнь сдавалась. Петля растягивалась. Трепеща всем телом, птенчик отдавался во власть спасительных материнских рук. Как легко дышалось обоим после такого мучения! Струя воздуха, вливавшаяся в ротик ребенка, освежала и горло матери, наполняла ее грудь блаженством.

Такие передышки бывали недолги и чередовались с ухудшениями. Борьба продолжалась, истощая силы. Ребенку стало лучше, но вдруг наступил резкий рецидив, причина которого была неясна. Самоотверженные сиделки пришли в отчаяние — каждая винила себя в каком-нибудь недосмотре, который помешал выздоровлению. Аннета мысленно твердила:

«Если он умрет, я покончу с собой».

За это время она отвыкла от сна. В те часы, когда ребенку нужна была ее помощь, она крепилась. Но когда он засыпал и ее немного успокоенное сердце могло бы дать себе роздых, мысли начинали метаться еще сильнее. Они плясали, как телеграфные провода под напором сильного ветра. Аннета не решалась закрыть глаза из боязни остаться наедине со своим обезумевшим мозгом. Снова зажигала лампу и пыталась привести в порядок мысли, от которых у нее голова шла кругом. Это был спор с самой собой, с ребяческими, нелепыми, суеверными фантазиями — во всяком случае такими они представлялись ее трезвому уму, привыкшему мыслить логически. Ей казалось — беда нависла над ней потому, что слишком было ее счастье, и для того чтобы сын выжил, она должна заплатить за это каким-нибудь другим несчастьем. Это была смутная, но крепко укоренившаяся вера в жестокий закон расплаты, вера, которая восходит к отдаленному прошлому человечества. Но первобытные племена, чтобы умиловить свирепого бога-торгаша, который ничего не дает даром и все продает только за наличные, приносили ему в жертву первенцев, покупая такой ценой уверенность, что у них не

отнимется все остальное, чем они дорожили в жизни. Аннета же, наоборот, готова была отдать и жизнь и все, что у нее было, как выкуп за своего первенца.

— Возьми, все возьми — только пусть он будет жив! — говорила она богу.

Но тут же приходила мысль:

«Как это глупо! Ведь услышать меня некому...»

Все равно — древний атавистический инстинкт искал вокруг присутствия ревнивого бога. И, упорно, яростно торгуясь с ним, она твердила:

«Заклучим договор! Я плачу наличными. Отдай мне ребенка и бери взамен, что хочешь!»

Как будто для того чтобы оправдать это суеверие, судьба поймала Аннету на слове. Однажды утром тетюшка Викторина пошла к нотариусу за деньгами, которые Аннета давно должна была от него получить, и вернулась в слезах. В это утро Аннета была счастлива: она, наконец, могла быть спокойна за жизнь сына. Только что ушел доктор, сказав ей, что мальчик выздоравливает. Аннета была вне себя от радости, но еще дрожала, не смея окончательно поверить своему неожиданному счастью. И в эту самую минуту открылась дверь, и ей сразу бросилось в глаза расстроенное лицо тетки. Сердце у нее екнуло, она подумала:

«Какая новая беда пришла?»

У старушки от волнения заплетался язык. Наконец, она сказала:

— Контора закрыта. Мэтр Греню скрылся.

Все состояние Аннеты было доверено этому нотариусу. Сперва Аннета ничего не поняла, затем (объясните это, если можете!)... затем лицо ее просветлело, и она подумала с облегчением:

«Только-то!...»

Вот она, спасительная беда! Враг взял с нее выкуп за сына...

Через минуту она уже пожала плечами, удивляясь своей глупости. И все же продолжала мысленно говорить с ним:

«Ну, теперь довольно с тебя? Ты удовлетворен? Вот я и расплатилась! Ничего я тебе больше не должна!»

Она улыбнулась... Бедные люди! Цепляясь за свою долю счастья и видя, что оно все ускользает и ускользает от них, они пытаются заключить договор со слепой природой, которую создают в воображении по своему образу и подобию.

«По своему образу и подобию? Неужели я похожа на эту природу, завистливую, хищную, жестокую? Кто знает? Кто может сказать: «Я не таков?»

Аннета была разорена. Она сначала не представляла себе размеров катастрофы. В первую минуту еще можно было заблуждаться. Но когда она хладнокровно обдумала положение, она вынуждена была признать, что наказана по заслугам.

Она умела разбираться в деловых вопросах — у нее, как и у отца, был трезвый, практический ум; цифры ее не пугали. Когда ведешь свой род от крестьян или мелких буржуа, сметливых и предприимчивых, то заглушить в себе практическую жилку можно, лишь сознательно стремясь к этому.

При жизни отца Аннета была избавлена от всяких материальных забот, а потом она переживала затяжной душевный перелом и, всецело поглощенная внутренней жизнью, была в плену у своих страстей. Такому, не совсем нормальному, состоянию «одержимости» способствовали ее праздность и обеспеченность. Она отстранялась от забот о своем наследстве с отвращением, в котором было что-то нездоровое. Да, именно нездоровое, ибо идеалист, презиравший богатство как паразитизм, забывает, что он имеет на это право лишь в том случае, если отказался от своего богатства. Когда же идеализм вырастает на почве, удобренной богатством, и, питаясь им, делает вид, что презирает его, — это есть худший вид паразитизма.

Чтобы избавиться от скучной обязанности вести свои денежные дела, Аннета передала все состояние в руки нотариуса, милейшего мэтра Греню. Это был старый



друг их семьи, человек уважаемый, известный своей честностью, признанный знаток своего дела. Он в течение тридцати лет вел все дела Ривьера. Правда, Рауль в делах никогда ни на кого всецело не полагался. При всем доверии к нотариусу он тщательно проверял каждый документ. Но, принимая эти предосторожности, он все же доверял мэтру Греню. А уж если человек с таким чутьем, как Рауль Ривьер, доверял кому-нибудь, значит тот заслуживал доверия! И мэтру Греню можно было доверять, насколько вообще можно доверять человеку в нашем обществе (с соблюдением всех предосторожностей).

Нотариусу в семьях своих клиентов приходится быть чем-то вроде светского духовника, и мэтр Греню был посвящен во многие семейные тайны Ривьеров. Мало что из походов Рауля и огорчений г-жи Ривьер оставалось ему неизвестным. Он с готовностью выслушивал обоих: ее — сочувственно, его — снисходительно. Жене он был советчиком и ценил ее добродетели, а мужу — приятелем и одобрял его пороки (с галльской точки зрения, такие пороки — ведь тоже своего рода добродетели). Поговаривали, что мэтр Греню сам охотно принимал участие в изысканных развлечениях Рауля. Мэтр Греню был седоватый человек лет шестидесяти, щедедушный, розовощекий, с утонченными манерами. Шутник и красноречивый, славный малый, превосходный актер, он любил разглагольствовать и, для того чтобы привлечь внимание слушателей, начинал всегда тихо, замирающим голосом, чуть дыша, а затем, когда вокруг воцарялось сочувственное молчание, голос его постепенно достигал такой звучности, которой мог бы позавидовать любой кларнет, и не утихал, пока мэтр Греню не изложит всего, что он имел сказать. Этот старомодный нотариус, у которого была страсть ко всему новомодному, этот старый буржуа и почтенный *pater familias*<sup>1</sup>, гордившийся тем, что в числе его клиентов были актрисы, прожигатели жизни и веселые «девочки», любил напоминать всем о своем возрасте и, даже хватая иной раз через край, разыгрывал из себя старца, но ужасно боялся, что ему поверят,

---

<sup>1</sup> отец семейства (лат.).

и втайне старался изо всех сил доказать, что он еще хват и всех молодых за пояс заткнет.

Мэтр Греню знал Аннету с детства и близко принимал к сердцу ее интересы. Он считал вполне естественным, что после смерти родителей она доверила ему все свое состояние. И первое время он, из профессиональной честности, добросовестно держал ее в курсе всех дел и ничего решительно не предпринимал без ее согласия. Но Аннете это вскоре надоело. Тогда он стал брать от нее доверенности на заключение всяких сделок и давал весьма беглые отчеты (которые Аннета не очень-то слушала). Позднее между ними было решено, что, так как Аннета, уезжая из Парижа, часто не оставляет своего адреса, то мэтр Греню будет вести ее дела самостоятельно, не советуясь с ней. И все наладилось отлично: нотариус сам вел все дела, доходы Аннеты шли к нему, а она получала от него столько денег, сколько ей было нужно. В конце концов мэтр Греню, чтобы иметь законное право распоряжаться деньгами Аннеты, догадался получить от нее общую доверенность... Так все и шло... Аннета уже больше года не видела мэтра Греню, а он каждые три месяца аккуратно посылал ей условленные суммы. Жила она уединенно, в обществе не бывала, не читала газет и о событиях узнала значительно позже, чем оно произошло. Старик Греню зарвался. Он не был корыстолюбив, но увлекся спекуляциями; чтобы увеличить вклады своих клиентов, он поместил их в рискованные предприятия — и деньги пропали. Пытаясь вернуть потерянное, он окончательно разорил клиентов. Ничего не говоря Аннете, он спекулировал не только всеми ее наличными деньгами и переданным в его распоряжение движимым имуществом, но, пользуясь разными условиями, которые допускал не совсем точный текст доверенности, заложил оба ее дома — на Булонской набережной и в Бургундии. Увидев, что все пропало, нотариус бежал. Ему было стыдно перед людьми, что он дал себя провести, и стыд этот был для него, пожалуй, тяжелее бесчестья.

В довершение всего Аннета, целиком поглощенная болезнью ребенка, уже несколько недель не распечатывала писем и потому не ответила ни на извещения креди-

торов, которым Греню заложил ее дома, ни на повестки судебного пристава. У малыша тогда был рецидив болезни, и Аннета совсем потеряла голову. Не обращая внимания на то, что письма адресованы лично ей, а не ее поверенному, она, не читая, отсылала их нотариусу; тот их тоже не читал — по той простой причине, что был «в бегах»... Когда же мальчик, наконец, стал выздоравливать и Аннета могла подумать о своем положении, делу уже был дан законный ход, а так как Аннета вовремя не уплатила кредиторам, они имели право продать заложенные дома. Очнувшись от своего бесчувствия, Аннета храбро встретила ошеломляющий удар. К ней сразу вернулись вся ее энергия и унаследованная от отца деловая сметка, заменявшая ей опыт. В этой борьбе она проявила решительность и ясный ум, которые восхищали судью, что, однако, не помешало ему решить дело не в ее пользу, ибо, при всей ее правоте, закон в этом случае был не на ее стороне. Аннета с самого начала поняла, что проиграла дело, но, хладнокровно допуская возможность поражения, она считала, что это несправедливо, и не могла сдаться без боя. К тому же дело теперь шло об имуществе ее ребенка! И она защищала его с упорством несговорчивой и хитрой крестьянки, которая, не желая сдвинуться с места, загораживает дорогу на свое поле и, хотя знает, что захватчики все равно ворвутся, старается выиграть время. Но что она могла сделать? Не имея возможности уплатить кредиторам долг и не желая просить помощи у родственников или бывших друзей (которые, по всей вероятности, отказали бы ей, да еще в унижительной форме), Аннета не могла помешать продаже заложенных домов. Вся ее изобретательность и упрямая энергия помогли ей только добиться краткой отсрочки, но не было никакой надежды, что по истечении срока решение суда будет отменено.

В такой беде было бы вполне простительно пасть духом. Сильвия, например, хотя сама ничуть не пострадала, не переставала то плакать и причитать, то возмущаться и твердить, что надо судиться, судиться и судиться... Аннета же, наоборот, благодаря этой истории, казалось, вновь обрела душевное равновесие. Обрушив-

шееся на нее испытание словно освежило воздух, рассеяло атмосферу вялой сентиментальности, которая последние два-три года расслабляла ее душу. Убедившись, что ничего изменить нельзя, Аннета примирилась с обстоятельствами без ненужных жалоб и ропота. Она не стала для облегчения души обвинять во всем Греню, как это делала Сильвия, изливавшая на голову нотариуса страшные проклятия. Старик сам потерпел крушение. Она, Аннета, тоже. Но у нее были молодые руки, и она умела плавать. Она думала об этом, пожалуй, не без удовольствия. Как это ни странно, разорение вызывало в душе Аннеты, наряду с огорчением, и то любопытство, что толкает нас навстречу опасности, и даже тайную радость при мысли, что ей предстоит испытать свои неиспользованные силы. Рауль понял бы ее — ведь и у него на вершине успеха бывало иной раз искушение уничтожить дело всей жизни, чтобы иметь удовольствие все создать наново.

Из дома на Булонской набережной надо было выезжать. Усадьба в Бургундии была спешно продана за смехотворно малую цену. Было ясно, что денег, вырученных от продажи всего имущества, едва хватит на уплату долга и судебных издержек, а если что и останется, — прожить на эти деньги Аннета с теткой не смогут. Надо было искать новых средств к существованию. И прежде всего — сократить расходы и жить как можно скромнее. Начались поиски жилья. Сильвия нашла для сестры квартиру на пятом этаже того дома, где сама жила на антресолях. Комнаты в новой квартире были окнами во двор, маленькие, но удобные, место тихое. О том, чтобы перевезти сюда всю мебель, нечего было и думать. Аннета решила взять только самое необходимое. Но тетюшка Викторина со слезами умоляла сохранить все. Аннета доказывала ей, что неразумно в их положении платить еще лишние деньги за хранение мебели и надо отобрать только часть, но тетюшка цеплялась за каждую вещь. Наконец, Аннета сама решительно отобрала все, что нужно было перевезти на новую квартиру, и сверх того оставила только несколько вещей, особенно дорогих старушке, а остальное продала.

Сильвию поражала такая «бесчувственность» Ан-

неты. Однако не следует думать, что мужественная девушка совсем не огорчалась. Она любила этот дом, который ей предстояло покинуть... Столько воспоминаний! Столько грез! Но она их гнала прочь, хорошо понимая, что нельзя безнаказанно давать им волю. Их было слишком много, они заполнили бы ее целиком, а ей сейчас нужны были все силы.

Только один раз она уступила их натиску, очень уж неожиданному. Это было как-то днем, незадолго до переезда. Тетушка ушла в церковь, а Марк был у Сильвии. Оставшись одна в доме, где во всем уже чувствовалась близость отъезда, Аннета стояла на коленях на скатанном до половины ковре и складывала снятый со стены гобелен. Она была поглощена делом, и, в то время как ее проворные руки работали, голова была занята всякими расчетами, связанными с переселением. Но, видимо, и для воспоминаний нашлось место: взгляд ее, с минуту уже рассеянно блуждавший где-то далеко от окружающего, вдруг, как сквозь туман, заметил один рисунок на гобелене, который она складывала. И она узнала его. Это был бледный, почти уже стершийся узор. Крылья бабочек или цветочные лепестки? Не все ли равно! Но на этом узоре часто останавливались ее глаза в детстве, и на этой канве они сейчас вышивали картины минувших дней. Эти картины внезапно выступили из мрака... Руки Аннеты замерли, мозг еще некоторое время упорно, но уже без всякой связи, нанизывал цифры, потом перестал. Аннета, соскользнув на пол, положила голову на свернутый ковер, согнула колени, закрыла лицо руками... и, подняв парус, отдалась на волю ветра и волн. Она странствовала не в одном месте... Такое множество нахлынуло воспоминаний (пережитое? или мечты?) — как было в них разобраться?.. Головокружительная симфония одного мгновения тишины! В ней заключено гораздо больше, чем содержание одной жизни. Когда работает мысль, сознанию кажется, что ему подвластен весь наш внутренний мир, а на самом деле ему дано увидеть лишь гребень волны в тот миг, когда его золотит луч солнца. Только мечте доступна эта зыбкая глубина с ее бурным ритмом, неисчислимые семена, несомые вихрем веков, мысли тех, кто дал нам жизнь, и тех, кому

дадим жизнь мы, гигантский хор надежд и сожалений,<sup>1</sup> обращенных к прошлому или будущему... Невыразимая гармония, секунда озарения, которая рождается иногда от одного толчка. В душе Аннеты ее пробудил букет поблекших цветов на гобелене...

Очнувшись после долгой тишины, Аннета торопливо вскочила и дрожащими, неловкими руками принялась быстро свертывать гобелен, уже не глядя на него. Она даже и этого не докончила и, бросив в сундук гобелен, только наполовину свернутый, выбежала из комнаты... Нет, она не хотела оставаться наедине с такими мыслями! Лучше насильно отогнать их. Будет время погоревать о прошлом когда-нибудь позднее, когда она и сама уже станет прошлым... Да, позднее, на закате жизни. А сейчас она была слишком озабочена будущим. Надо было нести это бремя. Мечты были впереди... «Не буду думать о том, что позади. Нельзя оглядываться...»

Она шла по улице, решительно выпрямившись, все ускоряя шаг и сосредоточенно глядя куда-то в пространство. Годы... годы... Жизнь впереди, жизнь ее ребенка, ее собственная, новая жизнь... Она думала об Аннете будущих дней.

Это видение стояло у нее перед глазами и в вечер переезда на новую квартиру. Сильвия тотчас после закрытия мастерской побежала вверх к сестре — она думала, что Аннете тяжело, и хотела отвлечь ее от грустных мыслей. Но Аннета хлопотала в тесном новом жилье, ничуть не устав после утомительного дня. Она пробовала разместить в слишком узких стеновых шкафах белье и платья; так как ей это не удавалось, она, стоя на табуретке и держа в руках простыни, обдумывала новый план и оглядывала битком набитые полки. При этом напевала, как мальчишка, вагнеровскую фанфару, которую, сама того не замечая, забавно перевирала. Наблюдавшая за ней Сильвия сказала:

— Ну и молодчина же ты, Аннета! (Это было сказано не совсем искренно.)

— Чем? — спросила Аннета.

— Будь я на твоём месте — да я от злости с ума бы сошла!

Аннета только рассмеялась и, поглощенная своим делом, жестом остановила Сильвию.

— Ага! Кажется, придумала!.. — воскликнула она.

И, сунув руки и голову в шкаф, принялась рыться там, что-то вынимать и перекидывать.

— Ну, вот и вышло по-моему!.. Теперь ты у меня в порядке!

(Это она обращалась к шкафу, битком набитому, убранному, покоренному.)

Она прыгнула с табуретки, гордая своей победой.

— Сильвия, горячка ты этакая! — Она взяла Сильвию за подбородок. — В детстве мы все строили домики из косточек домино. Ты разве бесилась, когда домик рассыпался?

— Еще бы! Я швыряла домино на землю!

— А я говорила: «Бух! Ну, ничего, построю другой!..»

— Ты еще скажешь, что нарочно толкала стол!..

— Может, и толкала — не поручусь, что нет.

— Анархистка! — сказала Сильвия.

— Скажите, пожалуйста! А ты не анархистка?

Нет, Сильвия не была анархисткой. Она любила посмеяться над властью и порядком, но считала, что они нужны... хотя бы для других! Нет, впрочем, и для себя тоже: что за удовольствие бунтовать, если над тобой нет власти? Ну, а порядок — Сильвия всегда за него ратовала. Существующий порядок она ругала только потому, что он был ей не по вкусу. Но что он был для всех установлен, это она одобряла. Порядок *должен быть!* С тех пор как и она упорядочила свою жизнь, стала хозяйкой и самостоятельно вела свои дела, она стояла за прочно установленный порядок. Аннета с удивлением сделала это открытие. И оно было не единственным. Человека по-настоящему узнаешь, только наблюдая его в повседневной деятельности, в которой естественно выявляются его силы, склонности и внутренние побуждения... Раньше Аннета видела Сильвию только в периоды беспечной праздности. Можно ли судить о кошке, пока она только нежится на мягкой подушке? Ее надо видеть на охоте, когда спина ее выгнута дугой, а глаза горят зеленым огнем.

Сейчас Аннета видела Сильвию в ее сфере, на маленьком участке, который она выкроила себе в парижских джунглях. Молодая хозяйка мастерской принялась за дело серьезно, и никто не мог с ней сравниться в умении его вести. Аннета имела полную возможность наблюдать ее вблизи, так как первые недели после переезда завтракала и обедала у Сильвии: они решили вести общее хозяйство, пока Аннета не наладит окончательно свои дела. Аннета в свою очередь старалась быть полезной сестре и помогала ей в мастерской. Таким образом, она видела Сильвию в любое время дня, в обществе заказчиц, мастериц, с глазу на глаз. И открывала в ней черты, которых не знала раньше, — или, может быть, эти черты выявились только за последние два-три года?..

Ласковая Сильвия не могла больше под чарующими улыбками скрыть от пронизательных глаз Аннеты некоторую жесткость и рассудочность своей натуры — даже в минуты увлечений она трезво все взвешивала. У Сильвии был небольшой штат мастериц, которым она командовала превосходно. Благодаря своей тонкой наблюдательности и способности пленять людей она подобрала подходящих девушек и сумела привязать их к себе. Ее главная помощница, Олимпия, гораздо старше и опытнее ее, превосходная работница, была несообразительна и не умела защищать свои интересы. В Париже эта провинциалка чувствовала себя затерянной, ее обирали, над ней издевались все — мужчины и женщины, хозяева и товарки. У нее хватало ума это сознавать, но не хватало силы воли для того, чтобы давать отпор, и потому она искала кого-нибудь, кто не надувал бы ее и, пользуясь ее трудом, избавил бы от необходимости распоряжаться собой. Сильвии ничего не стоило подчинить себе и ее и остальных. Нужно было только следить, чтобы чувство соперничества, которое она разжигала в мастерицах, не нарушало их согласия; нужно было, ловко пользуясь их соперничеством, поощрять их усердие и, по примеру мудрых правительств, создавать союз соперниц, основанный на преданности общему делу. Работницы Сильвии гордились своей маленькой мастерской, жаждали отличиться перед молодой хозяйкой, и это подчиняло их ее коварной власти. Она часто заставляла их работать



до изнеможения, но при этом сама подавала пример, и никто не жаловался. Мягкий выговор, веселая насмешка, вызывавшая взрыв смеха, подгоняли выбившуюся из сил упряжку, заставляли ее держаться до конца. Девушки восторгались хозяйкой и ревновали ее друг к другу. Она же, поощряя в них эти чувства, сама оставалась равнодушной. По вечерам, когда девушки уходили, она говорила о них с сестрой тоном холодного безразличия, который возмущал Аннету. Впрочем, в случае нужды, когда они заболели или попадали в беду, она не оставляла их без помощи. Но она забывала о них, больных или здоровых, когда их не видела. Ей некогда было думать об отсутствующих. Некогда было долго любить кого-нибудь. У нее было столько дела, что не оставалось свободной минуты: туалет, хозяйство, еда, шитье, примерки, болтовня, любовь, развлечения. И все было точно рассчитано — все вплоть до тех часов молчания (всегда коротких) между дневной сутолокой и ночным отдыхом, когда она оставалась наедине с собой. Ни единого уголка для мечты. Сильвия и к себе самой присматривалась со стороны такими же любопытными, трезвыми глазами, как к другим. Внутренняя жизнь была сведена к минимуму: все выражалось в действиях и словах. Сильвии была совершенно чужда свойственная Аннете потребность исповедоваться самой себе. Аннета даже терялась, наблюдая эту душу, где все было наружу. Ни единого укромного уголка! А если он и был (он есть во всяком сердце), дверь в него была наглухо закрыта. Сильвию не интересовало, что таится там, в глубине, за этой дверью. Ей нужно было одно — полновластно управлять своим мирком, наслаждаться всем, и работой, и радостями жизни, да так, чтобы все было в свое время, чтобы ничего не упустить, а значит, без страстей, без крайностей, ибо вечная деятельная суета и «порхание» не уживаются с великими страстями и даже исключают их возможность.\* Можно было не опасаться, что Сильвия когда-либо потеряет голову от любви!

В сущности она и любила-то по-настоящему одну только Аннету. И как это было странно! Почему она любила эту рослую девушку, с которой у нее не было ничего общего — или почти ничего?

А потому, что это «почти ничего» было нечто очень важное, может быть самое главное: голос крови... Не всегда люди одного поколения придают значение кровному родству, но когда придают, — какая это скрытая сила! Голос крови нашептывает нам:

«Тот, другой, человек — это тоже я. Содержание то же, но отлито в другую форму. Это я в ином виде. Я узнаю себя в другой душе...»

И хочется тогда отвоевать себя у этого узурпатора... Здесь действует влечение двоякого — нет, тройкого — рода. Нас влекут и сходство, и противоположность, и еще третья приманка, далеко не самая слабая: радость покорения другого человека...

Как много было общих черт у Аннеты и Сильвии! Гордость, независимость, сильная воля, дисциплинированный ум, чувственность. Но у одной все было обращено внутрь, у другой — наружу. Они представляли собой словно два полушария одной души. Они были созданы из одних и тех же элементов, однако каждая, по каким-то непонятым причинам, коренившимся в особенностях их натур, отвергала вторую свою половину, желала видеть только одну — ту, что была на поверхности, или ту, что была скрыта в глубине. Сближение сестер теперь, когда они жили вместе, грозило поколебать привычное представление каждой о самой себе. Их взаимная привязанность приобрела оттенок враждебности. И чем крепче была привязанность, тем острее становилась скрытая вражда, ибо ни одна из сестер не могла подчинить себе другую, и обе это чувствовали. Аннета лучше Сильвии умела читать в своих мыслях и была честнее, поэтому она осуждала и обуздывала себя. Прошло то время, когда ее властная и требовательная любовь стремилась поглотить Сильвию. Сильвия же все еще не отказалась от тайного желания подчинить себе старшую сестру. И она ничуть не сетовала на то, что обстоятельства дали ей возможность верховодить, подчеркивать свое превосходство перед Аннетой. Надо же было ей вознаградить себя за неравенство их судьбы в молодости! Этим неосознанным чувством, в такой же мере, как и нежной любовью к сестре, объяснялось тайное удовлетворение, которое Сильвия испытывала от того, что Аннета рабо-

тала в ее мастерской, под ее началом. Ей хотелось завербовать Аннету навсегда. И она поручала ей принимать заказчиц, делать рисунки для вышивок на белье. Она старалась ее убедить, что, работая в мастерской, Аннета будет иметь прочный заработок, а впоследствии даже сможет стать ее компаньонкой.

Аннета угадывала желание Сильвии, но вовсе не намерена была ему покориться. Она либо пропускала мимо ушей ее предложения, либо, когда Сильвия очень уж приставала к ней, отвечала, что она не создана для этого ремесла. Тогда Сильвия иронически осведомлялась, для какого же ремесла она считает себя созданной. Это задевало Аннету. Когда человека, которому никогда не приходилось трудиться ради куска хлеба, нужда заставляет искать работы, ему тяжело оттого, что он не знает, на что годится и годится ли вообще на что-нибудь, несмотря на свое образование. Однако нужно было на что-то решиться. Аннета не хотела жить на средства сестры. Конечно, Сильвия не дала бы ей этого почувствовать, она помогала ей охотно. Но, с удовольствием тратя деньги на нужды Аннеты, она помнила, сколько истрачено: ее правая рука всегда знала, что дает левая. Еще лучше это знала сама Аннета. Ей была нестерпима мысль, что Сильвия, подсчитывая свой приход и расход, записывает (мысленно, разумеется) в дебет истраченное на нее, Аннету... Проклятые деньги! Казалось бы, какие могут быть счета между двумя любящими сердцами? В любви Аннеты и Сильвии их не было, а в жизни — были. Не одна любовь управляет жизнью. Ею управляют и деньги.

Эту истину Аннета раньше слишком плохо знала. Но теперь она быстро ее усвоила.

Ничего не говоря Сильвии, она принялась искать работу. Прежде всего она решила пойти к начальнице того коллежа для девушек, который она окончила. Г-жа Абрагам когда-то благоволила к способной и богатой ученице, дочери влиятельного человека, и Аннета рассчитывала на ее сочувствие. Эта замечательная женщина, одна из первых поборниц женского образования во Франции,

обладала редкими качествами — энергией и здравым смыслом, а их дополняло (или порой, в зависимости от обстоятельств, умеряло) трезвое политическое чутье, которому могли бы позавидовать многие мужчины. Интересы своего коллежа г-жа Абрагам принимала гораздо ближе к сердцу, чем свои собственные. Она была свободомыслящая женщина и даже не скрывала (конечно, не выставляя напоказ) некоторого презрения к клерикалам, которое не могло ей повредить, ибо в ее коллеже учились девушки из кругов радикальной буржуазии и молодые еврейки. Однако надо сказать, что отвергнутую христианскую мораль ей заменяла гражданская, не очень-то устойчивая и обоснованная, но тем не менее узкая и требовательная (впрочем, это естественно: чем произвольнее догма, тем она суровее). Аннета благодаря своему положению в свете была в дружеских отношениях с начальницей и говорила с ней свободно и откровенно. Она любила высмеивать пресловутую общепризнанную мораль, и г-жа Абрагам, женщина скептического ума, охотно и с улыбкой слушала тирады непочтительной девчонки. Да, она улыбалась — но только когда они разговаривали с глазу на глаз, при закрытых дверях. Как только дверь открывалась, г-жа Абрагам вспоминала о своем звании и официальном положении, и к ней возвращалась твердая, как железо, вера в заповеди светского кодекса, выработанного несколькими резонерами, блюстителями нравственности. Можно бы сказать, что совесть госпожи начальницы в своем естественном состоянии была равнодушна к условной морали; когда же совесть эта облакалась в привычную броню официальности, она сурово порицала поведение Аннеты. А г-жа Абрагам о нем уже знала: история Аннеты обошла все парижские салоны.

Но о разорении Аннеты г-жа Абрагам еще ничего не знала. И когда Аннета пришла к ней, она не сочла нужным откровенно высказать ей свое мнение. Сперва надо было узнать, с какой целью пришла Аннета и нельзя ли извлечь из этого какую-нибудь пользу для коллежа. Поэтому г-жа Абрагам встретила бывшую ученицу приветливо, хотя и немного сдержанно. Но как только она узнала, что Аннета пришла к ней в качестве проситель-

ницы, г-жа Абрагам вспомнила о скандале, и улыбка ее стала ледяной. Принять деньги от особы предосудительного поведения еще можно, но помогать ей — неприлично. Г-же Абрагам было не трудно найти предлог для отказа беззастенчивой претендентке: она сказала, что коллежу не требуются учителя. А когда Аннета попросила рекомендовать ее начальницам каких-либо других учебных заведений, г-жа Абрагам не пожелала дать ей хотя бы неопределенные обещания. Большая дипломатка в тех случаях, когда она имела дело с людьми, высоко вознесенными колесом фортуны, она сразу оставляла всякую дипломатию, когда это колесо сбрасывало их вниз. А это серьезная ошибка: ведь те, кто сегодня внизу, могут снова очутиться наверху. Хороший дипломат должен принимать в расчет будущее. Но для г-жи Абрагам существовало только настоящее, а в настоящий момент Аннета шла ко дну. Это было печально, однако г-жа Абрагам не имела обыкновения спасать утопающих. Она не скрывала своей холодности. Аннета продолжала говорить с ней спокойно и непринужденно, как равная с равной, что теперь было уж совсем неуместно, и г-жа Абрагам, чтобы ее «осадить» и напомнить о разнице в их положении, объявила, что по совести не может никуда ее рекомендовать. Аннета вскипела и уже готова была вслух высказать свое возмущение, но гнев ее быстро утих, сменившись презрением. Ее вдруг охватило ребяческое желание созорничать, как когда-то, — так и подмывало поиздеваться над начальницей. Она сказала, вставая:

— Во всяком случае не забудьте обо мне, если вздумаете ввести в коллеже курс новой морали!

Огорошенная этой явной дерзостью, г-жа Абрагам посмотрела на нее и ответила сухо:

— Нам достаточно старой.

— Ну, ее не мешало бы немного расширить!

— А что именно вы хотели бы включить?

— Сущий пустяк, — спокойно ответила Аннета, — искренность и человечность.

Госпожа Абрагам, задетая за живое, отпарировала:

— И, разумеется, право на свободную любовь?

— Нет, право иметь ребенка.

Выйдя от г-жи Абрагам, Аннета пожала плечами при мысли о своей бесполезной бравате. Какая глупость!.. К чему наживать себе врагов?.. Все-таки она невольно рассмеялась, вспомнив рассерженную физиономию противницы. Женщина не может отказать себе в удовольствии посрамить другую женщину. Впрочем, эта другая, г-жа Абрагам, сменит гнев на милость, как только она, Аннета, отвоюет себе положение в обществе. А она его отвоюет!

Аннета побывала и в других учебных заведениях, но нигде не оказалось свободных вакансий. Не было их только для женщин. Латинские демократии созданы для мужчин. Иногда они включают в свои программы феминизм, но относятся к нему недоверчиво. Мужчины ничуть не торопятся дать оружие в руки своим соперникам — женщинам, которые и сейчас еще, на заре двадцатого века, остаются угнетенными. Но такое положение скоро изменится благодаря стойкости женщин Севера. Только под нажимом общественного мнения всех других стран у нас скрепя сердце согласятся признать трудящуюся женщину, которая хочет пользоваться всеми правами.

В двух-трех местах Аннета могла бы получить постоянную работу, если бы этому не помешала ее щепетильность. Там готовы были закрыть глаза на ее двусмысленное положение, если бы она сама захотела дать какое-нибудь правдоподобное объяснение: сказать, что она вдова или разведена. Но Аннета, из какой-то нелепой гордости, в ответ на вопросы говорила правду. И после нескольких неудач она больше не обращалась в коллежи. Не пошла она и в университет, хотя оставила там по себе хорошие воспоминания и нашла бы людей достаточно свободомыслящих, которые не осудили бы ее и помогли найти работу. Но Аннета боялась новых обид. Она была еще новичком в царстве нищеты. Гордость ее не успела натереть себе мозоли...

Начались поиски частных уроков. Аннета не хотела ни о чем просить знакомых из буржуазного круга, предпочитая скрывать от них свои невзгоды. Она обратилась к нелегально существовавшим тогда в Париже конторам по найму — вернее сказать, по эксплуатации. Но Аннета

была недостаточно ловка, не умела показать себя с выгодной стороны. Она держалась надменно, сердила людей своей разборчивостью: позволяла себе привередничать, вместо того чтобы соглашаться на любую работу, как множество несчастных женщин, которые, не запасшись достаточным количеством рекомендаций и дипломов, готовы обучать чему угодно и работать с утра до вечера за жалкие гроши.

Наконец, через заказчиц Сильвии Аннета получила несколько уроков с иностранками. Она учила говорить по-французски американок, которые были с ней любезны, предлагали иной раз прокатиться в экипаже, но платили до смешного мало и даже не понимали, что следует платить дорожке. Они, не задумываясь, платили сто франков за пару ботинок, а Аннета получала у них всего один франк за урок (в то время<sup>1</sup> нетрудно было найти преподавательницу, которая брала и по пятьдесят сантимов!)... Аннета, хотя и не имела возможности выбирать, вначале не соглашалась на такую постыдно низкую оплату, но после долгих поисков не нашла ничего лучшего. Зажиточная буржуазия готова тратить сколько угодно на обучение своих детей в привилегированных школах, так как эти затраты делаются на глазах у общества, зато домашних учителей она гнусно эксплуатирует. Ведь этого никто не узнает, и тут имеешь дело с людьми обездоленными, которые не станут артачиться: один откажется, так на его место найдется десяток других, которые будут умолять, чтобы их взяли.

Одинокой и неопытной Аннете трудно было защищаться, но она обладала практической жилкой Ривьеров, а гордость не позволяла ей соглашаться на унижительные условия, на которые шли другие. Аннета была не из тех кротких овечек, которые охают да вздыхают, но соглашаются. Она не охала — и не соглашалась. И, против всякого ожидания, такая тактика имела успех. Люди трусливы. Аннета говорила «нет» с высокомерным спокойствием, которое делало невозможным всякий торг. С ней не смели обходиться так, как с другими, и предлагать такую мизерную плату. Но и ей платили немно-

---

<sup>1</sup> 1903—1904 гг. — Р. Р.

гим больше. Приходилось тяжело трудиться, чтобы прокормить себя и сына. Ученики ее жили далеко и в разных концах города, а в Париже тогда еще не было ни автобусов, ни метро. К вечеру у Аннеты ныли ноги. Ботинки от такой ходьбы быстро снашивались. Но у нее было крепкое здоровье, и ей доставляло удовлетворение то, что она сама зарабатывает свой хлеб. Этот труд ради куска хлеба был для Аннеты интересным и новым переживанием. Всякий раз как она выходила победительницей из столкновения с эксплуататорами, она бывала очень довольна своим днем, подобно тем игрокам, что радуются выигрышу, забывая о ничтожности ставки. Она училась узнавать людей. То, что она видела в них, не всегда радовало глаз. Но в жизни все надо узнать! Она познакомилась с миром неизвестного труда. Правда, сближения настоящего, глубокого не было, ибо если богатство разобщает людей, то и бедность разобщает их не меньше. Каждый поглощен своим трудом и заботами. И каждый видит в другом не столько товарища по несчастью, сколько конкурента, отнимающего у него какую-то долю благ земных.

Такое чувство Аннета замечала в женщинах, с которыми ей приходилось конкурировать, и оно ей было понятно: ведь по сравнению с этими женщинами она могла считаться счастливницей. Если она и работала, чтобы не быть сестре обузой, то все же у нее была сестра, и ей не грозили ужасы нищеты. Она не испытывала лихорадочной неуверенности в завтрашнем дне. Ребенок был ей утехой в жизни, и никто не покушался отнять его у нее. Как же можно было сравнивать ее судьбу с судьбой хотя бы той женщины, историю которой ей довелось узнать, — учительницы, уволенной за то, что она, как и Аннета, имела смелость стать незамужней матерью? Правда, вначале ее терпели на службе, поставив условием, чтобы она скрывала, что у нее есть ребенок. Она была сослана, как опальная, на работу в деревенскую глушь и вынуждена была расстаться со своим малышом. Но когда он заболел, она не выдержала и помчалась к нему. Тайна ее открылась, и добродетельные жители деревни стали грубо издеваться над ней. А университетское начальство, разумеется, санкционировало «приговор



народа», вышвырнув на улицу мать с ребенком как нарушителей кодекса морали. Вот у кого Аннете приходилось отбивать жалкий кусок хлеба! Она не предлагала своих услуг там, где домогалась работы эта женщина. Но ее всегда предпочитали другим именно потому, что, меньше нуждаясь в работе, она не гналась за ней так настойчиво, как они. Люди не уважают тех, кто голоден. И несчастные, остававшиеся за бортом, видели в Аннете захватчицу, которая их обкрадывает. Они сознавали, что несправедливы к ней, но, когда человек сам является жертвой несправедливости, ему надо на ком-нибудь выместить обиду. Аннета наблюдала теперь самую страшную борьбу, борьбу трудящихся не с природой, не с обстоятельствами, не с богачами, чтобы вырвать у них кусок хлеба, — нет, борьбу тружеников между собой, вырывание друг у друга крох, падающих со стола богачей или скаредного Креза — государства... Вот что делала тяжкая нищета! А для женщин она была еще тяжелее, в особенности для женщин того времени, еще не сплотившихся: они вели между собой войну первобытных дикарей, один на один. Вместо того чтобы объединить свои силы, они их дробили...

Аннета крепилась, хотя сердце ее часто обливалось кровью, и, несмотря ни на что, весело шла вперед, побуждаемая новизной своей неблагодарной задачи, запасом сил, искавших применения, и мыслью о своем малыше, озарившем радостью ее дни.

Марк целый день проводил в мастерской Сильвии. Тетушка Викторина умерла вскоре после переезда. Она не могла пережить разлуки со старым домом, старой мебелью и привычками полувековой мирной жизни. А так как Аннета с утра до вечера не бывала дома, Сильвия брала малыша к себе. Заказчицы и мастерицы ласкали его, как домашнего котенка. Он лазил повсюду на четвереньках, обследовал каждый уголок или сидел под столом и подбирал крючки, лоскутки, разматывал клубки ниток. Его пичкали сладостями и осыпали поцелуями. Марку в то время шел уже четвертый год. Он был, как Аннета, светлый шатен, еще бледненький после тяжелой

болезни. Для этого мальчугана жизнь представляла непрерывную смену зрелищ. Сильвия могла бы припомнить впечатления своего собственного раннего детства, когда она, забравшись под стол матери, подслушивала разговоры заказчиц. Но взрослым, взирающим на мир с высоты своих ходуль, открывается совсем иное поле зрения, — они уже не видят того, что улавливают глаза ребенка. Да и розовым ушкам Марка было что послушать в мастерской, когда у женщин развязывались языки, дерзкие, бесстыдные и насмешливые! Сильвия и ее паства не грешили чрезмерной чопорностью. Под смех и пересуды иголка живее снует в пальцах... Присутствие мальчика никого не смущало: «Что он понимает?..» Вероятно, он и в самом деле не понимал, но он все впитывал в себя, ничего не пропускал мимо ушей. Дети все подбирают, все ощупывают, все исследуют. Беда тому, что валяется без присмотра и попадет к ним в руки! Забравшись под стул, Марк совал в рот все, что падало сверху, — крошки печенья, пуговицы, косточки. Точно так же подхватывал он всякое слово, — правда, еще не понимая, но для того, чтобы понять. И эти слова он пережевывал, заучивал, напевал...

— Ах ты поросенок!..

Ученица вырывала у мальчика ленту, которую он сосал или в азарте исследования засовывал себе в нос. Но нельзя было вырвать у него подслушанные и проглоченные слова. Пока он еще ими не пользовался — что ему было с ними делать? Но ни одно не пропадало даром.

Извлеченный из-под стола или юбок, где он с любопытством наблюдал движения ног и пленных пальцев, зажатых в ботинках, и вынужденный занять позицию, которая в мире взрослых считается нормальной и приличной, он смиренно и послушно сидел на низенькой скамеечке у ног Сильвии или другой женщины, потому что его тетушка редко сидела спокойно на одном месте. Он терся щекой о теплую ткань юбки и, запрокинув голову, глядя снизу вверх, видел склоненные лица, прищуренные глаза с бегающими зрачками, живыми и блестящими, перекусывавшие нитку зубы с пузырившейся меж них слюной, или закусившие нижнюю губу, а повыше — трепещущие ноздри с красными жилками. Или наблюдал, как бегают

иголка в пальцах. По временам чья-нибудь рука щекотала его под подбородком, рука с наперстком на пальце, и наперсток холодил шею... От малыша и тут, как всегда, ничто не ускользало: теплота или свежесть этой чужой руки, покрывающий ее мягкий пушок, розоватые отблески и янтарные тени на коже, запаха женского тела... Конечно, он подмечал все бессознательно. В многостороннем и многогранном сознании ребенка, воспринимающего мир, мимоходом запечатлевалось все, словно на фотографической пленке... Женщины в мастерской и не подозревали, что они с ног до головы отпечатывались на этой чувствительной пластинке. Но Марк их воспринимал не целиком, а как бы по кусочкам, и некоторых кусочков не хватало — как в игре-головоломке, где части картинки перемешаны. Отсюда — необъяснимые привязанности Марка, разнообразные и пылкие, но преходящие. Окружающие считали их просто капризами, однако дело тут было не столько в его непостоянстве, сколько в том, что ребенка привлекал не человек, а что-нибудь одно в этом человеке. Трудно сказать, что именно нравилось ему в той или иной из окружающих его женщин. Как настоящий котенок, он любил не людей, а скорее — их мягкие руки, ласкавшие его. Он любил мастерскую, как совокупность этих ласк, она была его домашним очагом. Марк был откровенный эгоист и с полным правом на это: маленькому созидателю нужно было прежде всего создать свое «я». Да, он был чистосердечным эгоистом, даже в своей любви. Он ластился к взрослым, потому что хотел понравиться и потому что находил в этом удовольствие. И притом ластился не ко всем, а только к своим избранницам.

С первых же дней ему больше всех полюбилась Сильвия. Он инстинктом, как домашнее животное, сразу понял, что она — божество этого очага, хозяйка и госпожа, которая раздает пищу, поцелуи, которая «делает погоду» и, значит, угождать ей выгодно. А еще выгоднее быть ее любимцем. И мальчик быстро подметил, что эта привилегия ему дана. Впрочем, он ничуть не сомневался, что заслуживает ее, и принимал как должное, но все же с некоторым удовлетворением, приятные и лестные знаки внимания со стороны верховной владычицы мастерской.

Сильвия его баловала, ласкала, восторгалась его ухватками, словечками, его умом, красотой, его глазами, носом, ртом. Она и всех посетительниц заставляла им восхищаться, хвастала им так, как будто это она произвела его на свет. Правда, иной раз она обзывала его «поросенком» и «негодным мальчишкой», утирала ему нос, давала шлепка, но когда это делала она, он не обижался и даже не находил в этом ничего особенно неприятного (что не мешало ему громко протестовать). Не всякий удостоивается шлепков от руки королевы! От девушек в мастерской, от какой-нибудь мелкой сошки он бы этого ни за что не потерпел, боже упаси! К тому же Сильвия и сама по себе, без своего скипетра, нравилась ему. В беспорядочной гряде впечатлений, нагроможденных в его душе, больше всего было от Сильвии. Он любил зарываться в ее юбки и, уткнувшись головой ей в живот, слушать как бы сквозь тело Сильвии ее смех и голос; или, вскарабкавшись к ней на колени, охватив ручонками ее шею, тереться носом, губами и глазами о нежную щеку, о светлые завитки около уха, которые так хорошо пахли. Для ребенка осязание — то же, что для взрослого — глаза. Оно — талисман, который раздвигает перед ним стены и помогает ткать мечту о том, что он как будто видел, мечту о жизни. Маленький Марк ткал свою мечту. И, еще не зная, что такое эти светлые завитки, эта щека, этот голос и смех, эта Сильвия, не зная, что такое «я» и «мое», он уже думал:

«Это мое».

Аннета приходила домой только вечером, всегда очень голодная. Целый день она странствовала в мире без любви, как в безводной пустыне, и жила мыслью об источнике, из которого напьется вечером. Она слышала его журчанье, она уже заранее предвкушала, как припадет к нему губами. И порой на улице какой-нибудь прохожий, когда она улыбалась, вспоминая своего ребенка, думал, что эта красивая женщина улыбается ему. Как лошадь, почуявшая близость стойла, она, подходя к дому Сильвии, ускоряла шаг, а добравшись, наконец, несмотря на усталость, бегом поднималась по лестнице и смеялась от счастья. Дверь открывалась, она влетала в ком-

нату и набрасывалась на мальчугана: сжимала его в объятиях, тискала, бешено целовала в глаза, в нос, в шейку, куда попало, шумно выражая свою радость и горячую нежность. А Марк, который до ее прихода был занят игрой, или, удобно усевшись на мягком пуфе, steadily рисовал мелом палочки, или развлекался тем, что путал нитки разных цветов, бывал недоволен ее вторжением. Эта большая, стремительная женщина вбегала так неожиданно, хватала его так бесцеремонно, вертела, кричала что-то ему прямо в уши, душила поцелуями... Нет, это ему совсем не нравилось! Им распоряжались против его воли — это было возмутительно! Он никак не мог с этим примириться. Если он сердито отбивался, она еще неистовее начинала целовать и тормозить его, и при этом сколько крику, сколько смеха!.. Марку все в ней не нравилось: бесцеремонность, шумливость, резкость... Он очень хорошо понимал, что мать его любит, восторгается им, он даже согласен был — пусть целует! Но надо же вести себя приличнее! И откуда только она взялась такая? Вот тетя Сильвия и ее девушки были гораздо лучше. Они играли с ним и тоже смеялись и шумели, но никогда не вопили так неистово, не хватала его так грубо, не душили поцелуями! Он не понимал, почему Сильвия, так хорошо умевшая задавать головомойки своим подчиненным, не научит приличным манерам эту невоспитанную особу, отчего тетушка не пытается оградить его от этих вольностей. А Сильвия, напротив, сблизилась с Аннетой ласково и как с равной — с другими она так не разговаривала. Она все твердила Марку:

— Ну будь же ласковее! Поцелуй маму!

Да, эта женщина его мама, он это, конечно, знал, но это еще не причина так вести себя! Он понимал, что Аннета тоже некая домашняя власть. Он еще очень хорошо помнил теплоту ее груди, он сохранял еще в жадном ротике сладкий вкус ее молока, а в своем теле птенчика — золотистую тень укрывавшего его крыла. И еще недавно, когда он был так болен и невидимый враг сжимал ему горло, над ним все ночи напролет склонялась голова всемогущей защитницы!.. Да, да, все это было так! Но сейчас она ему больше была не нужна. Если он и хранил где-то в глубине памяти все эти воспоминания

вместе с множеством других, они уже не имели для него никакого значения. Когда-нибудь потом, может быть... Там видно будет... А теперь каждый миг приносил ему новые дары неба — только успевай собирать! Дети — народ неблагодарный. *Mens momentanea*...<sup>1</sup> Неужели вы думаете, что у них есть время вспоминать то, что их радовало вчера? Им дорого только то, что тешит их сегодня. Аннета сделала большую ошибку, позволив другим затмить себя сегодня и стать мальчику приятнее и даже нужнее. Почему это мама, вместо того чтобы целый день шататься бог знает где, а вечером появляться так некстати и набрасываться на него, не возилась с ним постоянно, не ухаживала за ним, как Сильвия и все девушки? А если так — тем хуже для нее! И Марк только снисходительно терпел бурные ласки Аннеты, отвечая на дождь нелепых вопросов влюбленной матери неохотными и равнодушными «да», «нет», «здравствуй», а потом, вытирая щеку, спасался бегством от этого ливня и возвращался к своим играм или на колени к Сильвии.

Аннета не могла не видеть, что Марк любит Сильвию больше, чем ее. Сильвия видела это еще лучше. Они вместе смеялись над этим, и обе как будто не придавали этому ни малейшего значения. Но втайне Сильвия была польщена, а Аннета ревновала. Они не хотели сознаться в таких чувствах даже самим себе. Сильвия была добрая девушка и заставляла неласкового мальчишку целовать Аннету. Эти вынужденные поцелуи доставляли Аннете мало радости, зато Сильвия была довольна. Она не признавалась себе, что обкрадывает сад бедняка, а потом с царской щедростью предлагает ему несколько плодов из его же сада. Таких вещей люди себе не говорят, чтобы не растрожить докучливую совесть, но тем больше они тешатся ими втихомолку. И Сильвия без всякого сознательного коварства любила при сестре подчеркивать свою власть над ребенком, ласки его доставляли ей больше удовольствия, когда при этом бывала Аннета. Аннета с притворной шутивостью говорила небрежно:

— С глаз долой — из сердца вон!

Но в душе ей было не до шуток. Здесь не было места

---

<sup>1</sup> Душа, живущая мгновением... (лат.)

иронии. У Аннеты только ум был насмешливый, а любила она слепо, как любят животные. Тяжело было ей, женщине в полном смысле этого слова, скрывать свои чувства. Но ведь ее бы подняли на смех, если бы она открыла им свое бедное, изголодавшееся по любви сердце. И она при Сильвии и девушках притворялась равнодушной и пресыщенной, болтала о событиях дня, о людях, которых встречала, рассказывала о том, что слышала, делала и говорила сегодня, — словом, обо всем, что было ей безразлично (ох, как безразлично!..).

Зато ночью, когда Аннета, вернувшись к себе, оставалась одна с ребенком, она могла без удержу отдаваться своему горю. Да и не только горю, но и радости, страстным порывам любви. Здесь некого было остерегаться, не от кого прятать свои чувства. Здесь ее сын принадлежал ей одной, она владела им безраздельно. И она немного злоупотребляла этим, утомляя малыша своей бурной нежностью. Маленький дипломат, понимая, что здесь, вдали от Сильвии, он беспомощен, скрывал свое недовольство: до завтра нужно было как-то ладить с этой сумасбродной матерью. Он придумывал уловку: делал вид, будто ему ужасно хочется спать. Долго притворяться не приходилось — Марк засыпал быстро после полного впечатлений дня. А до этого он лежал на руках у матери с закрытыми глазами — казалось, в полном изнеможении, как обреченный на заклятие ягненок. И Аннета волей-неволей должна была укладывать его в постель, прервав его лепет. А маленький комедиант в полусне, от которого он постепенно просыпался, пока его несли вниз, украдкой забавлялся, глядя сквозь ресницы на доверчивую маму, созерцавшую его в безмолвном обожании. В такие минуты он сознавал свое превосходство и был ей за это благодарен. Иной раз он даже порывисто обнимал Аннету ручонками за шею, когда она стояла на коленях у его кровати. Эта неожиданная ласка вознаграждала ее за все. Но случилось это не часто, — Марк был скуп на нежности. И Аннета ложилась спать, не утолив голода. Засыпала она не скоро, долго ворочалась с боку на бок, прислушиваясь к дыханию ребенка, а в голове лихорадочно сновали мысли... Она твердила себе: «Он даже не поцеловал меня как сле-

дует... Он меня не любит...» И сердце ее больно сжималось. Но тут же она одергивала себя: «Что это я выдумываю!»

Надо было тотчас отогнать эту мысль, — разве можно жить с нею? Нет, это неправда!.. Как может она обвинять своего славного сыночка?.. И она торопливо перебирала воспоминания, отыскивая все, что было в них лучшего, все проблески нежности у ребенка, его ласковые словечки. Вспоминая их, она готова была вскочить с постели и кинуться опять целовать мальчика... «Нет, не надо его будить, тсс!.. Какое легкое дыхание!.. Сокровище ты мое!.. Как хорошо нам будет вместе, когда ты подрастешь!»

Настоящее было довольно уныло, и Аннета, чтобы скрасить его, рисовала себе будущую близость с сыном, такую, как ей хотелось. Ей нужен был кумир, чтобы на служение ему тратить те силы, что с некоторых пор опять вродили в ней и не давали покоя.

Это была уже не та тревожная грусть, не то нервное беспокойство, которые мучили ее перед болезнью Марка и от которых ее отвлекла эта болезнь. Прошли те бездеятельные дни, когда она чувствовала себя опустошенной, — ни сил, ни интереса к чему бы то ни было, штиль перед отливом...

Теперь наступил новый прилив в океане. Он уже возвещал о себе ревом волн, вздымавшихся в ночной тишине. Материнство на время утолило страсти, а постоянная физическая усталость от трудовой жизни была той плотиной, которая сдерживала их. Но, скопясь где-то в глубине, они бились об эту преграду, как волны о скалы. Рост души человеческой идет спиралью, и душа Аннеты сейчас была близка к состоянию, которое она уже раз пережила, лет пять назад, в промежутке между знойным летом в Гризонском отеле и той весной, когда она полюбила Рожэ Бриссо. Да, состояние было близкое к тому, прежнему, но не совсем то. Возвращаясь к прошлому, мы только кружим над ним, не спускаясь. Аннета за эти годы созрела. В ее волнении уже не было слепой чистоты молодой девушки. Она стала женщиной, и ее желания были остры и отчетливы. Она теперь знала, куда они влекут ее, — именно потому она и не хотела



к ним прислушиваться. Воля ее созрела так же, как ее тело. Внутренняя жизнь стала богаче, и все переживания имели чувственный оттенок.

Таким образом, новое появление этих знакомых и пугающих страстей, как душный полдень, предвещало грозу. Гнетущая тишина таила в себе близкие тревоги. Она пришла на смену беззаботной радости, беспечным печалям юного утра. До сих пор тени, набегавшие порой на лицо Аннеты, быстро рассеивались. Теперь она была в постоянном напряжении. Если она на людях забывала следить за собой, если ее не отвлекало присутствие ребенка, она была молчалива, и между бровями у нее появлялась резкая складка. Поймав себя на этом, она бесшумно исчезала из комнаты. И если бы кто-нибудь, обеспокоенный ее отсутствием, вздумал ее искать, он нашел бы Аннету в ее квартире — она убирала, стелила постель, переворачивала матрац, чистила мебель или вытирала окна, суется больше, чем нужно, но не заглушая этим душевного смятения. Она часто задумывалась во время работы, стоя с тряпкой в руке на стуле или облокотясь на подоконник. В такие минуты она забывала не только о прошлом, но и о настоящем, о живых и о мертвых, даже о ребенке. Она смотрела и ничего не видела, она слушала, не слыша, она думала без мыслей. Пламя, горящее в пустоте. Парус на ветру в открытом море. Она чувствовала, как мощное дыхание этого ветра пронизывает ее, и корабль содрогается всеми своими мачтами... Постепенно из бесконечности выступали лики вещей, ее окружавших. В окно, у которого она стояла, доносились со двора знакомые звуки; она узнавала певучий голосок своего мальчика. Но и он не нарушал ее грез наяву, только придавал им другую окраску... Он был как пение птицы в летний день... О сердце, залитое солнцем, какой запас любви еще хранится в тебе! Полными пригоршнями черпать жизнь!.. Но улов был слишком тяжел... Душа не могла его удержать и погружалась в огненную бездну, где не было ни пения, ни голоса ее ребенка, ни ее, Аннеты, — ничего, только могучий жаркий трепет... Аннета пробуждалась от своих грез, стоя все на том же месте у окна.

Но по ночам неотвязные сны, исчезнувшие было

после рождения Марка, теперь снова возвращались, непрерывно сменяя друг друга. Аннета катилась из одного в другой, словно с этажа на этаж. А утром вставала разбитая и словно сожженная, пережив в одну ночь десять ночей. И не хотела вспоминать того, что ей снилось...

Окружающие замечали, что у нее озабоченное лицо, рассеянный взгляд. Им была непонятна резкая перемена в Аннете, но они не тревожились, объясняя ее внешними причинами — материальными затруднениями. А между тем эта тревожная перемена была началом глубокого обновления. Аннета этого не сознавала и переживала ее как период своеобразной беременности, более томительной, чем бремя будущего материнства. Да это и было своего рода материнство — рождение скрытой души. Она, как семя, зарыта в глубине человеческого перегноя, хранящего в себе отбросы поколений. Извлечь ее оттуда — дело целой долгой жизни. Да, целая жизнь уходит на это рождение человека. И часто акушеркой бывает смерть.

Аннета испытывала тайный страх перед неведомым существом, которое когда-нибудь вырвется из нее на свободу. В припадках страха и стыда она замыкалась в себе, вся уходила в свою бурную внутреннюю жизнь, оставаясь наедине с этим пребывающим в ней новым человеком. Отношения между ними были враждебные. Атмосфера была насыщена электричеством, и в этой предгрозовой тиши то срывались, то снова замирали вихри. Аннета чувала опасность. Напрасно старалась она отодвинуть в тень то, что ее смущало. В тени или не в тени — это все же оставалось в ней, в ее смятенной душе. А знать, что твоя душа сверху донизу заселена неведомыми существами, — это не очень-то успокоительно!..

«Ведь это все — я... Но чего «оно» хочет от меня? Чего я сама хочу?»

Она отвечала себе:

«Тебе нечего больше желать. У тебя есть то, чего ты хотела».

Усилием воли Аннета обращала весь пыл своей любви на ребенка. Эти порывы материнской страсти не приносили ей счастья. Ненормальная, чрезмерная, болезненная (ибо это были неудачные попытки перевести на иной путь совершенно другие инстинкты, обмануть которые

было нельзя), страсть эта могла привести только к разочарованию. Она отталкивала ребенка. Марк восставал против такого насилия над ним и уже не скрывал от матери возмущения. Она ему докучала своими нежностями, и он высказывал это в коротеньких гневных монологах, которых Аннета, к счастью, не слышала. Зато их как-то раз подслушала Сильвия и разбранила его, хохоча при этом во все горло. Марк, стоя в углу за дверью, разговаривал со стенкой. Размахивая руками, он решительно и сердито твердил:

— Надоела мне эта женщина! Надоела!..

Желая рассказать историю чьей-нибудь жизни, мы описываем ее события. Мы думаем, что это и есть жизнь. Но это только ее оболочка. Жизнь — это то, что происходит внутри нас. События извне влияют на нее лишь тогда, когда они отмечены и, я бы даже сказал, порождены ею. Именно так бывает в большинстве случаев. Десятки событий происходят за месяц вокруг нас, но мы на них никак не отзываемся, потому что они не имеют для нас значения. Но уж если какое-нибудь из них нас сильно затронет, можно поручиться, что мы шли ему навстречу и встретили его на полдороге. Если толчок приводит в действие какую-то пружину внутри нас, значит пружина эта была натянута и ожидала толчка.

К концу 1904 года душевное напряжение Аннеты стало ослабевать, и эта внутренняя перемена, казалось, была связана с некоторыми переменами, которые в то время происходили вокруг нее.

Сильвия выходила замуж. Ей было двадцать шесть лет, она уже достаточно насладились радостями свободы и находила, что пора вкушать и радостей семейной жизни. Она выбирала мужа осматрительно, не спеша. От любовных связей она не требовала прочности — лишь бы доставляли удовольствие! А муж должен быть из прочного, добротного материала. Конечно, Сильвии хотелось, чтобы он ей, кроме того, нравился. Но ведь нравиться можно по-разному. Когда выбираешь человека в мужья, увлечься им вовсе не обязательно. Сильвия в этом деле

руководствовалась доводами рассудка и даже деловыми соображениями. Ее предприятие процветало. Мастерская под вывеской «Сильвия. Платья и пальто» заслуженно пользовалась прекрасной репутацией и завоевала себе избранную клиентуру в кругах средней буржуазии: здесь шили изящно, со вкусом и по умеренным ценам. Мастерская, преуспевая, достигла того предела, который Сильвия не могла перешагнуть одна, собственными силами. Ей нужен был компаньон, который помог бы перейти эту черту, который расширил бы дело, присоединив к ее дамской швейной мастерской портняжную.

Никого не посвящая в свои планы, она стала искать подходящего человека. Наконец, окончательно сделала выбор. И, сделав выбор, решила выйти замуж за своего избранника. А любовь? Любовь, говорила себе Сильвия, придет потом, будет время и для нее! Она не выйдет за человека, которого не сможет полюбить. Но любовь — не главное. На первом месте дело!

Ее избранника звали Леопольд Сельв, и в первую же минуту их знакомства молодая хозяйка мастерской придумала название для новой фирмы, которое будет красоваться на вывеске: «Сельв и Сильвия». Однако, хотя для женщины звучное имя имеет немалое значение, Сильвия была не так глупа, чтобы удовольствоваться только этим: Сельв был прекрасной партией. Этот не очень молодой (на вид ему было добрых тридцать пять лет) и довольно видный мужчина — как говорится, «неладно скроенный, да крепко сшитый», цветущий рыжеватый блондин, служил старшим закройщиком у известного парижского портного. Он хорошо знал свое ремесло, много зарабатывал, к тому же был человек степенный, не гуляка: Сильвия навела справки. И дело было решено — пока только в голове Сильвии. Она еще не спросила, согласен ли Сельв. Но это ее меньше всего беспокоило: она знала, что добьется своего.

Сельв вовсе не домогался чести стать ее мужем. Этот веселый малый, ничуть не честолюбивый, изрядный эгоист, дороживший своими удобствами и привычками, решил остаться холостяком. Он не собирался бросать свое место, хотя и скромное, но доходное и не обременявшее его никакой ответственностью, у хозяина, который

знал ему цену. Но Сильвия быстро опрокинула все его планы и нарушила его покой. Они встретились (встреча была ею заранее подстроена) на одной осенней выставке, куда и он и она пришли, чтобы ознакомиться с модами. Сильвию окружили поклонники — несколько молодых людей, сильно влюбленных в нее, и она направо и налево расточала улыбки, сыпала острыми и веселыми словечками, не обращая на Сельва никакого внимания. Затем, когда он (не без горечи) достаточно оценил ее любезность и остроумие, предназначавшиеся не для него, Сильвия неожиданно удостоила его благосклонного внимания. Теперь она обращалась только к нему одному — остальные отошли на задний план. Такой внезапный поворот подкупил Сельва, тем более что он приписал его своим личным качествам. Это был ловкий ход со стороны Сильвии — и Сельв попался. Прощай все его благие намерения!

Через некоторое время Сильвия попросила Аннету прийти к ней вечером, после обеда, в час, когда в мастерской уже обычно никого не бывало.

— Я тебя прошу прийти, потому что жду одного человека, — сказала она.

Аннета удивилась:

— А я для чего нужна? Разве ты не можешь одна его принять?

— Так будет приличнее, — с важностью возразила Сильвия.

— Поздновато ты вспомнила о приличиях!

— Лучше поздно, чем никогда, — отозвалась Сильвия все с той же невозмутимой серьезностью.

— Да что ты мне голову морочишь? Так я этому и поверила!

— Ну и не верь!

Аннета погрозила ей пальцем:

— А кто же этот другой? Кого ты собираешься морочить?

— Вот он идет!

Сельв позвонил. Он, видимо, был недоволен тем, что застал Сильвию не одну, но, как человек благовоспитанный, постарался это скрыть. Нелегко произвести выгодное впечатление в обществе двух молодых и бойких жен-

щин, которые кого угодно смутят, особенно когда они заодно. Сельв чувствовал, что его изучают две пары глаз. После нескольких довольно тяжеловесных комплиментов, часть которых он из вежливости уделил Аннете, он заговорил о делах, о своем ремесле, о своей жизни очень занятого человека. Аннета великодушно притворялась заинтересованной, задавала вопросы. Сельв стал доверчивее, у него развязался язык. Он говорил о трудностях, которые мешали ему пробить себе дорогу, о своих невзгодах и успехах и всячески старался показать себя с наилучшей стороны. Он производил впечатление человека простодушного, доброго и довольного собой. Сельв вел игру в открытую, тогда как Сильвия, более осторожная, раньше чем выложить свои карты на стол, старалась заглянуть в карты партнера. Аннета, скоро отодвинутая на задний план, наблюдала за этой игрой и дивилась не столько ловкости сестры, сколько ее выбору. Сильвии нетрудно было бы сделать более выгодную партию. Но она вовсе к этому не стремилась. Слишком красивые и блестящие мужчины не внушали ей доверия. Разумеется, она не вышла бы за дурака или уроды. Золотая середина, толковый помощник, а не верховод — вот что ей было нужно! Она понимала, что в браке каждая сторона должна давать, а хочет брать: это как предложение и спрос. Ей же требовалось только одно: она была сама себе госпожа и такой хотела остаться. А ему чего было нужно? Чтобы его полюбили ради него самого, за красивые глаза... Бедняга! Не мог же он так много воображать о себе — ведь он знал, что некрасив и даже непривлекателен. Но все-таки он хотел, чтобы женщина вышла за него по любви... Ну, не смешно ли? Думая об этом, Сельв пожимал плечами, мысленно посмеиваясь над такой слабостью, ибо при всем своем простодушии он был неглуп, знал жизнь и к женщинам относился скептически, как большинство французов. Но потребность любви в человеке так сильна! Ах, эта глупая потребность сердца!.. «А почему меня нельзя полюбить? Я не хуже других!..» Так Сельв переходил от смирения к самодовольству. Он добивался любви, точно милости. Это была плохая тактика... И как он ничего не умел скрыть! Плутовка Сильвия отлично это подметила. Когда его боль-

шие голубые глаза навывали спрашивали: «Вы меня любите?..» — она, помня, что неуверенность питает любовь, отвечала умильными взглядами, которые не говорили ни да, ни нет.

Когда сестры остались одни, Аннета сказала Сильвии:

— Нехорошо, что ты так с ним заигрываешь!

— А почему? — возразила Сильвия, смотрясь в зеркало. — Игра стоит свеч.

— Значит, это серьезно?

— Очень серьезно.

— Вот не могу себе представить, что ты выйдешь замуж!

— Напрасно! Я думаю проделать это даже не раз и не два...

— Не люблю, когда ты шутишь такими вещами!

— Ах ты, ходячая Армия спасения! Чем же тогда шутить? Ну, ну, госпожа Бут (Сильвия произносила «Бот»<sup>1</sup>), не хмурь свои красивые брови! Я не собираюсь пока менять мужа, сначала еще надо его испробовать. Я хочу выйти замуж надолго. Но если брак окажется непрочным, — что ж, придется искать другого!

— Я не за тебя беспокоюсь! — сказала Аннета.

— Вот как! Ну что ж, спасибо и за то, что беспокоишься о нем. Значит, он тебя пленил?

— Сильвия, он тебе не пара. Но он славный малый, — жаль, если ты ему испортишь жизнь.

Сильвия улыбалась своему отражению в зеркале.

— Эка важность, подумаешь! Люди всегда портят друг другу жизнь. Конечно, ему придется страдать!.. Бедняга! Не хотела бы я быть в его шкуре... Ну, ну, я шучу, не беспокойся за него! Неужели ты думаешь, что я не знаю качеств моего Адониса? Он ничем не блещет, но на него можно положиться — уж я-то кое-что в этом смысле. Конечно, я не стану ему этого говорить: мужчину никогда не следует баловать, а то он начнет воображать, что имеет на тебя какие-то права. Но я знаю все его качества. Я не так глупа, чтобы его обижать, — ведь

---

<sup>1</sup> Б у т — фамилия основательницы Армии спасения. — *Прим. ред.*

это значило бы вредить самой себе! Конечно, не поручусь, что не буду его бесить (это ему полезно — пусть немножко похудеет!), но изводить его буду — не чересчур, а ровно столько, сколько необходимо. Разумеется, только в том случае, если мне не на что будет жаловаться, а иначе пусть сам на себя пеняет: я в долгу не останусь, всегда плачу наличными! Я честно торгую: надуваю покупателей ровно настолько, чтобы можно было прокормиться, не больше. Но если они пробуют надуть меня, — ну, тогда я уже не стесняюсь!

— Что за женщина! Никогда нельзя заставить ее говорить серьезно! — воскликнула Аннета.

• — Если о всех серьезных вещах говорить серьезно, тогда и жизнь станет неумогу! — сказала Сильвия.

Леопольд скоро опять пришел, и Сильвия не стала его томить. Она быстро обозрела позиции противника и, не выходя из-за оборонительных укреплений, проверила его вооружение, амуницию и провиант, а тогда уже добровольно сдалась. Она без всякого труда незаметно внушила ему свою идею, и Леопольд до конца жизни сохранил иллюзию, что это у него явилась мысль открыть большую мастерскую «Сельв и Сильвия».

Свадьбу решили сыграть в середине января — сезон, когда работы у портных меньше. Последние недели перед свадьбой были веселым временем и для работниц мастерской — сияющий Леопольд угощал всю компанию, водил в театр и кино. Все эти девушки так любят повеселиться! Когда одна из них выходит замуж, им кажется, что она словно приводит в их общий дом счастье. И каждая, встречая дорогого гостя, шепчет ему мысленно: «Смотри же, не забудь! Следующая очередь — моя!..»

Всеобщая радость заразила и Аннету. Казалось, она должна была бы сейчас еще живее почувствовать, как неудачно сложилась ее собственная жизнь. А между тем она спрашивала себя, куда девались все ее горести: они соскользнули с нее, как сорочка с бедер. О молодость, горе тебе нипочем!.. Нельзя сказать, чтобы брак Сильвии приводил Аннету в восторг. Она нежно любила сестру, и ей было немного грустно при мысли, что они теперь уже не будут так близки. И потом досадно было, что та-



кая хорошенькая девушка выходит за довольно просто-ватого парня. Не о таком муже для Сильвии мечтала Аннета. Но что за дело людям до чужой мечты! И они правы... Каждый бывает счастлив по-своему.

Сильвия была довольна. Любовь Леопольда и его явное восхищение льстили ее тщеславию и мало-помалу покоряли ее сердце. Она говорила сестре, что ценит ста-пенность и серьезность своего жениха, — он будет ей надежным товарищем и ни в чем не станет ее стеснять. Правда, изменять ему она не собирается, но никогда нельзя поручиться за будущее, а Леопольд тем хорош, что не станет строго требовать у нее отчета в поведе-нии, — в этом она уверена. Леопольд не стремился узнать прошлое Сильвии, он ей верил, и Сильвия была ему за это благодарна.

Жизнь оставила Леопольду мало иллюзий и сделала его терпимым. Она научила его, что наилучшее правило поведения — бладушный эгоизм честного скептика, доброго и нетребовательного, который не ждет от дру-гих того, чего сам не может дать.

У Сильвии было больше общего с Леопольдом, чем с Аннетой. Аннету она, конечно, любила сильнее. Но, будь Аннета мужчиной (так говорила Сильвия смеясь), она бы ни за что не вышла за нее замуж. Нет, нет, это плохо кончилось бы!.. А с Сельвом она чувствовала себя в безопасности. Это чувство спокойной уверенности из-бавляло ее от необходимости размышлять о женихе: она думала о свадьбе, о подвенечном наряде, который себе сошьет, о своем будущем хозяйстве и грандиозных ком-мерческих проектах. И эти мысли рождали чувство пол-ного удовлетворения.

Свадьба состоялась в солнечный зимний день. Потом Сельв повез всех в Венсенский лес. Устраивались весе-лые пикники. Аннета охотно принимала в них участие. В другое время ей был бы неприятен несколько вульгар-ный пошиб этого шумного веселья. Сейчас она его не замечала. Она развлекалась вместе со славными юно-шами и девушками, для которых это были часы блажен-ного отдыха среди дней тяжелого труда. Она участво-

вала в играх и всех пленила своей живостью и заразной веселостью. Сильвия привыкла видеть сестру холодной и высокомерной и сейчас с удивлением наблюдала, как она от души веселится. Вот она играет в жмурки: с завязанными глазами, краснея от возбуждения, улыбаясь во весь рот и выставив вперед подбородок, как будто хочет поймать на лету солнечный луч, она идет большими шагами, спотыкаясь, раскинув руки, как крылья, и хохочет во все горло!.. Не один человек, глядя на красивое, сильное тело этой страстной женщины, вероятно, думал: «Кого она покорит? Кто покорит ее?..» Но Аннета, казалось, думала только об игре... Куда девались все заботы, еще вчера ее угнетавшие? Где ее сосредоточенный, напряженный, ушедший внутрь взгляд? Да, в ней несомненно была какая-то душевная упругость!.. Сильвия ставила себе в заслугу, что сумела отвлечь Аннету от забот, и радовалась этому. Но Аннета хорошо знала, что причина ее нового настроения гораздо глубже. Не от свадебного веселья у нее стало легче на душе, а наоборот: она была так весела на свадьбе потому, что ее тревога улеглась.

Но что же произошло? Произошло нечто странное, и не сразу, — только проявилось оно, это новое, внезапно, в один прекрасный день.

Это было за несколько недель до свадьбы Сильвии, в воскресное утро. Аннета сидела полуодетая перед зеркалом у своего туалетного стола. По воскресеньям она любила одеваться медленно, не торопясь, — ведь в другие дни нужно было рано уходить из дому. Ей лень было двигаться — сказывалась накопившаяся усталость. Марк, как только встал, убежал к тетке. Он живо интересовался предстоящей свадьбой и смешил Сильвию своими замечаниями, которые делал тоном бывалого человека. Леопольд его баловал: чтобы угодить Сильвии, он ухаживал и за ее собачонкой. И Марк, польщенный, гордый таким вниманием к нему взрослого мужчины, проводил весь день внизу, а к матери возвращался неохотно. Аннета замечала это с горечью и унынием. Но в то воскресное утро усталость была сильнее горя, и к ней примешивалось какое-то новое тайное чувство, не лишенное приятности. Аннета по привычке все-таки вздохнула. Но

она наслаждалась этой приятной усталостью, сознанием, что сегодня можно, слава богу, отдыхать, вытянувшись в кресле... Воскресенье! Прежде Аннета не умела ценить его по-настоящему.

«Устала я! Устала! Как хорошо, что не надо никуда идти!.. Спать бы и спать — тысячу лет!.. Сидеть вот так, хотя и в неудобной позе, не делая ни одного движения... Точно ты зачарована и боишься разбить чары. Не буду двигаться! Как хорошо!..»

Она смотрела в окно, на крышу напротив. Из трубы пекарни поднимался дым. Завиваясь светлыми кольцами на ветру и приплясывая, он весело бежал к голубому небу. Глаза Аннеты смеялись, душа уносилась ввысь и вместе с этими прихотливыми арабесками дыма плясала на воздушных лучах, освободившись от земной тяжести. Душа ее была открыта солнцу и ветру. Аннета вполголоса напевала... И вдруг ей вспомнился взгляд молодого человека, который с восхищением смотрел на нее вчера в омнибусе. Она его не знает и, конечно, никогда больше не увидит. Но этот взгляд, который она перехватила, неожиданно повернув голову (а он думал, что она его не видит), так простодушно говорил ей о ее красоте, что оставил в ее сердце чувство живой радости... Она притворялась перед собой, будто не знает, откуда эта радость... Но когда зеркало отразило ее улыбку, она вдруг увидела себя глазами того, кто ее когда-нибудь полюбит... Где вы, заботы?.. Они еще жужжали где-то, но далеко, очень далеко, да и то лишь время от времени...

«Нет, довольно, довольно! К чему?.. Со всем этим нужно покончить!»

Такие мысли для Аннеты были не новы. Она уже двадцать раз твердила себе то же самое. Но нечего было ожидать, что она выполнит свое решение. Разум — хороший советчик, да в его советах много ли проку? Сердце можно убедить лишь доводами сердца.

Сейчас и в таких доводах не было недостатка. Сейчас Аннета готова была признать нелепой страстность своей материнской любви. Но признавала она это потому, что в ней воскресли другие потребности, которые она до сих пор в себе подавляла. Она больше не могла, не хотела их отвергать. И, как только она их безмолвно

признала, она почувствовала себя освобожденной. Голос вострепнувшей молодости говорил ей:

«Ничего не потеряно. Ты еще имеешь право на счастье. Жизнь твоя только начинается...»

Мир вокруг ожил. Она снова обрела вкус ко всему. Даже в тусклые дни бывали просветы. Аннета не строила никаких планов на будущее. Она просто радовалась при мысли об этом отвоеванном будущем, каким бы оно ни было... Да, да, она молода, молода, как этот юный, наступающий год... Вся жизнь перед ней... Она никогда не пресытится ею!

Начало февраля — чудесная пора. В Париже она полна очарования. Весна чувствуется пока только в небе и в сердце, но уже все вокруг кажется каким-то удивительно чистым, все светло и ясно, как радость просыпающегося ребенка. Наступает самое прекрасное время года. Птиц еще не видно, но в воздухе уже слышен их полет: кажется, что стоишь на верхушке башни, уходящей в ясное небо, и видишь тучи крыльев, стаи ласточек, которые перелетают через моря и летят к нам. И вот они уже здесь, они поют в моем сердце!..

Как всякий здоровый человек, Аннета любила все времена года. Она легко приноравливалась к ним, она словно вбирала в себя часть их скрытых сил. Весна, пора обновления, наполнила ее радостным возбуждением.

Ходьба, работа — все доставляло ей удовольствие. Она возвращалась домой приятно усталая и с отличным аппетитом. Все ее живо занимало, опять проснулся интерес к умственной жизни, ко всему, что она забросила за последние четыре года, — к музыке, книгам. Несмотря на усталость, она выходила иногда и по вечерам, бежала на другой конец Парижа, чтобы послушать концерт, на который достала билет. Сильвия, у которой тяжело проходило начало беременности, завидовала сестре.

Во время вечерних прогулок за Аннетой не раз увязывались мужчины. Рассеянная, поглощенная своими мечтами, она их долго не замечала, но вдруг от беседы с самой собой ее отвлекало ощущение, что кто-то следует за ней по пятам. Очнувшись, она с любопытством оглядывала субъекта, который что-то ей нашептывал, пожи-

мала плечами или делала недовольную гримасу и шла дальше, ускоряя шаг и бормоча про себя:

— Вот старый дурак!

«Дурак» часто бывал не старый, а молодой. И тогда Аннета думала:

«Лет через десять и Марк, пожалуй, будет делать то же самое...»

И останавливалась, возмущенная. Юноша встречал гневный взгляд, предназначавшийся будущему Марку, и отставал. А она уже снова улыбалась, представляя себе на месте этого юноши своего Марка, взрослого, красивого, — как-никак, это было забавно и тешило ее материнское самолюбие. Но она тут же слохватывалась и начинала мысленно себя бранить... Мало того, она бранила Марка!

— Шалопай! — ворчала она. — Вот вернусь домой, надеру тебе уши!

(И она так и делала.)

Эти маленькие приключения забавляли Аннету только вначале. Когда же они стали учащаться...

«Нет, это становится невыносимо! Неужели женщине нельзя спокойно пройти по улице? Стоит тебе без всякой задней мысли взглянуть направо или налево или улыбнуться — и тебя уже подозревают в том, что ты ищешь любви! Знаю я ее, эту любовь, довольно я на нее насмотрелась! Мужчины уверены, что мы без них жить не можем! Эти олухи не понимают, что можно быть счастливой без них, счастливой просто так, оттого что хорошая погода, оттого что ты молода и у тебя есть то небольшое, что тебе нужно!.. Ну и пусть себе воображают что угодно! Разве я о них думаю? О таких думать?.. Да неужели они никогда не пробовали посмотреть на себя со стороны?»

Но она-то на них смотрела! И в своем блаженном опьянении свободой никак не склонна была их идеализировать. Она спрашивала себя: как можно увлечься мужчиной? Право же, это некрасивое животное! Надо совсем потерять голову, чтобы им прельститься!.. И дочь Ривьера, как истая француженка классического типа, здоровая духом и читавшая Рабле и Мольера, вспоминала слова, которые Дорина говорит Тартюфу.

Она смеялась над любовью!.. (Ах, как она хитрила с собой!..) Она дразнила ее, а любовь между тем притаилась в ее сердце и, делая вид, что дремлет, ждала своего часа. Эти перепалки были только подготовкой к настоящей атаке. Враг подступал. Враг — и вместе друг...

Ну, можно ли было этого ожидать? Кто угодно — только не он... Какая ирония судьбы!

Жюльену Дави было лет тридцать — почти столько же, сколько Аннете. Это был молодой человек среднего роста, немного сутулый. Если бы не довольно красивые карие глаза, кроткие и серьезные, светившиеся тихой лаской для тех, кто умел его приручить, его грустное лицо было бы непривлекательно. Шишковатый лоб, перерезанный складкой, большой нос, торчащие скулы, черная борода и мягко очерченные губы, скрытые под чересчур длинными усами (Жюльен как будто задался целью прятать все, что было в нем лучшего), цвет лица желтоватый, как старая слоновая кость, — видно было, что человек питается больше книгами, чем солнцем. Лицо выражало и ум и сердечность, но было какое-то тусклое, неподвижное, — жизнь и страсти еще не наложили на него своего отпечатка. В общем, Жюльен Дави представлял собой фигуру нескладную и унылую.

Он был еще наивнее и неопытнее Анкеты, а она и после своего короткого, но бурного романа была не слишком искушена в делах любви. Правда, унаследованное от отца чутье и откровенности Сильвии, которые иногда стоили бесед королевы Наваррской, не дали ей остаться в неведении. Но такие уроки плохо усваиваются, если сердце не познало всего на собственном опыте. Слова не то, что реальная действительность. И бывает, что, столкнувшись в жизни с тем, о чем мы только недавно прочли в книгах, мы его не распознаем. Несмотря на всю осведомленность Анкеты, ей в сущности еще только предстояло узнать почти все. А Жюльену — все.

Жюльен до сих пор не знал любви. У нас во Франции неохотно говорят о таких «девственниках», и в народе они служат мишенью для вольных шуток, ибо народ наш хотя и остроумен, но довольно крепко держится за старые формы мышления. Между тем таких «невинных»

много. Этому способствуют религиозные убеждения, нравственный пуританизм или врожденная, иногда болезненная, застенчивость, а чаще всего — тяжелый труд, поглощающий все молодые годы, бедность, отвращение к любви пошлой и уважение к той настоящей, которая придет (а она не приходит), и при этом во всех случаях, вероятно, холодный темперамент, свойственное северянам медленное пробуждение сердца (медленность эта, впрочем, вовсе не исключает в будущем сильных страстей, — напротив: сердце их накапливает и хранит в запасе). Да, таких людей много, и счастье молодости проходит, ничего не уделив им. Праведники эти стоят в стороне с пустыми руками.

Жюльен почти все в жизни познавал только умом. Он вырос в семье бедных и трудолюбивых буржуа. Вся семья состояла из трех человек. Отец, учитель, умер рано, замученный работой; мать всецело посвятила себя сыну, который платил ей такой же самоотверженной любовью. Он был религиозен и, несмотря на свои либеральные убеждения, соблюдал все обряды как верующий католик. Он вел жизнь, полную неустанныго труда, однообразную, немного скрашенную лишь холодной радостью умственной работы и удовлетворением привычек. Ни малейшего интереса к политике, отвращение к общественной деятельности, культ жизни внутренней, замкнутой в кругу семьи. То было честное и скромное сердце, знавшее цену смиренных и стойких добродетелей, и в глубине своей — поэтическое.

Жюльен служил преподавателем в лицее. С Аннетой он познакомился еще в университете, когда ей и ему было по двадцать лет. Его с первого же дня влекло к ней. Но тогда она, богатая, окруженная поклонением, сиявшая молодостью, эгоистичная, как все счастливые люди, равнодушная и далекая, внушала Жюльену робость. Товарищи его были смелее и захватили то место подле Аннеты, которое ему так хотелось занять. Жюльен им завидовал, но не пытался соперничать с ними: он считал себя ниже других, всегда помнил, что он невзрачен, неловок, плохо одет. Он не умел выражать свои чувства, и у людей создавалось неверное представление о его уме и искренности. Сознание, что он некрасив, парализовало

Жюльена еще и потому, что он был чуток ко всему прекрасному и красота Аннеты тайно волновала его. Он считал ее красавицей и не обладал смелостью своих товарищей, которые, ухаживая за ней, между собой развязно обсуждали все достоинства и недостатки ее внешности — слишком густые брови, выпуклые глаза, короткий нос. Жюльен не замечал таких подробностей. Но он единственный из всех окружавших Аннету молодых людей чувствовал внутреннюю гармонию этой живой формы, понимал ее смысл. Ведь всякая форма есть выражение какого-то внутреннего содержания, однако большинство людей замечает только ее внешние особенности. Для Жюльена глаза, лоб, густые брови Аннеты составляли одно целое с силой ее характера и живостью ума. Он смотрел на нее издали, охватывая всю одним взглядом. И с первого взгляда понял Аннету верно, гораздо вернее, чем потом, когда, познакомившись с ней поближе, старался узнать ее. У Жюльена был тот дальнзоркий ум, который вблизи видит плохо. Иногда люди этого типа бывают гениальны, но они на каждом шагу спотыкаются о то, что у них под ногами.

Жюльен и Аннета встретились снова однажды утром в библиотеке св. Женеьевы, в большом двусветном зале на первом этаже. Они не виделись почти десять лет, и Жюльен успел благоразумно изгнать из своих мыслей образ Аннеты, а в это утро она вдруг снова появилась перед ним. Он поднял глаза от книги и в нескольких шагах от себя, по другую сторону стола, увидел ее, занятую чтением. На красивых каштановых волосах — меховая шапочка, пальто накинуто на плечи (время было еще зимнее, перед пасхой, а зал не отапливался, и в большие окна дул с площади ледяной ветер. Жюльен сидел в пальто с поднятым воротником. А у Аннеты шея была открыта, и ей не было холодно). Облокотясь на стол и подперев рукой щеку, Аннета сидела в своей привычной позе, так хорошо ему знакомой, — склонив голову, подавшись немного вперед и сдвинув светлые брови, она пробежала глазами страницы и покусывала кончик карандаша. Жюльен смотрел на нее с тем же волнением, как когда-то, в двадцать лет. Но ему и в голову не пришло подойти и заговорить с нею.



Аннета читала с таким же увлечением, с каким она делала все, но ее в это время занимала не одна, а много разных мыслей. Идеи, которые она искала в книгах и которые ее серьезно интересовали, редко представляли перед нею без свиты образов, имевших с ними очень мало общего. Она гнала эти образы прочь, но время от времени они возвращались и назойливо стучались в мозг. Даже мыслящая женщина никогда не может целиком сосредоточиться на том, что читает: слишком силен поток собственных мыслей и ощущений. Аннета часто прерывала чтение, чтобы на минутку «открыть им шлюзы».

И вот когда она, оторвавшись от книги, рассеянно обвонила взглядом зал, глаза ее встретились с глазами наблюдавшего за ней Жюльена. В первое мгновение ей показалось, что это тоже один из образов прошлого, только что бродивших в ее воображении. Но, тотчас очнувшись (так по утрам, просыпаясь, она одним скачком возвращалась от сна к жизни), она встала и, обрадованная встречей, протянула Жюльену через стол руку.

Жюльен, смущенный, неловкий, подошел и сел рядом. Начался разговор. Впрочем, поддерживать его пришлось одной Аннете. Жюльен говорил очень мало, он был ошеломлен такой неожиданной удачей. Аннета тоже была рада: счастливое прошлое встало перед ней. Жюльен играл в нем очень незначительную роль, он был лишь обыкновенным звеном в цепи. Шествие воспоминаний быстро развернулось, — и вот уже Жюльен оказался где-то далеко позади. А он воображал, что все еще видит себя в весело блескующих глазах Аннеты, и от волнения не сознавал, что отвечает ей. Он старался (и как неумело!) скрыть свое восхищение. Он находил, что Аннета стала еще красивее, чем была, и при этом как-то человечнее и проще, в ней чувствовалось что-то новое... Что же именно? Жюльен ничего не слышал о ней вот уже шесть лет, с тех пор как умер ее отец. История Аннеты была ему неизвестна, так как он мало с кем встречался и парижские сплетни до него не доходили. Он спросил Аннету, живет ли она все там же, на Булонской набережной.

— Как, вы ничего не знаете? Я уже давно оттуда переехала... Да, да, меня выставили из моего дома...

Жюльен не понял. Она объяснила ему коротко с ве-

село́й беспечно́стью, что разори́лась и сама́ в этом вино́вата, так как не занима́лась своими́ дене́жными де́лами...

— И поделом мне! — добавила она.

И заговори́ла о дру́гом. Ни слова́ о себе, о сво́ей жи́зни. Не пото́му, что́бы она́ хоте́ла скры́ть, — нет, просто́ это́ нико́го не касало́сь. Если́ бы Жу́льен ста́л насто́йчиво расспра́шивать ее, зада́вал вопро́сы, она́ сказа́ла бы пра́вду. Но он ни́чего не спро́сил, — сме́лости не хвата́ло, и к то́му же он бы́л погло́щен оди́ной мы́слью: значи́т, она́ бедна́ тепе́рь, так же бедна́, как он!.. Жа́ркий ве́тер наде́жды уже́ ворва́лся в его́ ду́шу.

Что́бы скры́ть волне́ние, он с това́рищеской бесце́ремонно́стью загля́нул в бро́шюру, кото́рую Анне́та то́лько что отложи́ла в сто́рону:

— Что вы чита́ете?

Пере́листал страни́цы. Это́ был нау́чный жу́рнал. Перед Анне́той ле́жала их це́лая кипа́.

— Вот, — сказа́ла Анне́та, — стара́юсь снова́ войти́ в курс де́ла. Это́ неле́гко. Я поте́ряла пять́ лет. Прихо́дится дава́ть уро́ки, что́бы прокорми́ться, и для́ заня́тий не оста́ется вре́мени. Сей́час па́сха, уро́ков нет, я сво́бодна́ — вот и пыта́юсь наведе́сть поте́рянное, глота́ю дво́йными пор́циями! Види́те, — она́ указа́ла на раскры́тые жу́рналы — хочу́ все это́ одоле́ть. Но сли́шком мно́го мате́риала, я не успе́ваю, — ве́дь все́му надо́ переу́читься заново́. За то́ вре́мя, что́ я пропу́стила, сто́лько накопи́лось ново́го! В ста́тьях ссыла́ются на тру́ды, о кото́рых я пони́ятия не имею́... Бо́же мой, как бы́стро нау́ка иде́т впе́ред! Но́ я дого́ню, вот уви́дите! Я не хочу́ отста́вать в доро́ге — я не кале́ка. Сто́лько заме́чательных откры́тий! Я все́ хочу́ зна́ть...

Жу́льен слуша́л с жа́дно́стью. Из все́го, что́ она́ говори́ла, он запо́мнил оди́но: она́ живе́т сво́им тру́дом, ей неле́гко доста́ется кусо́к хле́ба — и все́-таки́ она́ бо́дра и весе́ла... Анне́та тепе́рь подня́лась в его́ глаза́х на та́кую вы́соту, кото́рой пре́жняя Анне́та нико́гда не дости́гала. И она́ увле́кала его́ за собо́й, зара́жала то́й ра́досто́ю жи́зни, кото́рой он до́ сих пор не зна́л.

Из би́блиоте́ки вы́шли вме́сте. Жу́льен бы́л го́рд тем, что́ с ним та́кая краси́вая да́ма, и все́ е́ще не мо́г опо́мниться от ра́дос́ти: он не ду́мал, что́ Анне́та так хоро́шо

его помнит. Ведь в былые времена она, казалось, почти его не замечала. А вот сейчас она напоминала ему всякие мелочи, которые он сам успел забыть. Осведомилась об его матери. Жюльен был этим так тронут, что смущение его начало таять. Теперь уже он стал рассказывать о себе, но дело подвигалось туго, язык у него был деревянный. Аннета слушала с добродушной иронией — ей все время хотелось подсказать ему нужные слова. Только он разговорился и вновь обрел уверенность в себе, как она стала прощаться. Жюльен успел лишь спросить, придет ли она опять в библиотеку, и с радостью услышал ответ: «Да, завтра».

Жюльен вернулся домой в смятении. Ему было стыдно за себя, но он утешался мыслью, что завтра поправит дело. А сегодня ему хотелось думать только о чуде этой дружбы. Аннета, томившаяся в среде, куда ее втянула Сильвия, тоже была рада встрече с товарищем тех лет, когда она жила напряженной умственной жизнью. Правда, бойкостью он не отличается — о нет! — но он серьезный, симпатичный, славный малый... Однако какая ледышка!..

Ей и на следующий день не пришлось переменить мнение о Жюльене. Он оттаивал только дома, наедине с самим собой. Но стоило ему увидеть Аннету, как у него опять отнялся язык. Это его самого поразило. Он собирался сказать ей так много (готовился к этому разговору, как к лекции), — и все вдруг куда-то улетучилось, когда он встретил взгляд Аннеты. То, что он говорил, было лишь безвкусным экстрактом признаний, которые он много раз разогревал в себе... Ему самому было скучно слушать, как он мямлил. Уверенность вернулась к нему только тогда, когда речь зашла уже не о нем, а о достижениях науки. Тут он заговорил четко, ясно и даже оживился. Аннете только того и надо было. Стремясь пополнить свои знания, она засыпала Жюльена вопросами, на которые он отвечал охотно, потому что у Аннеты был быстрый ум, и если живое воображение часто увлекало ее на ложный путь, достаточно было одного слова, чтобы она все поняла и мысли ее приняли нужное направление... Жюльену нравилось ее внимательное лицо и глаза, которые так и впивались в него, чтобы

на лету схватить его мысль, и вдруг светлели: это значило, что она поняла... Радость обмена мыслями, которые, подобно невидимому солнцу, освещают огромные горизонты! Радость идти вместе путями новых открытий, путями, где он был ей проводником! Каким наслаждением для обоих была эта беседа в сосредоточенной тишине зала, полного книг, храма мысли!

Наслаждение для Жюльена, но не для соседей! Ибо он говорил уже во весь голос, забыв, что вокруг люди. Аннета с улыбкой остановила его и встала, собираясь уходить. Он вышел с ней, но на улице, где перед ним не было письменного стола и книг, опять стал таким же жалким и беспомощным, как накануне. Аннета пробовала вызвать его на разговор о самом себе — напрасный труд! И все-таки Жюльен никак не мог расстаться с ней, вздумал провожать ее до самого дома. Он держался натянуто, как человек, внутренне сжавшийся, был резок от застенчивости, а временами даже становился невежлив... Словом, он был невыносим! И Аннета с легким раздражением думала:

«О господи, как бы поскорее от него отделаться?»

Жюльен заметил ее молчаливость, насмешливые складки в углах рта. Он вдруг остановился и сказал огорченно:

— Простите, я вам надоел!.. Да, знаю, знаю — я такой скучный человек!.. Не умею говорить, отвык... Это оттого, что я всегда один. Мать у меня хорошая, очень хорошая, но с ней я не могу делиться мыслями. Многие из этих мыслей только встревожили бы ее, она их не поймет... И мне за всю жизнь не пришлось встретить человека, которому они были бы интересны... Да я этого уже и не жду... Вы были так добры, терпеливо слушали меня, и вот мне захотелось вам рассказать... Но это невозможно, невозможно передать, это надо хранить про себя... Никому не интересно... И мужчина должен уметь молчать... Жить молча... Простите, что наскучил вам...

Аннета была тронута. В его словах звучало искреннее волнение. Эта смесь скромности и грустной гордости поразила ее, под холодной сдержанностью она угадывала тяжелое разочарование и оскорбленное чувство. И, увлеченная одним из тех душевных порывов, которым она

никогда не могла противиться, почувствовала к Жюльену нежную жалость; она сказала горячо:

— Нет, нет, не жалейте ни о чем! Это я вас должна благодарить. Очень хорошо, что вы так говорили со мной... то есть пытались говорить, — тут же поправила она себя с едва заметной насмешкой, в которой на этот раз не было ничего обидного. — Да, да... это нелегко, когда человек не привык... А мне нравится, что вы не привыкли о себе говорить!.. Слишком много на свете болтунов! Впрочем, я, может быть, вас приучу... Вы не против? Ведь у вас нет никого, с кем вы могли бы говорить по-настоящему!

Волнение помешало Жюльену ответить. Но в глазах его Аннета прочла робкую благодарность. И, хотя ей давно пора было домой, она повернула обратно, чтобы еще несколько минут погулять с ним. Она говорила с Жюльеном, как добрый товарищ, как мать, сердечно и просто, и этот тон действовал на него подобно прикосновению прохладной руки к пылающему лбу. Да, он был больно ушиблен, этот взрослый мальчик, такой угрюмый на вид, и нуждался в очень бережном обращении... Сейчас он начал оживать... Однако пора было идти домой. Аннета спросила, не хочет ли он иногда встречаться с нею. Оба решили, что ту работу, которую они делали в библиотеке, можно с таким же успехом делать в Люксембургском саду или...

— А почему бы не у меня?

И, пригласив его прийти в одно из ближайших воскресений, Аннета умчалась, не дожидаясь ответа...

Ах, как красноречив мог бы он быть сейчас, а ее уже не было!.. Жюльен стал припоминать все сначала, восторгался добротой Аннеты. И так как этот человек с уравновешенным умом не способен был соблюдать меру в делах сердца, то от уверенности, что любви его суждено остаться неразделенной, он без всякой последовательности перешел к надежде, что, быть может...

Аннета ничуть не догадывалась о том, что происходило в душе Жюльена. Невзрачная наружность ее нового приятеля казалась ей верной порукой, что она в него

не влюбится, и у нее даже возникла смешная уверенность, будто и самому Жюльену это обстоятельство мешает влюбляться. Она его уважала, она жалела его, а жалость рождала чувство симпатии. Приятно было сознавать, что она делает добро другому человеку, и от этого он был ей еще приятнее. Ей и в голову не приходило подозрение относительно истинных чувств Жюльена, а тем более своих чувств к нему.

Она забыла о своем приглашении, но в следующее воскресенье Жюльен напомнил ей о нем, придя навестить ее, и она встретила его с удивлением и непритворной радостью. А Жюльен, всю неделю ожидавший этой минуты, думавший только о ней, не заметил удивления Аннеты и видел одну только ее радость, которая его воодушевила. В этот день была скверная погода, и Аннета не собиралась выходить из дому. Она не ждала, что кто-нибудь придет, и была одета небрежно, по-домашнему. В комнате царил беспорядок — об этом постарался малыш. Как бы вы ни любили порядок, дети заставят вас отказаться от этой привычки, точно так же, как от многих прекрасных планов, которые вы строили без них. Жюльен, все относя к себе, увидел в этом живописном беспорядке, конечно, не искусственный эффект, а доказательство, что его принимают запросто, как друга, как своего человека. Он вошел с бьющимся сердцем, но, твердо решив на этот раз произвести выгодное впечатление, капустил на себя важность и апломб. Это к нему совсем не шло. Притом Аннете было неприятно, что он ее застал в таком виде, и она досадовала на неожиданного гостя за бесцеремонное вторжение. Как только Жюльен заметил холодность Аннеты, его самоуверенность сразу испарилась. Наступило неловкое молчание. Жюльен не решался больше вымолвить ни слова. Аннета ждала с надменно-иронической миной...

«Не воображай, мой милый, что я и сегодня буду тебя вырывать!..»

Но, увидев уголок глаза, какой несчастный, пришибленный вид у «завоевателя», она вдруг почувствовала весь комизм положения и громко расхохоталась. Натянутость сразу исчезла, она заговорила с ним потоварищески. Жюльен был озадачен — он ничего не по-

нял, но с облегчением перешел тоже на естественный тон, и, наконец, дружеская беседа завязалась.

Аннета рассказывала о своей работе. Оба они пришли к заключению, что не созданы для того дела, которым занимаются. Жюльен страстно увлекался наукой, которую преподавал, но...

— ...Они же не способны ничего понять! Сидят, как сонные мухи, и хлопают глазами. Разве только у двух-трех мелькнет иной раз что-то в глазах, остальные — это какая-то тяжелая глыба скуки! Бьешься с ней в поте лица, пока удастся (и то не всегда) сдвинуть ее на одно мгновение с места, а потом она опять падает на дно. Попробуйте-ка выудить ее оттуда! Учить их — все равно, что рыть колодезь!.. Конечно, несчастные ребятишки не виноваты! Они, как и мы, — жертвы мании демократизма, в угоду которой требуется вдавливать в головы всех детей одинаковое количество знаний, хотя они не достигли еще того возраста, когда могут что-нибудь понимать! И потом экзамены! Это нечто вроде сельскохозяйственных конкурсов — на них взвешивают результат трудов учителя, начинающего детские мозги смесью исковерканных слов и сырых, бесформенных сведений, смесью, от которой большинство наших учеников спешит освободиться, как только сдаст экзамены, и которая на всю жизнь внушает им отвращение.

— А я детей обожаю, — сказала Аннета, смеясь. — Даже самых никудышных. Ни одного не могу равнодушно видеть, — так и хочется схватить и унести к себе... Но, увы, приходится довольствоваться одним! И этого хватит, как по-вашему?

(Она указала на разбросанные по всей комнате вещи, но Жюльен ничего не понял и только глупо ухмылялся.)

— ...Да, жаль! Когда я встречаю малыша, который мне нравится, мне хочется его украсть. А нравятся мне все. Даже в самых некрасивых детях есть что-то такое свежее, весеннее... безмерность надежд! Но что я могу для них сделать? И разве мне дадут что-нибудь сделать? Ведь я и вижу-то их мельком. Мне их доверяют на час — потом бегу к другим. И мои маленькие ученики переходят из рук в руки. Что одна рука сделает, то другая уничтожает. Так ничего и не получается. Несформиро-

вавшиеся души, фигурки без души, умеющие танцевать бостон и падекатр. Взрослым некогда об этом подумать — ведь мы не живем, а мчимся. Все мчатся. Не жизнь, а скаковое поле! Никогда никаких остановок. Умирают на бегу, да они уже и так мертвецы, эти несчастные, не разрешающие себе ни единого дня передышки! Они не дают передохнуть и нам, тем, кто этого хочет...

Жюльен очень хорошо понимал ее. Уж ему-то не надо было объяснять, как убийственна суета мирская и как прекрасны покой и уединение! Еще больше сблизило его с Аннетой то, что она сказала затем: что, к счастью, среди этого потопа есть еще островки, где можно укрыться, — чудесные стихи, а главное музыка. Поэзией Жюльен не увлекался: язык ее был ему недоступен, и он относился к ней с каким-то недоверием, как многие люди мысли, которые часто создают себе собственную поэзию, но не чувствуют глубокой и трепетной музыки слов. Зато другая музыка, язык звуков, им доступна. Жюльен сказал Аннете, что он любит музыку, но, к несчастью, не имеет возможности ходить на концерты — не хватает времени и денег.

— У меня тоже мало и того и другого, — заметила Аннета. — Но я все-таки хожу.

У Жюльена не было такого запаса жизненной энергии. После трудового дня он сидел дома, в четырех стенах. И он не умел играть ни на одном инструменте. В комнате Аннеты он увидел пианино.

— Вы играете?

— Да, но не так-то это легко! — сказала Аннета со смехом. — Разве он даст спокойно посидеть за пианино?

Удивленный и смутно обеспокоенный, Жюльен спросил, кто же ей мешает играть. В эту минуту Аннета насторожилась: на лестнице топотали детские ножки. Она бросилась открывать дверь:

— А вот и он! Сейчас увидите это чудовище!

Она впустила Марка, который прибежал снизу, от тетки.

Жюльен все еще ничего не понимал.

— Это мой мальчуган... Ну, поздоровайся же, Марк!



Жюльен разом свалился с небес на землю. Аннета никак не думала, что это его так поразит. Она продолжала весело болтать, удерживая Марка, который пытался улизнуть:

— Как видите, я все же не теряла времени даром.

У Жюльена не хватило духу ответить что-нибудь — он только изобразил на лице вымученную и довольно глупую улыбку. Он всеми силами старался скрыть свое волнение. Марку удалось вывернуться из рук матери, так и не поздоровавшись с гостем. (Он находил эту церемонию нелепой и всегда от нее увиливал, предоставляя матери «говорить всякие пустяки», — он отлично знал, что через минуту она забудет о его проступке и заговорит о чем-нибудь другом: «Эти женщины такие бестолковые!..») Спрятавшись в складках портьеры, в четырех шагах от Жюльена, мальчик стоял, крутя в пальцах шнур, и сурово разглядывал «чужого». Он очень быстро, на свой детский лад (и не так уж неверно), оценил положение. Жюльен ему не понравился, и мнение это было бесповоротно. Дело было решено раз и навсегда.

Жюльен, которого это упорное разглядывание еще больше смутило, пытался поддерживать разговор с Аннетой и в то же время не переставал думать о своем. Из-за этого он только путался и в словах и в мыслях. Все-таки понемногу он успокоился. Правда, не совсем. Он ни минуты не сомневался, что Аннета замужем: она держала себя так уверенно! Но где же муж? Жив или умер? Аннета не носила траура... Нет, Жюльен не мог успокоиться!.. Куда же девался этот человек? Задать такой вопрос прямо он не решался. После всяких окольных маневров он, наконец, рискнул небрежно, как бы вскользь (ему, впрочем, казалось, что это было сделано очень ловко), вернуть в разговор вопрос:

— И давно вы живете одна?

Аннета возразила:

— Прежде всего я не одна. — И указала на своего мальчика.

Жюльен так больше ничего и не узнал. Но из ее ответа можно было заключить, что она живет вдвоем с ребенком, и говорила она об этом весело, поэтому Жюльен решил, что она овдовела давно, очень давно, и больше об

этом не горюет. Логика человека пристрастного угодливо подсказывала ему как будто неопровержимый вывод:

«Итак, господин Мальбрук скончался...»

Что ж, царствие ему небесное, этому мужу! Он уже не опасен! Жюльен бросил на его гроб горсть земли и, повернувшись к малышу, делано улыбнулся. Теперь Марк начинал ему нравиться.

Но зато он Марку вовсе не нравился. Жюльену строение атомных тел было куда понятнее, чем детская душа. Марк сразу почувствовал, что ласковость его неискренна. Он повернулся к гостю спиной и проворчал:

— Не хочу, чтобы он надо мной смеялся!

Аннету очень забавляли тщетные попытки Жюльена умиловить ее сына. Она сочла своим долгом загладить невежливость Марка и стала расспрашивать Жюльена, как он живет, слушая его ответы сперва немного рассеянно, потом с живым интересом. И Жюльен, которому уютный полумрак всегда придавал смелости и уверенности, теперь рассказывал о себе откровенно. Он был простодушен, не рисовался никогда — почти никогда, несмотря на желание нравиться. Во всем, что он с такой искренностью говорил, чувствовалась чистота души, необычная для парижанина его лет. О том, что ему было дорого, он говорил с большим душевным тактом, под которым угадывалось с трудом сдерживаемое волнение. В эти минуты полной непринужденности, ободренный сочувственным вниманием Аннеты, он раскрывал свое подлинное «я», и отблеск душевной красоты оживлял его лицо. Аннета смотрела на него пристально, с чувством, совсем не похожим на прежнее приветливое безразличие.

С этого дня они стали встречаться регулярно каждое воскресенье, а иногда и в будни, когда выдавались свободные часы. Предлогом для посещений Жюльену служили книги, которые он давал читать Аннете, объясняя ей то, в чем ей нетрудно было разобраться. Марку он делал довольно дорогие подарки, но выбирал их неудачно, и его маленький враг ничуть не был за них благодарен, — Марк находил, что эти игрушки слишком детские и унижают его достоинство. Однако ничто не могло поколебать великодушия и щедрости Жюльена, который твердо решил не замечать того, что его смущало. Так

одиноким люди, которые раньше недоверчиво сторонились всех, с той минуты, как они кого-нибудь полюбили и отрешились от своего недоверия, уже не способны и не хотят ни в чем разбираться: они отдаются всей душой. Жюльен, изощрявшийся в самообмане, приукрашивал и толковал так, как ему было выгодно, те впечатления, которые он уносил с собой после каждой встречи с Аннетой, — все, что она говорила, все, что ее окружало (при этом он бессознательно приукрашал и самого себя!). Невнимательность Аннеты, ее рассеянные реплики, даже ее молчаливость, когда ей бывало с ним скучно, — все делало ее в глазах Жюльена еще более желанной и трогательной. И, открывая в ней все новые и новые черты, он дополнял созданный им себе образ Аннеты. Он изменял его десятки раз, и, хотя портрет уже почти совсем не был похож на первоначальный, Жюльен оставался верен своей любви: он готов был менять свой идеал столько раз, сколько раз менялся облик любимой женщины.

Аннета угадала, наконец, чувства Жюльена. Сначала эта любовь ее смешила, потом тронула: Аннета была ему благодарна за нее, даже очень благодарна («Самый красивый мужчина на свете может дать только то, что имеет... Спасибо тебе, мой милый Жюльен!...»), но потом это стало ее слегка тревожить. Она честно предостерегала себя, что не следует допускать, чтобы Жюльен вступил на этот опасный путь... Но ему это доставляло столько радости, а ей не было неприятно!.. Аннета была чутка к нежности, живо и охотно откликалась на нее. Даже, пожалуй, слишком охотно. Она это сознавала. Любовь и восхищение, которые она читала в глазах Жюльена, были для нее как ласка, которую ей хотелось ощущать снова и снова... Да, она понимала, что, пожалуй, это не совсем хорошо с ее стороны. Но это так естественно! Ей было трудно лишить себя этой радости. Нужно было сделать некоторое усилие — и она его сделала, но ничего у нее не вышло. Все, что она говорила для того, чтобы отдалить от себя Жюльена (вправду ли она говорила то, что нужно?), только еще больше привязывало его к ней. Она решила, что это судьба и против судьбы не пойдешь... Она смеялась над собой, а Жюльен с беспокойством спрашивал себя, не над ним ли она смеется...

«Лицемерка! Лицемерка! И тебе не стыдно?..»

Нет, ей не было стыдно. Можно ли противиться счастью другого сердца, безраздельно тебе преданного? Ведь это счастье скрашивает и твою жизнь. И какой от него вред? Чем оно опасно, если она совершенно спокойна, владеет собой и хочет только добра, только добра другому человеку?

Аннета не знала, что одной из потайных дорожек, которыми любовь коварно прокрадывается в сердце, часто бывает гордое и радостное сознание, что ты нужен другому человеку. Такое чувство особенно легко покоряет сердце настоящей женщины, ибо оно удовлетворяет, во-первых, ее потребность делать добро (это она признает), во-вторых, ее тщеславие (это она отрицает). Оно настолько сильно, что женщина с благородным сердцем часто избирает не того, кто ей мил, но может обойтись без нее, а того, кто любим ею меньше, но нуждается в опеке. И разве не в этом сущность материнства? Ах, если бы взрослый сын всю жизнь оставался ее маленьким птенчиком!.. Женщина с материнским сердцем, — а Аннета была именно такой, — любит наделять мужчину, чья любовь вызывает к ней, воображаемыми достоинствами, которых у него нет. Она инстинктивно старается замечать только то хорошее, что есть в нем. У Жюльена было много достоинств, и Аннета радовалась, видя, как исчезает его робость и раскрывается подлинная душа, умиленно счастливая, как счастлив бывает выздоравливающий. Она твердила себе, что этого человека до сих пор никто не понимал, даже родная мать, о которой он постоянно говорил и к которой она уже начинала его ревновать. Да и сам он, бедный, не знал себя!.. Кто бы мог подумать, что под этой шершавой оболочкой скрывается такая нежность, такая тонкость чувств!.. (Аннета преувеличивала.) Ему нужна вера в других, вера в себя, а ее нет. Ему нужно, чтобы кто-то в него поверил, тогда придет и вера в себя. Ну, хорошо, вот она, Аннета, в него верит! Она верила в Жюльена потому, что ему это было необходимо. И в конце концов это стало нужно и ей... Жюльен расцветал на глазах, как цветок в лучах солнца. А быть для другого солнцем — приятно... «Расцветай, сердце!..» О чем сердце она го-

ворила — о сердце Жюльена или о своем? Она и сама уже этого не знала. Ибо она тоже расцветала от сознания, что делает счастливым Жюльена. Душа, богатая любовью, умирает, если не может питать собой голодных... Давать! Вечно отдавать всю себя!..

Аннета давала даже слишком щедро. Перед нею нельзя было устоять. Жюльен уже не скрывал своей страсти. И Аннета поздно вато спохватилась, что и ей грозит опасность...

Когда она увидела, что в ее жизнь готова вторгнуться любовь, она сделала попытку защищаться: решила не принимать всерьез чувств Жюльена. Но она уже не верила самой себе, а ее тактика только сделала Жюльена настойчивее, и признания его становились все более пылкими.

Тут уже Аннета испугалась. Она умоляла его не любить ее, быть ей только добрым другом...

— Но почему? — спрашивал Жюльен. — Почему?

Она не хотела объяснять... Она инстинктивно боялась любви, потому что еще живо помнила пережитые страдания и предчувствовала новые муки. Она и призывала любовь и гнала ее прочь. Она жаждала ее — и бежала от нее. Она была искренна, когда противилась Жюльену, а в глубине сердца хотела, чтобы он сломил ее сопротивление...

Эта борьба длилась бы еще долго, если бы одно событие не ускорило развязку.

У Аннеты с мужем сестры установились простые и дружеские отношения. Он был славный малый, хотя и грубоватый, но прямодушный и не лишенный других душевных качеств. Аннета его ценила, а Леопольд относился к ней с несколько даже преувеличенным уважением. С первых же дней знакомства он видел в Аннете существо иной породы, чем он сам и Сильвия, и робел перед нею. Тем более был он благодарен Аннете за ее дружеское расположение. В дни его ухаживания за Сильвией Аннета была его союзницей. Она не раз приходила к нему на помощь, когда его невеста, уверенная в своей власти, злоупотребляла ею и начинала над ним насмехаться. Да и теперь еще Аннета незаметным образом

играла роль посредницы, когда между супругами бывали недоразумения или когда Сильвия от скуки изводила мужа неожиданными капризами, причудами и взбалмошными выходками. В таких случаях Леопольд, ничего не понимая, шел к Аннете поверять свои горести, и она брала на себя миссию образумить Сильвию. Во время этих бесед Леопольд рассказывал свояченице о себе многое такое, чего он жене не говорил. Сильвии это было известно, и она подшучивала над Аннетой, а та принимала ее шутки благодушно и весело. Отношения между этими тремя людьми были самые искренние и простые. Леопольд никогда не выражал недовольства тем, что сестра жены и ее мальчик, который часто порядком мешал взрослым, занимали такое место в его доме. Он даже считал, что Сильвия недостаточно помогает сестре, восторгался мужеством Аннеты и баловал ее сына. Аннета знала от Сильвии о таком отношении к ней Леопольда и была ему за это благодарна.

Период беременности Сильвии был нелегким временем для всех окружающих, а в особенности для ее мужа. Частые ссоры отталкивали Леопольда от жены. Сильвия вовсе не хотела от него избавиться. Все дело было в том, что ее сильно тяготила беременность. Она нисколько не берегла себя и не хотела ничего менять в своем образе жизни. Но от этого ей становилось еще хуже. Долгие месяцы беременности проходили у нее совсем не так, как у Аннеты: для той они были нескончаемой грезой, тихим блаженством, которое слишком скоро кончилось. Сильвия же не способна была предаваться мечтам. Она стала раздражительна, не желала отказываться от своих обязанностей, прав, удовольствий. В конце концов сильное нервное переутомление расстроило ее здоровье и естественно отразилось на характере. Когда человек мучается, у него является потребность мучить других. Сильвия мучилась, страдала, и ее возмущало, что муж не страдает вместе с ней. Она старалась этого добиться: изводила его злобными и вздорными придирками, постоянными сменами настроения и даже — вот так неожиданно! — ревнивою влюбленностью, которая, однако, не мешала ей постоянно осыпать его попреками. Бывали дни, когда Леопольд просто терялся и не знал, что делать.

Аннета была всегда рядом, всегда готова выслушать его жалобы. Он поднимался к ней наверх, чтобы излить душу. Терпеливо выслушав его, она всегда умела его утешить и развеселить, так что он сам часто смеялся над своими маленькими неприятностями. Эти беседы создавали между ними сообщничество, как между людьми, связанными только им известными тайнами. И в присутствии Сильвии они иногда лукаво переглядывались. Оба были честны и потому ничуть не остерегались возникшей между ними близости, хотя и невинной, но небезопасной. Аннета находила удовольствие в этом дружеском поддразнивании и невинном кокетстве, не видя в нем ничего рискованного. А Леопольду только того и надо было — он давно испытывал на себе обаяние силы и жизнерадостности, исходившее от Аннеты. Она же в то время была вся поглощена открытием, что Жюльен ее любит; эта любовь сладко волновала ее, и весь остальной мир был для нее словно в тумане. Когда после встречи с Жюльеном она слушала Леопольда и даже что-то ему отвечала, улыбка ее предназначалась Жюльену. А Леопольд, конечно, этого не мог знать.

Он знал, чего ему хочется. И, как порядочный человек, боролся с собой. Но и порядочный человек — только человек, и ему не следует играть с огнем.

В одно майское воскресенье они отправились вчетвером — Сильвия, Аннета, Леопольд и маленький Марк — на прогулку в сторону Со. Походив какой-нибудь час, Сильвия утомилась и, сев у подножия холма, сказала:

— Ну, вы, молодежь, карабкайтесь наверх, если есть охота. А мы подождем вас здесь.

Она осталась внизу с мальчиком, а Леопольд и Аннета бодро пошли дальше. Аннета была весела, оживлена, держала себя с Леопольдом, как добрый товарищ... С этим простым человеком она отдыхала от душевного напряжения, в котором ее держала любовь Жюльена и его разговоры о высоких материях. Тропинка вилась вдоль длинного забора какой-то большой усадьбы, а с другой стороны тянулся откос, поросший цветущим кустарником. Поднимаясь наверх, они видели сквозь про-  
светы в изгороди сбегающие по склонам плодовые сады

в белоснежном и розовом пуху цветов. Синева неба имела необычайный, нежнозеленый оттенок, и по ней пробегали суетливые облачка. Веселый ветер шаловливо кусался, как резвый щенок. Аннета шла впереди, напевая, и рвала цветы. Леопольд шагал за ней по пятам. Он видел, как она нагибалась и ее крепкая грудь натягивала легкую ткань, видел ее голые руки, голую шею, порозовевшую от резкого ветра, и раковинку маленького уха в пене пушистых завитков. Кончик уха алел, как капля крови. Справа от них тянулся крутой откос, а дорога впереди была похожа на узкий коридор, откуда вырывался сильный ветер и бил им прямо в лицо. Аннета, не оборачиваясь, окликнула своего спутника. Леопольд не отвечал. Она, наклонясь, продолжала собирать цветы и что-то шутливо говорила ему. Но так как он молчал, Аннета вдруг в этом молчании почуяла опасность. Бросив цветы, она быстро выпрямилась, но не успела обернуться и вдруг... чуть не упала: Леопольд сзади навалился на нее и грубо обнял. Она почувствовала на затылке его учащенное дыхание, и жадные губы стали целовать ее в шею, в щеки. Она вмиг вся напряглась, изогнулась и — откуда взялись силы! — яростно оттолкнула обнимавшего ее мужчину. Он невольно разомкнул руки, и теперь они стояли лицом к лицу — она и ее обидчик. Глаза Аннеты сверкали гневом. Однако Леопольд не хотел выпустить добычу из рук. И между ними завязалась ожесточенная борьба двух животных, полных ненависти друг к другу. Ожесточенная, но короткая. Аннета, которой инстинктивное возмущение придало силы, так толкнула Леопольда, что он едва удержался на ногах. Он стоял перед ней, вдвойне униженный, побагровев и тяжело дыша. Они мерили друг друга сердитыми взглядами. Ни один не говорил ни слова... Аннета быстро вскарабкалась по откосу, пролезла через пролом в изгороди на другую сторону и побежала вниз. Леопольд, сразу отрезвев, стал звать ее. Но она держалась от него в двадцати шагах, не давая ему подойти ближе. Они спускались с холма разделенные изгородью, поглядывая друг на друга недоверчиво, враждебно и смущенно. Леопольд не своим голосом умолял Аннету вернуться, простить его. Аннета делала вид, что не слышит, но она слышала, и смятени-



звучавшее в его голосе, смягчило ее. Она пошла медленнее...

— Аннета! — умолял Леопольд. — Аннета! Не убегайте!.. Я вас не трону... Видите, я стою на месте, я не подойду ближе... Я вел себя, как скотина. Мне стыдно, ужасно стыдно... Ругайте меня сколько хотите, но не убегайте!.. Ей-богу, я вас больше пальцем не трону!.. Я сам себе противен... Видите, я на коленях прошу у вас прощения!

И он неуклюже опустился на колени. Вид у него был жалкий и смешной.

Аннета, суровая, неподвижная, слушала, стоя к нему вполоборота и не глядя на него. Но, невольно посмотрев в его сторону, она увидела, как унижен этот человек, и была глубоко тронута. В ее горячем сердце чувства других людей находили такой отклик, как будто это были ее собственные. Стыд, мучивший Леопольда, вызвал краску на ее щеках. Она повернулась к нему лицом и сказала:

— Встаньте!

Леопольд поднялся, и Аннета инстинктивно отступила на несколько шагов. Леопольд сказал:

— Вы все еще меня боитесь! Вы никогда мне этого не простите?

— Не будем больше говорить об этом, — сухо ответила Аннета.

Они сошли вниз, на дорогу. Аннета была нема и холодна. Но Леопольд не мог молчать: он был очень расстроен и пытался оправдываться. Однако бедняга красноречием не отличался, не умел выражаться изящно. Он все только повторял с досадой:

— Я — свинья!

Аннета, все еще взбудораженная, подавляла усмешку. Чувства ее с трудом приходили в равновесие. Ей было и противно и смешно вспоминать эту сцену. Она не простила ее Леопольду, но вместе с тем не могла не пожалеть этого человека, который, шагая рядом с ней, так униженно каялся и все бормотал бессвязные извинения. Аннета слушала его с раздражением, состраданием, иронией. Он всячески старался объяснить «это гадкое безумие, которое охватывает тело...» Да, ей такое безумие

было тоже знакомо!.. Говорить это Леопольду, конечно, не следовало, но у него был такой несчастный вид, что она невольно сказала:

— Знаю. С кем этого не бывает! Ну да ладно, забудем!

Они шли дальше молча, с тяжестью на душе, хмурые и смущенные. Когда они уже подходили к месту, где оставили Сильвию, Аннета сделала движение, словно хотела протянуть Леопольду руку, но не протянула и только сказала:

— Я все забыла.

У Леопольда стало легче на душе, однако он все еще беспокоился. Он спросил, как нашаливший мальчишка:

— Вы ничего не расскажете?

Аннета усмехнулась с легкой жалостью.

Нет, она ничего не сказала, но зоркие глаза Сильвии с первого взгляда все прочли на их лицах. Она не задала ни одного вопроса. На обратном пути во время шумной болтовни, которой все трое старались прикрыть свое смятение, Сильвия внимательно наблюдала за сестрой и мужем.

С этого дня Аннета и Леопольд не оставались больше наедине. Ревнивая жена следила за ними. Да Аннета и сама теперь остерегалась Леопольда. Она не умела скрыть своего недоверия, и обиженный Леопольд затаил молчаливую злобу.

У Аннеты открылись глаза. Нельзя было больше попрежнему доверять людям, доверять самой себе. Нельзя было идти в жизни своей дорогой весело, как бывало, не обращая внимания на то, что она невольно будит в других желания, которых сама не разделяет. В современном обществе, при современных нравах ее положение одинокой, молодой и свободной женщины не только обрекало ее на приставания мужчин, но и оправдывало их в глазах всех. Никто не допускал, что она, так смело порвав с условностями, хочет замкнуться в своем мнимом вдовстве, храня верность неизвестно кому. Сама она, обманывая себя, видела цель своей жизни в материнстве. И материнское чувство несомненно горело ярким пламенем в ее душе. Но и другой огонь попрежнему горел в ней. Она старалась о нем забыть, потому что

боялась его. При этом она воображала, что никто другой его не увидит. Но она ошибалась: огонь, помимо ее воли, вырывался наружу. И если не она сама, так другие рисковали стать его жертвами. Случай с Леопольдом только что доказал это. Это было противно, возмущало! Не ослепленные миражем глаза того, кто не любит, видят в акте любви нелепое и отвратительное скотство. Именно таким было покушение Леопольда в глазах Аннеты. Но совесть ее была спокойна: ведь это она разожгла в нем похоть. Она припоминала свое необдуманное кокетство, поддразнивания, всякие женские уловки... Что ее толкало на это? Та подавленная сила желаний, тот внутренний огонь, который надо либо питать, либо угащать в себе. Угащать его мы не можем, не должны! Ведь он — солнце жизни, без него она была бы погружена во мрак. Но пусть же это солнце не уподобляется колеснице Аполлона, отданной в неумелые руки Фаэтона, пусть не губит того, что оно должно жить! Пусть свершает в небе положенный ему путь!..

Значит, брак? Аннета долго отстраняла от себя этот вывод, но сознание угрожавших ей опасностей привело ее к мысли, что брак, основанный на любви и уважении, на спокойной дружбе, будет той плотиной, которая сдержит демонов страсти и защитит ее от преследований мужчин. И чем больше она убеждала себя в этом, тем слабее противилась мольбам Жюльена. Да и всё, словно сговорившись, склоняло ее к этому браку: перспектива материальной обеспеченности и душевного покоя, потребность в семейном очаге, влечения сердца. Ей хотелось уступить мольбам Жюльена, и она находила все новые основания полюбить его. Впрочем, ей не нужны были никакие основания — она уже и так его любила. Уже шла в ней созидательная работа, превращающая избранника сердца в дивное видение мечты. Жюльен ее в этом определил. Но у Аннеты и воображение было богаче и душа страстнее, и она очень скоро зашла дальше, чем он.

Не удерживая себя больше, она дала волю своей непосредственной и горячей натуре. Она не прибегала к хитростям, которыми другие женщины, более ловкие, прикрывают свое поражение, делая вид, что сердце их не покорено. Аннета открыто принесла свое сердце в дар —

она сказала о своей любви Жюльену. И с этого дня Жюльен утратил покой.

Он мало знал женщин. Женщины его и влекли к себе и смущали. Не стараясь их узнать, он позволял себе смело судить о них. Одних идеализировал, других сурово осуждал. А те, что не подходили ни под одну из этих категорий, не возбуждали в нем никакого интереса. Люди очень молодые (а Жюльен оставался таким благодаря своей неопытности) всегда скоры на выводы. Поглощенные собой и своими желаниями, они видят в других только то, что им хочется видеть.

В любви духовной, как и в плотской, всякий мужчина, простодушный или хитрый, думает только о себе и никогда — о любимой женщине. Он не хочет знать, что она живет своей отдельной жизнью. Он мог бы это понять именно через любовь. И любовь действительно учит этому тех немногих, кто способен усвоить ее уроки, но и то лишь на горе им и тем женщинам, которых они любят, потому что истина открывается им всегда слишком поздно. Веками люди наивно удивляются и сетуют на неизбывное одиночество души человеческой, постигаемое на горьком опыте любви. Несбыточная мечта о слиянии сердец — извечная ошибка людей. Ибо разве «любить» не значит «любить *другого*»? Жюльен был не такой эгоист, как Рожэ Бриссо, но, не испытав настоящей любви, он так же мало, как и тот, способен был отделиться от себя. И еще меньше знал женщин. В этот мир Жюльена нужно было осторожно ввести за руку.

Аннета и от природы не отличалась расчетливостью и осторожностью, да и любовь не только не научила ее этому, а, напротив, сделала еще доверчивее и щедрее. Сейчас, когда она была уверена, что любит и любима, она ничего не скрывала от Жюльена. Она чувствовала, что ничто в любимом человеке не может оттолкнуть ее, — так зачем и ей прикрашиваться для него? Здоровая духом, она не стыдилась быть такой, какой она создана. Пусть тот, кто ее любит, видит ее такой, какая она есть! Она хорошо знала наивность Жюльена, его робость и неискусшенность в делах любви и думала об этом с удовольствием, с насмешливой нежностью. Ей нравилось, что она первая открывает ему тайны женского сердца.

Раз она неожиданно пришла к нему на квартиру. Дверь открыла мать Жюльена, старая дама, седая, гладко причесанная, со спокойным лицом и внимательными строгими глазами. Недоверчиво оглядев Аннету, она с холодной учтивостью провела ее в маленькую гостиную, чистенькую и холодную, где мебель стояла в чехлах. Выцветшие семейные фотографии и снимки с музейных картин окончательно замораживали атмосферу в этой комнате. Аннета сидела одна и ждала. В соседней комнате пошептались, затем в гостиную торопливо вошел Жюльен. Он был и рад ей и немного растерян, не знал, что сказать, и, отвечая Аннете, смотрел не на нее, а куда-то в сторону. Они сидели на неудобных стульях с прямыми спинками, мешающими принять непринужденную позу. Их разделял стол, один из тех салонных столиков, на которые нельзя облокотиться и о ножки которых больно стукаешься коленями. В холоде, исходившем от навоощенного пола без ковра, от мертвых лиц под стеклами, напоминавших гербарий, застывали слова на губах, и невольно хотелось понизить голос. Эта гостиная положительно леденила душу. Аннета думала: неужели Жюльен продержит ее здесь до самого ухода? Наконец, она попросила его показать свой рабочий кабинет. Отказывать было неудобно, да Жюльен и сам хотел этого. Но у него был такой нерешительный вид, что Аннета спросила:

— Вам это неприятно?

Он запротестовал и повел ее к себе, заранее извиняясь за беспорядок в комнате. Беспорядка у него было гораздо меньше, чем у Аннеты в день его первого посещения, но здесь беспорядок был какой-то унылый, бесцветный. Комната служила Жюльену и кабинетом и спальней. Книжки, известная гравюра, на которой изображен Пастер, груды бумаг на стульях, трубка на столе, студенческая кровать. На стене над кроватью Аннета заметила небольшое распятие с буксовой веточкой. Усевшись в неудобное кресло, она, чтобы расшевелить хозяина, стала вспоминать их студенческие годы. Она говорила свободно, без всякого жеманства, о вещах, им обоим известных. А Жюльен был рассеян, смущен ее приходом

и вольным разговором. Его, видимо, беспокоило то, что происходило в соседней комнате. Смущение его передавалось Аннете, но она держалась стойко и в конце концов заставила его забыть о том, что скажут. Он оживился, и оба смеялись от всего сердца. Только когда Аннета собралась уходить и Жюльен пошел провожать ее, он снова почувствовал себя неловко. Они прошли по коридору мимо комнаты его матери. Дверь была полуоткрыта, но г-жа Дави притворилась, что не видит их, — из деликатности, или для того, чтобы не прощаться с Аннетой. Женщины с первого взгляда стали врагами. Г-жа Дави была шокирована приходом этой смелой девицы, ее свободными манерами, звонким голосом, смехом, ее живостью: она почуяла опасность. Аннета же, очутившись в их доме, поняла, что между нею и Жюльеном всегда будет незримо стоять его мать, и ушла с враждебным чувством к ней. Проходя мимо комнаты старой дамы, она заметила, что та повернулась спиной к двери, и потому нарочно говорила и смеялась очень громко. При этом она ревниво подумала:

«Я отниму его у тебя!»

На следующей неделе Жюльен пришел к ней в гости вечером, после обеда. Он в первый раз поговорил с матерью об Аннете, и ему хотелось укрепиться в своем решении. В этот вечер они были одни: Марка Леопольд повел в цирк. Около одиннадцати Жюльен собрался уходить, и Аннета решила проводить его, чтобы пройтись пешком и подышать прохладным воздухом ночи. Но когда они дошли до его дома, Жюльен встревожился при мысли, что Аннета будет возвращаться одна. Страх его только рассмешил Аннету, но он непременно хотел проводить ее, и она не протестовала, потому что ей хотелось подольше побыть с ним. Они пошли обратно, выбирая самую длинную дорогу, и сами не заметили, как очутились на высоком берегу Сены. Была теплая июньская ночь. Они сели на скамью. Шумели тополя над темной рекой, на воде играли красные и золотые огни фонарей. Небо казалось далеким, звезды были такие бледные, словно город-пиявка высосал из них всю кровь. Внизу было светло, а наверху, где сидели Аннета и Жюльен, царила темная ночь. Оба молчали (слова уже не могли

выразить их чувства) и не поднимали глаз, но каждый читал в душе другого. Сердцу Аннеты было горячо от желаний, которые она угадывала в Жюльене. Он сидел неподвижно, скованный робостью, не смея даже взглянуть на Аннету. А она, не поворачивая головы, улыбалась в темноте и, любуясь красными отблесками на воде, видела не их, а Жюльена. Он никогда не решится!.. И вдруг она наклонилась и поцеловала его...

Домой Жюльен вернулся опьяненный любовью и благодарностью, но в мозгу у него засело коварное жало глухого беспокойства... Злые слова матери о «бедных и беззащитных девушках, которые охотятся за мужьями», он сразу же с гневом вырвал из памяти, но кончик занозы остался под кожей. Ему было стыдно за себя. Он мысленно просил у Аннеты прощения. Он знал, что оскорбительное подозрение было ложно. Он свято верил Аннете. И все-таки его что-то мучило. Каждая новая встреча с ней усиливала эту тревогу. Независимость Аннеты, непринужденные манеры, свободомыслие и смелость суждений, в особенности в вопросах морали, спокойное отрицание всяких предрассудков — все пугало Жюльена. Его кругозор был тесен, как его костюмы, нравом он был несколько угрюм, склонен к суровости. Аннета же, наоборот, отличалась широкой терпимостью и жизнерадостностью. Жюльен не понимал, что она может в своей личной жизни быть такой же суровой пуританкой, как он, а к другим подходить с иной меркой, их собственной, и проявлять к ним ироническую снисходительность. Терпимость и юмор были чужды Жюльену, смущали его. Аннета это заметила, и когда он судил о чем-либо несправедливо, с чрезмерной прямолинейной строгостью, она не пыталась навязывать ему свою точку зрения: она подсмеивалась над этой наивной непримиримостью, которая ей даже отчасти нравилась. Ее насмешливые улыбки тревожили Жюльена еще больше, чем ее речи. У него создавалось впечатление, что о некоторых вещах Аннета знает больше, чем он. Это так и было. Жюльен спрашивал себя: насколько больше? И что она в сущности знает? Какого рода опыт она успела приобрести?

Этого человека с тонкой духовной организацией, но скудными жизненными силами, так же как и его мать

(ее недоброжелательные замечания этому способствовали), безотчетно тревожила здоровая, цветущая Аннета, излучавшая жизнерадостность. Она вызывала в нем и страстное влечение и робость. Во время их прогулок вдвоем он казался себе таким жалким заморышем рядом с ней. Еще больше смущала его великолепная непри-  
нужденность Аннеты в любой обстановке. Если бы Ан-  
нета заметила его смущение, оно бы ей понравилось, но  
Жюльену оно казалось унижительным. Аннета ничего не  
замечала. Она была вся поглощена тем, что пело у нее  
внутри. Ей не приходило в голову, что никто этой песни  
сердца не слышит, и она не понимала тревожных взгля-  
дов Жюльена, когда он мысленно спрашивал себя:

«Кому и чему она улыбается?..»

Аннета в эти минуты казалась ему такой далекой!..

Он попрежнему — нет, больше прежнего — ценил вы-  
сокие качества ее ума, душевную энергию. И в то же  
время Аннета оставалась для него опасной загадкой. Его  
раздирали два противоположных чувства: непобедимое  
влечение к ней — и смутное недоверие, как бы остаток  
первобытного инстинкта, возвращающего мужчину и  
женщину наших дней к изначальной вражде полов, для  
которых плотская любовь была своего рода борьбой. Это  
недоверие — инстинкт самозащиты — пожалуй, сильнее  
всего в таких мужчинах, как Жюльен, — с острым умом,  
но недостаточным опытом. Так как они не знают жен-  
щин, они считают их либо проще, чем они есть, либо во-  
площением коварства.

Аннета еще усиливала колебания Жюльена, так как  
она то говорила ему все, то все таила в себе, переходила от  
пылкой откровенности к замкнутости и иногда во время  
прогулок почти всю дорогу молчала... Ах, это страшное  
молчание (какой мужчина не страдал от него!), когда  
душа подруги, которая шагает рядом с тобой, уходит  
в какие-то неведомые области, навек для тебя недоступ-  
ные!.. Конечно, не всегда под этим молчанием скры-  
ваются глубокие тайны. Бывает и так, что глубина их  
оказывается тебе по пятки... Но ведь завеса молчания  
непроницаема, глаз не видит сквозь нее ничего, и мучи-  
тель-мозг имеет полную возможность строить самые жут-  
кие предположения. Такому человеку, как Жюльен, ни-



когда не придет в голову, что эти тайны — лишь его фантазия, а женщина часто молчит потому, что чувствует, как мало мужчина ее понимает. В иные дни Аннета при Жюльене бывала молчалива, иронически и устало мирясь с тем, что он неверно понимает ее. Она знала, что он любит выдуманную им Аннету, а настоящую не мог бы полюбить...

«Что ж... Если тебе так хочется... Ладно! Пусть я буду не такой, какая я есть, а такой, какой кажусь тебе...»

Но эта молчаливая покорность недолго длилась. Как только Аннета поняла, что откровенные объяснения могут быть опасны (так как Жюльен не способен правильно их понять) и что дипломатичнее было бы отмалчиваться, она заговорила. Молчать, чтобы избавить Жюльена от лишних терзаний, — да, на это она была согласна. Но молчанием своим обманывать его — нет! Если сказать правду для нее опасно, так именно потому нельзя молчать! Чем больше был риск, тем сильнее была ее гордая решимость пойти ему навстречу. При мысли о предстоящем испытании любви у нее сильнее билось сердце. Если Жюльен выдержит испытание, она еще крепче полюбит его. А если нет?.. Но он непременно выдержит! Ведь она ему дорога! Будь что будет!

Она вела честную игру. Но некоторые мужчины предпочитают, чтобы их партнерша плутовала. Сильвия (она знала о любви Жюльена и предполагаемом браке) настаивала на Аннету:

— Боже тебя упаси рассказать ему всю правду! Конечно, кое-что придется сказать: все равно, когда будете регистрировать брак, он из бумаг узнает... Но всегда можно подать правду в подходящем виде. Если он тебя любит, он на все закроет глаза. И не вздумай только открывать их ему. Это был бы верх глупости! После свадьбы будет время обо всем потолковать...

Сильвия говорила как человек, умудренный опытом. Она заботилась о благе сестры (да и о своем тоже, ибо была не прочь поскорее удалить Аннету из своего дома) и считала, что вовсе не обязательно говорить людям правду, а в особенности жениху. Довольно с него, что

его любят! История Аннеты в сущности довольно невинного свойства, но мужчины слабы, они не выносят правды. Им надо преподносить ее маленькими дозами...

Аннета слушала Сильвию спокойно, а выслушав, заговаривала о чем-нибудь другом. Возражать сестре она считала бесполезным, так как все равно решила делать по-своему. У Сильвии — свои взгляды, у нее — свои. Аннета предпочитала не говорить Сильвии того, что думала. Сильвия остается Сильвией, ничего не поделаешь! Несмотря ни на что, Аннета все-таки ее любила... Попробовал бы кто-нибудь другой говорить ей подобные вещи, — каким взглядом она бы его смерила!

«Бедная Сильвия! Она судит о мужчинах по тем, которых встречала в жизни! А мой Жюльен совсем другой породы. Он меня любит такой, какая я есть. Он полюбит и ту Аннету, какой я была в прошлом. Мне незачем от него что-либо скрывать. Перед ним я ни в чем не виновата. Если я и причинила кому зло, так только самой себе...»

Она понимала, как опасна может быть откровенность, но верила в великодушие Жюльена. И, решив сказать ему все, завела разговор о своем прошлом. До этого она и Жюльен с присущей обоим целомудренной сдержанностью всегда избегали этой темы. Но Аннета не раз читала в глазах Жюльена мучивший его вопрос, который он боялся задать, — вопрос о том, что он и хотел и не хотел узнать.

Она ласково прикрыла своей ладонью руку Жюльена и сказала:

— Друг мой, я так ценю вашу милую деликатность!.. Я вам так благодарна за нее!.. Я вас люблю... И я должна, наконец, рассказать вам о себе то, чего вы не знаете. Я не безгрешна.

Жюльен сделал испуганный жест, словно протестуя против того, что она собиралась сказать, или, быть может, желая ее остановить. Аннета усмехнулась:

— Не пугайтесь! Я не такая уж великая грешница. По крайней мере мне так думается. Но, может быть, я к себе слишком снисходительна. Свет на эти вещи смотрит иначе. Судите сами, я полагаюсь на ваш приговор. Если вы скажете, что я виновата, значит так оно и есть.

И она начала рассказывать. Втайне тревожась больше, чем ей хотелось показать, она заранее обдумала, что и как сказать Жюльену. Но, хотя она считала, что это очень просто, говорить об этом оказалось нелегко. Чтобы преодолеть чувство неловкости, она старалась казаться равнодушной. Хотя в душе она была очень взволнована, в ее словах иногда даже прорывалась легкая ирония: таков был ее способ самозащиты... Но Жюльен всего этого не понял. Он усмотрел в тоне Аннеты только неприличное легкомыслие и отсутствие нравственного чутья.

Прежде всего она сказала ему, что не была замужем. Жюльен именно этого боялся и даже, по правде говоря, в глубине души был в этом уверен. Но он все-таки надеялся услышать от нее, что это не так. И когда Аннета сама подтвердила его догадки, так что сомнений больше быть не могло, Жюльен пришел в ужас. Поверхностный либерализм не мешал ему оставаться в душе правоверным католиком, и ему не чужда была идея греха. Он тотчас подумал о матери: она с этим ни за что не примирится! Предстояла борьба. Жюльен был страстно влюблен. Несмотря на боль, которую ему причинила исповедь Аннеты, несмотря на то, что ее былой «грех» был для него настоящим ударом, он любил эту женщину и, чтобы обладать ею, готов был повести борьбу с матерью. Но он был слаб и нуждался в поддержке — Аннета должна была помочь ему. Чтобы выдержать бой, ему надо было собрать все силы. Воодушевить его могла бы только иллюзия — ему необходимо было идеализировать Аннету. И если бы Аннета была хитрее, она бы приняла это в расчет и помогла ему.

Она видела, какое горе причинило Жюльену ее признание. И, хотя она была к этому готова, ей было больно за него. Но она не считала возможным щадить его: если они решают жить вместе, каждый должен нести долю испытаний и даже ошибок другого. Она и не подозревала, какая борьба происходит в душе Жюльена, да если бы и подозревала, все равно верила бы, что любовь победит.

— Бедный мой Жюльен, — сказала она, — я вас огорчила! Простите. Мне тоже тяжело... Вы были обо мне лучшего мнения. Вы меня ставили высоко, слишком высоко... А я только слабая женщина... Но одно скажу:

если я и обманывала себя, то других я никогда не обманывала. Я была искренна. Я всегда была честным человеком...

— Да, да, я в этом ничуть не сомневаюсь, — с живостью сказал Жюльен. — Он вас обольстил, не правда ли?

— Кто? — спросила Аннета.

— Ну, этот негодяй... Простите!.. Этот человек, который вас бросил...

— Нет, его вы напрасно вините! — сказала Аннета. — Я одна виновата.

Этим словом «виновата» Аннета хотела только дать ему понять, что она от всей души жалеет о горе, которое ему причинила, а Жюльен жадно ухватился за это слово. В своем смятении он цеплялся за мысль, что Аннета — обманутая жертва и что она раскаивается... Ему страстно хотелось верить в это «раскаяние»: оно некоторым образом вознаграждало его за испытанное разочарование, оно было для его раны бальзамом, который если и не исцелял, то во всяком случае делал ее менее мучительной. Раскаяние Аннеты давало ему моральное превосходство над нею, хотя к чести его надо сказать, что он не стал бы злоупотреблять этим. И, наконец, так как Жюльен был убежден, что Аннета совершила «грех», то не сомневался в том, что ее долг «раскаяться». Он сросся с этими христианскими понятиями. Самые свободомыслящие христиане не могут от них отрешиться.

Но Аннета принадлежала к другой породе людей. Ривьеры могли быть чисты или нечисты с точки зрения христианской морали, но если они оставались чистыми, они делали это вовсе не в угоду незримому богу или его слишком зримым представителям с их скрижалями закона, а просто из любви к чистоте, которую они понимали как чистоту и красоту душевную. А если они бывали «нечисты», они находили, что это их личное дело, дело их совести, а не совести других. Аннета не считала себя обязанной отдавать кому-либо отчет в своих поступках. Ее исповедь перед Жюльеном была добровольным даром любви. Порядочность ее требовала, чтобы она рассказала ему историю своей жизни, но открывать ему свою *внутреннюю* жизнь она была не обязана: она сделала это

добровольно. И вот сейчас она видела, что Жюльен предпочел бы, чтобы она приукрасила правду. Но она была слишком горда, чтобы придумывать лживые оправдания, да и не считала нужным оправдываться. Напротив, поняв, чего от нее хочет Жюльен, она поспешила объяснить ему, что сама отдалась любовнику.

Потрясенный Жюльен не хотел ничего слушать.

— Нет, нет, не верю! — сказал он. — Вы это говорите из великодушия! Вы берете на себя вину, чтобы защитить этого презренного человека.

— Да я не вижу тут никакой вины! — возразила Аннета просто.

Ее слова поразили Жюльена, он отказывался их понять.

— Вы стараетесь его оправдать...

— Мне не в чем его оправдывать. Тут никто не виноват.

Жюльен не сдавался.

— Аннета, умоляю вас, не говорите таких вещей!

— Да почему же?

— Вы сами знаете, что это дурно.

— Нет, не знаю.

— Как! Вы ни о чем не жалеете?

— Жалею только, что я вас огорчила. Но поймите, милый друг: ведь тогда мы с вами были даже мало знакомы, я могла свободно располагать собой, у меня были обязанности только по отношению к самой себе.

Он подумал: «А этого разве мало?», но вслух не решился ничего сказать.

— Все-таки вы жалеете, что так поступили? — спросил он настойчиво. — Признаете, что это была ошибка?

Он не смел ее осуждать. Но ему так хотелось, чтобы она сама себя осудила!

— Быть может, и ошибка.

— Быть может? — уныло повторил Жюльен.

— Не знаю, — сказала Аннета.

Ей было ясно, чего он добивается от нее... Что ж, может быть, она и ошиблась, если отдаться искреннему порыву любви и жалости — это ошибка. Да, может быть... «Я могу в душе сожалеть об искреннем заблужде-

нии, но я ни перед кем не обязана оправдываться. Мое сердце одно несло свое горе, пережило его в молчании и одиночестве, так и теперь оно одно будет знать о своих сожалениях. Никого это не касается. Сожаления?.. Будем же искренни до конца! Я ни о чем не жалею!» Помолчав и подумав, она ответила на вопрос Жюльена:

— Нет, я не считаю это ошибкой.

Пожалуй, на этот раз онахватила через край, возмущенная бессознательным фарисейством Жюльена... Бедный Жюльен! Но даже в эти минуты, когда она любила его всего сильнее, Аннета не сдалась, не выразила раскаяния, которого он ждал... «Я бы рада сказать то, чего он хочет, да не могу!.. Ведь это неправда...» О чем жалеть? Она имела право сделать то, что сделала, и потом это же дало ей счастье! Правда, она за него дорого заплатила, но оно ей досталось, это счастье: ребенок. И она одна знала, что этот дар не только ее ничуть не бесчестил, как утверждает глупое общественное мнение, а сделал ее чище, надолго освободил от сердечных бурь, дал ей мир и покой... Нет, ни за что она не сделает такой низости! Не станет она, для того чтобы не утратить любовь будущую, клеветать на любовь прошедшую! Она и сейчас еще была благодарна Рождэ, этому орудию судьбы, так мало достойному той любви и того пламени жизни, которое он заронил в ней...

Жюльен чутьем ревнивца угадал ее мысли.

— А вы все еще его любите?

— Нет, мой друг, не люблю.

— Но вы на него даже не сердитесь!

— А за что же мне на него сердиться?

— Вы все еще думаете о нем?

— Я думаю о вас, Жюльен!

— Но вы же его до сих пор не забыли?

— Не могу я забыть того, кто дал мне радость, хотя этой радости больше нет. Не браните меня за это, теперь вы мне дороже всех!

Чувство справедливости у Жюльена было достаточно развито: он оценил прямоту Аннеты и в душе признавал ее благородство. Для него это было неожиданное явление — новая женщина, чья необычайная нравственная

высота раскрывала ему новый мир. Но другие стороны его души восстали. Задет был инстинкт самца. Громко заговорили католические и буржуазные предрассудки. Образ Аннеты в его душе был загрязнен унижающими ее подозрениями. Вместо того чтобы еще больше верить женщине, которая так честно и прямо сказала ему о своем прошлом, он, узнав, что она когда-то проявила слабость, не мог больше быть уверенным в ней. Он уже сомневался, что Аннета будет ему верна. Он думал о том, другом, который обладал ею, от которого она имела ребенка. Он жив... Жюльен боялся быть обманутым. Боялся быть смешным. Он чувствовал себя глубоко несчастным и униженным и не мог простить.

Поняв, что за борьба идет в душе Жюльена, увидев, какая опасность грозит ее надеждам, Аннета затрепетала. Ведь эта любовь, которую она внушила Жюльену, и ее захватила глубоко. Всю силу своей нежности, всю жажду счастья она сосредоточила на Жюльене. В сущности она и тут обманулась, но только наполовину: Жюльен не был ее недостоин, он обладал многими положительными чертами, за которые можно было его любить. Они с Аннетой были очень разные люди, но могли бы ужиться, если бы постарались понять друг друга и проявили некоторую терпимость. Конечно, это было бы им нелегко, но разве не стоило заплатить такими небольшими страданиями за большую любовь? Аннета могла бы благотворно влиять на Жюльена, она стала бы для него источником силы и веры в жизнь — веры, которая, как мощный ветер, надув его паруса, привела бы его туда, куда он без нее никогда не доплыл бы. А чуткая нежность Жюльена, его уважение к женщине, его нравственная чистота и даже наивная религиозность, чуждая Аннете, оказали бы на нее благотворное влияние, привели бы в равновесие ее страстную натуру, дали бы ей надежное мирное и тихое пристанище в жизни и любовь, на которую можно положиться...

Горе сердцам, которые из-за недоразумений, преувеличенных любовью, бросают свое счастье на ветер, и знают это, и упрекают себя, и будут упрекать себя всю жизнь, но крепко держатся за то, что их разделяет! Именно потому, что они слишком сильно любят, они не

идут на моральные уступки. А между тем они презрительно сделали бы такие уступки тем, кто им безразличен!..

Аннету мучило то, что она вызвала такую бурю в душе Жюльена. Прав ли он? Аннета не считала свои суждения непогрешимыми. Она всегда старалась понять и чужую точку зрения. Характер ее еще не совсем сложился. Нравственный инстинкт был очень силен, но убеждения не выработались окончательно, и она считала себя вправе их пересматривать. Она очень рано поняла, как фальшива мораль окружавшего ее общества. Она ни в чем не находила опоры, кроме своего разума, а он часто уводил ее от истины. И она искала. Искала таких человеческих мыслей, в атмосфере которых можно дышать. И когда она встречала честную душу, как у Жюльена, она жадно старалась узнать ее поближе, проверяя, не откликнется ли та на ее зов. Эта мятежница жаждала веры в кого-нибудь! И она все искала, искала себе духовной родины... Как ей хотелось обрести с Жюльеном общую родину, признать ее законы, даже если бы они ее осуждали! Но одного желания мало. Она не могла мириться с тем, чего хотел Жюльен, — это было что-то неестественное!

Она сказала ему ласково:

— Вижу, что и вы меня осуждаете, как осудил свет. Я вас в этом не упрекаю. Меня восхищают блюстители нравственности и строгость их законов. У них свое место в мире, и я знаю, эти законы пустили крепкие корни в людях вашей породы. Естественно, что вы им подчиняетесь. Я уважаю ваши убеждения... Но поймите, дорогой мой, не могу я, как бы ни старалась, раскаяться в поступке, за который все меня порицают, — не могу, потому что он дал мне моего ребенка... Жюльен, друг мой, как отречься от того, что стало мне единственным утешением, самой чистой радостью, какой мне, может быть, не пошлет больше судьба? Не пытайтесь же ее заклеить, а лучше, если любите меня, разделите со мной мое счастье! В нем нет ничего для вас оскорбительного!..

Она говорила — и чувствовала, что Жюльен ее не понимает, что ее слова только еще больше раздражают его. На душе у нее было очень тяжело. Что же делать? Лгать



ему? Нет, достаточно унижительно уже и то, что она могла подумать о таком выходе... Но как допустить, чтобы расширилась трещина в их отношениях, которые ей так дороги? Она ощущала эту трещину, как рану в собственном сердце. И перед каждым свиданием с Жюльеном она с ужасом спрашивала себя, что прочтет сегодня на его лице...

Жюльен, как многие мужчины, когда они уверены, что их любят, низко пользовался этим и сознательно мучил Аннету. Теперь уже он проверял свою власть над нею. Он уже меньше дорожил Аннетой, так как был уверен, что она дорожит им...

А она все понимала, все! Она кляла себя за то, что обнаружила перед Жюльеном свою слабость. И продолжала делать это. Она суеверно твердила себе: если это суждено, она будет женой Жюльена, что бы она ему ни говорила, а если нет, то она все равно его потеряет...

Но в глубине души ей хотелось верить, что этой покорностью она умилюет судьбу и Жюльен смягчится...

«Вот я отдаюсь в твои руки. Неужели ты за это будешь меньше любить меня?..»

В уме Жюльена шла усиленная работа. Он любил Аннету (нет, желал ее!) все так же сильно и, как знать... (Впрочем, он не хотел ничего знать...) Словом, он по-прежнему хотел, чтобы она стала его женой. Но теперь он был уверен, что и мать ни за что не даст на это согласия и сам он на это не решится. Причин было много: и горькая обида, и оскорбленное мужское тщеславие, и то, что он осуждал Аннету за «безнравственность», и страх: «что скажут люди?», и ревность, смешанная с отвращением... Все-таки он старался не раздувать в себе этих чувств. «Ладно, ладно, знаю, но не лезьте вперед!..» Ум его прибегал ко всяким уверткам, чтобы удовлетворить одновременно и тайные доводы против брака и его желания... Аннета вела себя в прошлом как женщина без предрассудков, сторонница свободной любви. Он этого не одобрял, нет! Но, собственно говоря, если она такова, почему бы ей не сойтись и с ним, раз она его любит?

Он не высказал ей этого так грубо, напрямик. Он стал ссылаться на всякие непреодолимые препятствия к их браку. Когда Аннета опровергала одни доводы, он изобретал другие: говорил о сопротивлении матери, с которой им необходимо будет жить вместе, о том, что у него очень стесненное материальное положение, а Аннета привыкла к роскоши, к светской жизни (он умышленно забывал, что бедняжке вот уже два года приходилось бегать по урокам!), о различии их характеров и темперамента. (Этот последний аргумент был выдвинут в самом конце, к ужасу и отчаянию Аннеты, которая уже воображала, что все преграды ею сметены.) Жюльен с упрямой неискренностью старался себя очернить, чтобы доказать ей, что он для нее неподходящий муж. Аннета не знала, плакать ей или смеяться. Больно было слушать, как он выискивал всякие предлоги, чтобы увильнуть. Но она, забыв гордость, делала вид, что не понимает этого, изо всех сил старалась находить возражения, отчаянно боролась, чтобы только не дать ему уйти.

А он и не думал уходить. Он не отказывался брать. Он отказывался давать...

Когда цель его усилий и маневров стала ей, наконец, ясна, когда она поняла, чего он от нее добивается, она была не столько возмущена, сколько подавлена этим. У нее уже не было сил возмущаться. Стоило ли продолжать борьбу? Так вот чего он хочет!.. Это он-то, Жюльен!.. Жалкий человек!.. Неужели он себя не знает? Не знает, что привязало ее к нему? Ведь она его любит только за нравственную стойкость и чистоту. Вот уж кому не к лицу, совсем не к лицу роль донжуана, волокиты, ветреного любовника! (Даже в горе Аннета сохраняла чувство юмора и трезвую способность ума подмечать в жизни наряду с трагическим и смешное.)

«Мой милый! — мысленно говорила она Жюльену со смешанным чувством нежности, жалости и отвращения. — Мой милый, ты мне больше нравился, когда сурово осуждал меня! Тебе на это давали право твои понятия о любви, узкие, но возвышенные. А сейчас ты это право утратил. Что мне делать с той жалкой любовью, которую ты мне сейчас предлагаешь, с любовью без доверия? Раз нет доверия, нас больше ничто не связывает...»

Любовь бывает разная: там, где одна расцветает, другая вянет. Плотская любовь обходится без уважения. Любовь, основанная на уважении, не может унизиться до простого наслаждения.

«Нет! — мысленно восклицала Аннета в порыве возмущения. — Я скорее стану любовницей первого встречного, если он мне понравится, но только не твоей! Ведь я тебя люблю!..»

С Жюльеном такие отношения были бы для нее позорны и унижительны. Все или ничего!

И скрытым домогательствам Жюльена был дан мягкий, но решительный отпор, сильно задевший его. Сурово осуждая друг друга, они все же не могли разлюбить, не могли примириться с тем, что счастья не будет. Втайне стремясь и вызывая друг к другу, даже предлагая себя, они не в силах были произнести то слово, что соединило бы их: Жюльену мешало духовное бессилие, которым, за редкими исключениями, отличаются мужчины (и это смеет утверждать мужчина!), то малодушие, в котором они никогда не признаются; Аннете мешала непреодолимая женская гордость, в которой женщины тоже не хотят сознаваться. Ибо и мужчины и женщины так искалечены условной моралью нашего общества, основанного на господстве мужчины, что и те и другие забыли, какими их создала природа. Не всегда слабее те, кого у нас называют слабым полом. В женщине гораздо больше органических сил, сил земли. И, хотя она и опутана сетями, представленными ей мужчиной, она всегда остается пленницей непокоренной...

Жюльен смутно угадывал истинные причины упорства Аннеты и нисколько не сомневался в ее внутренней честности. Но он не мог победить свое малодушие, он считался с мнением людей, которых уважал меньше, чем Аннету. Он примирился бы с прошлым Аннеты, если бы не голос света (он убедил себя, что это голос его совести). У него не хватало храбрости жениться на женщине, которую он избрал, и свою трусость он называл чувством чести, но он не мог до конца обмануть себя и сердился на Аннету за то, что и она не хотела его обманывать. Оставалось только порвать с нею, но и на это он не мог решиться. И когда Аннета говорила, что им надо рас-

статься, он цеплялся за нее, колебался, мучился сам и мучил ее. Он не хотел жениться — и не хотел отказаться от Аннеты. Это была жестокая игра. Он то поддерживал в ней надежду, то больно ранил ее сердце. Когда Аннета бывала с ним особенно нежна, он замыкался в себя и отталкивал ее, а когда она, покорившись необходимости, хотела уйти, становился нежен.

Аннета тяжело переживала муки оскорбленной любви. Сильвия заметила, что ее что-то грызет, и в конце концов вырвала у нее признание. Она видела Жюльена и сразу его раскусила.

— Он из тех, которые не решатся, пока их не заставишь. Способов есть много, добейся от него согласия. Потом он сам же будет тебе благодарен.

Но для Аннеты была нестерпима мысль, что Жюльен впоследствии может винить ее (хотя бы только мысленно) в том, что женился на ней. Когда уже нельзя было не видеть, что это человек безнадежно слабохарактерный и нечего ждать от него какого-либо твердого решения, от которого эта неустойчивая душа не стала бы потом отрекаться, Аннета порвала с ним сразу. Она написала ему, что не хочет больше длить бесполезные мучения. Она страдает, он страдает, а ведь жить-то надо! Она должна работать для сына, у него тоже есть свое дело в жизни, и она слишком долго его отвлекала от этого дела. Зачем изматывать силы? Этих сил не так уж много! Если они не могут дать друг другу счастья, так не надо по крайней мере делать друг друга несчастными! Надо перестать встречаться! Она благодарила его за все.

Жюльен не ответил на письмо. Наступило молчание... В душе его боролись обида, сожаления и неудовлетворенная страсть...

Их любовь не была тайной ни для кого из окружающих. Заметил ее и Леопольд и не сумел скрыть от Сильвии свое раздражение. Тягостное воспоминание о его бесславном покушении оставило в душе Леопольда невольную досаду на Аннету, и, хотя с тех пор прошло несколько месяцев, досада эта не только не улеглась, а, напротив, стала острее, так как теперь он уже мог лгать

самому себе, будто забыл, чем она вызвана. Сильвию, которая и так уже была настороже, поразило странное поведение мужа. Она стала за ним наблюдать — и теперь больше не сомневалась: он ревновал Аннету! По какой-то удивительной логике сердца Сильвия злилась за это не на него, а на Аннету и была близка к тому, чтобы возненавидеть сестру. Такие крайности отчасти объяснялись тяжелым физическим состоянием Сильвии. Но беда была в том, что, даже когда состояние это прошло, чувства, вызванные им, остались.

В октябре Сильвия родила девочку. Все радовались. Аннета чувствовала к ребенку такую страстную нежность, как будто это был ее собственный. Но Сильвии вовсе не было приятно видеть свою дочку на руках у Аннеты. Она больше не пыталась скрыть враждебность, которую до тех пор в себе подавляла. Последние несколько недель Аннета, выслушивая оскорбительные замечания сестры, объясняла их нездоровьем, но теперь она уже не могла сомневаться в том, что Сильвия ее разлюбила. Она молчала, стараясь ни в чем не перечить сестре. Она все еще надеялась, что их бывшая нежная дружба вернется.

Сильвия встала с постели. Отношения между сестрами внешне оставались прежними, и посторонние не замечали никакой перемены. Но Аннета чувствовала в Сильвии холодную враждебность, и ей было больно. Хотелось взять Сильвию за руки и спросить:

«Что с тобой? За что ты сердишься? Дорогая, скажи!»

Но она не решалась: взгляд Сильвии леденил ее. Она инстинктивно чувствовала, что если Сильвия заговорит, то будет сказано непоправимое. Уж лучше было молчать. Аннета чуяла в обращении сестры сознательное желание оскорбить, уязвить ее. С этим невозможно было бороться.

Однажды Сильвия объявила Аннете, что ей нужно поговорить с ней. У Аннеты сильно забилося сердце, она мысленно спрашивала себя:

«Что-то она мне скажет?»

Сильвия не сказала ей ничего обидного, ни словом не заикнулась о причинах своего раздражения. Она завела речь о том, что Аннете надо выйти замуж.

Аннета попробовала осторожно уклониться от этой темы. Но Сильвия настойчиво сватала ей одного приятеля Леопольда. Он был немножко маклер, немножко журналист, человек, не лишенный некоторого «блеска», со светскими манерами и разнообразными (слишком разнообразными!) доходами: он перепродавал автомобили, сочинял рекламы, занимался посредничеством, вербуя для разных предприятий клиентуру в светских салонах и клубах и получая комиссионные от обеих сторон. Насколько же изменилось отношение Сильвии к сестре, если она могла сватать ей такого человека! Аннету задело это сознательное неуважение к ней, свидетельствовавшее о полном отсутствии любви. Она жестом остановила Сильвию, расписывавшую достоинства кандидата. Сильвия рассердилась и ворчливо спросила, какого же еще мужа ей нужно. Аннета ответила, что никакого, что она хочет жить одна и быть самостоятельной. На это Сильвия возразила, что сказать легко, но надо еще уметь быть самостоятельной.

— А разве я не умею?

— Ты? Сильно сомневаюсь!

— Ты ко мне несправедлива. Я могу сама прокормить себя.

— Да, с помощью других!

В тоне, каким это было сказано, еще больше, чем в словах, чувствовалось желание оскорбить. Аннета вспыхнула, но промолчала — она не хотела доводить дело до ссоры.

С этого дня дурное настроение Сильвии проявлялось уже открыто. Все давало повод к вспышкам: малейшее возражение во время разговора, какая-нибудь деталь туалета, опоздание Аннеты к обеду, шумная беготня маленького Марка по лестнице. Совместные прогулки прекратились. Если они уговаривались поехать куда-нибудь в воскресенье всей семьей, Сильвия уезжала вдвоем с Леопольдом, не предупредив сестру, а потом ее же винила в том, что она якобы не пришла во-время. Или в последнюю минуту задуманная прогулка отменялась.

Аннета видела, что ее присутствие тяготит Сильвию. Она робко намекнула, что думает поискать квартиру в другом квартале, поближе к своим ученикам. Она на-

деялась, что против этого громко запротестуют, что ее будут уговаривать остаться. Но ее как будто и не слышали.

Аннета проявила малодушие — осталась. Она цеплялась за этого близкого ей человека, чувствуя, что теряет его. Ей тяжело было расстаться не только с Сильвией: она привязалась к маленькой Одетте. Не одну тяжкую обиду стерпела она молча, делая вид, что ничего не замечает. Но стала приходить реже.

Однако Сильвия считала, что и это слишком часто. Она все еще не пришла в нормальное состояние, ее мучила болезненная ревность. Раз, когда Аннета весело играла с Одеттой, не обратив внимания на сухое требование Сильвии оставить ребенка в покое, Сильвия, выйдя из себя, вскочила, вырвала у нее девочку и крикнула:

— Убирайся!

В ее взгляде было столько враждебности, что потрясенная Аннета спросила:

— Да что я тебе сделала, скажи, пожалуйста? Не смотри на меня так, это ужасно! Ты хочешь, чтобы я ушла? Чтобы совсем ушла и никогда больше не приходила?

— Наконец-то догадалась! — сказала Сильвия злобно.

Аннета побледнела:

— Сильвия!

Но та с холодной яростью продолжала:

— Ты живешь на мои деньги. Ну, ладно, пускай. Но довольно и этого! А мой муж и моя дочь — только мои. От них руки прочь, понятно?

Аннета побелевшими губами тоскливо твердила:

— Сильвия!.. Сильвия!..

Но вдруг и она вышла из себя и крикнула:

— Жалкая женщина!.. Больше ты меня никогда не увидишь!

Она бросилась к двери и убежала.

А Сильвия, хотя в душе ей было стыдно за свою грубость, фальшиво засмеялась:

— Да, как же! Еще сегодня прибежит!

## Часть вторая

Аннета выбежала от Сильвии с твердым намерением никогда больше сюда не возвращаться. Она плакала. Она сгорала от стыда и задыхалась от гнева. Женщины с таким бурным характером, как она и Сильвия, разлюбив друг друга, неминуемо должны были дойти до ненависти.

Аннете казалось невыносимым оставаться с Сильвией под одной крышей. Если бы можно было, она переехала бы на другой же день. К счастью для нее, пришлось подчиниться необходимости: надо было предупредить домовладельца об отказе от квартиры, найти новую. В первом порыве гнева Аннета готова была отвезти всю мебель на какой-нибудь склад и пока поселиться в гостинице. Но сейчас было не время сорить деньгами. Сбережения у нее были очень скудные — она тратила почти все, что зарабатывала. До сих пор она никогда не обращалась за помощью к сестре, но сознание, что в случае нужды есть к кому прибегнуть, придавало ей уверенности, избавляло от неотвязной заботы о завтрашнем дне. Теперь же, когда она вздумала подсчитать, сколько ей нужно на жизнь, она с огорчением убедилась, что одного ее заработка не хватит. До сих пор расходы были меньше, потому что они с Сильвией, живя в близком соседстве, вели общее хозяйство. Весь гардероб мальчика состоял из подарков Сильвии, да и для Аннеты она шила платья в своей мастерской, беря с нее только деньги за материю. Прибавьте к этому, что Аннета пользовалась вещами Сильвии, всем тем, что могло служить им обоим. Потом — мелкие подарки, совместные воскресные прогулки,



те скромные удовольствия, что скрашивают однообразие будней. Кроме того, Сильвия пользовалась кредитом у торговцев их квартала, а это давало возможность и Аннете оттягивать платежи. Теперь же надо было сообразоваться с тем, что за все придется платить наличными. Начало предстояло трудное: переезд, уплата вперед за новую квартиру, расходы на устройство. И надо было решить самый главный вопрос: кто будет смотреть за ребенком? Сложный вопрос! Чтобы прокормить себя и его, ей нужно работать, а значит, уходить из дому, но на кого же тогда оставлять малыша? Аннета понимала, что никогда не справилась бы с этими затруднениями, если бы они встали перед ней раньше, когда Марк был еще совсем мал. Но как же справляются с ними другие женщины? Аннета жалела этих несчастных и презирала себя.

Отдать мальчика в закрытую школу с пансионом? Он был уже в таком возрасте, что мог поступить в лицей. Но Аннета ни за что не хотела запираť его в какой-либо из этих зверинцев. После всего, что она слышала о закрытых учебных заведениях (в наше время порядки там немного улучшились), да и чутьем угадывала в физической и моральной атмосфере этой общей свалки, она считала преступлением бросить туда ребенка. Она уверила себя, что Марку будет там тяжело. А между тем — как знать? — быть может, он был бы рад попасть туда и избавиться от нее. Однако какая мать может себе представить, что она в тягость собственному ребенку? Аннета не соглашалась отдать его даже на полупансион. Она твердила себе, что у мальчика слабое здоровье, что он нуждается в особой диете, что за его питанием надо следить самой. Но прибегать домой в те часы, когда Марку полагалось есть, было очень утомительно, иногда ей требовалось как раз в эти часы идти на другой конец Парижа. Приходить, уходить, постоянно быть в движении! Того, что она зарабатывала уроками, на жизнь не хватало. Постоянно бывали какие-нибудь экстренные расходы, которых она не предвидела. Мальчик рос быстро, а Аннете хотелось бы, чтобы он не вырастал из своих костюмчиков, как боб не вырастает из своего стручка: ведь так трудно было его одевать! Не

могла она не обновлять и своего гардероба — этого требовала если не ее гордость, так ее профессия. Следовательно, приходилось искать добавочных заработков: переписку на дому, переводы, редактирование переводов (труд неблагодарный, плохо оплачиваемый), секретарскую работу в учреждениях один-два дня в неделю. За это платили мало, но все вместе могло давать порядочный приработок. Приходилось хвататься за любую работу. Аннета так и делала. Ее ненавидели за это изголодавшиеся конкурентки, с которыми она теперь снова сталкивалась в погоне за куском хлеба. «Но с сентиментальностями кончено! — говорила себе Аннета. — Надо идти своей дорогой. В нашей жизни никто не оборачивается, чтобы поднять упавших». Порой она мельком замечала искаженное злобой лицо, враждебный взгляд оттесненной соперницы, которой она в другое время охотно помогла бы. Но сейчас нельзя, надо поспеть первой! Теперь Аннета знала, где искать работу, и умела избирать самый короткий путь к ней. Ее диплом и ученая степень давали ей преимущество перед другими. И она знала, что преимущество ей дает еще и уверенность в себе, глаза, голос, костюм, умение пленять нанимателей. Когда нужно было выбрать между ней и другими кандидатками, наниматели редко колебались. А оставшиеся за бортом не прощали ей этого.

Аннета распределяла свой день разумно и строго. Ни минуты на праздные размышления! Жить изо дня в день! Каждый день был заполнен до краев. Первые недели она прожила в постоянном трепете, не зная, сможет ли прокормить себя и сына. Затем она приспособилась к новой жизни, успокоилась и даже начала находить удовольствие в преодолении трудностей. Конечно, в те редкие минуты, когда необходимость действовать не держала ее в напряжении, по вечерам, когда она опускала голову на подушку, в мозгу ее теснились мысли о том, как свести концы с концами, и всякие заботы: «А что, если я свалюсь?.. Заболею?.. Нет, не хочу об этом думать! Спать, спать!..» К счастью, она за день очень уставала, и сон не заставлял себя долго ждать. А там наступал новый день, в котором не было места подобным страхам и всяким «если», не было места всему тому, что

отнимает у человека силы, расстраивает нервы, иссушает душу. Труд и нужда ставили все на свое место, указывали, что — необходимость, а что — роскошь.

Необходимостью был хлеб насущный. Роскошью — потребности сердца... Ну, могла ли Аннета раньше представить себе, что когда-нибудь они будут казаться ей чем-то второстепенным!.. А сейчас было именно так. Пусть прислушиваются к ним те, у кого много свободного времени! А у нее времени в обрез, едва хватает на все. На каждое действие одна мысль — не больше! Она ощущала полноту сил, она была в безопасности, как прочно сидящая в воде лодка, пущенная по волнам.

Аннете шел тридцать третий год, ее энергия еще не иссякла. Она убеждалась, что не только не нуждается в опеке, но без чужой поддержки стала еще сильнее. Суровая жизнь ее закалила. И первым благодеянием, которое эта жизнь ей оказала, было освобождение от навязчивых мыслей о Жюльене, от любовной тоски, то глухой, то неистойой, отравившей ей все предыдущие годы. Она вдруг увидела всю притворность своих сентиментальных мечтаний, этой нежности, мягкости, лицемерно скрываемой чувственности: ей теперь и вспоминать о них было противно. Нет, воевать с беспощадной жизнью, выдерживать ее ранящие прикосновения, поневоле и самой быть жесткой — это хорошо, это живет и укрепляет! Возрождалась к жизни значительная часть ее души, лучшая, быть может, и, конечно, более здоровая.

Аннета больше не уходила в мечты и не мучила себя... Она не тревожилась даже о здоровье сына. Когда он заболел, она делала все нужное, но не беспокоилась заранее и не вспоминала об этом потом. Она была ко всему готова, смела и верила в себя. И это оказалось лучшим средством от всех бед. За первые годы упорного труда она ни одного дня не болела. Да и мальчик не давал ей больше никогда повода к серьезному беспокойству.

Ее умственная жизнь была теперь так же строго ограничена, как и жизнь сердца. Почти не оставалось времени для чтения. Казалось, это должно было бы ее огорчать... Нисколько! Ум ее заполнял пустоту из собственного запаса. У него хватало работы: надо было разобраться во всех сделанных открытиях. А за первые

месяцы новой жизни Аннета сделала множество открытий. Можно сказать, все было для нее открытием. Однако что же собственно изменилось в ее жизни? Что было ново? Труд? Но она уже знала его и раньше (так ей казалось). И город и люди были сегодня те же, что и вчера...

А между тем все в один день переменялось. С того часа, как Аннета начала погоню за куском хлеба, началось для нее и подлинное открытие мира. Любовь и даже материнские чувства не были открытием. Они были заложены в ней, а жизнь только выявила какую-то малую долю того и другого. Но едва Аннета перешла в лагерь бедняков, ей открылся мир.

Мир представляется нам разным, в зависимости от того, откуда мы на него смотрим — сверху или снизу. Аннета как бы шла сейчас по улице, между длинными рядами домов; на улице видишь только асфальт, грязь, угрожающие твоей жизни автомобили, поток пешеходов. Видишь небо над головой (изредка ясное), если у тебя есть время поглядеть вверх. А все остальное исчезает из поля зрения: все содержание прежней жизни, общество, беседы, театры, книги, все, что тешило сердце и ум. Знаешь хорошо, что оно есть, и, быть может, еще любишь все это, но приходится думать о другом: смотреть под ноги и вперед, осторожно лавировать, шагать быстро... Как спешат все люди!.. Глядя сверху, видишь только ленивое колыхание этой реки; она кажется спокойной, потому что мы не замечаем ее быстрого течения. Погоня, погоня за хлебом!..

Аннета и раньше тысячу раз думала о мире труда и нужды, о той жизни, какую теперь вела и она. Но ее тогдашние мысли не имели решительно ничего общего с тем, что она думала сейчас, когда стала частицей этого мира...

Прежде она верила в демократическую истину о правах человека и считала несправедливым, что массы обманным образом лишены этих прав. Теперь ей казалось несправедливым (если еще можно было говорить о справедливости и несправедливости) то, что правами пользуются привилегированные. Не существует никаких

прав человека! Человек ни на что не имеет права. Ничто ему не принадлежит. Приходится все решительно отвоевывать сызнова каждый день. Так заповедал господь: «В поте лица твоего будешь есть хлеб твой». А права — это хитрая выдумка изнеможенного борца, который хочет закрепить за собой трофеи былой победы. Права Человека — это накопленная сила вчерашнего дня. Но единственное реально существующее право — это право на труд. Завоевания каждого дня... Как неожиданно предстало пред Аннетой это зрелище — поле битвы за существование! Но оно ничуть не устрасило ее. Эта мужественная женщина принимала бой, как необходимость, находила это в порядке вещей. Она была к нему готова, она была молода и полна сил. Победит — тем лучше! Будет побеждена — тем хуже для нее! (Но такая не будет побеждена!..) Аннета не отвергала жалости, она отвергла лишь слабость. Первейший долг человека — не быть малодушным!

Этот закон труда по-новому все объяснял. Аннета проверяла свои прежние верования, и на обломках старой морали воздвигалась новая мораль — искренности и силы, а не фарисейства и слабости... Рассматривая в свете этой новой морали мучившие ее сомнения, в особенности то, которое она таила на самом дне души: «Имела ли я право родить ребенка?» — Аннета отвечала себе:

«Да, если я смогу его вырастить, если сумею сделать из него человека. Сумею — значит, я хорошо поступила. А не сумею — значит, плохо. Вот единственная мораль, остальное все — лицемерие...»

Этот окончательный приговор удваивал ее силы и радость борьбы...

Вот о чем размышляла Аннета, шагая по улицам Парижа, спеша с одной работы на другую. Ходьба как-то подстегивала мысли. Сейчас, когда ее день был строго распределен, мечты опять предъявили свои права. Но теперь это были мечты бодрые, светлые, четкие, без всякого тумана. Чем меньше времени она им уделяла, тем настойчивее они заполняли каждую свободную минутку, подобно плющу, который, разрастаясь, покрывает стены. Свои новые, более широкие понятия об истинной человеческой морали Аннета проверяла опытом каждого дня.

Труд и бедность открыли ей глаза. По-новому обнажалась перед ней ложь современной жизни, которой она не замечала, пока сама была ею опутана, чудовищная бесполезность этой жизни — девяти десятых этой жизни, в особенности женской... Есть, спать, рожать... Впрочем, последнее — как раз та десятая часть, которая полезна. А все остальное? Так называемая цивилизация? То, что именуют «умственной деятельностью»?.. Да создан ли действительно человек, *vulgus umbraum*<sup>1</sup>, для того, чтобы мыслить? Он хочет себя в этом убедить, он внушил себе эту идею и держится за нее, как за все освященное традицией. На самом же деле он никогда не мыслит. Не мыслит, читая газету, сидя за письменным столом, вертясь в колесе повседневной работы. Колесо вертится вместе с ним — и все впустую. Мыслят ли девушки, которых она, Аннета, обучает? Что они понимают в тех словах, которые слышат, читают, говорят? К чему сводится их существование? Кое-какие сильные и мрачные инстинкты тлеют под ворохом мишуры. Желать и наслаждаться... Мысль — тоже мишура, которой они украшают себя. Кого люди обманывают? Самих себя... Что кроется под оболочкой современной цивилизации с ее роскошью, ее искусством, суетой и шумихой? Ах, эта шумиха! Она — одна из масок цивилизации, надеваемых для того, чтобы думали, будто она стремится к какой-то цели! Какой цели? Она летит вперед только для того, чтобы забыться... Под ее оболочкой — пустота. А люди кичатся ею. Они кичатся этой мишурой, пустыми словами, побрякушками. Как редки люди, жизнь которых — осуществление закона необходимости! Тысячелетний зверь ничего не понимает и не внемлет голосу своих богов и мудрецов: для него они только еще одна побрякушка. Он не выходит из замкнутого круга желаний и скуки... До чего непрочно здание человеческого общества! Оно держится лишь силой привычки. Оно рухнет сразу...

✓ Трагические мысли. Но они не омрачали горячей души Аннеты. Ведь радость и горе рождаются в человеке не под влиянием отвлеченных идей, а по каким-то

<sup>1</sup> толпа теней (лат.).

глубоким внутренним причинам. Душа немощная может зачахнуть от тоски и под безоблачным небом, а душа здоровая и сильная бодро выдерживает шквалы, укрываясь за тучами, как солнце, и твердо веря, что буря минет. Иногда Аннета приходила домой разбитая, и будущее казалось ей беспросветным. Она ложилась в постель, засыпала — а проснувшись среди ночи, способна была беспечно смеяться, вспоминая забавный сон. Или иной раз сидит она вечером, согнувшись над работой, и, пока пальцы делают свое дело, мозг делает свое. Вдруг ей придет в голову какая-нибудь смешная мысль — и вот уже ей весело! Она старается сдержать смех, чтобы не разбудить Марка. Она твердит себе: «Какая я глупая!» — и утирает глаза. А на душе уже легче. Эти ребяческие внезапные переходы от печали к веселью были спасительным наследием предков. Когда сердце заволакивали тучи, вдруг налетал ветер радости и разгонял их.

Нет, Аннете не нужны были ни развлечения, ни книги! У нее было что читать в собственной душе. А самой увлекательной книгой был ее сын.

Ему скоро должно было исполниться семь лет. Перемену обстановки он перенес гораздо легче, чем можно было ожидать: ведь каждая перемена, к лучшему она или к худшему, все-таки перемена. Малыш и сам при этом менял кожу, подобно змейке... Как дети неблагодарны! Марк теперь отлично обходился без ласк и баловства Сильвии (а она-то была так уверена в своей власти над ним!). Через каких-нибудь два дня он перестал и вспоминать тетку.

Взрослые неверно себе представляют, что нравится и что не нравится детям. Из того нового, что появилось в его жизни, Марка больше всего радовал лицей, куда мать посылала его скрепя сердце, да еще те часы, когда он оставался в квартире один и когда некому было им заниматься.

Аннета поселилась на густо населенной улице Монж. Крутая лестница, тесная квартирка на шестом этаже, шум города. Зато из окон открывался широкий вид, простор над крышами, и Аннете больше ничего не нужно.

было. Шум ей не мешал: как истая парижанка, она привыкла к шуму и движению, она в них почти нуждалась. Ей даже как-то лучше мечталось среди этой сутолоки. Да и характер ее, быть может, изменился с наступлением зрелости. Полнота физической жизни и регулярный труд придали ей уверенности в себе; она обрела то душевное равновесие, которое раньше посещало ее не всегда, а если посещало, то ненадолго.

Часть квартиры — окнами на улицу — состояла из комнаты Аннеты, служившей одновременно и гостиной (вместо кровати здесь стоял диван), комнатунки Марка и фонаря, выходившего на угол двух улиц. По другую сторону коридора, в котором было темно даже среди бела дня, находились столовая окнами во двор и кухня, где почти все пространство было занято плитой и раковиной.

Дверь из комнаты матери в комнату сына всегда оставалась открытой, и Марк был еще слишком мал, чтобы протестовать. Он был в переходном возрасте между бесполом детством и первым неясным пробуждением в мальчике мужчины: он вышел из первого и не достиг еще второго. Марк иногда в воскресные утра по-прежнему забирался в постель к матери и в торжественные дни позволял ей одевать себя. Правда, в другое время у него бывали приступы даже чрезмерной стыдливости, всякие причуды и в особенности периоды скрытности, когда он не терпел вмешательства в свои дела. Он потихоньку закрывал дверь в свою комнату. Аннета ее опять открывала. Он не мог сделать ни одного движения, чтобы она не услышала. Это было невыносимо. Оставалось только не шевелиться — тогда она о нем забывала, но ненадолго, ненадолго!..

К его удовольствию, Аннета мало бывала дома: ей нужно было выходить. Лицей, в котором учился Марк, был недалеко, Аннета отводила туда сына по утрам, а когда бывала свободна (что случалось редко), то и днем. Но приходить за ним в лицей она не могла — в эти часы она давала уроки. Марк возвращался домой один, и мать это беспокоило. Попробовала она было уговориться с соседями, чтобы служанка, которую они посылали в лицей за своим мальчиком, приводила домой и Марка.



Но Марку это не нравилось, и он постоянно удирал, не дождавшись служанки. Гордый собой, но немного труся в душе, он шел домой один и запирался в пустой квартире. Пока не вернулась мать, бывало так хорошо! Аннета бранила его за своеволие и независимость. Но, не признаваясь себе самой в этом дурном чувстве, она была довольна, что у него нет товарищей. Она не доверяла всяким товарищам, боялась, как бы ей не испортили сына... Ее сына! Значит, она была твердо уверена, что он принадлежит ей? Конечно, она старалась умерить эгоизм своей любви. Когда Марк был еще совсем мал, она испытывала слепую и жадную потребность как бы поглотить, растворить в себе это крохотное существо. Сейчас было уже не так — сейчас она признавала в нем личность. Но она убедила себя, что у нее есть ключ к душе мальчика, что она лучше его самого знает, в чем его счастье и чего он хочет. Она стремилась лепить эту душу по образу и подобию того бога, которому тайно поклонялась. Как большинство матерей, считая себя неспособной создать в жизни то, чего хочет, она мечтала, что это будет создано тем, в ком течет ее кровь. (Вечная мечта Вотана, которая вечно остается неосуществимой!)

Однако, чтобы формировать душу сына, нужно было крепко держать ее в руках. Не дать ему вырваться!.. И Аннета делала для этого, что могла, делала больше, чем следовало! А Марк с каждым днем все дальше уходил от нее. Она в унынии замечала, что меньше и меньше понимает его. Хорошо знала она только одно: его тело, состояние его здоровья, его болезни, все малейшие их симптомы — тут чутье ее никогда не обманывало. Это дорогое, хрупкое тельце было у нее на глазах, она его касалась, мыла, ухаживала за ним... Казалось, его можно видеть насквозь... Но что кроется в его душе? Она пожирала глазами мальчика, обнимала ненасытными руками, он весь принадлежал ей...

— Боже! Как я тебя люблю, звереныш! А ты любишь меня?

Марк вежливо отвечал:

— Люблю, мама.

Но что было у него на уме?

В семь лет Марк не обнаруживал ни единой семейной черты. Напрасно изучала его Аннета, ища хоть какого-нибудь сходства, стараясь убедить себя, что оно есть... Нет, он не походил на нее: не тот лоб, не тот разрез глаз. Он не унаследовал от Ривьеров и характерной формы рта, особенно заметной у Аннеты: губы у них были несколько выпячены, — казалось, напор внутренней силы, напряжение воли приподнимает их, как дрожжи поднимают тесто. Единственное, что Марк взял от матери, — цвет глаз, — терялось среди всего чужого. Но откуда же это чужое? От отца? От семьи Бриссо? Тоже нет! Во всяком случае, пока это было незаметно, и Аннета ревниво твердила про себя:

«Никогда!»

Но разве ей так уж неприятно было бы увидеть в лице сына какую-нибудь черту Рожэ? Разве это не доставило бы ей тайной радости? Вспоминая человека, которому она когда-то отдалась, Аннета, не сознавая себе в этом, испытывала не только горечь, но и тоску. Тосковала она, впрочем, не столько по настоящему Рожэ, сколько по тому, которого она себе выдумала, и в сущности этому-то, созданному ее мечтой, Рожэ она и отдалась когда-то. Если бы она увидела его вновь в сыне, она испытала бы чувство своеобразной гордости, как будто, взяв от Рожэ ту форму, которую любила, и вселив в нее свою душу, она одержала над ним победу. Да, она хотела бы, чтобы Марк наружностью походил на Рожэ, а душой — на нее.

Однако Марк был непохож ни на отца, ни на мать. Лицу Рожэ недоставало своеобразия и выразительности, свойственных Ривьерам, но оно отличалось красотой простых и правильных черт; это была книга, в которой легко было читать. А выражение детского лица Марка было неуловимо. Как его разгадать?

Красивые и тонкие, но неправильные черты, узкий лоб, женственный подбородок, немного прищуренные глаза, нос... (Откуда у него такой нос, длинный и острый, с тонкими ноздрями?) А большой, немного кривой рот с узкими и бледными губами? Все в этом лице было неопределенно, изменчиво: оно напоминало неподвижную на вид, но зыбкую почву... Конечно, харак-

тер мальчика еще не сформировался, в нем ничего еще не определилось. Но в каком направлении пойдет это формирование? Или так все и останется неопределенным?

Со времени перенесенной им тяжелой болезни этот ребенок на первый взгляд казался (а может быть, и был?) нервным и впечатлительным. Но при более внимательном наблюдении он поражал спокойной сдержанностью, равнодушным и замкнутым выражением лица. Никакой строптивости, угрюмости; никогда от него не услышишь «нет»!

— Хорошо, мама...

Но затем оказывалось, что он совершенно не принял во внимание того, что ему говорили: он просто не слушал... В самом деле не слушал? Трудно сказать! Он смотрел на Аннету, ожидая, что будет дальше. А она смотрела на него и думала: «Маленький сфинкс!» Он был сфинксом для всех, тем более, что сам себя не знал. Он и для себя был такой же загадкой, как для матери. Невелика забота! В семь лет мы уже не стремимся и еще не пытаемся познать себя. Зато Марк стремился узнать ее, свою госпожу и рабу. И времени для этого у него было достаточно, потому что Аннета целыми днями держала его при себе. Мать и сын наблюдали друг друга. Но ей это наблюдение ничего не давало.

Аннета ошибалась, думая, что мальчик не похож ни на кого из ее близких. Свойствами своего ума он удивительно напоминал деда, Рауля Ривьера. Но Аннета очень мало знала отца, хотя и была уверена, что знает его хорошо. Она была слишком очарована им и поэтому за всю жизнь так и не разглядела настоящего Рауля. Иногда у нее мелькали кое-какие догадки, в особенности после того, как она прочла его знаменитую переписку. Но она не позволяла себе думать об этом. Ей хотелось сохранить об отце нежные и благоговейные воспоминания, пусть поколебленные на мгновение и немного приукрашенные. К тому же она знала Рауля только таким, каким он был в последние годы жизни. Но если бы старик Ривьер мог вернуться с того света и со свойственной ему зоркостью рассмотреть своего незаконнорожденного внука, он сказал бы:

— Я начинаю жить снова.

Это было не совсем так. Ничто никогда не повторяется. В Марке ожили только некоторые черты деда.

Коварная игра природы! Через голову Аннеты эти два сообщника протягивали друг другу руки. И поразительнее всего было то, что прямодушная Аннета среди других черт передала внуку от деда замечательное умение притворяться. Делалось это не из необходимости лгать людям. Рауль Ривьер чувствовал себя достаточно сильным, у него было достаточно снисходительного презрения к своим современникам, и он ничуть не побоялся бы показаться им во всей своей наготе. Такое желание бывало у него часто, и все потом повторяли его жестокие и насмешливые словечки... Нет, то была не лживость, а потребность развлекаться, безнаказанно паясничать. Чувство юмора, озорное желание играть роль, гримировать свои чувства, мистифицировать людей. У малыша такая наследственная черта проявлялась, конечно, в невинной форме. Эта неустойчивая и очень сложная душа, в сущности совсем не проказливая и не легкомысленная, попала при рождении в оболочку с определенными наследственными чертами и пользовалась оружием, которым снабдила ее природа. Точно так же, если бы она попала в тело животного, покрытого шерстью или перьями, она пустила бы в ход свой клюв, когти, крылья. Но ее облекли в ветхие обноски старика Ривьера, и она инстинктивно переняла лукавство и хитрость деда.

В обществе взрослых Марк был всегда начеку и умел подмечать в них все, что его касалось: на это была направлена вся его природная наблюдательность. И если он угадывал, каким его считают взрослые, он инстинктивно входил в эту роль, если только у него не являлось желания противоречить. А такое желание появлялось, когда его раздражали или когда ему хотелось позабавиться.

Одним из его любимых занятий было мысленно разбирать на части эти живые игрушки, отыскивать в них скрытые пружины, слабые места, испытывать их, играть ими, пускать их в ход. Это было не так уже трудно: взрослые были довольно примитивны и притом доверчивы, а в особенности его мать.

Она возбуждала в нем любопытство. У нее была какая-то тайна. Намеки на эту тайну Марк слышал в мастерской Сильвии, когда сидел у ног мастериц, не обращавших на него внимания. Он не очень-то много понимал, но тем интереснее и таинственнее казались ему их слова, и он пытался истолковать их. Гадал, фантазировал... У этого насторожившегося зверька с блестящими глазами голова постоянно работала.

Теперь, когда он часто сидел дома вдвоем с матерью (иногда по несколько дней, потому что у него было слабое здоровье, он легко простуживался зимою, и мать постоянно дрожала над ним), Аннета была главным предметом его наблюдений: распевал ли он, играл или мастерил что-нибудь — он в то же время с любопытством следил за матерью. У ребенка ум такой же быстрый и неутомимый, как его резвые ножки. Хотя бы он стоял к вам спиной, он все равно вас видит, словно у него на затылке глаза, и его кошачьи ушки, как флюгер, повертываются на звук голоса во все стороны. И пусть его внимание подобно вращающемуся маяку, пусть он и гонится сразу за несколькими зайцами, он никогда не теряет следа и не унывает, зная, что завтра начнет снова... Заяц, за которым охотился Марк, легко попадался. Увлекающаяся, любвеобильная, общительная Аннета не скряжничала: она расточала себя без оглядки.

Она то обращалась с Марком, как с маленьким, — и тогда он обижался и находил ее смешной; то разговаривала с ним, как с взрослым товарищем, равным ей по уму, — и мальчику становилось скучно, он про себя называл ее «надоедой». Иногда она при нем начинала думать вслух, произносить целые монологи, как будто он способен был что-нибудь понять! Тогда Марк решал, что она чудачка, и наблюдал за ней сердито и насмешливо. Он не понимал ее, но это ведь никогда не мешает судить человека.

Марк придумал себе очень удобную манеру, которая годилась для всех случаев: наглую и рассеянную вежливость благовоспитанного мальчика, который делает вид, будто слушает то, что он обязан слушать, но ничуть этим не интересуется (у него свои дела) и только ждет, чтобы взрослые поскорее кончили говорить. Иногда он в

угоду матери разыгрывал ласкового и нежного сына. Он знал, что мать сейчас же так и загорится радостью. Аннета всем сердцем откликалась на его ласку, а он испытывал к ней снисходительное презрение за то, что она так легко попадает на эту удочку. Когда же она вела себя не так, как он ожидал, он злился, но уважал ее больше.

Марк был не способен долго выдерживать роль. Дети для этого слишком гибки и неустойчивы. Он изображал любящего сына и умилял Аннету нежностями, а через минуту бесстыдно показывал свое равнодушие к ней, и Аннета терялась, не зная, что думать.

Случалось, что, не стерпев разочарования и досады (особенно в те редкие минуты, когда у нее являлось смутное подозрение, что Марк упорно разыгрывает какую-то роль), Аннета со свойственной ей вспыльчивостью (да простят ее современные педагоги!) в раздражении шлепала его... Конечно, это было против всех правил и оскорбляло ребенка. В глазах англосаксонки Аннета, разумеется, навеки себя этим позорила. Но нам, старым французам, такие вещи не в диковинку... «*Qui bene amat...*»<sup>1</sup> Поговорку эту можно всегда услышать в буржуазных семьях, где еще не совсем забыли латынь.

Всем нам в детстве взрослые таким способом доказывали свою любовь. И мы, как и сын Аннеты, в глубине души считали, что в трех случаях из четырех шлепки получены за дело. Но если мы, как Марк, и не переставали любить ту, которая нас ими награждала, то, по правде говоря, после этих шлепков она несколько теряла свой авторитет в наших глазах. Быть может, именно поэтому мы, как и Марк, чаще давали ей повод шлепать нас.

Отшлепанному представлялся удобный случай избражать из себя несчастную жертву. И Аннета, раскаиваясь в том, что злоупотребила своей силой, чувствовала себя виноватой. Приходилось умиловать Марка. А он только и ждал, чтобы она первая подошла.

Торжество слабости! Этим оружием особенно умеют пользоваться женщины. Но здесь в роли женщины оказывался ребенок. Это дитя, у которого еще не обсохло на губах материнское молоко, было более чем наполо-

---

<sup>1</sup> Кто сильно любит... (лат.)

вину женственно, обладало хитростью и уловками девочек. Аннета была безоружна перед маленьким плутом. В столкновениях с ним она представляла сильный пол, этот глупый сильный пол, который стыдится своей силы и готов, кажется, просить за нее прощение. Борьба была неравная. Малыш издевался над нею.

Однако не надо думать, что Марк был просто хитрый комедиант, потешавшийся над людьми. В нем, так же как в его деде, уживались противоположные черты. Очень немногие способны были увидеть то, что скрывалось за шутовской маской старого Ривьера, ту драму, которую таят иногда под веселым цинизмом и жадной наслаждений некоторые «завоеватели». В душе Рауля были темные провалы, куда никому не разрешалось заглянуть. Такие тайны скрываются под галльским смехом гораздо чаще, чем мы думаем, но люди хранят их про себя. У Аннеты они тоже были, и никогда она не посвящала в них отца. Однако и его тайн она не знала точно так же, как теперь не знала души сына. Каждый из них оставался всегда замкнутым в себе. Странная стыдливость! Люди меньше стыдятся выставлять напоказ свои пороки и низменные аппетиты (а Рауль — тот даже щеголял ими!), чем обнаруживать свою душевную трагедию.

У Марка была своя трагедия. У ребенка, который растет один, без братьев и товарищей, достаточно досуга, чтобы блуждать в погребках жизни. А погреба Ривьеров были глубоки и обширны. Мать и сын могли бы там встретиться, но они не видели друг друга. Не раз, думая, что они очень далеко друг от друга, они шли рядом, минуя один другого, потому что оба брели в потемках, с завязанными глазами: Аннете мешал видеть демон страсти, все еще владевший ею, мальчику — эгоизм, естественный в его возрасте. Но Марк был еще только у входа в пещеру и не искал выхода, как искала его Аннета, натываясь на стены. Он притаился на одной из первых ступенек и грезил о будущем. Еще неспособный понять жизнь, он уже творил ее в мечтах.

Ему не пришлось далеко идти, он скоро наткнулся на страшную стену, перед которой душа человеческая

встает на дыбы, объятая ужасом: он увидел близко смерть. Стена эта поднималась со всех сторон, и, опоясывая ее круговой дорогой, шла рядом болезнь. Тщетно было искать выхода. Стена была сплошная — ни единого просвета. Не было надобности говорить Марку, что тут стена: он тотчас почуял ее в темноте и зафыркал, как лошадь, весь ошетинившись. Он ни с кем не говорил о смерти, и никто не говорил ему о ней. Все как будто условились молчать об этом.

Аннета, как все нынешние молодые женщины, была плохим педагогом. Когда она еще была молоденькой девушкой, она слышала много разговоров о педагогике и сама охотно с усиленной серьезностью рассуждала о ней, придавая методам воспитания гораздо больше значения, чем матери прежних времен, растившие детей вслепую. Но когда у нее родился ребенок, она оказалась безоружной против тысячи и одной неожиданностей, преподнесенных ей жизнью, и во многих случаях не знала, на что решиться. Она строила теории — и не применяла их или отвергала после первых же опытов, и в конце концов, положившись на инстинкт, предоставила всему идти своим чередом.

Религия была одним из тех вопросов, которые особенно ее заботили: она не знала, как практически решить его для своего ребенка. Большинство подруг ее юности, девушки из богатой республиканской буржуазии, были воспитаны религиозными матерями и нерелигиозными отцами, но не страдали от столкновения двух мировоззрений: в светском обществе они отлично уживаются, как и многие другие противоречия, ибо здесь ни одно чувство не имеет третьего измерения. Аннета тоже ходила в церковь — по обязанности, как в лицей. К первому причастию она готовилась, точно к экзамену, добросовестно, но без всякого душевного волнения. Торжественные богослужения, на которых она присутствовала в церкви их богатого прихода, были в ее глазах чем-то вроде светских развлечений. Порвав со своей средой, она забросила и все религиозные обязанности.

Современное общество (а церковь — одна из его опор) сумело так извратить и опозлить великие человеческие чувства, что Аннета, хранившая в душе сокровища веры,



которых с избытком хватило бы на сотню святош, считала себя неверующей. Было это потому, что она отождествляла религию с бормотанием молитв и устарелой экзотикой церковных обрядов. Религия была роскошью для богачей и утешительным обманом для глаз и сердца бедняков, утверждающим существующий порядок, а следовательно, их нищету.

С тех пор как Аннета перестала ходить в церковь, она ни разу не ощущала в этом потребности. Она не создавала, что ее страстные порывы самобичевания, бурные разговоры со своей совестью — это те же богослужения.

Она не хотела внушать своему сыну то, без чего сама прекрасно обходилась. Быть может, у нее и не возник бы даже этот вопрос, если бы (какой парадокс!) его не подняла Сильвия. Да, Сильвия, которая была не религиознее парижского воробья, в то же время не считала бы себя порядочной замужней женщиной, если бы дело обошлось без благословения церкви. И она находила неприличным, что Аннета не крестила сына. Аннета была другого мнения, но все-таки согласилась сделать это, чтобы Сильвия могла стать крестной матерью Марка, — и больше об этом не думала. Так обстояло дело, пока не появился Жюльен. То, что Жюльен был верующий и соблюдал все обряды, не сделало верующей Аннету, но внушило ей некоторое уважение к этим обрядам, и она задумалась над вопросом, которому до тех пор не придавала значения: что делать с Марком? Посылать его в церковь? Учить тому, во что она не верила сама? Она задала этот вопрос Жюльену, и тот возмутился. Он стал горячо убеждать ее, что ребенку надо открыть божественные истины.

— Но если для меня это не истины? Значит, я должна лгать, когда Марк начнет задавать мне вопросы?

— Нет, не лгать, но не мешать ему веровать, потому что это нужно для его блага.

— Нет, обман не может быть для него благом! И, когда он узнает, что я его обманывала, сможет ли он меня уважать? Не вправе ли он будет упрекать меня? Он перестанет мне верить, и, как знать, не помешает ли эта навязанная ему религия его дальнейшему разумному развитию?

Тут Жюльен насупился, и Аннета поспешила переменить разговор.

Но как же все-таки быть? Ее друзья, протестанты, советовали ей заставить Марка изучать все религии, и пусть сам выбирает, когда ему минет шестнадцать лет! Аннета хохотала: какие странные понятия о религии! Как будто это предмет, по которому сдают экзамен.

Она так ничего и не решила. Гуляя с Марком, заходила в церковь, садилась в уголку, и они любовались лесом уходящих ввысь каменных колонн, бликами света, просачивавшегося в эту чашу сквозь цветные стекла, взлетом сводов и белыми хорами. Они наслаждались тихим, монотонным пением. Здесь душа словно омывалась в грезях и сосредоточенности...

Марку, пожалуй, нравилось сидеть так, держа мать за руку, слушать и тихонько перешептываться с нею. Было тепло, уютно, почти сладострастное блаженство разливалось по телу...

Да, если бы это продолжалось не слишком долго! Ему быстро надоедала дремотная, разнеживающая тишина. Он испытывал потребность двигаться, он думал о конкретных вещах. Мозг его работал: наблюдал, подмечал. Марк видел, что все в церкви молятся, а его мать — нет. И делал выводы про себя, не высказывая их вслух. Он вообще задавал вопросы редко, гораздо реже, чем другие дети: он был очень самолюбив и боялся, что его сочтут глупым.

Но однажды он все-таки спросил:

— Мама, что такое бог?

Аннета ответила:

— Не знаю, милый.

— Так что же ты знаешь?

Она засмеялась и притянула его к себе:

— Вот, например, знаю, что люблю тебя.

Ну, это для Марка была не новость, ради этого не стоило ходить в церковь!

Натура у него была не очень впечатлительная, и он не имел ни малейшей склонности ко всем тем смутным волнениям сердца, которыми тешатся «эти женщины». Аннета чувствовала себя совершенно счастливой, когда ее мальчик был с нею, когда ей не очень докучали ма-

териальные заботы и удавалось урвать час от неотвязных трудов. Ей незачем было искать бога далеко — он был в ее сердце. Марк же мог бы сказать о себе, что у него в сердце только он, Марк, а все остальное — чепуха. Он требовал, чтобы все было ясно и точно. Кто такой этот бог в конце концов? Это тот человек, что стоит перед алтарем в чем-то похожем на женскую юбку и золоченом нагруднике? Или привратник у входа, с тростью, в коротких штанах и чулках, обтягивающих икры? Или нарисованные на стенах церкви люди — по одному в каждом приделе, — которые сладко улыбались, точь-в-точь как те дамы-лизуны, которых он терпеть не мог?

— Мама, уйдем!

— Почему? Разве тут нехорошо?

— Хорошо... Но пойдем домой!

Однако что же такое бог?.. Марк больше не приставал с этим вопросом к матери. Когда взрослые признаются, что они чего-нибудь не знают, значит это их не интересует... И Марк самостоятельно продолжал свои изыскания. Слышанные не раз слова молитвы: «Отец наш небесный» (такое местопребывание казалось уже в те времена сомнительным наиболее развитым мальчикам, ибо небесам предстояло стать для них новой ареной спорта), библия, которую он перелистывал с равнодушным любопытством, как всякие другие старые книги, вопросы, с небрежным видом заданные взрослым, и подхваченные на лету ответы: «Бог — это невидимое существо. Он создал мир...» Вот как!.. Но это было что-то уж очень неясно! Впрочем, Марк был сыном своей матери: бог не занимал его воображения. Одним владыкой больше или меньше — не все ли равно!..

Зато Марка интересовало другое: собственное существование, и то, что этому существованию угрожало, и то, что будет с ним после. Глупые разговоры, которые велись в мастерской у Сильвии, довольно рано привлекли его внимание к этим вопросам. Девушки любили страшные истории, от которых мурашки бегали по коже, и без умолку рассказывали о всяких несчастных случаях, внезапных смертях, болезнях, похоронах... Смерть их возбуждала. А у мальчика это слово вызывало инстинктивный животный страх, все в нем вставало на дыбы. Вот об

этом ему очень хотелось расспросить мать! Но здоровая духом Аннета никогда не говорила о смерти и никогда не думала о ней. Не до того ей было тогда! Надо было прокормить себя и сына. Когда мысли с утра до ночи заняты здешним миром, то раздумывать о мире загробном — праздное занятие, недоступная роскошь. Только когда те, кого мы любим, уходят от нас в иной мир, этот неведомый мир занимает главное место в наших мыслях. А сын Аннеты был здесь, с нею. Правда, если бы она его лишилась, и жизнь и смерть одинаково потеряли бы для нее всякую цену. Эту страстную натуру не мог бы удовлетворить мир бесплотных теней, мир без любимого тела!

Марк видел, что мать сильна и смела, всегда занята и не разделяет его страхов, и ему было стыдно обнаружить перед ней свою слабость. Значит, надо самому с этим справиться. А это было не так-то просто! Но, разумеется, маленький человечек не занимался решением сложных отвлеченных вопросов. Ход его размышлений был таков: смерть — это исчезновение других людей. Ну и пусть себе исчезают, это меня не касается. Но я сам — неужели я тоже могу исчезнуть?

Как-то раз Сильвия при нем сказала:

— Что поделаешь, все мы умрем!..

Марк спросил:

— А я?

Сильвия засмеялась.

— Ну, у тебя еще довольно времени впереди!

— Сколько?

— Пока не состаришься.

Но Марк отлично знал, что хоронят и детей. И потом, когда он состарится, все равно он будет тот же Марк. И он, Марк, когда-нибудь умрет... Это ужасно! Неужели никак нельзя спастись? Должно же быть что-нибудь, за что можно зацепиться, — ну, вот как за гвоздь в стене? Должна же быть рука, за которую можно ухватиться... «Не хочу исчезнуть!..»

Потребность в такой руке, естественно, могла бы привести и его, как стольких других, к богу, к этой протянутой на помощь руке, которую рисуют людям страх и отчаяние. Но мать, повидимому, не искала такой опоры,

и этого было достаточно, чтобы и Марк отбросил эту мысль. При всем своем критическом отношении к Аннете он был всецело под ее влиянием. Раз она, несмотря на то, что ожидало и ее, могла быть спокойна, значит и он считал своим долгом держаться так же стойко, как она. Этот нервный, хрупкий, трусоватый мальчуган все же недаром был сыном Аннеты. «Если она, женщина, не боится, так я и подавно не должен бояться».

Но не думать об этом, как не думают взрослые, — вот этого он не мог! Мысль приходит и уходит, и нельзя ей помешать, особенно ночью, когда не спишь... Ну, что ж, тогда не надо бояться думать о том, что делается с человеком, когда он умирает...

Конечно, Марк этого никак не мог знать. Его оберегали от всяких мрачных впечатлений, связанных со смертью. Он видел ее только на некоторых картинах в музее. Цепenea от ужаса, он ощупывал свое тело... Как бы узнать, увидеть? Одно неосторожное слово приоткрыло ему ту бездну, куда он жаждал заглянуть.

Как-то летним днем он торчал без дела у окна, развлекаясь тем, что ловил мух и обрывал им крылья. Ему смешно было смотреть, как они дрыгают лапками. Он не думал, что делает им больно, он видел в этом просто забаву. Мухи были для него живые игрушки, и их ничего не стоило сломать... За таким занятием застала его мать и с запальчивостью, которой она никогда не умела обуздывать, схватила за плечи и стала трясти, крича, что он дрянной, мерзкий мальчишка...

— Хорошо было бы, если бы тебе вот так переломили руки? Разве ты не понимаешь, что мухам так же больно, как тебе?

Марк притворно захихикал, но слова матери его поразили. Такая мысль ему и в голову не приходила. Значит, животные чувствуют то же, что и он!.. Он не склонен был жалеть их, но с этих пор он смотрел на них уже другими глазами, внимательно, тревожно и враждебно... Лошадь, свалившаяся на улице... Раздавленная, визжащая собака... Он жадно приглядывался к ним... Желание узнать было так сильно, что заглушало жалость.

Так как за эту гнилую, серую зиму без солнца и морозов мальчик очень похудел и частые простуды, легкие,

но предательские, выпили весь румянец с его щек, то к пасхе Аннета сняла на две недели комнату у крестьян в Бьеврской долине. В комнате этой была только одна широкая кровать, и они с Марком спали на ней вместе. Марку это не очень-то нравилось, но его мнения не спрашивали. Зато весь день он, к своему удовольствию, бывал один: Аннета уезжала в Париж по делам и поручала надзор за мальчиком хозяевам, а те за ним совсем не смотрели. Марк с утра убегал в поле. Он пристально вглядывался во все, ища и в живых существах и в неодушевленных предметах чего-то, ему не известного, но близко его касающегося, ибо во всем, что совершалось в природе, ему чудилась какая-то незримая связь с его собственным существованием. Раз он, бродя по лесу, услышал издали крики мальчишек. Обычно он не участвовал в их играх, потому что хотел верховодить, но был для этого недостаточно силен. А сейчас его потянуло к ним. Подойдя ближе, он увидел, что пятеро или шестеро мальчиков стоят вокруг искалеченной кошки. Ей кто-то перешиб хребет, и мальчишки забавлялись тем, что переворачивали ее, тыкали в нее палками, всячески мучили. Марк, не раздумывая ни минуты, кинулся на сорванцов и пустил в ход кулаки. Опомившись от неожиданности, вся орава с гиканьем бросилась тузить его. Марку удалось убежать, но убежал он недалеко — остановился в нескольких шагах и спрятался за дерево. Он стоял, заткнув уши, а уйти не решался... Через минуту-другую он подошел ближе. Озорники подняли его на смех. Они кричали:

— Эй ты, трусишка! Что, испугался? Иди сюда, посмотри, как она околевает!

Он подошел, не желая, чтобы его сочли мокрой курицей. К тому же ему хотелось посмотреть. Животное с наполовину вырванным окровавленным глазом лежало на боку. Задняя часть тела, уже парализованная, была неподвижна, а бок еще вздымался от дыхания. Кошка пыталась приподнять голову и отчаянно хрипела. Она мучилась, а смерть не приходила. Мальчишки корчились от смеха. Марк смотрел молча, словно оцепенев. Вдруг он схватил камень и начал исступленно колотить животное по голове. Хриплый вой пронзил его уши. Но он ко-

лотил, колотил все сильнее, как бешеный. Все было кончено, а он еще колотил...

Мальчики растерянно смотрели на него. Один попробовал пошутить, но Марк, еще сжимая камень в окровавленных пальцах, злобно уставился на него из-под нахмуренных бровей. Он был бледен как смерть, и губы у него дрожали. Мальчики обратились в бегство. Издали до Марка донеслись их смех и пение. Стиснув зубы, он пошел домой. Дома ничего не рассказал. Но ночью, в постели, вдруг вскрикнул. Аннета обняла его. Все его хрупкое тело дрожало...

— Тебе страшный сон приснился? Ну, ну, тише, родной, не бойся!..

А он думал:

«Я ее убил. Теперь я знаю, что такое смерть».

Какое-то жуткое чувство гордости тем, что он теперь знает, видел, что он своими руками отнял жизнь, и еще другое чувство, которого Марк не понимал, — смесь ужаса и влечения, то необъяснимое, что связывает убийцу с его жертвой, пальцы, липкие от крови, — с разmozженной головой... Чья это кровь?.. Несчастная кошка перестала дышать. А он, ее убийца, еще переживал ее предсмертные муки...

К счастью, в этом возрасте ум не бывает долго одержим одной и той же мыслью. Мысль, мучившая Марка, стала бы опасна, если бы он сосредоточился на ней. Но другие образы пронеслись через мозг и проветрили его. Все же та мысль оставалась где-то в глубине и время от времени напоминала о себе мрачными вспышками, поднимающимися в сознании, как тяжелые пузырьки воздуха поднимаются на поверхность ручья с илистого дна. Под мягкой коркой души скрыто твердое ядро: мысль о смерти, о силе, которая уничтожает... «Меня убивают, и я тоже могу убить... Но я не хочу быть убитым... Ну-ка, кто кого? Я буду бороться...»

Эта гордость, это темное тщеславие укрепляли его, как стальная оковка... Откуда взялась эта сталь в его характере, как не от матери, которую он тем не менее презирал и за несдержанность и за то, что ее любовью можно было играть? Марк знал, что это от нее! Даже в те времена, когда он больше любил Сильвию, потому что

она его баловала, он чутьем угадывал, что Аннета выше ее, и, быть может, пытался подражать матери. Но он считал нужным обороняться от захватнических стремлений этой женщины, которая слишком его любит и грозит заложить собой всю его жизнь. И Марк попрежнему был настроен против матери и держал ее на расстоянии. В ней он тоже видел врага.

Сильвия исчезла с их горизонта. Озлобление первых месяцев прошло, и она испытывала уже легкие угрызения совести при мысли о сестре, которой, должно быть, трудно теперь живется. Она ожидала, что Аннета обратится к ней за помощью; она не отказала бы ей, но сама предлагать не хотела. Однако Аннета скорее дала бы себя разрезать на куски, чем стала бы просить о чем-нибудь Сильвию. Обе сестры упорствовали. Встречаясь на улице, они спешили пройти мимо. Но, увидев как-то раз на улице маленькую Одетту с одной из мастериц, Аннета не могла сдержать порыва нежности: она взяла девочку на руки и крепко расцеловала. Сильвия тоже, встретив Марка, когда он шел домой из школы (он сделал вид, что не замечает ее), остановила его и сказала:

— Ты что это, не узнаешь меня?

И, верите ли, этот звереныш сделал каменное лицо и сказал только два слова:

— Здравствуй, тетя!

После разрыва матери с Сильвией он самостоятельно сделал некоторые выводы. И, справедливо или нет, счел нужным принять сторону матери... «*My country, right or wrong*»<sup>1</sup>.

У Сильвии от гнева даже дух захватило. Она спросила:

— Ну, как у вас, все благополучно?

Марк ответил сухо:

— Да, все в порядке.

Сильвия смотрела, как он уходил, надутый и красный от напряжения. Он был чистенько и прилично одет. Сопляк! «Все в порядке»... Она готова была дать ему затрепину!

<sup>1</sup> Плоха она или хороша, но это моя родина (англ.).



То, что Аннета сумела без ее помощи выпутаться из нужды, только усилило досаду Сильвии. Но она не упускала случая узнать что-нибудь о сестре и не отказалась от желания ею командовать. Если не на деле, то хоть мысленно! Ей было известно, какую строгую жизнь ведет Аннета, и она не понимала, зачем та обрекла себя на воздержание. Сильвия достаточно хорошо знала сестру и была уверена, что женщина ее склада не создана для такого душевного самоограничения и жизни без радостей. Как можно до такой степени насиловать свою природу? Кто принуждает ее к этой вдовьей жизни? Не нашлось мужа, так ведь немало найдется друзей, которые рады были бы скрасить ей эту жизнь. Если бы Аннета пошла на это, Сильвия, быть может, меньше уважала бы ее, но сестра стала бы ей ближе.

Не одна Сильвия удивлялась. Аннета и сама не больше Сильвии понимала, что побуждает ее вести монашескую жизнь, откуда этот дикий страх, заставлявший ее избегать не только всякой возможности, но и самой мысли о тех естественных человеческих радостях, которых ей не может запретить никакая религия, никакие законы общественной морали. (В церковную мораль она не верила. И разве она не была сама себе госпожа?)

«Чего я боюсь?»

«Себя самой...»

Инстинкт не обманывал Аннету. Для такой женщины, обуреваемой страстями, желаниями, слепой чувственностью, не существует беспечных наслаждений, игры без последствий: малейший толчок может отдать ее в жертву силам, с которыми она уже не сможет совладать. Аннета помнила, какое нравственное потрясение вызвали в ней когда-то ее короткие столкновения с любовью. А сейчас ей грозила еще большая опасность! Сейчас она не устояла бы. Стоило ей только дать себе волю, и страсть захватила бы ее всю, не оставив места вере, которая ей так была нужна... Какая вера? Вера в себя. Не гордость, нет, а вера в то непостижимое, то божественное, что заложено в душу и что она хотела неоскверненным передать сыну. Аннета понимала, что такая женщина, как она, если для нее исключена жизнь брачная с ее строгой

упорядоченностью, должна выбирать одно из двух: либо полное нравственное самообуздание, либо полную покорность своим чувственным инстинктам. Все или ничего... Ну, тогда ничего!

Однако, вопреки этой гордой решимости, вот уже несколько месяцев на Аннету находили приступы злой, хватающей за горло тоски, когда она говорила себе:

«Даром пропадает жизнь!»

Опять на ее горизонте появился Марсель Франк. Случай столкнул его с Аннетой. Он о ней давно уже не думал, но и не забыл ее. За это время у него было немало любовных походов. Они не оставили глубокого следа в его податливом сердце, — только мелкие морщинки вокруг лукавых глаз, словно следы коготков, да некоторую усталость и благодушное презрение к этим легким победам и к самому победителю. Как только он снова увидел Аннету, он испытал то, знакомое ему по прошлым встречам, впечатление душевной свежести и твердости, которое странным образом привлекало к ней этого пресыщенного скептика. Он внимательно изучал ее лицо: да, видимо, и для нее тоже эти годы не прошли даром! В глубине ее глаз мерцало что-то затаенное, след душевных потрясений. Но она казалась теперь более спокойной и уверенной в себе. И Франку снова стало жаль, что такая славная и здоровая духом подруга уже два раза ускользнула от него. Впрочем, еще не поздно! Никогда, казалось, они с Аннетой не были так близки к тому, чтобы найти общий язык.

Ни о чем ее не расспрашивая, Марсель сумел узнать все о ее занятиях и материальном положении. Скоро он предложил ей довольно хорошо оплачиваемую работу: нужно было составить картотеку для каталога одной частной библиотеки, которую ему было поручено привести в порядок. Таким образом, у Марселя появился естественный предлог для того, чтобы проводить с Аннетой несколько часов в неделю. Они умудрялись одновременно и работать и беседовать. Между ними быстро установилась прежняя дружеская близость.

Марсель никогда не спрашивал Аннету, как она жила все эти годы. Он рассказывал о себе, и это был лучший

способ вызвать ее на откровенность, узнать ее мысли. Неистощимой темой разговора были его любовные похождения. Воспоминания о них тешили Марселя, и он охотно делился ими с Аннетой, а она слушала, забавлялась, иной раз слегка журила его. Марсель первый готов был посмеяться над собой, как смеялся над всем на свете. Смеялась и Аннета, слушая его нескромные признания, — в этом, как и во всем, что не касалось ее самой, проявлялось ее свободомыслие. А Марсель понимал ее иначе. Ему нравились ее веселый, живой ум и ее снисходительность. Он не находил в ней и следа прежней чопорности в вопросах морали, этой нетерпимости молодой девушки, кругозор которой ограничен ее добродетелью. В то время как они с Аннетой состязались в иронических суждениях, он думал: «Как чудесно было бы привязать к себе навсегда этого умного друга, делить с ней все, что еще предстоит в жизни!.. В какой форме? Да в какой ей будет угодно! Любовница, жена — пусть решает сама!» Марсель был человек без предрассудков. Он не придавал значения тому, что Аннета родила «незаконного» ребенка. И так же мало интересовало его, были ли у нее и после этого какие-нибудь романы. Он не стал бы ей докучать требовательностью и слежкой. Ее интимная жизнь не возбуждала в нем любопытства — у каждого могут быть свои тайны, каждый имеет право на известную свободу! Ему нужно было от Аннеты только одно: чтобы в их совместной жизни она была всегда весела и рассудительна, была ему добрым товарищем, делала его интересы и удовольствия (а под удовольствиями он разумел все: умственную жизнь, любовь и все остальное).

Марсель так много об этом думал, что, наконец, высказал Аннете свои мысли. Это было однажды вечером в библиотеке, когда они заканчивали работу и заходящее солнце сквозь деревья старого сада золотило коричневые переплеты книг. Аннета очень удивилась. Как, он опять о том же? Разве с этим еще не кончено? Она сказала:

— Друг мой, как это мило с вашей стороны! Но не надо больше об этом думать.

— Нет, надо! — возразил Марсель. — А почему собственно не думать?

«А в самом деле, почему? — подумала Аннета. — Мне так приятно болтать с ним, видаться с ним... Нет, нет, это невозможно! Об этом не может быть и речи...»

Марсель сидит прямо против нее, по другую сторону стола, и его белокурая бородка освещена солнцем. Потянувшись через стол, он берет руки Аннеты в свои и говорит:

— Ну, подумайте пять минут, хорошо? Я больше ничего вам не скажу... Мы друг друга знаем... сколько лет уже? Двенадцать? Или пятнадцать? Значит, мне не нужно ничего объяснять. Все, что я мог бы сказать, вам и так понятно.

Аннета не пытается отнять руки, она улыбается и смотрит на Марселя. Ясный взгляд ее устремлен на него, но Марселю не удается перехватить этот взгляд, потому что он уже где-то далеко. Аннета смотрит теперь внутрь себя. Она размышляет:

«Почему об этом нечего и думать?.. Обо всем следует думать! Почему это невозможно? Он мне не противен... Он красив, обаятелен, он довольно добрый, умный и приятный человек... Как мне легко жилось бы!.. Но ведь я не смогу жить, как он, жить с ним... Он людям нравится, и ему все на свете нравится, но он ничего не уважает: ни мужчин, ни женщин, ни любовь, ни Аннету...» (Она думала сейчас о себе, как о ком-то постороннем.) «Конечно, он не скупится на тонкие знаки внимания и светской почтительности, и, может быть, это как раз и доказывает его расположение ко мне... Но что этот милый скептик принимает всерьез? Он совсем не верит в человека и упивается своим неверием. Он ведет счет человеческим слабостям со снисходительным любопытством сообщника. Я думаю, он был бы разочарован, если бы в один прекрасный день убедился, что человека есть за что уважать... Славный малый! Да, жизнь с ним была бы легкой, такой легкой, что потеряла бы для меня смысл...»

Дальше ей уже не хватает слов для выражения мыслей. Но мысли текут, хотя и не укладываются в слова, и решение крепнет.

Марсель выпустил ее руки. Он чувствует, что проиграл. Встав, он отходит к окну и, прислонясь к раме, с философским спокойствием закуривает папиросу. Он стоит за спиной Аннеты и наблюдает за ней. А она сидит неподвижно, не снимая со стола вытянутых рук, как будто Марсель все еще перед ней. Марсель видит ее красивый белокурый затылок, круглые плечи... Все потеряно!.. И для кого же, для чего она бережет себя? Для какой-нибудь новой глупости, вроде истории с Бриссо?.. Нет, он знает, что сердце Аннеты не занято... Так в чем же дело? Ведь не каменная она! Ведь есть же у нее потребность любить и быть любимой!

Но у Аннеты сильнее всего потребность верить... Верить в то, что делаешь, к чему стремишься, чего ищешь или о чем мечтаешь. Несмотря на все разочарования, верить в себя и в жизнь!.. А Марсель убивает уважение ко всему. Аннете легче было бы утратить уважение людей, чем самой потерять веру в жизнь. Ведь только в ней она черпает силы. А без действенной силы Аннета ничто. Пассивное счастье для нее смерть. Самое существенное различие между людьми заключается в том, что одни в жизни активны, другие пассивны. А из всех видов пассивности самой страшной в глазах Аннеты была пассивность ума, который, подобно уму Марселя Франка, блаженно упокоился в неверии и, даже не тревожа себя больше сомнениями, с наслаждением отдается безучастию, ведущему в Ничто... «Да это же самоубийство!.. — думает Аннета. — Нет, я не согласна... Что меня ждет впереди? Быть может, я не узнаю ни счастья, ни полного удовлетворения. Быть может, жизнь моя будет неудачна. Но, удачна она или нет, в ней есть порыв, стремление к цели!.. К неведомой? Обманчивой, быть может? Ну, что же! Стремление — ведь не иллюзия! И пусть я упаду на пути — только бы упасть на *своем* пути!..»

Аннета вдруг заметила, что оба они уже давно молчат и что Франка нет на месте. Она обернулась и, увидев его, с улыбкой встала.

— Простите меня, Марсель, милый! И пусть все останется, как есть! Быть друзьями — это так хорошо!

— А по-другому не лучше?

Она покачала головой: нет!

— Та-а-к... — протянул Марсель. — Вот я и в третий раз провалился на экзамене!

Аннета расхохоталась и, подойдя к нему, сказала лукаво:

— Хотите получить хотя бы то, в чем я вам отказала на втором экзамене?

И, обхватив руками шею Марселя, она целует его... Он нежен, этот поцелуй... Но ошибиться невозможно: он только дружеский...

И Марсель не обманывает себя. Он говорит:

— Ну что же, есть еще надежда, что лет через двадцать я получу то, в чем мне было отказано на третьем.

— Нет, — со смехом возразила Аннета. — Есть предельный возраст! Женитесь, мой милый! Вам стоит лишь выбрать: все женщины этого ждут.

— Только не вы!

— Я останусь старым холостяком.

— Вот увидите, судьба вас накажет, и вы выйдете замуж, когда вам стукнет пятьдесят.

— «Брат, надо умирать»... А до тех пор...

— До тех пор будете жить монахиней?..

— А знаете, в такой жизни есть свои прелести...

Слова Аннеты о прелестях ее монашеской жизни были чистейшим фанфаронством. Вовсе не так уж хороша была эта жизнь, и Аннете часто бывало в ней тесно. Монахине такого сорта мало управлять одним монастырем и поклоняться одному богу. Монастырь Аннеты был ограничен стенами квартиры на шестом этаже, единственным богом ее был ребенок. Это было так мало и в то же время так безмерно много! Аннету это не удовлетворяло, но она пополняла нехватку мечтами. Этого добра у нее было достаточно. Повседневная жизнь ее казалась пуританской и бедной, но она вознаграждала себя в жизни воображаемой. Тут, в тиши, ничем не нарушаемое, длилось вечное «Очарование».

Но как проникнуть вслед за ним в тайники души человеческой? Мечта ведь соткана не из слов; а чтобы дру-

гие тебя поняли, чтобы самому понять себя, нужно пользоваться словами, этой тяжелой и клейкой массой, которая сразу высыхает на пальцах!.. Аннета тоже, чтобы понять то, что происходило в ней, бывала иногда вынуждена тихонько пересказывать себе словами свои грезы. Такого рода пересказы неточны, их даже переделкой назвать нельзя: они подменяют мечту, но никак не отображают ее. Мозг, неспособный настигнуть душу в ее взлете, сочиняет сказки, и сказки эти его занимают, однако они дают обманчивое представление об этой великой феерии или внутренней драме...

Необозримое водное пространство, затопленная до краев долина, безбрежные реки огня, воды, облаков. Здесь еще смешаны все стихии, и тысячи течений перепутаны, как волосы, но единая сила свивает и развивает их длинные темные пряди, усеянные бликами света. Такова неумная сила духа человеческого, и безмолвный пастух, Желание, властитель миров, гонит стадо его грез на туманные пастбища Надежды. А непреодолимая сила тяготения увлекает их вниз по скату, то крутому, то предательски незаметному, и жадная бездна поглощает их.

Аннета ощущает в себе течение очарованной реки, наматывает и разматывает сплетения ее извилистых струй, отдается этому течению, играет с коварной силой, которая ее уносит... Когда же разум, внезапно пробудившись, пытается направлять эту игру, то Аннета, оторванная от своей грезы, уже ищет другую, чтобы в нее уйти. И вот она мудро создает ее из запечатлевшихся в памяти мгновений своей жизни, из образов прошлого, из романа, уже пережитого, или того, который, быть может, еще суждено пережить... И Аннета как будто верит, что великая Мечта продолжается. Но в то же время знает, что она улетела. Это ее не волнует. Как евангельский жених, Мечта вернется в час, когда ее не ждут.

Сколько есть женских душ, которые, подобно душе Аннеты, проявляют свои скрытые силы и устремления лишь в этой внутренней жизни грез! Тот, кто сумеет читать в их глубине, откроет там темные страсти, восторги, видения бездны. А между тем в мирном течении будней эти женщины — занятые своими делами добродетельные мещанки, холодные, рассудительные, владеющие

собой и даже, в силу внутренней реакции (иногда слишком резкой, как у Аннеты), щеголяющие перед своими учениками или детьми холодной рассудочностью и склонностью к нравоучениям.

Но сын Аннеты не даст себя провести. Нет, этого мальчика ей не обмануть! У него зоркие глаза. Он умеет читать то, что кроется под словами. И он тоже любит мечтать. Каждый день бывают часы, когда он чувствует себя королем: он один в квартире, наедине со своими мечтами. Аннета, — как всегда, несторожная, — легкомысленно оставляет в распоряжении ребенка кучу сохранившихся у нее книг из библиотеки деда и ее собственной. Тут есть все, что хочешь. Вот уже несколько лет, как у Аннеты нет времени совершать набеги на книжные полки. Этим занимается ее маленький сын. Каждый день по возвращении из лицея, когда матери нет дома, он отправляется на охоту. Марк читает беспорядочно, что попадется под руку. Он рано научился читать быстро, очень быстро, и галопом мчит по страницам в погоне за дичью. Это чтение очень мешает его школьным занятиям, и он считается плохим учеником, рассеянным, — никогда он не знает уроков и небрежно относится к своим обязанностям. Учитель был бы очень удивлен, если бы юный браконьер рассказал ему, что глаза его добыли на охоте в заповедных лесах. Ему попадаются на полках и «классики», но здесь у них совсем иной аромат, чем в школе. Все, что Марк таким образом собирает на свободе в новом для него мире, имеет вкус чудесного запретного плода. Тут нет пока ничего, что могло бы загрязнить его воображение или даже грубо просветить его насчет некоторых вещей. В опасных местах глаза мальчика загораются, но бегут дальше, не замечая в западне приманки, тревожащей плотские инстинкты. Он беззаботно счастлив, горячее дыхание жизни обдаёт его лицо, и в этом лесу книг ноздри его чуют увлекательную опасность, извечную борьбу: любовь...

Любовь... Но что такое любовь для десятилетнего ребенка? Все то счастье, которого еще нет, но которое будет, и он его возьмет... Какое же оно будет? Из обрывков того, что он видел и читал, мальчик пытается создать его в своем воображении. Он не видит ничего — и видит



все. Он хочет все. Все иметь. Все любить. (Быть любимым — вот в чем для него истинный смысл любви: «Я люблю себя. И меня должны любить... Но кто?...») То, что он хранит в памяти, ничуть не помогает ему. Все это слишком близко и потому неясно видно. В его возрасте прошлого еще не существует или оно так незначительно! Для него существует лишь настоящее — тема с тысячью вариаций...

Настоящее? Мальчик поднимает глаза и видит мать. За круглым столом, под жарким светом керосиновой лампы, они сидят вдвоем. Вечером, после обеда, Марк учит (предполагается, что учит) уроки на завтра, Аннета чинит платье. Ни он, ни она не думают о том, что делают. Они отдаются привычной работе воображения, всегда готового им служить. Мечты текут, и Аннету уносит течением. А мальчик глядит на замечтавшуюся мать... Наблюдать за ней интересно, гораздо интереснее, чем учить уроки!..

Казалось, Марк не видел того, что происходило вокруг все эти годы, и не должен бы понимать переживания матери. А между тем от него ничто не ускользало! Любовь Жюльена к Аннете, любовь ее к Жюльену — все он смутно угадывал. И, бессознательно ревнуя мать, радовался неудачному концу ее романа, как маленький каннибал, пляшущий вокруг столба пыток. Мать осталась за ним. Это его собственность! Значит, он дорожил ею? Да, с тех пор как другой хотел ее отнять у него. Он всматривался в нее — в ее глаза, губы, руки. Он упивался каждой черточкой со свойственной детям способностью находить в какой-нибудь детали целый мир... И не всегда они ошибаются... Тень от ресниц, изгиб рта были для него таинственными необозримыми ландшафтами, зачаровывавшими душу. Взгляд его, как пчелка, порхал над полуоткрытым ртом Аннеты, влетал в эту алую дверь, вылетал обратно... Увлеченный исследованием, Марк забывал о той, кого изучал... На него находило блаженное оцепенение... Очнувшись от него, он вспоминал (брр!) о завтрашних уроках, о каком-нибудь нелюбимом товарище, о плохой отметке, которую скрыл от матери... А там опять его зачаровывал свет лампы в полумраке, тишина их комнаты среди гудевшего

Парижа, ощущение, словно он на островке или плывет в лодке по морю в сладком ожидании берегов и того, что он там найдет, что увезет в своей лодке. В эту лодку, нагруженную сокровищами его надежд, всем тем, что он отвоюет у жизни, маленький викинг сажал и свою мать с ее изогнутыми бровями и красивыми светлыми волосами... Как она вдруг становилась ему мила! Пылкость влюбленного соединялась в нем с божественной детской невинностью... По ночам он не спал, прислушиваясь к дыханию Аннеты... Эта таинственная жизнь волновала, захватывала его...

Так грезят они оба. Но Аннета уже в открытом море и привыкла к долгим плаваниям, а Марк только что отчалил, и все для него ново. И потому, что все для него ново, он вглядывается пристальнее и часто видит дальше матери. У него бывают моменты удивительной серьезности. Правда, они недолги. Как у животных, его напряженно-внимательный взгляд вдруг начинает блуждать: он уже не видит никого! Но в те минуты, когда он сосредоточивает всю непочатую силу внимания и любви на матери, своей единственной подруге, замкнутой вместе с ним в этой знойной тишине, он весь пропитывается ароматом ее души, он угадывает, не понимая, малейший ее трепет, и бывает минута озарения, когда он касается ее тайн.

Он скоро потеряет ключ к сердцу Аннеты. Пропадет интерес, а с ним и способность видеть. В душе ребенка борются свет и тень: свет — изнутри, тень — извне. Когда тело развивается, тень растет вместе с ним и заслоняет свет. Человек тянется вверх — и отворачивается от солнца. Он более всего кажется ребенком, когда в нем меньше всего детского. Когда он вырастает, его внутреннее зрение становится ограниченным. Сейчас Марк, ни мало того не подозревая, еще обладал волшебной способностью ясновидения. Никогда мать не была так близка ему, как в эту пору жизни. И должно было пройти много лет, прежде чем он снова ощутил такую же близость к ней.

Но сейчас влечение к матери победило в нем недоверие. Он не противился больше порывам нежности, заставлявшим его вдруг бросаться к ней на шею, прижи-

маться лицом к ее груди. Аннета с восторгом убеждалась, что сын любит ее. А она уже потеряла было надежду на это...

Прошло несколько месяцев, упительных, как юная и счастливая любовь. Медовый месяц близости между матерью и сыном. Любовь эта, плотская, как всякая любовь, была безгрешной и божественно чистой. Живая роза...

Оно проходит, оно миновало, это неповторимо прекрасное время... Миновали годы тесной близости, замкнутой жизни вдвоем, строгой внутренней дисциплины. Щедрые годы... Аннета — в расцвете сил, безмятежная, непокоренная. Ребенок — во всем блеске и прелести своего детского мира.

Но достаточно легкого колебания воздуха, чтобы нарушить эту гармонию душ. Плотно ли заперты двери?..

Как-то воскресным утром Аннета была дома одна — Марк ушел с товарищем в Люксембургский сад играть в мяч. Аннета ничего не делала: она была рада, что в свободный день можно посидеть в кресле молча, не двигаясь. Мысли ее перескакивали с одного на другое, и она покорно и устало отдавалась их течению. Постучали в дверь. Ей не хотелось открывать. Нарушить этот час покоя?.. Она не двинулась с места. Постучали еще раз, потом стали настойчиво звонить. Аннета неохотно поднялась, отперла дверь... Сильвия! Они не виделись уже много месяцев... Первым чувством Аннеты была радость, и на ее сердечное приветствие Сильвия ответила тем же. Но затем они вспомнили старые обиды, вспомнили о своих натянутых отношениях, и обе смутились. Пошли вежливые вопросы о здоровье. Сестры попрежнему говорили друг другу «ты», и тон разговора был такой же, как прежде, но не было прежней сердечности. Аннета думала: «Зачем она пришла? Что ей нужно?» А Сильвия не торопилась объяснить причину своего посещения. Болтая о том о сем, она, казалось, была занята какой-то тайной мыслью, которой не хотела высказать сразу. Но

в конце концов все выяснилось. Сильвия неожиданно сказала:

— Аннета, давай кончим это! Обе мы виноваты.

Но Аннета была горда и не признавала за собой вины. Уверенная — слишком уверенная — в своей правоте и не склонная забывать несправедливости, она сказала:

— Нет, я тебя ничем не обидела.

Сильвии не понравилось, что, хотя она сделала первый шаг, Аннета не идет ей навстречу. Она сказала с раздражением:

— Когда человек виноват, надо по крайней мере иметь мужество в этом сознаться.

— Виновата не я, а ты, — упрямо возразила Аннета.

Тут Сильвия окончательно рассердилась и в сердцах выложила все свои старые претензии. Аннета отвечала ей заносчиво. Они уже готовы были высказать друг другу самые жестокие истины. Сильвия, не отличавшаяся терпением, поднялась, собираясь уйти, но снова села и сказала:

— Деревянная башка! Никак не заставишь ее сознаться, что она неправа!

— С какой стати я буду говорить неправду! — возразила неумолимая Аннета.

— Могла бы согласиться хоть из вежливости, чтобы не я одна оказалась во всем виновата!

Обе расхохотались.

Теперь они смотрели друг на друга уже весело и примиренно. Сильвия скорчила гримасу, Аннета ей подмигнула. Но обе еще не сложили оружия.

— Чертовка! — сказала Сильвия.

— Я ни в чем не виновата, — повторила Аннета. — Это ты...

— Ладно, не будем начинать все сначала!.. Слушай, я тебе скажу откровенно: права я или нет, я не пришла бы сюда по собственному почину. Я тоже не из забывчивых!..

И опять, полусмеясь, полусерьезно, со смесью злости и шутливости, начала она ревниво уверять, что Аннета

хотела вскружить голову ее мужу. Аннета только плечами пожала.

— Словом, можешь мне поверить, я не пришла бы к тебе по своей воле! — заключила Сильвия.

Аннета вопросительно взглянула на нее. Сильвия пояснила:

— Это Одетта меня заставила.

— Одетта?

— Да. Она спрашивает, почему тетя Аннета больше не приходит к нам.

— Как! Неужели она меня не забыла? — удивилась Аннета. — Кто же ей обо мне напомнил?

— Не знаю... Она видела у меня твою фотографию. Кроме того, ее, видимо, очень взволновала встреча с тобой на улице. (Или, может быть, она была у тебя дома?..) Ах ты интриганка! На вид недотрога, сухарь, а как умеет покорять сердца!

(Сильвия шутила не совсем искренне.)

Аннета вспомнила нежное тельце ребенка, которого она взяла на руки при случайной встрече, влажный ротик, прильнувший к ее щеке. Сильвия продолжала:

— Пришлось сказать, что мы с тобой в ссоре. Она спросила, из-за чего. Я ей ответила: «Не приставай!» Но сегодня утром, когда я подошла к ее кровати и хотела ее поцеловать, она вдруг говорит: «Мама, я не хочу, чтобы ты была в ссоре с тетей Аннетой». Я на нее прикрикнула: «Оставь меня в покое!» Вижу, девочка расстроена. Ну, я ее обняла и спрашиваю: «И что это ты выдумала? Разве тебе так понравилась эта тетя? На что она тебе? Ну, хорошо, раз тебе так этого хочется, мы с нею помиримся». Она захлопала в ладоши: «А когда тетя Аннета к нам придет?» — «Когда ей вздумается». — «Нет, ты сейчас пойди к ней и позови ее...» И я пошла... Эта маленькая негодница делает со мной все, что хочет!.. Так ты приходи! Мы тебя ждем сегодня к обеду!

Аннета сидела, потупив глаза и не говоря ни «да», ни «нет». Сильвия возмущалась:

— Надеюсь, ты не заставишь себя упрашивать?

— Нет, — сказала Аннета, не пряча больше от сестры сияющих глаз, в которых стояли слезы.

Они крепко поцеловались. В приливе нежности, смешанной с досадой, Сильвия куснула Аннету в ухо. Аннета ахнула.

— Ах ты! Еще и кусаешься? И меня же называет сумасшедшей! Ты что, взбесилась?

— Да, да! Как же мне не беситься, когда ты отбила у меня и мужа и дочь!..

Аннета от души расхохоталась.

— Мужа можешь оставить себе! За ним я не гонюсь.

— Я тоже. Но он мой, и я запрещаю его трогать!

— А ты повесь на него дощечку с надписью!

— Нет, я на тебя повешу дощечку с надписью! Урод! Что в тебе есть такого? За что тебя все любят?

— Не выдумывай!

— Да, да, все! И Одетта, и этот простофиля Леопольд, и другие... Все решительно... И я тоже!.. Я тебя терпеть не могу. Хочу отделаться от тебя, а не удастся! Никакими силами! Ты держишь крепко!

Они взялись за руки, и обе засмеялись, глядя друг другу в глаза уже с сестринской лаской.

— Ах ты, моя старушка!

— Да, это ты верно сказала!

Они действительно обе постарели. И обе это заметили. Сильвия по секрету показала сестре фальшивый зуб, который она вставила, скрыв это от всех. У Анкеты на висках появилась седина, но она ее не прятала. Сильвия за это обозвала ее кокеткой.

Они опять были близки друг другу, как прежде... И подумать только, что, если бы не девочка, они никогда бы не увиделись больше!..

Вечером Аннета с Марком пришли к обеду. Одетта спряталась, ее не могли найти. Аннета отправилась на поиски и отыскала ее за портьерой. Она нагнулась, чтобы поднять девочку, присела на корточки и протянула руки, ласково уговаривая ее. Одетта отвернулась, упорно не поднимала глаз. Потом в неожиданном порыве бросилась к ней на шею. За столом, где она имела счастье сидеть рядом со своей тетей, она от волнения не могла вымолвить ни слова и оживилась только к концу обеда, когда подали сладкое. Взрослые пили за восста-

новленную дружбу, потом Леопольд в шутку предложил за будущий брак Марка и Одетты. Марк обиделся — он метил выше, а Одетта приняла это всерьез. После обеда дети затеяли игру, но не поладили между собой. Марк обращался с девочкой пренебрежительно, и она была обижена. Скоро родители, занятые разговором, услышали шлепки и плач. Дерущихся разняли. Оба еще долго дулись друг на друга. Одетта была взбудоражена впечатлениями дня. Пришло время укладывать ее, но она капризничала и не хотела идти спать. Аннета сказала, что она сама отнесет ее в постельку, и девочка согласилась. Аннета раздела ее, уложила, целуя пухленькие ножки. Одетта была в восторге. Аннета сидела подле нее, пока она не уснула (этого не пришлось долго ждать), а когда вернулась в столовую и увидела Марка на коленях у Сильвии, шутя сказала сестре:

— Давай меняться! Хочешь?

— Идет! — ответила Сильвия.

Но в душе ни та, ни другая не хотели меняться. Между тем Марк, пожалуй, больше подошел бы Сильвии, а девочка — Аннете. Но свой ребенок всегда остается своим.

Зато детям идея обмена гораздо больше пришлась по вкусу. Услышав шуточный разговор об этом, они стали приставать к родителям. И, чтобы доставить им удовольствие, те согласились. Каждую субботу вечером между матерями происходила мена: ночь субботы и весь воскресный день Одетта проводила у Аннеты, а Марк — у Сильвии. В воскресенье вечером детей возвращали по принадлежности. В этот период междуцарствия их безбоязненно баловали. И, разумеется, они возвращались домой неохотно, капризничали, и всю свою нежность сберегали для той, которая только в праздничные дни была им матерью.

Одетта умиляла Аннету своими детскими ласками, маленькими тайнами, которые она ей поверяла, неутомимой болтовней. Всего этого Аннета была лишена. Марк, унаследовав пылкий темперамент матери, умел его сдерживать лучше, чем она. Он не любил откровенничать, в особенности с родными, потому что они могли злоупотребить его доверием. С чужими это не так опасно, они

многое пропускают мимо ушей... А Одетта была, как Сильвия, экспансивна, ласкова, и притом сердечко у нее было любящее. Она выражала вслух то, что Аннете хотелось услышать. Заметив, как ей это приятно, маленькая плутовка стала удваивать дозу нежностей. Она будила в душе Аннеты отголоски ее собственных переживаний в детстве. Так по крайней мере казалось Аннете, и отчасти за это она любила девочку. Слушая ее, она вспоминала свои детские годы, которые в жарком свете ее нынешних мыслей представлялись ей совсем иными.

Как радостны были эти воскресные утра! Малышка лежала на широкой кровати (для нее было праздником спать вместе с теткой, удобно примостившись в ее объятиях, а та безропотно терпела пинки ее ножек и боялась дышать, чтобы не разбудить девочку), наблюдала за одевавшейся Аннетой и чирикала, как воробышек. Оставшись полной хозяйкой в кровати, она вытягивалась поперек, чтобы закрепить за собой эту собственность, и за спиной Аннеты проказничала вовсю. Аннета, причесываясь перед зеркалом, только посмеивалась, когда видела в нем болтавшиеся в воздухе голые ножки и вздохмаченную черную головку на подушке. Шалости не мешали Одетте следить за каждым движением тетки, и она пускалась в забавные рассуждения насчет ее туалета. В этой болтовне проскальзывали иной раз совсем неожиданные серьезные замечания, заставлявшие Аннету насторожиться:

— Что ты сказала? Ну-ка повтори!

Но Одетта не помнила, что сказала, поэтому придумывала что-нибудь другое, уже не такое интересное. По временам на нее находили бурные порывы нежности.

— Тетя Аннета! Тетя Аннета!

— Ну, что?

— Я тебя так люблю, так люблю!..

Аннету смешила горячность, с какой Одетта заявляла это.

— Не может быть!

— Ну, да! Я тебя люблю до безумия!

(Конечно, к искренности Одетты примешивалась и доля актерства — это было у нее в крови.)



- Вот как!.. А лучше было бы без всякого безумия.
- Тетя Аннета! Я хочу тебя поцеловать.
- Сейчас. Подожди.
- Нет, я хочу сию минуту! Иди сюда!
- Хорошо.

И Аннета спокойно продолжала расчесывать волосы. Одетта с досады кувыркалась в постели, разбрасывая во все стороны простыни.

- Ах, какая бесчувственная женщина!

Аннета с хохотом роняла гребень и подбегала к кровати:

- Обезьянка! Где ты это подцепила?

Одетта бешено целовала ее.

— Будет, будет!.. Ты меня задушишь!.. Уф!.. Ну вот, совсем растрепала прическу!.. Этак я никогда не кончу одеваться!.. Оставь меня в покое, разбойница!

В голосе девочки уже слышался испуг, она готова была расплакаться.

— Тетя Аннета, ты ведь меня любишь? Я хочу, чтобы ты меня любила! Ну, пожалуйста, люби меня!

Аннета прижимала ее к себе.

— Ах! — восторженно говорила Одетта, — я с радостью отдам за тебя жизнь!

(Фраза из бульварного романа, который при ней читали вслух в мастерской.)

Если Марк бывал свидетелем таких сцен, он презрительно поджимал губы и с видом собственного превосходства, засунув руки в карманы и подняв плечи, уходил из комнаты. Он презирал женскую болтливость и сентиментальность. Как это можно выбалтывать все, что чувствуешь! Марк говорил своему товарищу:

— Какие все женщины глупые!

В глубине души Марку было обидно, что его мать осыпает Одетту нежными ласками. Сам он от этих нежностей отмахивался, но ему не нравилось, что их расточают кому-то другому.

Разумеется, он мог отплатить матери тем же — и он это делал: чтобы наказать ее за неблагодарность, он был с Сильвией в десять раз ласковее, чем когда-либо с Аннетой. Однако, по правде говоря, как ни баловала его тетка, он был ею недоволен: она обращалась с ним,

как с маленьким, а он этого не выносил. Каждое воскресенье Сильвия, желая доставить ему удовольствие, водила его в кондитерскую. К сладостям он, конечно, был равнодушен, но ему не нравилось, что она думает, будто это для него так важно. Это было оскорбительно. И потом он очень хорошо понимал, что тетушка его ни в грош не ставит. Она ничуть его не стеснялась, и это давало Марку возможность удовлетворять свое любопытство, но самолюбие его страдало, так как он улавливал в этом оттенок пренебрежения. Да, ему было бы лестно, если бы Сильвия видела в нем настоящего взрослого мужчину, а не мальчишку. Наконец (но в этом Марк неохотно себе признавался), наблюдая Сильвию в интимной обстановке, он утратил всякие иллюзии. Беспечная женщина и не подозревала обо всем том, что пробуждается в чистой и беспокойной душе десятилетнего мальчика, о созданном его воображением сказочном образе женщины, о том, как болезненны первые разочарования. Сильвия при Марке совсем не следила за своими жестами и словами, как будто он был домашней собачкой или кошкой. (А в сущности мы ведь не знаем, не оскорбляет ли часто наше поведение и домашних животных!..) Инстинктивно ища самозащиты от разочарования, которое вызывал в нем его разбитый кумир, Марк приходил к скороспелым выводам, проникнутым очень наивным цинизмом, выводам, о которых лучше не говорить. Он усиленно разыгрывал перед самим собой (о других он тогда не думал) пресыщенного мужчину. И в то же время с волнением и слепой жадностью невинного ребенка впивал загадочное и чувственное очарование женщины. Женщина возбуждала в нем и отвращение и влечение.

✓ Влечение, смешанное с отвращением... Какому мужчине оно не знакомо? В эту пору жизни в Марке сильнее говорило отвращение. Но даже отвращение имело острый привкус, по сравнению с которым все другие переживания его сверстников казались пресными. Одетту он презирал и считал, что дружба с такой маленькой девочкой унижает его достоинство.

Да, Одетта была маленькая девочка, но, как ни странно, в маленькой девочке уже проявлялась женщина.

Вопреки теориям известных педагогов, которые делят детство на резко разграниченные периоды, приписывая каждому периоду какую-нибудь характерную черту, уже в детстве, уже в раннем детстве проявляются все задатки человека, становится ясен его двойной облик — настоящий и будущий (не говоря уже о Прошлом, огромном и непроглядном, определяющем собой тот и другой). Но, чтобы различить этот облик, надо быть очень внимательным: в предутреннем сумраке детства он возникает только проблесками.

Эти проблески у Одетты бывали заметны чаще, чем у большинства детей. Она была скороспелка. Очень здоровая физически, девочка таила в себе чувственные инстинкты, не соответствовавшие ее возрасту. От кого она унаследовала их? От Аннеты или от Сильвии? Аннете казалось, что она узнавала в этой девочке себя, какой она была в ее годы. Но она ошибалась: она была далеко не такой скороспелкой. Наблюдая Одетту, она вспоминала собственное детство и в простоте души приписывала этому возрасту страсти, пережитые ею в четырнадцать — пятнадцать лет.

Душа Одетты походила на птичник, полный шума трепещущих крыльев. Здесь птицами проносились первые неуловимые вспышки любви, рождая свет и тени. Минуты безмятежного довольства сменялись нервной взвинченностью, девочке иногда без причины хотелось плакать, а иногда громко смеяться. На смену приходили усталость, вялое безразличие ко всему. А там, смотришь, неизвестно почему, чье-нибудь слово или жест, истолкованные ею по-своему, снова развеселят ее, и она совершенно счастлива!.. Изнемогая от счастья, опьяненная им, как дрозд, наглотавшийся винограду, она болтала, болтала... И вдруг — бац!.. Одетта исчезала, никто не знал, куда она девалась, а потом ее находили спрятавшейся в углу чулана, где она упивалась своей, неведомо откуда налетевшей, радостью, которую ей самой трудно было понять. Словно стаи птиц прилетали и улетали в ее душе, быстрее молнии сменяя одна другую...

Никогда нельзя знать, до какого момента дети вполне искренни в своих чувствах: эти чувства, существовавшие задолго до них, приходят к ним из неизвестной дали

прошлого, они первые им удивляются и, словно стремясь проверить их, превращаются в актеров, изображающих эти переживания. Такая способность бессознательно раздваиваться — инстинктивное средство самозащиты, ибо она помогает им нести бремя, непосильное для их хрупких плеч.

На Одетту находили порывы влюбленности то в одного, то в другого, а иногда и вовсе ни в кого, и влюбленность эту она невольно выражала с некоторой театральностью, не всегда громогласно, иногда тихонько, в монологах, которые она произносила наедине, только для того, чтобы излить душу. Выражая свои чувства в словах и жестах, она как бы ослабляла их напор. Такие взрывы нежности чаще всего бывали у нее к Аннете, или к Марку, или к обоим вместе, и часто, думая о Марке, она объяснялась в любви не ему, а Аннете, потому что Марк насмехался над ней, Марк ее презирал, и она его за это ненавидела. Она страдала от унижения и ревности и жаждала ему отомстить... Но как? Как сделать ему больно? Очень-очень больно? Чем его уязвить? Увы, коготки у нее были еще детские! Какая досада!.. Понимая, что она ничего не может ему сделать (пока!), Одетта притворялась равнодушной... Но очень обидно сознавать свое бессилие и трудно притворяться равнодушной, когда постоянно хочется то смеяться, то плакать! Такое самообуздание было не в характере Одетты, оно ее угнетало. Она впадала в апатию, пока властная детская резвость, потребность в веселье и движении не заставляли ее снова приниматься за игры.

Аннета наблюдала, угадывала (иногда дополняла воображением) эти приступы детского отчаяния и, вспоминая свои собственные, жалела Одетту. Сколько она сама растратила сердечного жара, любя, желая, терзаясь, — и для кого, для чего? Зачем это было нужно? Какое несоответствие с той ограниченной целью, которую нам ставит природа! Как она расточительна, эта природа, и как наобум распределяет она способность любить! Одним дает слишком много, другим — слишком мало. Себя и Одетту Аннета причисляла к тем, кому дано слишком много, а сына своего — к обделенным. Тем лучше для него! Бедный мальчик!..

Но мальчик был вовсе не такой уж бедный! Его духовная жизнь была не менее богата, чем у Одетты, в голове мысли бурлили так же неистово (только он их не высказывал), а чувства были не менее сильны, но сосредоточены на другом. Да, к тому, что занимало «этих женщин», он был глубоко равнодушен. Его волновали иные страсти. Более развитой умственно, чем Одетта, и гораздо меньше поглощенный жизнью чувств, просыпавшихся у него медленнее, чем у нее, этот мальчик, уже познавший прилив темных желаний, стремился, как настоящий мужчина, действовать и властвовать. Он мечтал о таких победах, что победа над женским сердцем (если бы в эту пору детства он мог думать о ней!) показалась бы ему весьма жалкой. Мальчиков прошлых поколений увлекали солдаты, дикари, пираты, Наполеон, морские приключения. А Марк бредил автомобилями, аэропланами, радио. Идеи, занимавшие тогда мир, плясали вокруг него в головокружительном хороводе. Планету нашу сотрясала лихорадка движения; все мчалось, летело, рассекая воздух и воды, вертелось, кружилось. Чудеса неистового изобретательства преображали стихии. Не было больше границ человеческой мощи, а значит, не было преград и воле человека! Пространства и времени не существовало, они исчезли, вытесненные скоростью. Они, как и люди, больше не принимались в расчет. Одно имело значение: Воля, неограниченная Воля!

Марк имел очень слабое представление о зачатках современной науки. Он читал, ничего не понимая, научный журнал, который выписывала мать. Но он уже с рождения жил в атмосфере чудес науки. Аннета атмосферы этой не замечала, потому что она постигала науку путем схоластическим, она не вдыхала ее вместе с воздухом. Написанные мелом на доске цифры, геометрические фигуры, выводы — вот чем была для нее наука. А Марку она представлялась сказочной силой. Именно потому, что разум его еще молчал и не связывал его, он отдавался восторгу воображения, такому же туманному и пламенному, как тот, что надувал паруса аргонавтов. Он мечтал о самых необычайных подвигах: прорыть туннель сквозь весь земной шар, подняться в воздух без аэроплана, соединить Марс с Землей, одним нажатием

кнопки взорвать Германию или какое-нибудь другое государство (ему было все равно какое). За таинственными словами «вольты», «амперы», «радий», «карбюратор», которые он употреблял с апломбом, но наобум, ему чудились сказки тысячи и одной ночи. Неужели же он с таких высот спустился бы на землю и унизился бы до мыслей о глупой девчонке?

Однако, хотя тело и мысль — близнецы, они никогда не шагают в ногу. Всегда кто-нибудь из двух (не всегда один и тот же) отстает в росте, а другой спешит его опередить. Физически Марк был еще ребенком, и в то время, как ум его витал в облаках, какая-то ниточка держала его на привязи, тянула вниз, где так весело играть! И порой он, за неимением лучшего, снисходил до детских забав, а то и без всякого высокомерия всей душой отдавался играм с «глупой девчонкой».

Это были приятные передышки. Однако они никогда не длились долго. Одетта и Марк были слишком разные дети, и разница между ними была не только в возрасте и в том, что Одетта была девочка, — нет, все дело было в разнице темпераментов. Одетта — некрасивая, походившая больше на отца (только глаза у нее были, как у Аннеты), круглолицая, толстощекая и курносенькая — росла крепким, здоровым ребенком, и пылкость ее характера ничуть не нарушала равновесия, — наоборот, как бы давала естественный выход избытку жизненных сил. Одетта не болела ни одной из легких болезней детского возраста. В организме Марка, напротив, тяжелая болезнь, перенесенная им на первом году жизни, оставила заметный след. Правда, позднее природное здоровье взяло верх, но часть детства была испорчена постоянной борьбой организма с болезнями, в которой он нередко оказывался побежденным. Марк очень часто простужался, и малейшая простуда вызывала бронхит и жар. Самолюбие мальчика страдало от этого, так как он инстинктивно уважал только людей гордых и сильных.

В конце 1911 года, то есть через год после примирения сестер, Марк, как это часто с ним бывало зимой, схватил простуду, осложнившуюся инфлюэнцей и потому встревожившую родных. Одетта пришла к нему. Ей это запрещали, боясь, как бы она не заразилась, но

она ухитрилась пробраться к нему вечером, когда обе матери были чем-то заняты в соседней комнате. Она очень жалела Марка, и Марку на этот раз изменила его обычная сдержанность. Он был в сильной тревоге.

— Одетта, что они говорят?

(Он думал, что болезнь его опасна и от него это скрывают.)

— Не знаю. Ничего не говорят.

— А доктор?

— Доктор сказал, что это пустяки.

У Марка немного отлегло от сердца, но он все еще не верил.

— А ты правду говоришь? Нет, я не верю! От меня скрывают... Я очень хорошо знаю, что у меня...

— Что?

Марк молчал.

— Марк, что у тебя?

Но он замкнулся в гордом и враждебном молчании. Одетта всполошилась. Она сразу поверила, что он тяжело болен, и ее беспокойство передалось Марку. Со свойственной ей склонностью к преувеличению и мелодраматизму Одетта всплеснула руками:

— Ах, Марк, пожалуйста, не будь так болен! Я не хочу, чтобы ты умер!

Марк не имел ни малейшего желания умирать. Он любил, чтобы его жалели, но так много жалости он не требовал. Услышав от Одетты то, чего он сам боялся, он оцепенел от страха. Он не хотел этого показывать, но не выдержал:

— Ага, значит, ты от меня скрывала! Ты знаешь, что я очень болен!..

— Нет, нет, я ничего не знаю, я не хочу, я не хочу, чтобы ты был так болен!.. Ох, Марк, не умирай! Если ты умрешь, я умру вместе с тобой!

Она с плачем бросилась к нему на шею. Марк был сильно взволнован и тоже заплакал, сам не зная, кого он жалеет, себя или Одетту. На шум прибежали обе мамы, разобрали их и увели Одетту. Но эта минута очень сблизила детей.

Впрочем, утром настроение у Марка уже изменилось. Тревога прошла, и он даже был зол на себя за то, что

накануне оказался трусишкой (старшие, чтобы рассеять его страхи, посмеялись над ним). Он злился и на Одетту, которая своим дурацким волнением довела его до такого малодушия. И кроме того... он слышал ее смех, видел ее издали, пышущую здоровьем, и сердился на нее за это. Марк завидовал этому избытку здоровья и чувствовал себя униженным.

Долгое время после выздоровления его мучило то, что он выдал себя, оскрамился перед двоюродной сестренкой. Еще неприятнее было сознание, что он и в самом деле тогда перепугался и Одетта это видела. А Одетта, успокоившись, все-таки коварно запомнила эту минуту. Она увидела тогда Марка без ходуль — просто трусливого маленького мальчика. Таким она его еще больше любила. Но он никак не мог ей этого простить.

Марк поправился. Одетта цвела. Прошлым летом она в первый раз пошла к причастию и очень этим гордилась. (В то время церковь, подобно Джоконде, искала невинные души и, почуяв своим длинным подозрительным носом дух времени, решила, что чистота и невинность сохраняются лишь до семилетнего возраста.) Отныне Одетта считала себя уже взрослой женщиной и, стараясь всем это доказать, сдерживала свою резвость, напоминая козленка на привязи. Но этот козленок каждую минуту мог одним прыжком вырваться у вас из рук... Дела Сильвии шли хорошо, она чувствовала себя счастливой. Да и Аннета в семье сестры удовлетворяла свою потребность в любви, уже не такую острую, как когда-то, умеренную испытаниями и годами. Для нее, казалось, наступила безбурная полоса жизни. Все говорило о прочном благополучии.

Стоял конец октября. В один из тех жарких и ослепительных дней, когда не затененный ни единым облачком солнечный свет кажется обнаженным, как и деревья, с которых облетела листва, в четвертом часу Аннета сидела у Сильвии. Окна, выходившие во двор, были открыты, чтобы дать доступ в комнату лучам осеннего солнца, золотым и сладким, как мед. Обе женщины внимательно рассматривали и щупали образцы новых мате-



рий и, всецело погруженные в свое занятие, вели оживленный разговор. Одетта — ей уже исполнилось восемь лет, и накануне праздновался день ее рождения — была в одной из дальних комнат по другую сторону коридора, которые выходили окнами на улицу. Она только что просунула в полуоткрытую дверь свой любопытный носик, желая узнать, что делают мать и тетка. Ее прогнали, строго приказав до обеда кончить уроки. Марк был в лицеве и должен был прийти через полчаса.

Время текло неторопливо и ровно, без единой заминки, без малейшей ряби, и, казалось, так будет продолжаться всю жизнь. Сестры чувствовали себя хорошо, но и не думали этому радоваться: это было естественно! Во дворе, в плюще, покрывавшем стену, весело чирикали воробьи. Осенние мухи жужжали от удовольствия, наслаждаясь последними теплыми днями и отогревая на солнышке цепенеющие крылья.

Сестры ничего не слышали... Ничего. И все-таки обе замолчали сразу, в одно и то же мгновение, как будто почувствовав, что порвалась тонкая ниточка, на которой держалось их счастье...

У входной двери раздался звонок.

— Неужели Марк? Нет, ему еще рано.

Опять звонок. Потом забарабанили в дверь... Есть же такие торопыги!.. Сейчас!..

Сильвия пошла открывать. Аннета за ней, в нескольких шагах.

У двери запыхавшаяся привратница что-то кричала, размахивая руками. В первое мгновение они не поняли...

— Вы еще ничего не знаете, сударыня? Случилось несчастье... Маленькая барышня...

— Кто?

— Мадемуазель Одетта... Бедная деточка!..

— Что? Что?

— Упала...

— Упала!

— Да, она внизу.

Сильвия взвыла. Оттолкнув привратницу, она стремглав помчалась вниз по лестнице. Аннета хотела бежать за нею, но у нее подкосились ноги, сильное сердцебиение мешало идти. Пришлось ждать. Она еще стояла

наверху, перегнувшись через перила, когда с улицы до-  
неслись дикие крики Сильвии...

Но что же случилось? Вероятно, Одетта, которая  
была непоседой и, готовя уроки, постоянно вскакивала  
с места и всюду совала нос, высунулась из окна посмот-  
реть, не идет ли Марк, и слишком низко наклонилась...  
Бедная девочка не успела даже сообразить, что случи-  
лось...

Когда Аннета, шатаясь, сошла, наконец, вниз, она  
увидела толпу людей на улице, обезумевшую Сильвию и  
на руках у нее истерзанное тельце с безжизненно повис-  
шими руками и головой — точь-в-точь зарезанный ягне-  
нок. Под темной шапкой волос не видно было разбитого  
черепа. Только из носа вытекло немного крови. Глаза,  
еще открытые, словно спрашивали... Ответ дала смерть.

Аннета упала бы на землю с криком ужаса, если бы  
ее не парализовало дикое исступление Сильвии, в воплях  
которой слышалась вся безмерность человеческих мук.  
Сильвия, стоя на коленях, почти легла грудью на ре-  
бенка, поднятого ею с мостовой. Она с неистовыми кри-  
ками трясла его и звала, звала Одетту. Она прокли-  
нала — кого, что? Небо, землю... Она сходила с ума от  
ненависти и отчаяния...

Впервые увидела Аннета, что и сестра одержима  
сильными страстями. Сильвия сама их в себе никогда не  
подозревала, так как жизнь до сих пор щадила ее, не да-  
вая им повода проявиться. Теперь Аннета узнавала в ней  
свою кровь.

Отчаяние сестры не позволяло Аннете дать волю  
своему. Чтобы поддержать Сильвию, она должна была  
быть сильной и спокойной, и она это сумела. Она взяла  
Сильвию за плечи. Та вырывалась и продолжала вопить,  
но Аннета наклонилась и подняла ее. И Сильвия, поко-  
рившись, наконец, этой властной нежности, затихла, под-  
няла голову. Увидев столпившихся вокруг людей, она  
обвела их суровым взглядом и, не вымолвив ни слова,  
с ребенком на руках пошла к дому.

Она только что переступила порог, как шедшая за ней  
Аннета заметила на углу Марка, который возвращался  
из школы. И, как ни сильно было ее горе и любовь к не-  
счастной девочке, сердце запрыгало у нее в груди:

«Какое счастье, что не он!»

Она побежала навстречу Марку, чтобы помешать ему увидеть. При первых же ее словах он побледнел и стиснул зубы. Аннета отвела его подальше от места, где произошло несчастье, и сказала, что Одетта сильно расшиблась. Но он, со свойственным детям чутьем, понял, что она умерла. Судорожно сжав руки, он пытался отогнать эту страшную мысль. Однако, несмотря на волнение, он все время был занят собой, следил за своими движениями и выражением лица, за проходившими мимо людьми. Он смутился, заметив, что мать на улице без шляпы и что на них оглядываются. Эта неприятность отвлекла его и помогла успокоиться. Видя, что он держится стойко, Аннета рассталась с ним на полдороге, велев ему идти домой, а сама поспешила к Сильвии. Сильвия, в полном изнеможении упав на стул, сидела в углу у кровати покойницы, ничего не слыша и не понимая, дыша тяжело и шумно, как загнанная лошадь. Мастерицы хлопотали около девочки. Аннета обмыла маленькое тело Одетты, надела на нее чистое белье и уложила в постель, как в те далекие вечера (только вчера, а как бесконечно далеко было это время!), когда она приходила выслушивать поверяемые ей тихонько детские тайны! Сделав все, что нужно, она подошла к Сильвии и взяла ее за руку. Влажные и холодные пальцы лежали безвольно в ее руке. Аннета сжимала эти пальцы, из которых, казалось, ушла жизнь. У нее не хватало духу шептать сестре слова утешения, которые все равно не проникли бы сквозь стену отчаяния. Одно только физическое прикосновение, полное сестринской любви и сострадания, могло постепенно дойти до сердца Сильвии. Аннета обняла Сильвию, прижалась лбом к ее щеке. Слезы ее капали на шею и грудь сестры, словно для того, чтобы растопить ледяную кору, сковавшую это сердце. Сильвия молчала и не двигалась. Но пальцы ее уже начали слабо отвечать на пожатие Аннеты. Когда пришел Леопольд, Аннета оставила их вдвоем.

Она пошла домой к Марку и сказала ему всю правду. Но он уже знал ее сам. Он скрывал свое волнение, потому что оно его пугало, и старался сохранять спокойный и уверенный вид. Это удавалось ему только до тех пор,

пока он молчал. Стоило ему заговорить, как голос его дрогнул и оборвался. Он убежал в другую комнату, чтобы выплакаться наедине. Аннета материнским чутьем угадывала тоску детского сердца при первом столкновении со смертью и не стала говорить с сыном на эту опасную тему. Она просто посадила его к себе на колени, как бывало в раннем детстве. Марк и не подумал обидеться на то, что с ним обращаются, как с малышом, и, словно ища спасения, прильнул к ее теплой груди. Так оба они успокоились, убаюкав свой страх сознанием, что они не одиноки, что они вдвоем могут от него защищаться. Потом Аннета заставила мальчика лечь спать, уговаривая его быть храбрым, как подобает мужчине, и не бояться, если ей придется на ночь уйти и оставить его одного. Марк обещал.

И Аннета поздно ночью опять пошла в дом, где произошла трагедия. Ей хотелось посидеть около умершей. Сильвия уже вышла из своего мрачного бесчувствия. Не вернулось к ней и бурное отчаяние первых минут. Но на нее тяжело было смотреть. Аннета, войдя, увидела, что она улыбается. Должно быть, у нее помутилось в голове. Услышав шаги Аннеты, она подняла глаза, посмотрела на сестру и, подойдя к ней, сказала:

— Она уснула.

Взяв Аннету за руку, она подвела ее к кровати:

— Смотри, какая она хорошенькая!

Сильвия говорила это, сияя от радости, но Аннета заметила в ее лице тень тайной тревоги. И, когда Сильвия через минуту опять сказала вполголоса: «Она сладко спит, правда?..» — Аннета, встретив лихорадочный взгляд, ожидавший ответа, ответила то, что от нее хотели услышать:

— Да, она спит.

Она прошла с Сильвией в соседнюю комнату. Там сидели Леопольд и одна из мастериц. Они пытались завязать разговор, чтобы отвлечь Сильвию. Но мысль ее металась, как раненая, перескакивала с одного на другое, ни на чем не задерживаясь. Она взялась за какое-то рукоделье, каждую минуту бросала его, потом брала снова и снова бросала, словно прислушиваясь к дыханию в соседней комнате, и все твердила:

— Как крепко она спит!

При этом она обводила взглядом окружающих, чтобы их... нет, чтобы себя убедить в этом. Один раз, подойдя к кровати, она нагнулась над мертвой девочкой и стала говорить ей ласковые слова. Для Аннеты было пыткой слушать это, ей хотелось, чтобы сестра замолчала. Но Леопольд тихонько умолял ее не мешать Сильвии — пусть утешается иллюзией.

Иллюзия рассеялась сама собой. Сильвия вернулась на место, опять взялась за работу и ничего больше не говорила. Вокруг нее разговаривали, но она не слушала. Скоро умолкли и остальные. В комнате нависло унылое молчание... Вдруг Сильвия закричала. Это был протяжный крик без слов. Упав грудью на стол, она стала биться о него головой. Быстро убрали иголки и ножницы. Когда Сильвия смогла заговорить, она стала проклинать бога. Она в него никогда не верила, но надо же отвести душу! И, грозно сверкая глазами, она осыпала бога грубыми ругательствами...

Она скоро обессилела, и ее отнесли в постель. Она лежала неподвижно. Аннета не отходила от нее, пока она не заснула.

Домой Аннета возвращалась совсем разбитая. Над улицами уже вставал белесый рассвет... Марк не спал. Она стала раздеваться, дрожа от холода. Но в последнюю минуту, когда уже собиралась лечь в постель, она босиком, в одной рубашке бросилась в комнату сына. Слишком много она за этот день перестрадала, слишком долго крепилась! Она страстно целовала мальчика в губы, в глаза, в уши и шею, целовала ему руки и ноги, твердя:

— Родной мой, маленький мой... Ты не оставишь меня, не оставишь?..

Марк был испуган, смущен, сильно взволнован. Он плакал вместе с нею, жалея больше себя, чем других. Но и других тоже. Сейчас он почувствовал горечь своей утраты, он оплакивал эту любовь, которую раньше отвергал. С нежностью и грустью он вспоминал тот вечер, когда был болен и Одетта пробралась к нему. И подумал:

«А все же умер не я! Я жив!...»

Аннета дрожала при мысли, что предстоит еще такой же день. У нее на это не хватило бы сил. Но все дальнейшее переживалось уже не с такой ужасающей остротой, как в первые часы. Когда страдание доходит до высшей точки, оно неизбежно начинает спадать. От него либо умирают, либо привыкают к нему.

Сильвия взяла себя в руки. Лицо ее было мертвенно-бледно, у носа и в углах рта залегли жесткие складки (они, хотя потом и сгладились немного, навсегда оставили след на лице Сильвии). Но она была спокойна, деятельна, занялась вместе с мастерицами кройкой и шитьем траурных платьев. Она отдавала распоряжения, надзирала за всем, сама работала, движения ее рук были точны и так же уверенны, как и взгляд. Когда она примеряла Аннете платье, та боялась проронить слово, которое могло бы напомнить Сильвии о похоронах. Но Сильвия сама о них заговорила — спокойно, хладнокровно. Она никому не хотела поручить связанные с ними хлопоты, и сама распорядилась всем до мелочей. Это искусственное спокойствие Сильвия сохраняла до самого конца похорон. И только выполнению религиозных обрядов воспротивилась с холодной, сосредоточенной злобой. Она не прощала богу смерть девочки!.. До этого несчастья Сильвия была безотчетно неверующей, но к религии относилась только безразлично, а не враждебно. Не признаваясь в этом, слегка посмеиваясь над собой, она даже была растрогана, когда увидела свою хорошенькую дочку в белом платье причастницы... А теперь она знала, что все — обман, да, да!.. Подлый бог!.. Никогда она не простит ему!

Аннета боялась, что нечеловеческие усилия, которые делает над собой Сильвия, разрешатся новым приступом отчаяния, когда она вернется домой с кладбища. Но ей не удалось остаться с сестрой. Сильвия резким тоном велела ей идти домой. Присутствие Аннеты было для нее нестерпимо: ведь у Аннеты есть сын!..

На другой день встревоженный Леопольд пришел к Аннете и рассказал, что Сильвия не ложилась всю ночь. Она не плакала, не жаловалась, страдала молча. Не щадя себя, она начала попрежнему работать в мастерской. Привычные обязанности требовали своего

настоятельнее, чем сама жизнь. Тяжелое душевное состояние Сильвии сказывалось только в некоторых мелочах: раз она криво скроила платье (таких промахов за нею никогда не водилось) и, не сказав ни слова, выбросила его. В другой раз порезала пальцы ножницами. По вечерам ее уговаривали лечь. Но она все ночи напролет сидела в постели без сна, не отвечая тем, кто с нею заговаривал.

И каждое утро до работы в мастерской она ходила на кладбище.

Так прошли две недели. Однажды Сильвия вдруг среди бела дня куда-то скрылась. Приходили заказчицы, ждали. Подошел час ужина — ее все не было. Пробыло десять, одиннадцать. Муж боялся, что она в отчаянии покончила с собой. Наконец, в час ночи она вернулась домой и эту ночь спала до утра. Узнать у нее ничего не удалось. Следующие вечера она опять где-то пропадала. Теперь она уже стала разговаривать с окружающими и, казалось, оттаяла, но упорно скрывала, куда ходит по вечерам. Мастерницы начали шушукаться. Добрый муж жалел ее и, пожимая плечами, говорил Аннете:

— Если даже она изменяет мне, я не могу на нее сердиться: она так настрадалась!.. Если это может ее отвлечь от навязчивых мыслей... что ж, пускай!

Аннета как-то подстерегла Сильвию, когда та выходила из дому, и осторожно дала ей понять, какое беспокойство и какие подозрения вызывают ее отлучки, как они огорчают ее близких. Сильвия сначала не хотела даже остановиться и проявила полное равнодушие к тому, что о ней могут подумать. Но, узнав о доброте мужа, она растрогалась и, уступив внезапной потребности излить душу, увела Аннету к себе в комнату. Здесь она заперла дверь и, сев рядом с сестрой, вполголоса, с таинственным видом, блестя глазами, рассказала ей, что каждый вечер посещает кружок спиритов, которые собираются вокруг стола, и там беседует со своей умершей дочкой. Аннета, не смея выдать свои чувства, с ужасом слушала Сильвию, которая умиленно пересказывала ей ответы Одетты. Сильвию теперь уже не нужно было заставлять говорить — ей радостно было повторять вслух слова девочки, в эти слова она вкладывала всю душу.

Аннета не решалась разрушить иллюзию, которой только и жила теперь сестра. А Леопольд — тот даже готов был поощрять Сильвию. В глазах этого простого и здравомыслящего человека самовнушение Сильвии было не хуже всякой другой религии. Аннета посоветовалась с врачом, и тот сказал, что не надо трогать Сильвию, пока она не изживет свое горе.

Теперь Сильвия ходила сияющая. Глядя на нее, Аннета мысленно спрашивала себя, не лучше ли священная материнская скорбь, чем эта нелепая радость, оскорбляющая таинство смерти. В мастерской Сильвия уже не скрывала своих сношений с потусторонним миром. Девушки расспрашивали ее о сеансах — ее рассказы доставляли им такое же удовольствие, как те романы, что печатаются в газетах. Заходя в мастерскую, Аннета слышала, как они оживленно обсуждали последнюю беседу Сильвии с умершей Одеттой. А раз она видела, как одна из учениц хихикала, пряча лицо за матерью, которая была у нее в руках. Сильвия, еще недавно столь чуткая к иронии и умело пускавшая ее в ход, теперь болтала, ничего не замечая, всецело поглощенная своей бредовой идеей.

На этом дело не кончилось. Однажды вечером, ничего не сказав Аннете, она повела на сеанс Марка. Она опять вспылала к нему восторженной любовью, и лицо ее светлело, когда он приходил. Не застав Марка дома, Аннета сразу догадалась, в чем дело. Но когда он вернулся поздно вечером, взвинченный и расстроенный, она удержалась от расспросов. Ночью мальчик кричал во сне. Аннета встала и успокоила его, нежно глядя по голове.

Утром она сурово поговорила с Сильвией. Когда дело касалось ее сына, она не могла щадить сестру. На этот раз она не скрала своего глубокого отвращения к ее опасным сумасбродствам и категорически запретила ей вовлекать в них ребенка. В другое время Сильвия отвечала бы не менее резко, но теперь она только загадочно усмехалась, потупив голову, чтобы не встречаться с гневным взглядом Аннеты. У нее не было прочной внутренней уверенности в истинности своих откровений, и она опасалась резкой критики сестры. Она не стала



спорить с Аннетой и ничего не обещала — словом, вела себя, как нашкодившая кошка, которая лукаво и радчииво слушает, как ее журят, а все-таки делает то, чему.

Она не решалась больше брать Марка с собой, но поверяла ему все, что слышала на спиритических сеансах, и очень трудно было помешать этим беседам, которые Марк хранил в тайне с такой же осторожностью, как и тетка. Она рассказывала Марку, что Одетта говорит с нею о нем. Это-то и привязывало Сильвию к мальчику: Одетта как бы завещала ей его. Она играла роль посредницы между обоими детьми, передавая каждому, что сказал другой. Марк в сущности ей не верил; критический ум, унаследованный от деда, защищал его от веры в такую бессмыслицу, но она волновала его воображение. Он слушал с любопытством и каким-то смутным отвращением. Увлекаясь этой нездоровой игрой, он в то же время строго осуждал Сильвию, распространяя свое презрение на всех женщин. Эта могильная атмосфера была опасна для мальчика его лет. Слишком рано было ему навязано знакомство с жуткой комедией жизни и смерти. Он как бы ощущал вокруг запах гниющих тел, он задыхался от этого запаха. И, так как ум его не был настолько развит, чтобы защищать его, то бурные жизненные силы юности проявлялись в смутных инстинктах, которые бродили в нем, как звери в ночи. Страшная стая! Можно подумать, что в силу какого-то закона эмбриологии психический организм человека в процессе развития проходит ряд самых низменных животных стадий раньше, чем вознестись на высокую ступень ума и воли. К счастью, он короток, этот период, напоминающий о нашем происхождении от диких животных. Это — шествие призраков. Самое лучшее — дать им пройти как можно быстрее и, отойдя в сторону, ничем не пробуждать их темного сознания. Но период этот не безопасен, и самая любовная бдительность не может уберечь от него ребенка, ибо маленький Макбет один видит эти призраки. Всем другим, даже самым близким, место Банко кажется пустым. Взрослые слышат бодрый голос ребенка, смотрят в его невинное лицо, не замечая опасных теней, пробегающих в глубине ясных глаз. Да и сам он, любознательный наблюдатель, едва ли подозревает о них. Как

ему распознать эти инстинкты жадности, жестокости и даже склонность к преступлению, если они явились из чуждого мира, в котором он не был рожден? Нет ни одной порочной мысли, которая не коснулась бы его в этот период жизни, которой он не попробовал бы на вкус!

Две женщины опекали Марка, и обе не подозревали, каким нравственным уродом бывает в иные минуты этот баловень, который всегда у них на глазах.

Сильвия понемногу успокаивалась. Ее рассказы о спиритических сеансах уже не звучали так таинственно, она сообщала о них теперь без волнения, мельком, без всякой навязчивости. Скоро в тоне ее даже стала заметна какая-то принужденность, а там она и совсем перестала об этом говорить и больше не отвечала на расспросы... Разочаровалась ли она и не хотела в этом сознаваться? Или усталость ее ододела? Этого Сильвия никому не открыла. Но в долгих беседах, которые она попрежнему вела с Марком, потусторонний мир занимал все меньше места и в конце концов отошел на задний план. Казалось, Сильвия снова обрела душевное равновесие. О пережитом испытании говорили постороннему глазу только некоторые перемены в ее наружности. Она постарела, и горе не только не одухотворило ее черты, а, напротив, придало им какую-то грубую телесность. Формы стали пышнее, в ней была та же грация, но больше блеска. Мощный инстинкт жизни победил мучительную тоску. И новые горести и радости, опадающие листья дней, пыль исхоженных дорог мало-помалу засыпали зияющую могилу в ее сердце.

Видимость бывает обманчива...

В семье Ривьеров жизнь опять шла обычным порядком. Но катастрофа оставила в сердцах трещину.

В жизни вселенной исчезновение ребенка — весьма малое событие. Смерть ходит среди нас и не должна была бы никого удивлять. С того дня, как мы приходим в мир, мы видим смерть за работой и привыкаем к мысли о ней. По крайней мере думаем, что привыкли. Мы знаем, что рано или поздно она придет и к нам и делает свое дело. Мы предвидим горе. Но это не только

горе, это нечто гораздо большее! Пусть каждый спросит себя, так ли это. И большинство согласится, что чья-то смерть произвела переворот в его жизни. Это — как смена эр: Ante, Post Mortem...<sup>1</sup> Исчез человек — и всей нашей жизни нанесен удар, весь мир живых, вчера бывший царством света, сегодня одевается мраком... Камешек, один камешек выпал из свода — и свод рушится! Небытие поглощает все, оно не знает пределов. Если одно малое «я» — ничто, то и всякое «я» теряет значение. Если того, что я любил, больше нет, то и я, любивший, тоже превратился в ничто, ибо я существую лишь в том, что люблю... И с его смертью внезапно обнаруживается нереальность всего, что живет и дышит вокруг нас. И все приходят к этому, но каждый по-своему: кто инстинктом, кто разумом, кто смотрит этому прямо в лицо, кто трусливо отводит глаза в сторону.

От семейного древа отломилась маленькая веточка — Одетта. Другие ветви продолжали расти и давать побеги. Но из четырех три росли искалеченными.

Меньше всего катастрофа отразилась на отце. В день похорон на него больно было смотреть, он напоминал загнанную и свалившуюся лошадь, у которой тяжело поднимаются грудь и бока. Но прошло две недели — и он уже был снова поглощен своими делами, властные жизненные потребности взяли верх над горем, он работал, ел за двоих, разъезжал — и забывал.

Из двух женщин Аннету скорее можно было принять за осиротевшую мать. Она была безутешна. Чем больше стирался в окружающей жизни след погибшей девочки, тем ее скорбь становилась острее. Одетта была ее ребенком больше, чем ребенком Сильвии. Эта дочь, не созданная ею из своей плоти, но избранница ее души, на которую она изливала весь свой запас нежности, была ей ближе родного сына. Теперь она корила себя за то, что недостаточно сильно любила Одетту, что скупилась на ласки, которые были так нужны этому ненасытному сердечку. Она внушала себе, что должна одна хранить память о девочке, потому что все другие понемногу забывают ее.

---

<sup>1</sup> До смерти, после смерти... (лат.)

Сильвия проявляла теперь странную веселость — суетливую и беспокойную. Говорила громко, пересыпая утомительный поток слов остротами и фривольными замечаниями, которые ее народец в мастерской встречал взрывами хохота, а Марк ловил на лету и тайно смаковал. Он тоже отбился от рук. Стал хуже учиться, слонялся без дела, повесничал, не упускал случая подурачиться: это была реакция души, защищавшейся от овладевшего ею ужаса. Но кто из окружающих мог угадать ✓ это? Ведь каждый из нас для других — закрытая книга. Тебя считают равнодушным, а между тем ты жаждешь открыться — и не можешь... «Нет общности страданий...»

Любовь к умершей делала Аннету несправедливой к живым. Она видела в них лишь эгоистов, которые всячески цепляются за жизнь, столкнув воспоминания на дно души, и сердилась на них за это.

Но вот однажды в воскресенье, когда Марк отправился с Леопольдом на какие-то спортивные состязания, Аннета, придя к Сильвии, нашла входную дверь открытой. Из прихожей она услышала тяжкий, долгий стон. Это Сильвия, сидя в своей комнате, говорила сама с собой и плакала. Аннета на цыпочках вышла опять на лестницу, закрыла входную дверь и позвонила. Сильвия ей отворила. У нее были красные глаза. Она пояснила, что это от насморка, и тотчас принялась болтать с шумной и грубоватой веселостью. Начала рассказывать один из скабрезных анекдотов, которых у нее всегда было в запасе множество. У Аннеты щемило сердце. Значит, все это только притворство? Но это было притворство лишь наполовину. Сильвия прежде всего старалась обмануть не других, а самое себя. Отчаяние, глубокое, беспросветное и безысходное, довело ее до какого-то шутовского, наигранного презрения к жизни. У нее оставался только один выход: забыть и носить эту маску беспечного цинизма, которая в конце концов подменила ее истинное лицо. «Все на свете — трин-трава и выеденного яйца не стоит. Честность, благородство — пустые слова!.. Не надо ничего принимать всерьез. Нет! Пользоваться жизнью и смеяться над нею! Одно необходимо — труд, потому что он — потребность и потому что без него не проживешь...»

Еще многое сохранилось в этой разрушенной жизни. Истинкты у Сильвии были сильнее разума. И хотя она как будто отметала все, Аннета и сын Аннеты крепко пустили корни в ее сердце. Они все трое были как бы слиты в одно существо. Впрочем, эта инстинктивная, почти животная любовь отлично уживалась в Сильвии с недобрыми чувствами. Сильвия, безжалостная к себе, была безжалостна и к Аннете. Она разговаривала с ней резко и насмешливо, потому что серьезность и нравственная требовательность Аннеты, ее безмолвная печаль, полная воспоминаний, раздражали Сильвию, как немой укор.

. И это в самом деле был укор. Аннета была не настолько великодушна, чтобы щадить сестру. Правда, она видела, что Сильвия бежит от горя, как дичь от собаки, и жалела ее. Она сетовала на слабость человеческую и в то же время презирала людей за то, что они, ради исцеления от горя, жертвуют самым дорогим и всегда готовы изменить своим священнейшим чувствам, чтобы усыпить жестокую и неотвязную боль. Это так сильно уязвляло Аннету еще потому, что и в ней самой громко говорила малодушная жажда жизни, и она осуждала себя за это.

Вот чем объяснялась ее суровая сосредоточенность в первые месяцы после несчастья, ее моральная нетерпимость, пессимистическая и надменная, под которой она скрывала рану сердца...

После печальной зимы снова пришла пасха. В одно воскресное утро Аннета бродила по Парижу. Небо было ярко, воздух недвижим. Погруженная в свою горе, Аннета слушала унылый перезвон колоколов. Звуки сплетались в звенящую сеть, оплетали ее душу, увлекали из потока беспечных лет на песчаный берег, где лежал распростертый мертвый бог. Она вошла в церковь. И с первой же минуты почувствовала, что ее душат слезы. Долго сдерживаемые, они хлынули теперь ручьями. Она дала им волю. Никогда еще ей не был так понятен трагический смысл этого дня пасхи. Стоя на коленях в углу придела, низко опустив голову, она слушала орган, слушала пение, гимны радости... Ах, эта радость!.. Вот так же

Сильвия смеется, а сердце плачет там, в глубине... Да, теперь она твердо знала: страдалец Христос мертв, он не воскрес! А скорбная любовь всех его близких, любовь сотен поколений тщетно стремится отрицать его смерть... Но насколько горестная правда выше мифа о воскресении, насколько больше в ней подлинной религиозности! Ах, этот вечный печальный самообман страстно любящего сердца, которое не может примириться с утратой любимого!

Аннете не с кем было поделиться своими мыслями. И, замкнувшись в себе наедине с маленькой умершей, она спасала ее от второй и более страшной смерти: забвения. Она была тверда в этой борьбе с самой собой и с другими. А так как всякая попытка насильственного воздействия на чужие мысли вызывает противодействие, то люди, которых осуждала Аннета, чувствуя себя задетыми, суровее, чем следует, порицали ее. И отчуждение между ними и ею росло.

С Марком они стали почти совсем чужие. Марк все больше и больше отходил от Аннеты. Разлад этот назревал уже давно. Но до последнего времени мальчик скрывал свое отношение, был сдержан и осторожен. Все то долгое время, которое он прожил вдвоем с Аннетой, он остерегался спорить с нею: силы были неравны, а он прежде всего хотел, чтобы его оставили в покое. И он покорно давал матери высказываться. Таким образом, она постепенно обнаруживала перед ним все свои слабости, а он не выдавал своих. Теперь, найдя союзницу в тетке, Марк не боялся уже раскрыть карты. Сколько раз, бывало, мать, сердясь на него за то, что при малейшей попытке узнать его мысли он, как улитка, уходит в свою раковину, говорила ему:

— Ну, вылезай из своей норки! Покажи хоть раз, что у тебя в башке! Или ты не умеешь говорить?

О, он умел говорить — на этот счет Аннета могла быть спокойна! И теперь он говорил... Лучше бы он молчал, как прежде!.. Что это был за упрямый спорщик! Он больше не боялся противоречить матери. Нет, он придирался к каждому ее слову. И каким дерзким тоном он возражал ей!

Это началось как-то вдруг, сразу, и, несомненно, отчасти виновата была Сильвия, коварно поощрявшая бунт племянника. Но была и более глубокая причина поведения Марка. Перемена в нем объяснялась приближением половой зрелости. Мальчик за несколько месяцев словно переродился: у него обнаружился совсем другой характер, капризные, резкие манеры. Прежняя молчаливость находила на него только приступами, и это было уже не миролюбивое, вежливое, немного лукавое молчание ребенка, желающего нравиться, — теперь в нем чувствовались враждебность и строптивость. Его невежливость, доходившая до глупости, резкий тон, необъяснимая жестокость, какой он отвечал на материнскую нежность Аннеты, больно ранили ее сердце. Достаточно вооруженная против света, она была безоружна против тех, кого любила. Каждое грубое слово сына расстраивало ее до слез. Она этого не показывала, но Марк все отлично понимал. Все-таки он не изменил своего поведения: казалось, он старался делать матери назло.

Он, конечно, постыдился бы вести себя так с чужими людьми. Но мать была ему не чужая. Он был связан с нею, и еще как! Как живой плод, который, когда придет время, выходит из материнского чрева. Он создан из ее плоти, и, когда эта плоть становится его плотью, он разрывает ее.

В Марке было много черт, унаследованных не от матери и чуждых ей. Но, как это ни странно, не они были причиной разлада между ним и ею, а именно те черты, которые были у них общими. Ревнивая жажда независимости у Марка не была еще результатом ярко выраженной индивидуальности, и во всяком сходстве с матерью ему чудилось опасное посягательство. Защищаясь от него, он старался во всем отличаться от Аннеты. Что бы она ни говорила, что бы она ни делала, он говорил и делал все наоборот. Она была нежна — он разыгрывал бесчувственного, она была откровенна — он уходил в себя. Ее горячности он противопоставлял холодность и резкость. И то, с чем Аннета боролась, то, что ее отталкивало (ах, как хорошо он знал ее натуру!), — все это его привлекало, и он спешил сообщить ей об этом. Так как

мать стояла за нравственность, этот сопляк щеголял аморальностью перед самим собой, а главное — перед другими.

— Нравственность — это выдумка! — объявил он как-то матери.

И доверчивая мать приняла это всерьез. Она приписывала все дурному влиянию Сильвии, которой нравилось вносить сумятицу в мозг этого юнца, так разумно воспитанного матерью. Бац — и горсть диких семян брошена на грядку, и разворошены тщательно выскобленные дорожки!.. Сильвия находила достаточно доводов, чтобы убедить себя, что она действует в интересах мальчика. «Бедняжка растет, как оранжерейное деревце в тесной кадке!.. Вот мы его пересадим!..» И, при всей своей любви к сестре, она с острым и жестоким удовольствием крала у нее это сердце, ее побег.

Марк, как все дети, чуткий к тому, что его касалось, подметил тайный поединок между сестрами и, конечно, старался извлечь из него выгоду для себя. С тонким коварством он оказывал явное предпочтение Сильвии и радовался, видя, что мать ревнует. Аннета уже не скрывала своей ревности. И (с большими основаниями, чем Сильвия) объясняла эту ревность тревогой за сына. Сильвия любила племянника, и у нее было достаточно здравого смысла: ее легковесная житейская мудрость стоила всякой другой, более тяжеловесной. Но мудрость эта не годилась для тринадцатилетнего мальчика, он извлекал из нее опасные уроки. Она обостряла в нем аппетит к жизни, а уважения не внушала. Когда же уважение к жизни исчезает слишком рано, — тогда беда! Сильвия никак не могла привить Марку хороший вкус — разве только умение одеваться. Она водила его в кино на дурацкие фильмы и в мюзик-холлы, а он приносил оттуда ужасающие куплеты и впечатления, которые оставляли мало места для серьезных мыслей. Это сказывалось на его занятиях. Аннета сердилась и запрещала Сильвии брать Марка с собой. Но то был лучший способ укрепить союз между теткой и племянником. Марк считал, что мать его тиранит, и скоро сделал открытие, что в наши дни роль угнетенного очень



выгодна. Аннета же на горьком опыте узнала, что положение тирана не так уж безопасно и приятно.

Теперь Марк на каждом шагу давал ей почувствовать, что он — жертва, а она злоупотребляет своей властью. Ну что ж, пусть так! Аннета твердо решила употребить свою власть на то, чтобы образумить сына. Она не желала больше выносить его легкомыслие, наглую рисовку, непристойное зубоскальство. Чтобы его обуздать, она в противовес этой распушенности стала подчеркивать свои нравственные правила. А Марку это было на руку: он давно поджидал случая поговорить с матерью на эту тему.

Однажды, возражая против какого-то запрещения матери, он сослался на мнение тетки. Аннета вспылила и сказала, что Сильвия вправе думать и делать, что хочет, и судить ее не следует, но что годится для нее, то никак не годится для него, и он не должен ей подражать. Не во всем она может служить примером.

Марк выслушал эту тираду и небрежно заметил:

— Да, но у нее по крайней мере есть муж...

В первую минуту Аннета не нашла, что ответить: она не хотела понять... Что такое он сказал? Нет, не может быть!.. Затем кровь бросилась ей в лицо. Она сидела неподвижно, руки ее, только что занятые работой, праздно лежали на коленях. Марк тоже не шелохнулся. Ему уже стало немного стыдно, и он ждал, что будет... Молчание длилось долго. Волна гнева прилила к горячему сердцу Аннеты. Но она дала ей схлынуть. Возмущение сменилось презрительной жалостью. Она иронически усмехнулась.

«Несчастный мальчик!» — подумала она и, наконец, сказала вслух, снова принимаясь за работу:

— Ты, очевидно, думаешь, что женщина, у которой нет мужа и которая сама работает, чтобы прокормить своего ребенка, менее достойна уважения?

Марк утратил всю свою самоуверенность. Он ничего не ответил, не извинился. Но он был расстроен.

В эту ночь Аннета не могла уснуть... Значит, напрасно она принесла себя в жертву! То, что ее осудил свет, — было в порядке вещей. Но он, он, которому она отдала всю себя! И как он узнал? Кто внушил ему

эту мысль? Аннета не могла на него сердиться, но была удручена.

А Марк спал спокойно. У него были некоторые угрызения совести, но сон оказался сильнее их. Хорошо выспавшись, он забыл бы и думать о них, если бы тревожный взгляд матери не вызвал их снова. Марку было неприятно, что мать не забыла о вчерашнем. Но он не мог решиться сказать ей, что ему совестно. Его это мучило, и он, по детской логике, злился на мать.

Оба не обмолвились больше ни словом о вчерашней сцене. Но с этого дня что-то изменилось в их отношениях. В привычных поцелуях чувствовалась какая-то принужденность. Аннета перестала обращаться с Марком, как с ребенком...

Откуда Марк узнал? Разговоры в лицее заставили его задуматься над тем, почему он носит фамилию матери. Давнишние намеки, подслушанные когда-то в мастерской и тогда непонятные, теперь стали ему яснее. Запомнил он и несколько замечаний Сильвии, неосторожно высказанных в его присутствии... Мать была для него загадкой; она его раздражала, и вместе с тем его волновала окружающая ее атмосфера страстей, которых он не понимал, но чуял своим щенячьим нюхом... На всем этом он строил туманные и фантастические догадки, которые не вязались одна с другой. Марка сильно занимала тайна его рождения. Как узнать ее?.. Его оскорбительный ответ на замечание матери о Сильвии был отчасти ловушкой, которую он ей расставил... Неизвестное ему прошлое матери вызывало в нем смесь любопытства и злобы. Ни за что на свете не решился бы он спросить об этом Сильвию: подозревая, что мать в чем-то провинилась, он по-своему оберегал ее честь. Но он был обижен тем, что она скрывает от него какую-то важную тайну. Эта тайна стояла между ними, как кто-то третий.

Между ними и в самом деле стоял кто-то третий. Марк и не подозревал, что в иные минуты он вызывал в памяти Аннеты образ этого «третьего», своего отца... нет, хуже, — всех Бриссо! В глухой борьбе, которая завязалась между матерью и сыном, мальчик инстинктивно вооружался тем, что находил в себе противоположного Аннете. И, таким образом, он, сам того не зная, откапы-

вал иногда и пускал в ход все черты, заимствованные из арсенала Бриссо: знаменитую снисходительную усмешку, самодовольство, легкомыслие и ханжество, неприязненное упорство, которого ничто не могло поколебать. В Марке эти черты проступали неясно, как тень, как отражение в воде. Но Анна узнавала их и думала:

«Бриссо отняли его у меня!..»

Неужели Марк и в самом деле был ей чужой? Унаследованные от Бриссо черты, то, что служило ему оружием против нее, делали его чужим. Но рука, державшая это оружие, была плотью от плоти Аннеты. Здесь шла борьба между двумя существами, слишком родственными, слишком близкими друг другу, и борьба эта была попросту одной из тысячи прихотей Любви и Судьбы.

У него не было друга. Этот тринадцатилетний мальчик целые дни проводил в классе с тремя десятками других детей, но держался в стороне от товарищей. Когда он был моложе, он охотно болтал, играл, бегал, шумел. Но вот уже года два на него находили приступы молчаливости, стремление к одиночеству. Это вовсе не означало, что ему не нужны товарищи: он в них нуждался, пожалуй, больше прежнего. Да, именно так! Потребность эта была слишком сильна, он слишком многого от них требовал и слишком много мог дать... Этот весенний куст был весь в шипах! Самолюбие его всегда готово было встать на дыбы. Всякая мелочь больно задевала его, и он этого боялся, а главное — боялся, как бы этого не заметили другие: нельзя обнаружить свою слабость и тем дать врагу козыри в руки (ведь в каждом друге скрывается враг).

То, что он угадал (или, вернее, вообразил) относительно своего рождения и прошлого матери, держало его в нелепом состоянии какой-то угрюмой неловкости. Почерпнув из книг некоторые сведения, он понял, что он «внебрачный» ребенок. (В романтических книгах, которые он читал, употреблялось другое слово, грубее и выразительнее.) В конце концов незаконное рождение стало для Марка предметом гордости, и он уже готов был увидеть в этом архаическом обидном слове оттенок

какого-то благородства. Он считал себя не таким, как все, интересным, одиноким, даже обреченным. Он не прочь был занять место среди демонических героев Шиллера и Шекспира, таких же незаконнорожденных, как и он. Это обстоятельство давало и ему право презирать «свет» и выражать свое презрение в высокомерных тирадах — конечно, *in petto*<sup>1</sup>.

Но когда Марк оказывался на этом «свете», то есть в классе, среди товарищей, он был робок, подозрителен, угнетен своей тайной и боялся, как бы ее не узнали. Его странное поведение, «роковое» выражение лица, тонкий ломающийся голос, легко краснеющее девичье личико и задор молодого петушка — все привлекало внимание других мальчиков и вызывало насмешки. Один из этих шалопаев даже стал полущутя, полусерьезно приставать к нему с гнусными предложениями. Марка это потрясло. Его ярость и омерзение были так сильны, что от волнения он ночью даже заболел. Он не хотел больше ходить в лицей, но как объяснить матери причину? Он решил, что сам, без ее помощи, заставит себя уважать. В смятении он твердил мысленно:

«Я его убью».

Марк был в том возрасте, когда у мальчиков пробуждаются половые инстинкты. Они его волновали и пугали. Мать, до странности целомудренная, ничего не видела и не знала. А он умер бы со стыда, если бы она узнала. И одинокий, презирая себя, теряя голову, он покорялся ужасным требованиям постыдного инстинкта... Что может сделать ребенок, бедный ребенок, отданный во власть этим стихийным силам? Жестокая мучительница-природа зажигает в теле тринадцатилетнего человека пожар, и огонь этот, не находя пищи, пожирает его самого. Если у мальчика хорошие задатки, он может спастись, впад в другую крайность: аскетическую экзальтацию души, которая часто разрушает тело. Молодежь того времени была счастливее своих отцов — она уже начала прибегать к мужественному искусству спорта. Марк был бы рад последовать примеру других, но и тут природа была против него: она не наделила его нужными

---

<sup>1</sup> про себя (итал.).

для этого физическими силами. Ах, как он завидовал здоровым и сильным! Как ревниво ими любовался! Его восхищение походило на ненависть... Никогда ему не быть таким, как они!..

Желания, всякие желания, чистые, нечистые, — полнейший хаос... Они терзали его, как злые духи... И он стал бы игрушкой судьбы — ничто не могло бы спасти его, если бы не заложенные в нем здоровая нравственность и честность, более того: бессознательное благородство, искра священного огня, результат трудов, мужества и долготерпения лучших представителей рода, то, что не выносит грязи и бесчестия, не допускает позорного падения, то, что помогает человеку распознавать обостренным чутьем все дурное и низкое и вытравливать его в себе, извлекая из самых сокровенных тайников мысли. А если он не всегда может уберечься от грязи, то всегда осуждает ее, осуждает, бичует и карает себя...

Да здравствует Гордость!.. Sanctus!..<sup>1</sup> Для таких натур, как Марк, гордость — это залог душевного здоровья. Она — утверждение божественного начала в самой низменной натуре, она — источник спасения. Если бы не гордость, разве человек одинокий, не знающий любви, стал бы бороться с низменными желаниями? К чему было бы бороться, если бы он не верил, что должен оберегать какие-то высшие ценности и ради них победить или умереть?

Марк хотел победить. Победить то, что ему было и понятно и непонятно. Победить нечто, еще не узнанное, но внушающее ему отвращение. Победить загадку жизни и то низменное, что есть в нем самом... Увы, и тут, как и во всем, он терпел бесчисленные поражения! Пытался работать, читать, взять себя в руки, но изменял себе, чувствовал, что распускается. Все то же проклятое слабование!.. Нет, сила воли у него есть, но она еще не развита, ее недостаточно, чтобы добиться того, чего он хочет, что поставил себе целью. То его мучает любопытство и желания, здоровые и нездоровые, и со всех сторон осаждают соблазны, то он впадает в какое-то бесчувствие и ничем не способен заняться, ни на чем сосре-

---

<sup>1</sup> Да святится!.. (лат.)

доточиться. Он упускает настоящее, слишком забегая вперед. Его уже заботит будущее, выбор профессии. Он знает, что это надо решить как можно раньше, но он еще не может остановиться ни на чем, мечется между всеми возможностями, все ему интересно, — и в то же время безразлично, одинаково влечет и отталкивает. Он сам не знает, чего хочет, он даже не способен сейчас хотеть или не хотеть. Внутренний механизм еще не налажен. Он бросается вперед — и вдруг застревает на месте или натывается на что-то и снова оказывается на дне.

Тогда он исследует дно. Этот страдающий мальчик скорее, чем кто бы то ни было, способен почувствовать пустоту и скуку эпохи, стремящейся навстречу гибели. Он испытывает острое ощущение, что у ног его зияет пропасть...

А мать ничего не замечает. Она видит перед собой подростка, в котором еще много ребяческого. Видит угрюмого, требовательного, строптивого, болезненно-обидчивого ломаку и любителя громких фраз. То он щеголяет непристойными выражениями, то вдруг пугается малейшей скабрзности. Больше всего раздражает Аннети его зубоскальство. Она и не подозревает, сколько горечи в этих насмешках. Еще менее догадывается она, что это с его стороны вызов обиднице-судьбе. Мальчик остро чувствует себя обделенным: ведь он слаб, некрасив, он — бездарное ничтожество! Таким он себя считает и, окончательно пав духом, прибавляет к действительным своим недостаткам кучу выдуманных. Он словно ищет, чем бы еще себя унизить... Вот мимо проходят две молоденькие работницы. Они смеются — и Марк уверен, что смеются над ним. Ему и в голову не приходит, что девушки заигрывают с ним, что его покрасневшая рожица испуганной девочки вовсе не кажется им такой уж некрасивой... Он читает в глазах учителей мнимую презрительную жалость к посредственному ученику... Он уверен, что те его товарищи, которые крепче и сильнее, презирают его за слабость и догадываются о его трусости. Из-за своей крайней нервности он бывает иногда малодушен и со свойственной ему честностью признается себе в этом и считает себя опозоренным. Чтобы себя наказать, он тайно от других затевает всякие опасные без-

рассудства — при этом его прошибает холодный пот, но зато он чуточку реабилитирован в собственных глазах. Этот юный Никомед часто смеется над собой и своими поражениями. Но он зол на жизнь, сделавшую его таким, каков он есть, и больше всего зол на мать.

А мать не понимает, откуда эта враждебность. «Какой эгоист! Он думает только о себе...»

Только о себе? Но если он не будет думать о себе, что из него выйдет? Если он не будет защищаться сам, кто же его защитит?

Так мать и сын живут рядом, одинокие, замурованные каждый в себе. Время нежностей миновало. Аннета начинает повторять жалобу всех матерей:

— Он гораздо сильнее меня любил, когда был маленьким!

А Марк приходит к заключению, что матери любят детей лишь для собственного удовольствия, что каждый любит только себя...

Нет, каждый из них хотел любить другого! Но когда человек в опасности, он вынужден думать о себе. О других он будет думать потом. Как спасешь другого, если не спасешься сам? А спастись самому невозможно, если другой висит у тебя на шее.

Когда сын стал ее чуждаться, Аннета, как и он, ожесточилась. Сознательно закрыв сердце для любви, раз не на кого было ее излить, она стремилась теперь утолять умственный голод и свою потребность действовать. Она работала весь день, по вечерам читала, а ночью крепко спала. Озлобленный Марк и завидовал этой спокойной женщине и презирал ее за здоровье, за то, что она, как ему казалось, не способна ничем терзаться.

А между тем Аннета страдала оттого, что ей не с кем делиться мыслями. Она заполняла пустоту работой, искала забвения в деятельности... Но работа ради работы не заполняет пустоты в душе... И на что отдать бесполезные силы, которые она ощущала в себе?

Отдавать!.. Ах, эта потребность давать, жертвовать собой!.. Аннета встречала ее на каждом шагу, и часто она вызывала в ней только жалость, а иногда была

просто нелепа. Наблюдательная Аннета постоянно изучала лица и характеры. Она отвлекалась от собственных горестей, вникая в горести других людей. Впрочем, быть может, в этот период ее жизни, когда сердце ее окаменело (так она воображала), зрелище человеческих страданий, а в особенности поражений и отречений, возбуждало в ней скорее любопытство, чем жалость.

Среди женщин, которые, как и она, вели борьбу с обществом, пытаясь вырвать у него хотя бы скудные средства к существованию, было много загубленных не столько жестокостью жизни, сколько собственной слабостью и самоотречением. Почти все жертвовали собой ради какой-нибудь привязанности и не могли без этого жить. Можно было подумать, что в этом самоотречении весь смысл их жизни, но оно же сводило их в могилу...

Одна жертвовала собой ради старой матери или эгоистичного отца. Другая — ради пошляка-мужа или неверного любовника. Третья («Вот как я!» — думала Аннета) — ради ребенка, который ее совсем не любит, который забудет ее, который завтра, быть может, от нее отвернется... «Ну, так что же? Если даже быть обманутой, брошенной, забытой им — для меня радость!.. Если мне приятно получать от него колотушки!..» О, смешка, о, самообман!.. «А другие женщины, те, которым не для кого жить, как еще нам завидуют! Им семью заменяют собака, кошка, птичка — у каждой свой кумир! Уж если им непременно нужно кому-нибудь поклоняться, так лучше бы господу богу! По крайней мере высшее существо... У меня тоже есть свое божество, неведомый бог, моя собственная правда, и эта страсть, которая заставляет меня ее искать, может быть, тоже самообман? Но это я узнаю только тогда, когда приду к цели. Если даже это обман, то по крайней мере возвышенный, — он стоит жертв...»

Аннета восставала против бессмысленности некоторых жертв. «Нет, природа не хочет, чтобы лучший приносил себя в жертву менее достойному! А если она этого и хочет, зачем я буду ей подчиняться? Нет, нет, она этого не требует! Она учит нас отрекаться от себя во имя лучшего, высшего и более сильного...»



Жертвовать собой во что бы то ни стало, ради достойного или недостойного — пожалуй, даже лучше ради гедостойного, потому что тогда эта жертва значительнее, тогда это жертва ради жертвы... Да, это согласно с представлением некоторых людей о боге... *Credo quia absurdum...*<sup>1</sup> Каков господин, таковы и слуги!.. Это тот самый бог, что уже на седьмой день почил от трудов, считая, что сделал все, и сделал хорошо. Если бы люди его слушались, воз жизни остановился бы после первого оборота колеса. Весь прогресс в мире происходит против воли этого бога... *Fiat*<sup>2</sup>. Будем толкать вперед свой воз! И даже под страхом, что он нас раздавит, я хочу, чтобы он двигался!

Одно печальное знакомство еще усилило возмущение Аннеты против бессмысленных жертв (что она знала о них?), которые люди более достойные приносят менее достойным.

Хлопоча в свое время о месте преподавательницы на курсах для иностранск в Нейи, она оказалась конкуренткой одной молодой женщины, и ей понравилось лицо этой женщины, грубоватое, но энергичное. Аннета пробовала завязать разговор, но та отнеслась к ней недоверчиво и, видимо, думала только о том, как бы устранить соперницу с дороги. В то время Аннета еще не привыкла к такого рода борьбе, глубоко ей противной, и не умела защищаться. Желая расположить к себе соперницу и приобрести нового друга, она даже уступила ей место. Та не выразила никакой благодарности, все ее мысли были заняты только погоней за заработком. Она напоминала муравья, который вечно спешит, хлопчет, занят только накоплением. Аннета ее ничуть не интересовала.

После этой встречи Аннета потеряла ее из виду. А когда шесть лет спустя случай снова столкнул их, обе были уже не те, что прежде. Аннета теперь не склонна была проявлять великодушие к конкурентам или излиш-

---

<sup>1</sup> Верю, потому что это бессмысленно... (лат.)

<sup>2</sup> Да будет (лат.).

нюю щепетильность. Она говорила себе: «Такова жизнь, и я не могу ее изменить. Я хочу жить и в первую очередь должна думать о себе...»

Началась борьба. Она была недолга. После первого же выпада противница Аннеты получила нокаут... Как она постарела за эти шесть лет! Аннету поразило это быстрое разрушение. Она помнила брюнетку с розовыми щеками, на которых две-три родинки чернели, как изюминки в булке, крепкую, коренастую крестьянку с резкими, торопливыми движениями, с тонкими, суховатыми чертами, которые были бы довольно приятны, если бы не хмурое выражение и упрямый лоб. А теперь она увидела худое, морщинистое лицо, суровый взгляд, горькие складки у рта, втянутые щеки — молодая женщина увяла, как спаленная солнцем трава.

Обе — и Аннета и Рут Гильон — добивались места секретаря у одного инженера. Здесь нужно было работать два дня в неделю — разбирать деловую корреспонденцию и принимать посетителей. Аннета застала Рут в прихожей, они обменялись враждебными взглядами. Рут сказала:

— Вы насчет места? Оно обещано мне.

Аннета ответила:

— Мне оно не обещано, но я пришла предложить свои услуги.

— Напрасно. Место достанется мне.

— Напрасно или нет, но я поговорю. А там пусть берут, кого захотят.

Через несколько минут Аннету позвали в кабинет, и инженер выбрал ее. Ее уже знали как добросовестную и толковую работницу.

Выходя, она наткнулась на Рут и с холодным видом прошла мимо. Та остановила ее, спросила:

— Приняты?

— Да.

Аннета видела, как вспыхнуло лицо Рут, и ожидала резких слов. Но Рут не сказала ничего. Она вышла вслед за Аннетой, спустилась вниз. На улице Аннета обернулась и бросила быстрый взгляд на побежденную соперницу. Убитый вид Рут тронул ее. И, вопреки своему решению быть жесткой, она подошла к Рут и сказала:

— Мне очень жаль... Но что делать, жить-то надо!

— Ну, конечно! — отозвалась Рут. — Другим везет, а мне никогда.

Она говорила уже совсем другим тоном — уныло, но без всякой неприязни. Когда Аннета хотела взять ее за руку, Рут отодвинулась.

— Полно, не огорчайтесь! Сегодня не повезло, завтра повезет.

— Нет, мне не везет никогда.

Аннета напомнила ей об их первой встрече, когда работу получила Рут. Рут молчала и с мрачным видом шла рядом с Аннетой.

— Не могу ли я чем-нибудь вам помочь? — спросила Аннета.

Снова краска залила лицо Рут. От оскорбленного самолюбия или от волнения? Она сказала сухо:

— Нет.

Аннета настойчиво продолжала:

— Я была бы очень рада...

И дружески взяла ее под руку. Рут, захваченная врасплох, нервно прижала к себе ее руку и отвернулась, закусив губу. Потом сердито вырвалась и ушла.

Аннета дала ей уйти, но долго еще следила за ней глазами. Она понимала эту женщину. Да, мы не имеем права навязывать свою жалость тому, кто ее не просит...

Через несколько дней, войдя в молочную, Аннета увидела там Рут Гильон, что-то покупавшую, и протянула ей руку. На этот раз Рут Гильон подала ей свою, но с ледяным видом. Впрочем, она пыталась быть любезной, сказала несколько обычных фраз. Аннета, довольная уже и этим скромным успехом, поддержала разговор. Они говорили о ценах на продукты. Аннета в душе была удивлена тем, что Рут истратила больше, чем она, на свежие яйца и сгущенное молоко. Рут, точно хвастаясь, платила деньги у нее на глазах. Выходя, Аннета заметила:

— Как все стало дорого!

И, как бы оправдываясь в том, что покупает яйца, добавила:

— Это для моего мальчика.

Рут все с тем же оттенком хвастовства отозвалась:

— А я покупаю для мужа.

Аннета, ничего не зная о жизни Рут, спросила:

— Что, он хворает?

— Нет, но у него очень слабое здоровье.

И с гордостью стала объяснять, как много заботы требует здоровье ее мужа. Зная уже, что она подозрительна и самолюбива, Аннета не задавала никаких вопросов и ждала, пока Рут сама станет откровеннее. Но Рут больше ничего не рассказала, и они уже стали прощаться, как вдруг Аннета вспомнила, что может предложить Рут работу — редактирование книги одной иностранки. Работу эту поручили ей, но у нее не было свободного времени. Рут сразу стала с живостью благодарить ее, сказав, что деньги ей очень нужны. Аннета спросила ее адрес на случай, если для нее найдется еще какая-нибудь работа. Рут, казалось, была в нерешимости, ответила уклончиво. Тогда Аннета уже с раздражением сказала:

— Ведь это для вашей же пользы! Ну, хорошо, тогда запомните на всякий случай, где живу я...

И она сказала ей свой адрес. Рут очень неохотно сообщила свой. Аннета, задетая за живое, про себя решила больше не хлопотать о ней.

Однако спустя несколько недель Рут сама пришла к ней. Сначала извинилась за свою нелюбезность. И в этот день рассказала кое-что о себе (правда, немного).

Она была дочь богатого крестьянина, но с отцом поссорилась, так как он противился ее желанию уехать в Париж и стать учительницей. Отец больно задел ее самолюбие, и она поклялась, что никогда не примет от него никакой помощи. Она хотела жить своим трудом. И надорвалась. Энергии у нее было много, но умственная работа ее утомляла. Она трудилась над книгами, как лошадь на пахоте. Кровь прилиwała к голове, стучала в висках, часто приходилось бросать занятия. В конце концов у нее развилась неврастения, помешавшая ей держать экзамены. Пришлось ограничиться частными уроками. Она с трудом ухитрялась зарабатывать ими столько, чтобы кое-как прожить. Потом она влюбилась и вышла замуж за человека, который стал для нее только лишней обузой. Впрочем, об этом она и

словом не обмолвилась. Аннета узнала это позднее и не от нее, но была достаточно умна, чтобы уже во время первого посещения Рут угадать часть правды. Осторожно расспросив новую знакомую, она узнала, что ее муж — человек без определенных занятий. Рут объясняла, что он «интеллигент», «артист», «писатель», но так и осталось неясным, что же именно он пишет. Стихи? В поэзии Рут понимала не больше, чем любая провинциальная мешаночка, но относилась к ней с почтением.

Рут совсем не стремилась познакомить Аннету со своим «артистом». Она держала его взаперти. Сама же с этого дня стала бывать у Аннеты чаще, даже слишком часто. В конце концов она начала надоедать ей доказательствами своей дружбы, приносила цветы, оказывала всякие знаки внимания, далеко не всегда удачные и только раздражавшие Аннету. Страстная душа Рут в своих чувствах не знала меры: все или ничего! У нее никогда не было подруги, она никогда никому до сих пор не открывала сердца. И, решив подружиться с Аннетой, совершенно ею завладела. А той эта привязанность скоро стала в тягость, и она поняла, что и для мужа любовь Рут, должно быть, нелегкое бремя.

Наконец, ей неожиданно удалось узреть сокровище Рут: в этом жалком, бесцветном субъекте с мутными голубыми глазами она сразу заподозрила тайного любителя абсента. Очень тщеславный, но не уверенный в себе и весьма недалекий, он явно волновался, не зная, какое впечатление произвел на гостью. Желю он совсем не любил, но находил, что очень удобно быть предметом нежных забот, и, делая унылую мину, томно жаловался на здоровье, с горечью распространялся о своем непризнанном таланте, о черной зависти собратьев по перу... Аннета своими пронизательными глазами видела его насквозь. С нею он был осторожен и, уловив иронию в ее молчании, быстро умерил свои иеремиады. Но Рут внимала ему с открытым ртом, неспособная ни на какую критику, гордая, как Артабан...<sup>1</sup> «Пусть себе тешится

---

<sup>1</sup> Герой романа Ла Кальпренеда «Клеопатра» (1647); гордость его вошла в поговорку. — *Прим. ред.*

своими иллюзиями! Ей нужно кого-нибудь любить, нужен муж, чтобы нянчиться с ним. У нее душа преданной служанки, она готова лежать у его ног...» Однако между Рут и ее мужем происходили иногда бурные ссоры. Раз, поднимаясь по лестнице, Аннета услышала плачущий голос «поэта». Он стонал и охал, а Рут била его по щекам.

Аннета уже не сомневалась, что этот бездельник проматывает большую часть заработков Рут. Он пил, играл на скачках. Но Рут никогда не жаловалась. Она отказывала себе во всем, чтобы накопить денег на издание книжки его стихов. Но он не очень-то спешил их написать. И однажды, сосчитав свои сбережения, Рут обнаружила, что Жозе украл три четверти: он сам себя обокрал!

В тот день гордость ее была сломлена, и она откровенно рассказала Аннете о своем горе. Она не стала бы жаловаться, если бы дело шло о ней одной. Но столько лет она выбивалась из сил ради него (она сказала «ради его славы»), а он своими руками все разрушил!..

Одно признание влечет за собой другое. Скоро Аннета узнала почти все о тяжелой жизни Рут. Здоровье ее было надорвано, она таяла с каждым днем. Она уже не могла больше скрывать от Аннеты свои мысли. Перед смертью у нее открылись глаза, она поняла, что этот человек — ничтожество, что он никогда не любил ее. Жозе теперь почти не бывал дома — он старался улизнуть, так как общество больной и печальной жены не доставляло ему никакого удовольствия.

Когда настали ее последние дни, Рут уже больше себя не обманывала. Все-таки она с искренней гордостью уверяла, что ни о чем не жалеет, что готова была бы все пережить снова...

— Это меня убило. Но я жила этим.

Она ни во что не верила, ничего не ждала ни на этом, ни на том свете...

Рут умерла от кровоизлияния в мозг. Аннета была одна у постели умирающей.

Жозе, увидев, что конец близок, убежал и только через некоторое время с испуганным видом появился в комнате. Огорчение его длилось недолго. Похныкав, он первым делом сказал:

— Господи, что же теперь будет со мной?

Аннета ответила:

— Найдете себе другую, которая будет вас содержать...

Жозе посмотрел на нее с ненавистью.

Тем не менее он не возражал, когда Аннета из своего кармана заплатила за похороны.

Сидя у изголовья умершей, Аннета думала:

«Вот! Сколько в ней было гордости, силы воли, аскетической самоотверженности!.. А для чего? Что за нелепость! Отдать все такому скоту!.. Бедная Рут! В ней было мало жесткости... Надо быть жестче!..»

То была реакция против обольщений сердца, проклятого сердца, которое только и делает, что нас обманывает!.. Ум и тело знают, чего хотят, а сердце слепо. Аннета говорила себе, что должна быть его поводом... Она восстала против любви, против самоотречения, против доброты...

В жизни каждого из нас, как и в жизни общества, сменяются моды на чувства. Они не повторяются — можно сказать, что их неодинаковость является основным законом. Пока господствует та или иная мода, все свято следуют ей и с презрением относятся к нелепым устаревшим модам, твердо веря, что та, которой они следуют, есть и всегда будет самая лучшая. Аннета в этот период увлекалась модой на жесткость...

Но по какой моде ни одевайся, человек всегда остается тем, что он есть. Он не может обходиться без других людей. Самый гордый нуждается в привязанности. И чем больше обстоятельства вынуждают его замыкаться в себе, тем скорее коварная злодейка-мысль готова его предать.

Аннета казалась себе очень сильной. Сильной жизненным опытом, твердостью и умом, трезвой практичностью. Теперь она была уверена, что живет именно так, как хотела; конечно, приходится трудиться, но ведь и на это тоже она пошла по доброй воле. Она больше не боялась остаться без работы, не нуждалась

ли в чьей помощи. И ей было решительно все равно, нравится это людям или не нравится.

В последнее время Аннете приходилось конкурировать уже не с женщинами, а с мужчинами, потому что она стала давать уроки мальчикам, готовить их к вступительным и переходным экзаменам в лицее. С этим делом она справлялась хорошо, но вместе с ее успехами росла и вражда к ней тех, кто из-за нее оставался за бортом. Эти люди считали себя обворованными. Тут уж было не до рыцарской галантности! Бесцеремоннее и грубее других были женатые мужчины: их подзуживали жены. Против Аннеты пускали в ход всякую клевету: чего только про нее не выдумывали, объясняя, какими способами она захватывает самые выгодные уроки! А она улыбалась строгой пленительной улыбкой и шла своей дорогой, презирая мнение людей.

Но на дне души незаметно скоплялась усталость от долгих лет беспощадного труда и борьбы. Ей давно пошел четвертый десяток. Годы проходили, ничто не могло удержать их. И глухое возмущение поднималось в душе Аннеты... Пропала жизнь, прошла без любви, без настоящего дела, без красоты, без могучей радости!.. А ведь она была создана для того, чтобы всем этим наслаждаться!..

Но к чему об этом думать? Слишком поздно!

Так ли это? Поздно ли?



## Часть третья

У Соланж было круглое, простодушное личико, как у мадонн на старинных картинах, немного старообразное и в то же время детское. Смеющиеся глаза, окруженные морщинками, милый носик и губки бантиком, тяжеловатый подбородок, нежная кожа и яркий румянец на щеках. Она любила рассуждать о серьезных вещах с усиленным глубокомыслием, таким забавным на этом добродушном смеющемся лице, с которого Соланж усердно старалась согнать веселое выражение. Говорила она всегда быстро, боясь потерять нить своих важных мыслей. И действительно, случалось, что она вдруг умолкала, не докончив фразы, с ощущением пустоты в голове: «Что я хотела сказать?..»

И слушатели редко подсказывали, потому что они ее совсем не слушали. Но болтовня ее никого не раздражала. Соланж была не из тех говорунов, которые настойчиво требуют внимания к своим нудным рассуждениям. Она была не спесива и готова даже кротко извиняться перед другими, что нагоняет на них скуку. Неспособная продумать до конца ни одной мысли, она имела наивную склонность к умствованиям и отличалась огромным усердием. Из ее усилий ничего путного не выходило: мысли застревали на полдороге, серьезные книги — Платон, Гюйо, Фулье — неделями, а то и месяцами лежали раскрытыми на той же самой странице. Книги, излагавшие прекрасные и великие мысли, идеальные альтруистические проекты общественной помощи или новые системы воспитания, были для Соланж игрушками, которыми она тешила ум. Она быстро о них

забывала, и они валялись по углам и под стульями, пока случайно не попадались ей опять на глаза. Эта добрая мещаночка, всегда приветливая, милая и хорошенькая, рассудительная и уравновешенная, чуточку чопорная, но никого этим не стеснявшая, — словом, очень приятная, искренно воображала себя женщиной с высокими умственными запросами, на самом же деле она только любила рассуждать об идеалах и тому подобных вещах в одних и тех же выражениях, всегда одинаково спокойно, тактично, благопристойно, гладко и совершенно бессодержательно.

Соланж была на три-четыре года моложе Аннеты и когда-то питала к ней ту необъяснимую симпатию, которая влечет людей безобидных и простых к опасным натурам. Правда, это обычно бывает любовь на расстоянии. Действительно, в лице Соланж мало общалась с Аннетой, так как они учились в разных классах. Но достаточно было встреч в коридоре и некоторых отголосков жизни «старших», доходивших до маленькой Соланж, чтобы она стала издали робко обожать Аннету. А та об этом и не подозревала. По выходе из лицея Соланж совершенно забыла Аннету. Она вышла замуж и была счастлива — ей для счастья немного было нужно: только, чтобы муж не был ни уродом, ни человеком с сильными страстями, а Виктор Мутон-Шевалье, благодарение богу, не был ни тем, ни другим. Он был скульптором по профессии, но, имея ренту и богатую жену, отводил немного места в жизни мукам творчества. Не лишенный вкуса, он не испытывал, однако, особой потребности воплощать в своем искусстве что-либо иное или в иной форме, чем это делали его знаменитые собратья всех эпох. Ему чуждо было честолюбие и мелкие чувства (а быть может, и всякие другие), и потому он вполне удовлетворялся сознанием (во всяком случае, льстил себя надеждой), что его идеи с такой полнотой и совершенством выражены другими — Микеланджело, Роденом, Бурделем или менее крупными мастерами (ибо он был эклектик и заимствовал от всех понемногу). При такой счастливой судьбе не стоило бы утруждать себя и творить самому, но лестная иллюзия, что и он — член великого братства художников, обостряла вкус к жизни. Виктор тешил себя мыслью, что и

к нему люди питают то умиленное почтение, какое он считал своим долгом выказывать корифеям искусства, сожалея о невзгодах, которые они встречали на своем пути. Такие невзгоды знал и он — правда, больше понаслышке. И он силился придать своей веселой физиономии выражение суровой меланхолии, когда слушал «Патетическую сонату», которую усердно брэнчала на пианино его жена (ведь Бетховен тоже принадлежал к великому братству). Соланж дала ему все то, чего он искал в брачной жизни. Спокойная привязанность, нетребовательная доброта, кроткий и ровный характер, терпимость, комнатный идеализм, который боится ветра и дурной погоды, склонность всем восторгаться, которая делает жизнь такой удобной! Короче говоря, тайным идеалом Соланж и ее супруга было то, что можно выразить одним словом — покой... И денежные средства и душевные особенности обеспечивали им этот покой. Никакие материальные заботы не грозили им, и можно было не опасаться, что они впустят какую-либо иную заботу в свой мирный дом.

Однако они пустили в дом Аннету. Если бы они могли подозревать, какие бури таила в себе эта Frau Sorge<sup>1</sup>, они бы ужасно всполошились. Но об этом супруги Мутон-Шевалье так ничего и не узнали: они, как дети, играли с динамитом. Знай они, что держат в руках, они обезумели бы от страха. Но, ничего не подозревая и вволю наигравшись, они без всяких дурных намерений любезно подбросили этот динамит в сад к друзьям. Они подбросили Аннету в сад Вилларов.

Встретившись с Аннетой, Соланж сразу убедилась, что в ней ожили прежние чувства: она снова влюбилась в Аннету. Ей, как и всем, была известна «недопустимая» история Аннеты. Но Соланж была добра, и если в чувствах ее не было глубины, зато не было в ней и чрезмерного ханжества, поэтому она не осуждала Аннету. Надо сказать, что она не совсем ее понимала. С той снисходительностью, которая была самой симпатичной чертой

---

<sup>1</sup> Госпожа Забота (нем.).

этой милой женщины, Соланж решила, что Аннета либо была обманута и брошена, либо имела серьезные причины поступить так, как она поступила. Во всяком случае, это ее личное дело и никого не касается. Решив так, Соланж восстала против мнения света. После встречи с Аннетой она все разузнала о ней и пришла в восторг от ее мужества и самоотверженности. Это было одно из тех очередных увлечений, которые на время вытесняли из сердца Соланж все другие чувства. Для ее мужа, с которым она поделилась своими восторгами, это был лишний повод к умилению — он умилялся благородному сердцу Аннеты, а заодно и благородству своей жены и своему собственному. (Ведь восторгаться нравственной красотой ближнего — это лучший способ доказать свою собственную.) Оба супруга полны были самых благих намерений. Между ними было решено, что нельзя оставлять в одиночестве, без моральной поддержки эту бедную женщину, жертву общественной несправедливости. И супруги Мутон-Шевалье, одолев шесть этажей, пришли навестить Аннету. Они застали ее врасплох, в хлопотах по хозяйству, и этим она их еще больше растрогала. А ее холодность они приписали благородному чувству собственного достоинства. Они ушли только после того, как добились от Аннеты обещания, что она с мальчиком придет к ним запросто обедать в ближайший вечер.

Аннета не очень-то радовалась этому возобновленному знакомству. Ее раздражала всякая пошлость и приторность. Годы душевного одиночества развили в ней чутье дикарки. Надолго удаляться от общества вредно: / потом трудно бывает в него вернуться, слишком остро различаешь под цветами запах тления. В уютном мирке Мутон-Шевалье Аннете было как-то не по себе, их семейное счастье не вызывало в ней зависти. «Благодушный, благодушный, благодушный», — как говорит Мольер. «Нет, спасибо, это не для меня!..» Аннета была в том состоянии, когда жаждешь ощутить резкое дыхание жизни...

И желанию ее суждено было исполниться! Добренькая Соланж скоро доставила ей такую возможность...

Аннета одевалась, чтобы идти на обед к Соланж. В этот вечер ей предстояло встретиться там с друзьями четы Мутон-Шевалье, о которых Соланж успела прожужжать ей все уши, — врачом Вилларом, модным тогда хирургом, пользовавшимся в Париже громкой известностью, и его прелестной молодой женой. Аннета волновалась: «А может, не пойти?..» Она уже хотела было послать Соланж записку с извинениями. Но Марк, которому наскучило сидеть дома с глазу на глаз с матерью, радовался всякой возможности пойти куда-нибудь, и Аннете не хотелось лишать его развлечения. Притом она находила свое волнение нелепым: «В чем дело? Что меня тревожит?..» Ее мучило дурное предчувствие. Какой вздор! Она пожала плечами. Победил трезвый ум, уживавшийся в ней с непокорными инстинктами. Аннета кончила одеваться и под руку с сыном отправилась к Соланж.

Суеверное предчувствие скоро оправдалось. В том, что наши предчувствия сбываются, нет никакого чуда. Ведь предчувствие — это предрасположение к чему-то, что мы боимся пережить. Следовательно, предупреждая нас о будущем переживании, инстинкт действует не как чародей, а скорее как искатель подземных родников, который уже по легкому сотрясению почвы узнает, что в этом месте подпочвенные воды прорывают земную кору.

На пороге гостиной предчувствие опять кольнуло Аннету. Но она только сдвинула брови и, войдя, сразу успокоилась. Еще раньше чем Соланж представила ей Филиппа Виллара, она с одного взгляда решила, что он — неприятный человек. И почувствовала какое-то облегчение.

Филипп был далеко не красавец: мужчина небольшого роста, коренастый, с выпуклым лбом, нависшим над глазами стальной синевы, с сильно развитыми челюстями и остроконечной бородкой. Он хорошо владел собой, и в его холодной учтивости было что-то властное. За столом он сидел рядом с Аннетой и, участвуя в общем разговоре, который поддерживала Соланж (по своему обыкновению перескакивая с одного предмета на другой), в промежутках беседовал со своей

соседкой. Говорил он обо всем коротко, четко и решительно: никакой заминки ни в словах, ни в мыслях. Чем больше слушала его Аннета, тем больше росла в ней неприязнь к этому человеку. Отвечая ему, она старалась скрыть ее под маской холодного равнодушия. А он, казалось, не придавал большого значения тому, что она говорила, — вероятно, он судил о ней по глупым похвалам Соланж. Его манера держать себя граничила с невежливостью. Это никого не удивляло — все привыкли к его резкости. Но Аннету она раздражала. Делая вид, что не смотрит на Виллара, она искоса наблюдала за ним, изучала черту за чертой — и ни одна ей не нравилась. Но общее впечатление не слагалось из отдельных наблюдений, и, окончив свой спокойный хладнокровный осмотр, она вдруг ощутила прежнее беспокойство. Движение руки Филиппа, морщина на лбу... Да, она боялась этого человека! Она подумала: «Хоть бы он не смотрел на меня!»

Соланж заговорила об одном писателе, который, как она выразилась, «обладает даром вызывать слезы».

— Хорош дар! — заметил Филипп. — Слезы и в жизни теперь недорого стоят. А уж в искусстве нет ничего противнее слезливости!

Дамы шумно запротестовали. Г-жа Виллар сказала, что слезы — одно из утешений жизни, а Соланж — что это «алмазы, украшающие душу».

— Ну, а вы что же не возражаете? — спросил Филипп у Аннеты. — Тоже запасаетесь слезами от поставщиков?

— С меня своих довольно, я в чужих не нуждаюсь.

— Питаетесь, значит, из собственного запаса?

— А вы знаете средство избавить меня от них?

— Будьте жестки!

— Учусь! — ответила она.

Филипп искоса глянул на нее.

Разговор вокруг продолжался.

— Вот кого надо этому научить! — сказал Филипп Аннете, взглядом указывая на Марка, чье подвижное лицо простодушно выдавало чувства, которые возбуждала в нем соседка за столом, красивая г-жа Виллар.

— Боюсь, что он и так уж чересчур к этому склонен, — отозвалась Аннета.

— Тем лучше!

— Но не для тех, кто стоит у него на дороге.

— Пусть шагает через них!

— Вам легко говорить!

— А вы отойдите в сторонку, вот и все.

— Ну, нет, это было бы противоестественно.

— Вовсе нет. Противоестественно как раз обратное — слишком сильно любить.

— Как? Своего ребенка?

— Кого бы то ни было, а своего ребенка в особенности.

— Но я ему нужна!

— Посмотрите на него! О вас ли он думает? Он готов отказаться от вас за одну крошку, которую моя жена позволит ему съесть из ее рук.

Лежавшие на скатерти пальцы Аннеты судорожно сжались... О, как она в эту минуту ненавидела Филиппа!.. Он смотрел на ее пальцы...

— Но я его создала и не могу отречься от него, — сказала она.

— Не вы его создали, — возразил Виллар. — Его создала природа. Вы были только ее орудием, и теперь она вас отбрасывает прочь.

— А я не дам себя оттеснить!

— Значит, война?

— Война!

На этот раз он посмотрел ей прямо в лицо.

— Вы будете побеждены, — сказал он.

— Знаю. Так всегда бывает. Но все-таки мы еще поборемся!

Сквозь маску холодного безразличия ее глаза блестели веселым вызовом. Но Виллар с одного взгляда увидел ее насквозь. Она себя выдала.

Филипп был сильный человек. Сильная воля была одним из основных свойств его одаренной натуры. Воля эта проявлялась в его работе врача, в его молниеносных диагнозах, она придавала уверенность его руке во время операций, а в личной жизни сказывалась во всех его поступках и решениях. Привыкнув проникать взглядом

в глубины человеческого тела, он сразу разгадал Аннету всю целиком, с ее страстями, гордостью, тревогами, с ее бурным темпераментом и стойкой душой. И Аннета почувствовала себя пойманной. Надвинув тотчас шлем и опустив забрало, она, кипя гневом, отгородилась ледяной броней от взглядов противника. По тому, как сжалось ее сердце, она знала теперь, что враг близко. Враг?

✓ Да, любовь!.. (Ох, как это опошленное слово далеко от той жестокой силы, которую оно обозначает!..) Заметив в Филиппе внезапно пробудившийся интерес к ней, Аннета противопоставила ему ироническую чопорность, плохо скрытую враждебность. Но это-то ее и выдавало. Слишком прямодушная и пылкая, она не умела притворяться. Даже эта враждебность выдавала ее с головой. Один только Филипп все понял. Он не делал больше попыток возобновить разговор: он узнал достаточно. И, с равнодушным видом рассказывая всем какой-то и смешной и горестный случай из своей практики, он украдкой измерял взглядом ту, которой ему предстояло овладеть.

Никто из присутствующих ничего не заметил. Супруги Мутон-Шевалье с сожалением констатировали, что Аннета и Филипп совсем не понравились друг другу: видно, очень уж разные натуры! Впрочем, знакомя Аннету с Вилларами, они рассчитывали больше на то, что она подружится с г-жой Виллар, так как «они просто созданы друг для друга». И с удовольствием отметили, что в этом они не ошиблись.

Ноэми Виллар была миниатюрная креолка, с телом нежным и золотистым, как у жареного голубя. Все в ней было прелестно: узкое лицо с глазами лани, изящным носиком и губами, вытянутыми в трубочку, как будто они хотели схватить что-то, откровенно обнаженные молодые округлые груди безупречной формы, нежные руки, тонкая талия, маленькая ножка, хрупкое сложение. Ноэми разыгрывала женщину-ребенка, иногда восторженную, иногда томную, легко переходящую от резвости и смеха к слезам и мило сюсюкающую. Она всем казалась существом слабым, впечатлительным, экспансивным и не особенно умным. На самом же деле все было наоборот. В этой женщине холодная расчетливость



сочеталась с чувственностью, сильные страсти — с черствым сердцем. Она все подмечала, взвешивала, рассчитывала, неумоимо и неуклонно, а слабость ее была слабостью камыша, который гнется — и вдруг как распрямится да хлестнет вас! Под оболочкой хрупкой эмали (Нюэми одна знала, сколько усилий стоила эта художественная лакировка) она была создана из бетона. Ну, а ума ей было не занимать, у нее его было более чем достаточно, но она им пользовалась только для того, чтобы сохранить то единственное, чем дорожила, чем ревниво желала владеть одна: мужа. Это был брак и по расчету и по взаимной страсти — каждый из них искал в нем удовлетворения своему тщеславию и чувственности. Нюэми решила стать женой Филиппа задолго до того, как сделал выбор он, и даже до того, как он обратился на нее внимание. Этот человек, которого, как и его знаменитых парижских собратьев, одинаково увлекали и его изнурительная профессия и шумная светская жизнь, находил время заводить многочисленные романы. Его репутация сердцееда немало способствовала тому, что Нюэми влюбилась в него без памяти и решила во что бы то ни стало завладеть им и удержать для себя одной. Филипп не искал в любовницах ума. Ему нужны были женщины хорошо сложенные, здоровые, изящные и глупые. Он любил говорить: чем женщина глупее, тем она лучше. Нюэми была вовсе не глупа, но какое это имело значение? Когда женщина хочет пленить мужчину, она может не только сделать перед зеркалом такие глаза, какие ему нравятся, но и ум свой принаровить к его вкусу. Нюэми опьянила Филиппа своим молодым телом и пылким обожанием — и жадно завладела им.

Однако карьера любовницы — не синекура. Для нее нужен своего рода талант. И никогда не знаешь покоя! Филипп после долгого периода любовной кабалы начал признавать. Нюэми с поразительной быстротой угадывала признаки малейшей перемены в сердце своего мужа-любовника и всегда была начеку. Незаметно для Филиппа, благодаря своей ревливой бдительности, она умела колкой критикой и насмешками над предполагаемой соперницей отвратить опасность и, пуская в ход всякие хитрости, разжигая в нем чувственность, снова

заманивала в свои сети готового ускользнуть мужа. Вначале она видела в этом своего рода игру, но так было недолго. Еще больше, чем за Филиппом, приходилось следить за собой, быть всегда внимательной, всегда готовой исправить или замаскировать неминуемые изъяны, которые оставляет по себе каждое предательское мгновение жизни, каждый прожитой день и год. Ноэми была женщиной уже не первой свежести, краски тускнели, тонкие черты ее лица стали острее, суше, грудь расплнела, и шея грозила потерять свою стройность. На помощь находившемуся в опасности прекрасному творению природы спешило искусство и не только спасало, а даже прибавляло ему очарования. Но какое вечное напряжение! Малейшая небрежность, минута слабости могли выдать ее тайну зоркому глазу повелителя, и Филипп не забыл бы того, что раз увидел. Только не дать захватить себя врасплох!.. Какую драму пережила Ноэми однажды утром, когда у нее сломался верхний зуб! Она полдня укрывалась у зубного врача, а когда вернулась домой, Филипп увидел все ту же безмятежную улыбку и не заподозрил ничего, кроме измены (а это не так страшно, как сломанный зуб!..). Игру нужно было вести очень осторожно. Филипп был не из тех мужей, кого легко обмануть, всучив ему плохой товар, — он был знатоком. У Ноэми всегда сердце ёкало, когда он останавливал на ней взгляд, который она, подбадривая себя шуткой, называла «икс-лучами», взгляд, под которым она чувствовала себя, как солдат на смотре. Она спрашивала себя: «Заметил?..» Филипп замечал и знал все, но не показывал виду, что знает. Искусство, которое Ноэми пускала в ход, в его глазах было как бы частью ее природных данных. Пока результат его удовлетворял, все было в порядке. Но горе ей в тот день, когда эффект не удастся! Ноэми и двух ночей не могла почивать на лаврах. Приходилось каждый раз наново их завоевывать. И при этом надо было скрывать свою озабоченность. Чтобы нравиться повелителю, она должна была всегда казаться веселой, юной, сияющей. Иногда это бывало мучительно трудно! В минуты усталости, когда ее никто не видел, Ноэми тяжело опускалась на диван, резкая складка появлялась между

бровями, судорожная усмешка кривила густо накрашенные, словно кровоточащие губы... Но приступ слабости длился какие-нибудь две-три минуты. Надо было быстро подтянуться. И она подтягивалась. Молодая, веселая, сияющая... А почему бы и нет? Она всегда будет такой, и Филипп принадлежит ей, она его не выпустит из рук!.. И, наконец, если тиран, без которого она жить не может, ей изменит, она сумеет отомстить... Да, да! У нее есть свои секреты, и об этом можно будет поговорить, когда только он этого пожелает... А сейчас она смеется, и вовсе не притворно, — она довольна и собой и Филиппом, она уверена, что держит его крепко! И, конечно, как раз в этот час Филипп от нее и ускользнул! Не помогло ее искусство! Напрасны были все труды и усилия! Всегда наступает минута, когда бдительность ослабевает. Даже Аргус — и тот уснул. Сердце возлюбленного, которое держали в плену, вырывается на волю, как зверь из клетки.

Природа любит нас одурачивать, когда это выгодно ей, старой сводне. Ноэми единственный раз в жизни посмотрела на другую женщину без всяких ревнивых опасений. И этой женщиной была Аннета.

Ноэми всегда была уверена, что Филипп терпеть не может мыслящих и развитых женщин. Меньше всего ее могла тревожить мысль об Аннете. Судя по тем женщинам, которые до сих пор бывали ее соперницами, и по себе самой, Ноэми рисовала себе женщину, которая может отнять у нее мужа, миниатюрной, как она сама, скорее всего брюнеткой и, конечно, красивой, изящной, кокетливой, умеющей пользоваться своей красотой. Филипп не раз шутливо утверждал, что женщина создана исключительно на потребу мужчине и в наше время должна быть чем-то вроде комнатной безделушки, не громоздкой, не занимающей много места, тщательно оберегаемой и служащей украшением гостиной и спальни. Он не любил крупных женщин и ценил грацию больше красоты. Он говорил, что духовного общения, когда у него бывает в нем потребность, он ищет у мужчин. От женщины же требует только одного — «одухотворенной плоти». Ноэми с ним не спорила: ведь она была именно такая женщина, о какой говорил Филипп. Аннета же

никак не подходила под эту мерку. Рослая и сильная, красивая, но несколько тяжеловесной красотой, когда ничто ее не воодушевляло, лишенная всякой грации (когда она не стремилась быть грациозной), — словом, Юнона-телка, дремлющая на лугу, Аннета казалась Ноэми совсем не опасной. А тем, что она была с Филиппом холодна как лед, Аннета еще больше расположила к себе Ноэми. Со своей стороны, Аннета восхищалась Ноэми, так как была очень чувствительна к красоте и ее привлекали женщины, не похожие на нее. Разговаривая с Ноэми, она показала, что умеет, когда хочет, пленительно улыбаться. От Филиппа ничто не ускользнуло. И в нем рождалось влечение к этим двум лицам Аннеты, из которых один был обращен не к нему... (Так ли это?.. Любовь, когда мы гоним ее от себя, пускает в ход такие искусные маневры!..) Не давая Филиппу проникнуть в ее мысли, укрываясь от него за самой непривлекательной из своих масок, Аннета была все же не прочь показывать ему сквозь ограду самый чарующий свой облик... И Филипп его увидел. Рассказывая хозяевам какую-то новость, он с другого конца гостиной наблюдал за женой, которая, сама того не зная, помогала ему. Аннета и Ноэми расточали друг другу всевозможные любезности, которые у Ноэми всегда были наготове. Аннета при этом испытывала сложное чувство, не свободное от влечения к Филиппу. Ухо ее все время ловило звуки резкого голоса, доносившегося с другого конца гостиной, и Филипп знал, что его слушают...

Она ненавидела его, ненавидела... В нем было воплощено то злое и сильное, что она подавляла в себе, хотела подавить: властная и суровая гордость, стремление господствовать, требования воли, ума и жадного, чувственного тела, страсть без любви, более сильная, чем любовь. Все это она давно ненавидела в себе и теперь ненавидела в нем. Но она вступила в неравный бой: против нее были двое — Филипп и она сама.

Филипп Виллар вышел из среды мелких буржуа Верхней Бургундии. Отец его, владелец типографии в маленьком провинциальном городке, был человек

энергичный, живой, смелый и при своей энергии и неразборчивости в средствах мог бы преуспевать на более широком поприще. Однако для этого мало было дерзости — надо было еще уметь удержаться в определенных границах, а Виллар постоянно переходил эти границы. Ответственный редактор местной бульварной газетки, которая носилась по мутным волнам политики, республиканец-гамбеттист, ярый антиклерикал, воротила, усиленно орудовавший на выборах, он в конце концов превысил размеры диффамации и шантажа, допускаемые законом (нет, обычаем!), и попал под суд. Осужденный, брошенный теми, кому он служил, он в довершение всего заболел и окончательно разорился. Имущество его пошло с молотка, и теперь, когда он никому уже не мог быть полезен и никому не был опасен, на него обрушилась разнузданная ненависть всего города. Он с волчьей яростью отбивался от болезни, нищеты, людской злобы. Отчаяние и ожесточение окончательно подточили его здоровье, и он умер, до последнего вздоха с неуголимой злостью проклиная прежних товарищей за измену. Сыну его в ту пору было уже десять лет, и он запомнил все.

Мать Филиппа, женщина неукротимого духа, крестьянка юрских плоскогорий, где люди привыкли к борьбе с бесплодной землей, иссушаемой резким ветром, работала, не жалея рук, поденщицей, прачкой, бралась за любой тяжелый труд, выносливая, как ломовая лошадь, жадная до денег, но честная, добросовестная и строгая к себе. Ее боялись, перед ней заискивали: все знали, что покойный муж поведал ей немало скандальных тайн. Правда, она свой опасный язык держала за зубами и никого не шантажировала, но все-таки она что-то знала и потому благоразумнее было платить ей за услуги, чем обходиться без них. В женщине этой, никогда в своей трудной жизни не знавшей колебаний и сомнений, горел мрачный огонь неистовой и неистощимой душевной энергии (ведь она была из тех мест, где в жилах людей есть примесь испанской крови), сочетавшейся с чисто галльской трезвостью ума. Такие люди ни во что не веруют, а действуют всегда так, как будто дело идет о спасении или гибели души.

Мать Филиппа любила только своего сына. И какая же это была жестокая любовь! От него она не скрывала того, о чем молчала при других: она видела в нем союзника. Все ее честолюбивые надежды сосредоточены были на нем одном. Но, жертвуя собой, она требовала того же и от сына. Во имя чего он должен был принести себя в жертву? Во имя мести за себя. (Да, мести за себя и за нее — ведь это одно и то же!) Никаких нежностей, никакого баловства, а главное — никакого нытья! «Ограничивай себя во всем! Придет время — всем наешься...» Когда сын приходил домой из школы (она одна знала, сколько ей понадобилось труда и дипломатии, чтобы добиться для него стипендии в школе, а потом и в лицее большого города!), приходил побитый или обиженный озорными сынками буржуа, унаследовавшими от отцов тайное недоброжелательство к этой семье, мать говорила ему:

— А ты постарайся со временем стать сильнее их! Тогда они будут лизать тебе ноги.

Она постоянно твердила Филиппу:

— Надейся только на себя! Больше ни на кого!

И он ни на кого не рассчитывал и вскоре заставил себя уважать. Мать цеплялась за жизнь и сумела продержаться до того времени, когда Филипп, блестяще окончив лицей, подал заявление о приеме на медицинский факультет в Париже. Он как раз держал экзамены, когда мать слегла, заболев воспалением легких. Но она не написала ему о своей болезни, чтобы его не тревожить, пока он не сдаст всех экзаменов. И умерла без него. Своим неуклюжим почерком с завитушками, похожими на весенние побеги винограда, тщательно соблюдая все знаки препинания, она написала на чистом листке бумаги, аккуратно отрезанном от письма сына, который не сэкономил бумагу:

«Я умираю. Держись крепко, мой мальчик, не сдавайся!»

И Филипп не сдался. Приехав домой из Парижа, чтобы похоронить мать, он нашел небольшие сбережения, которые она откладывала для него изо дня в день. На эти деньги он прожил год. Потом, предоставленный самому себе, он тратил половину дня, а иногда и ночи,

чтобы заработать то, что ему нужно было на жизнь и учение. Никакой труд его не страшил. Он набивал чучела, был натурщиком у скульптора, нанимался по воскресеньям помогать лакеям в загородных кафе, а в субботние вечера прислуживал в увеселительных заведениях. Ему случилось даже как-то зимой, в голодное утро, поработать в артели чистильщиков снега. Он не останавливался и перед наглым попрошайничеством, прибегал к благотворительной помощи, к унижительным займам, дающим право всякому ничтожеству из-за каких-то ста су, которые ты не можешь ему вернуть, обращаться с тобой грубо и пренебрежительно. (Правда, встретив его взгляд, кредиторы не отваживались на это больше, но зато вознаграждали себя другим способом, мстили ему если не презрением, то ненавистью, обливали за спиной грязью.) Филипп дошел до того, что в течение нескольких месяцев (когда он работал как одержимый) брал деньги у одной уличной девки. И ничуть не стыдился: ведь это он делал не для себя (он не боялся лишений и не щадил себя), а для будущей карьеры. Конечно, и у него были всякие потребности — он хотел бы наслаждаться всем, — но он их подавлял в себе. Потом! Сперва — победить! А чтобы победить, надо выжить. Выжить во что бы то ни стало! Победа все смыкает. И она будет за ним! Филипп чувствовал в себе искру гения.

Он обратил на себя внимание профессоров, товарищей. Ему поручали разные научные работы, а потом люди, уже достигшие известности, ставили под ними свое имя, внося для приличия какие-нибудь поправки. Филипп позволял себя эксплуатировать, чтобы иметь право на покровительство тех, кто не давал дороги молодым, шедшим им на смену. Однако эти господа не очень-то спешили дать ему дорогу. Они оказывали ему уважение. Но уважение — это монета, которая освобождает от всякой другой расплаты. Его ценили, конечно, — отчего бы и нет! Но этим сыт не будешь. Несмотря на всю свою физическую выносливость горца, Филипп от переутомления и недоедания уже едва держался на ногах, когда он встретился с Соланж. Это было в одном из тех многочисленных благотворительных учреждений, которые она опекала с искренним, хотя и непостоянным

великодушием и щедростью, — в детской клинике. Здесь Соланж увидела, как Филипп отдавал все силы спасению больных малышей, которые считались обреченными. С тем яростным упорством, с каким он добивался победы везде, где на победу был хотя бы один шанс, Филипп проводил ночи у их кроваток и выходил из этих битв за человеческую жизнь бледный, обессиленный, но с лихорадочно и вдохновенно блестящими глазами. После таких побед он даже как-то хорошел и бывал удивительно добр к только что спасенному маленькому пациенту. Любил ли он этих детей? Быть может. С уверенностью этого сказать нельзя. Но в борьбе с их болезнями последнее слово оставалось за ним!

Узнав о положении Филиппа, Соланж пережила, как это с нею часто бывало, период той «одержимости», когда предмет ее восторгов заслонял от нее все горизонты. Тому, кто хотел этим воспользоваться, следовало не терять времени. А Филипп никогда его не терял. Этот утопающий крепко ухватился за протянутую ему руку. Он завладел не только пальцами, но и всей рукой до самого плеча, завладел бы и всем остальным, если бы не сделал открытия, что Соланж, увлекшись кем-нибудь, вовсе не стремится к любовным отношениям. Она легко загоралась, но эти восторги ничуть не нарушали ее душевного покоя. В первый раз Филипп встретил женщину, которая заинтересовалась им бескорыстно. Милейшая Соланж находила источник радостей в себе самой. От других же она требовала только, чтобы они не разрушали иллюзий, которые она себе создает. В сущности она вовсе не стремилась ближе узнать людей. Она не хотела видеть в другом человеке всего того, что могло бы ей не понравиться, и отмахивалась от этого под предлогом, что это «не истинное его «я»». А «истинным» она считала все то, что было ей по душе. Так она сочиняла себе мир, населенный приятными, бесцветными людьми вроде нее. Филипп не мешал ей воображать его таким — к легкому презрению, которое внушала ему Соланж, примешивалась доля невольного уважения. Он терпеть не мог глупцов, а глупцами считал тех, кто видит мир не таким, каков он есть. Но доброта Соланж, которая действительно творила добро, а не только болтала



о нем, была для него новостью. Каковы бы ни были качества и недостатки человека, прежде всего они должны быть настоящими. Соланж была добра по-настоящему. Когда она узнала, как нуждается Филипп и как много он работает, она обещала выдавать ему пособие до тех пор, пока он не окончит университета и не сдаст выпускных экзаменов, и тем дала ему возможность спокойно работать. Больше того, она воспользовалась своими обширными связями и заставила одного из влиятельных профессоров медицинского факультета заинтересоваться Филиппом или, вернее (так как этот догадливый человек не мог еще раньше не заметить беспокоившие его способности голодного волчонка), проявить этот интерес открыто, а не держать его про себя — *intus et in cute*<sup>1</sup>. Наконец, та же Соланж позднее свела Филиппа с американским нефтяным королем, желавшим обессмертить свое имя чужими трудами, и это открыло Филиппу быстрый путь к славе, которую он завоевал себе сначала за океаном смелыми подвигами в больнице-дворце сего фараона.

В трудные для Филиппа годы учения случалось иногда, что Соланж совершенно забывала о нуждах своего протеже и по рассеянности несколько месяцев не посылала ему пособия. Богачи при всех своих благих намерениях не способны понять, что другим людям приходится постоянно думать о деньгах. Деньги — забота бедняков. Соланж посылала Филиппу билеты на концерты. Чтобы напомнить этой очаровательной даме в ложе театра о задержанном пособии, нужно было порядком наглотаться стыда. То бывала иногда единственная пища, которую Филипп глотал за целый день. Соланж от удивления широко раскрывала глаза:

— Да неужели?... Ах, милый друг, какая же я рассеянная!.. Как только вернусь домой...

Она обещала, опять забывала на день-два и, наконец, посылала деньги с самыми милыми извинениями. Филипп, бесясь от нетерпения и унижения, клялся, что скорее подойдет с голоду, чем снова попросит у нее денег. Но умереть — это легко тем, кому не хочется жить! А ему

---

<sup>1</sup> внутри, под оболочкой (лат.).

хотелось... И он напоминал Соланж о деньгах всякий раз, когда это бывало нужно. А она ничуть не сердилась на него. Если она и забывала часто («Вы знаете, сколько у меня забот!...»), то, когда ей напоминали, давала деньги всегда охотно...

Что за необычные отношения существовали между этим молодым и страстным мужчиной, изголодавшимся по всем земным благам, и женщиной, только чуточку старше его, красивой, изящной, ласковой — словом, что называется, лакомым кусочком! За эти годы они часто виделись наедине, и ни малейшего подозрительного оттенка не закралось в их дружбу! Соланж спокойно, совсем матерински, давала Филиппу советы, помогала ему разрешать всякие вопросы туалета, светского этикета и практической жизни. Гордость Филиппа ничуть не страдала от этого, напротив — он и сам часто спрашивал у нее совета и даже поверял ей свои честолюбивые планы и свои разочарования. Он смело мог делать это — Соланж была глуха ко всему дурному, ко всему жизненно-реальному. Что за важность! Она его выслушивала и говорила затем со своей доброй улыбкой:

— Вы просто хотите меня напугать! Но я вам не верю.

Она верила лишь тому, что не соответствовало действительности.

И Филипп, беспощадный ко всякой посредственности, делал исключение только для одной Соланж. Он попросту воздерживался от всяких суждений о ней.

Семь или восемь лет назад он вернулся из Америки в Париж, куда еще раньше дошла его слава, по-американски шумная, но прочная и бесспорно заслуженная. Помощь его неизменной попечительницы, Соланж, благодаря которой к наглым долларам прибавилось покровительство власть имущих, расчистила ему путь, несмотря на тройной барьер, воздвигнутый людской косностью, завистью и справедливыми притязаниями тех, кто давно ждал своей очереди выдвинуться. Бесспорны были их права или нет — Филипп шагнул через них. Он не принял бы незаслуженных почестей и преимуществ. Но, сознавая, что они им заслужены, он не останавливался ни перед чем, чтобы их добиться. Филипп

настолько презирал людей, что не стеснялся в случае необходимости пользоваться их же презренным оружием для того, чтобы победить их. Он не брезгал газетной рекламой, раздирающей уши, как вой медных труб, которым некогда сопровождалось появление зубодеров на деревенских ярмарочных подмостках. Он стал неизменным посетителем модных выставок, генеральных репетиций, вернисажей, официальных торжеств. Не уклонялся от сенсационных интервью, писал и сам (защищать свои интересы лучше всего самому) и двумя-тремя выступлениями в печати доказал своим оппонентам, что владеет пером не хуже, чем ланцетом. Предостережение любителям! Никаких недомолвок! Филипп так протягивал человеку руку, словно хотел спросить: «Союз или война?» Он не давал ему никакой возможности прикриться нейтралитетом.

И в то же время — бешеная работа, никаких поблажек ни себе, ни другим, никакого страха перед риском, блестящие достижения, которых нельзя было отрицать и которые всех врачей больницы сделали его горячими сторонниками; смелые доклады в академии, возбуждавшие ожесточенное недоверие уравновешенных умов, которые не любят, чтобы их будоражили; гомерические битвы, в которых почти всегда последнее, решающее слово оставалось за ним.

Филипп внушал ужас робким. Он ни во что не ставил человеческую личность, когда ему казалось, что дело касается интересов науки или человечества. Он готов был экспериментировать на преступниках, уничтожать уродов, кастрировать ненормальных, производить опасные опыты над живыми людьми. Он ненавидел всякую сентиментальность, не сочувствовал пациентам, не позволял им ныть и жаловаться. Их стоны и оханье его не трогали. Но когда человека можно было спасти, он спасал его, хотя бы и жестокими способами: чтобы исцелить, резал по живому месту. У него было суровое сердце и нежные руки. Его боялись, но все непременно хотели лечиться у него. А он драл большие деньги с богатых, бедных же лечил бесплатно.

Филипп жил теперь широко, войдя во вкус роскоши. Он мог бы без сожаления в любой момент отказаться

от нее, но считал, что, пока можно, надо все брать от жизни. На жену он смотрел, как на часть этой роскоши, и, наслаждаясь и той и другой, не требовал от них больше, чем они могут дать. Он не ждал от Ноэми участия в его умственной жизни и не пытался вовлечь ее в эту жизнь. Ноэми тоже за этим не гналась: она считала, что, владея всем, кроме его мыслей, владеет львиной долей. Филипп же был того мнения, что мужчина обязан отводить женщине не больше места в своей жизни, чем он отводил Ноэми: мыслящая жена — все равно что громоздкая мебель.

Но чем же в таком случае его сразу пленила Аннета?

Тем, чем Аннета походила на него.

Тем, что у них было общего и что он один мог прочесть в ее душе. Когда они в первый раз скрестили взгляды, как клинки, когда прозвучали первые слова, как удар стали о сталь, Филипп сказал себе:

«Она смотрит на всех этих людей так же, как я. Мы с ней одной породы».

Одной породы? Факты говорили другое: Аннета спустилась вниз по социальной лестнице из тех сфер, куда Филипп как раз взбирался, напрягая все силы, и они встретились на одной из ступенек. Правда, в этот момент они оказались на одном уровне: оба чувствовали себя чужими в своей среде, ее врагами, оба как бы принадлежали к другой расе, некогда владевшей миром, а ныне лишенной власти, рассеянной по всему свету, почти уже исчезнувшей. В конце концов кому ведомы тайны поколений, их смены на земле, тайны той тысячелетней борьбы, в которой человечество как будто идет к окончательному торжеству посредственности?.. Но бывают внезапные подъемы, когда былой властитель мира на один день снова овладевает своей собственностью. Его ли это была собственность, или нет, Филипп предъявлял на нее права. Он признал Аннету своей и решил ею завладеть.

Аннета вернулась домой в плохом настроении, с какой-то тяжестью в голове и, не разговаривая с Марком, тотчас легла. Она чувствовала себя опустошенной.

Уснуть она не могла. Приходилось быть настороже и все время отгонять один образ: как только она впадала в сонное оцепенение, он появлялся перед ней. Чтобы забыть о нем, она пыталась думать о повседневных делах, но они утратили для нее сейчас всякий интерес. Тогда, ища спасения от грозной опасности, она призвала на помощь союзника, о котором в другое время боялась и вспоминать, так как он мог расшевелить в ее душе пережитые волнения. Союзником этим был Жюльен и те мысли, которыми тоска и мечта окружили имя возлюбленного, — скорее воображаемого, чем действительного. Однако мысли о Жюльене возникли лишь на мгновение и были холоднее льда. Аннета непременно хотела удержать их. Но в руках у нее остался лишь пучок увядших цветов. Внезапно выглянувшее яркое солнце выпило из них все соки. Пытаясь их оживить, Аннета своими лихорадочно горячими руками только окончательно засушила их. Она металась в постели, то и дело переворачивая подушку. Однако надо было поспать — утром ее ожидала работа. Она приняла порошок и погрузилась в забытие. Но, когда она через несколько часов проснулась, тревога все еще была тут, с нею. Аннете казалось, что и во время сна она ее не оставляла.

Волнение Аннеты не улеглось ни в тот день, ни в следующие. Она уходила и приходила, давала уроки, разговаривала, смеялась — все было, как всегда. Хорошо заведенная машина продолжала работать сама. Но душа была беспокойна.

В один серенький день, когда она шла по Парижу, все вдруг озарилось светом... По другой стороне улицы прошел Филипп Виллар... Аннета вернулась домой, окрыленная радостью.

Когда она попробовала отдать себе отчет в том, что вызвало эту радость, она так пала духом, как будто открыла у себя раковую опухоль... Значит, опять, опять попалась! «Любовь? Любовь к мужчине, который будет для нее новым источником ненужных мучений, к человеку, ей почти незнакомому, но несомненно опасному и недоброму, мужу другой женщины... И ведь она его не любит, нет, потому что любит другого! Другого? Ну да, она все еще любит Жюльена! Как же она, любя

Жюльена, могла влюбиться в другого? А она влюблена, это ясно... Но как же, как же сердце может принадлежать двоим сразу? Нет, отдаться можно лишь одному целиком, безраздельно!»

Так она думала, ибо сердце Аннеты когда отдавалось, то отдавалось все... И сейчас она казалась себе хуже проститутки: та отдает тело, а она сердце отдала двум сразу, — разве это не позорнее?

Была ли Аннета искренна, честна с самой собой? Несомненно. Она не понимала, что у нее не одно сердце, что в ней живет не одно существо. В дремучем лесу человеческой души растут рядом и высокие, строевые деревья мыслей и густые заросли желаний — двадцать различных пород. В обычное время, когда они дремлют, их и не различишь. Но стоит ветру пролететь по лесу, и ветви их сталкиваются... Столкновение страстей давно уже разбудило в Аннете ее многоликость. Она была одновременно человеком долга и неумейной гордости, и страстно любящей матерью, и страстно влюбленной женщиной, влюбленной не в одного, а во многих... Она была как лес в бурю, разметавший руки по всему огромному небу, во все стороны... Но, униженная, почти угнетенная присутствием в себе этой силы, которая распоряжалась ею помимо ее воли, Аннета думала:

«К чему было укреплять в себе волю и бороться долгие годы, если достаточно одного мгновения, чтобы все рухнуло? И откуда она, эта сила?»

Аннета яростно отвергала эту неизвестную силу, как что-то чуждое. Неужели она не узнала в ней себя, свою подлинную натуру? Да, узнала, и это было всего тяжелее: от самой себя как убежишь?

Но Аннета была не такая женщина, чтобы покорно уступить роковой внутренней силе, которую она презирала. Она решила задушить в себе унижительную страсть. И напряженная работа помогла бы ей этого добиться, если бы не Ноэми.

Аннета получила от нее письмецо — эта миниатюрная женщина писала крупным почерком, в котором под светской изысканностью чувствовались сухость и решительность. В нескольких любезных словах Ноэми приглашала Аннету к обеду. Аннета вежливо отказалась,

написав, что очень занята. Ноэми вторично пригласила ее и на этот раз написала, что очень хочет увидеться с ней и просит прийти в любой вечер, когда Аннете удобно. Аннета, твердо решив не подвергать себя опасности, которую она предчувствовала, снова отклонила приглашение, ссылаясь на сильную усталость после рабочего дня. Она думала, что теперь окончательно отделалась от Ноэми. Но маленький Пандар<sup>1</sup>, который в часы скуки и коварных проказ надевает одну из тысячи личин Амура, не давал покоя Ноэми, пока она не ввела Аннету в свою овчарню. И раз вечером, когда Аннета, вернувшись с уроков, готовила обед (именно этот час всегда выбирают для своих посещений люди праздные), явилась Ноэми и принялась щебетать, пересыпая болтовню уверениями в вечной дружбе. Аннета, сконфуженная тем, что ее застали в такой обстановке, и невольно подкупленная нежностями той, в которой она бессознательно искала как бы отражения другого человека, решительно отказалась обедать у Вилларов, но вынуждена была обещать, что навестит Ноэми; при этом она осторожно спросила, в какое время наверняка можно застать Ноэми одну. Ноэми подметила нежелание Аннеты встречаться с ее супругом. Она объяснила это застенчивостью Аннеты и антипатией к Филиппу. Это еще больше расположило ее к новой приятельнице. Вернувшись домой, она имела неосторожность рассказать Филиппу о своем посещении и с милым коварством всех верных подружек усердно расписала ему все, что, по ее мнению, могло окончательно уронить женщину в глазах Филиппа: беспорядок и нищенскую обстановку, запах чернил и кухни, — словом, Аннету у плиты. Филипп знал об ее мужественной борьбе, а еще лучше знал он запах бедности, поэтому рассказ жены навел его на совсем иные мысли — не те, на какие она рассчитывала. Но он не стал их высказывать.

И совсем не случайно несколько дней спустя Аннета, выходя от Ноэми, встретила на улице Филиппа, который

---

<sup>1</sup> П а н д а р — действующее лицо греческого сказания о любви Троиля и Кресиды; в переносном смысле — сводник. — *Прим. ред.*

шел домой. Так как она не искала этой встречи, она не сочла нужным бороться с охватившей ее тайной радостью. Они обменялись несколькими словами. В то время как они стояли и разговаривали, мимо прошла молодая женщина, и Филипп с ней поздоровался. Аннета узнала талантливую актрису, которая в ту зиму играла Катюшу Маслову. Актриса эта очень нравилась ей, и Аннета посмотрела на нее с восхищением.

— Вы ее знаете? — спросил Филипп.

— Я видела ее в «Воскресении».

— А! — Филипп пренебрежительно скривил рот.

Аннета удивилась:

— Неужели вам ее игра не нравится?

— Дело не в игре.

— Значит, в пьесе? Вы ее не любите?

— Нет, — сказал Филипп.

И, видя, что Аннета с любопытством ждет объяснения, продолжал:

— Пройдемся немножко, хотите? Это довольно бесцеремонно с моей стороны, но, право, всякие церемонии не для таких, как мы с вами.

Они шли рядом. Аннета была и смущена и довольна. Филипп заговорил о пьесе со смесью шутливости и раздражения, совсем так, как сам Толстой (поделом ему!) частенько разговаривал с теми, кого недолюбливал. Но вдруг его самого рассмешил этот суровый тон, и он сказал, перебив себя:

— Я неправ... Когда я смотрю пьесу, я одновременно вижу всех тех, кто ее смотрит, вижу ее как бы сквозь их мозговые оболочки. И зрелище получается не из красивых.

— У некоторых оно красиво, — возразила Аннета.

— Да, некоторые люди обладают даром приукрашивать убожество жизни. Это избавляет их от обязанности бороться с ним. Несчастья других доставляют этим милейшим идеалистам отрадные минуты, давая повод для безопасных эстетических и филантропических эмоций. Но еще лучшие минуты доставляют страдания людей пиратам, которые их эксплуатируют. Сентиментальность прикрываются, как знаменем, всякие патриотические лиги и общества содействия увеличению народонаселения, его



оправдывают выпуски займов, колониальные войны и другие филантропические затеи... Век слезливости!.. И вместе с тем не бывало века корыстнее и черствее! Век добрых хозяев (читали Пьера Ампа?), которые строят рядом с заводом церковь, кабак, больницу и публичный дом... Эти хозяева делят жизнь свою на две части: одна проходит в разглагольствованиях о цивилизации, прогрессе, демократии; другая — в гнусной эксплуатации и разрушении нашего будущего, в развращении нашего народа, истреблении других народов в Азии и Африке... А после этого они идут в театр вздыхать над участью Масловой или дремлют после обеда под сладкие мелодии Дебюсси... Нерадостно будет их пробуждение! Бешеная ненависть растёт, накапливается! Катастрофа близка... Тем лучше! Их гнусные лекарства служат лишь для того, чтобы поддерживать болезни. Придется прибегнуть к хирургическому вмешательству!

— А больной-то при этом уцелеет?

— Я штурмую болезнь. Не уцелеет — тем хуже для него!

Это было сказано в пылу гнева. Аннета улыбнулась. Филипп искоса глянул на нее.

— Вас это не страшит?

— А я не больна, — сказала Аннета.

Он остановился и уже внимательно посмотрел на нее.

— Это видно. От вас так и веет здоровьем... С вами я отдыхаю от смрада физического и морального разложения. Нестерпимее всего моральное... Простите мне эту желчную тираду! Я иду с заседания, где шайка тартюфов обсуждала вопрос об официальном содействии болезням, то есть о гигиене. Я задыхался от гнева и омерзения. И когда я увидел вас, такую гордую и здоровую духом, увидел ваши ясные глаза, вашу смелую осанку, у меня появилось эгоистическое желание надыхаться тем свежим воздухом, который вас окружает. Ну, вот теперь мне легче. Спасибо!

— Ого! Вы уже и меня произвели в лекари! И это после всего, что вы тут о них наговорили?

— Вы не лекарь. Вы — лекарство. Кислород.

— Любопытный у вас подход к людям!

— Я их разделяю на две категории: вдыхание и выдыхание, то есть те, кто оздоравливает жизнь, и те, кто ее отравляет. Вторую категорию надо убивать.

— Кого еще вы собираетесь убивать?

— *Еще!* — подхватил Филипп. — Вы находите, что достаточно с меня убивать пациентов?

— Нет, нет, это у меня нечаянно вырвалось, — со смехом оправдывалась Аннета. — Старая классическая закваска... А можно узнать, кто это вас так рассердил сегодня?

— Не хочется и вспоминать об этом сейчас, когда мы вместе. Но расскажу вам в двух словах. Дело идет о целом квартале опасных домов, которые со времен нечистоплотного короля Генриха, сулившего крестьянину куриный суп, являются рассадниками рака и туберкулеза. Результаты замечательные: за последние двадцать лет — восемьдесят процентов смертности! Я сообщил об этом Санитарному комитету и потребовал радикальных мер: эти дома государство должно выкупить у владельцев и снести. Сперва со мной как будто согласились, предложили подать докладную записку. Я ее написал, прихожу — оказывается, оракулы уже на попятный: «Ваш доклад, дорогой и уважаемый коллега, производит сильное впечатление... Замечательный документ... Надо будет об этом подумать... Посмотрим, посмотрим... Конечно, в этих домах умерло много людей, но действительно ли дома виновны в их смерти?» Один показывает мне свидетельства (и когда только их успели сфабриковать?), в которых подкупленные домовладельцем родственники умерших удостоверяют, что покойник получил билет на кладбище, когда еще только сидел в пассажирском зале, или что рак был следствием несчастного случая. Другой не согласен с тем, что старые дома вреднее для здоровья, чем новые, и уверяет, что они просторнее и в них больше воздуха, а в пример приводит свой собственный дом... Твердят, что не надо крайностей: оздоровить дома — да, но снести — нет! Достаточно будет хорошей очистки, и домовладельцы берутся сами произвести дезинфекцию. «Притом мы бедны, ни гроша за душой, где взять деньги для выкупа домов?» Небось нашлись бы деньги, если бы дело шло о новых пушках!..

А ведь рак убивает лучше всякой пушки... Наконец, в довершение балагана, один из авгугов заговорил о красоте: оказывается, лачуги, которые стоят со времен этой старой свиньи Генриха, необходимо сохранить для искусства и истории!.. Я и сам люблю искусство, вы у меня можете увидеть немало прекрасных картин и старых и новых мастеров. Но для меня древность не есть признак красоты (если только речь идет не о какой-нибудь из наших прекрасных дам). И все равно, если даже в старом прошлом есть своя красота, я не допущу, чтобы оно отравляло настоящее. Из всех видов лицемерия мне больше всего противно лицемерие так называемых эстетов, которые выдают свое бесплодие за высокое благородство. Насчет этого я тоже наговорил там достаточно резкостей... В разгаре дебатов один коллега незаметно делает мне знак, отводит в сторону и говорит: «Вы, видно, не знаете, что этот домовладелец, этот червь, который питается трупами своих жильцов, — близкий приятель председателя Главного комитета торговли и снабжения? Он командует на выборах и создает коалиции. Он один из тех «серых кардиналов», которые царят во всяких демократических объединениях и на демократических банкетах, невидимый глава грязной клики франкмасонов, этих «вольных каменщиков», которые не строят, а расшатывают здание нашей республики. И этот друг народа не желает, чтобы народ переселяли из его могилы...» Слушайте, слушайте дальше, теперь самое интересное: все это делается под флагом филантропии... Под конец мне суют под нос петицию квартиронанимателей, весьма бойко написанную: протест против проекта их переселения в другие дома! Ну, скажите, что я могу поделать один против всех? Говорят, авгуры улыбаются. Что же, и я улыбался. Но я им заявил, что хорошую шутку не следует держать про себя, и, так как я не эгоист, я завтра же поделюсь ею с читателями «Матэн». Они подняли крик. Но я сделаю, как сказал. Знаю, что будет! На меня накинутся все эти масоны. И уж, конечно, не упустят случая и те наследники Гиппократы, которым недавно от меня досталось. Они знают, чем мне насолить. Ну, ничего, будем драться! Ведь так вы сказали, госпожа вонительница?..

Помните, тогда вечером у Соланж?.. Вам это, кажется, по душе?

— Да, бороться против несправедливости — это замечательно! Это я люблю. Как жаль, что я не мужчина!

— Для этого не нужно быть мужчиной. Ведь вот и вам тоже пришлось бороться...

— Да, и я на это ничуть не жалуюсь. Но я не хочу задыхаться. Удел женщин — борьба в погребке. А вы — вы сражаетесь на открытом воздухе, на вершине горы.

— Эге! У вас раздуваются ноздри, как у боевого коня, почуявшего порох... Я так и знал... Я это заметил еще в тот вечер.

— В тот вечер вы насмехались надо мной.

— Вовсе нет. Мне это все так знакомо и близко — как же я мог бы над вами смеяться?

— Вы меня дразнили. И пробовали вызвать на откровенность...

— Да я сразу увидел... И не ошибся.

— А все-таки сначала вы отнеслись ко мне с некоторым презрением.

— Черт возьми, как я мог думать, что у Соланж встречу такую, как вы?

— Ну, а вы-то сами? Вы как туда попали?

— Я — другое дело.

— Должно быть, вам нравится сентиментальность?

— Ага, теперь вы начинаете издеваться!.. Бедная Соланж! Не будем говорить о ней! Я знаю все, что вы могли бы о ней сказать. Но Соланж — это табу!

Аннета ничего больше не спросила, только посмотрела на него.

— Когда-нибудь я вам расскажу... Я ей многим обязан...

Они остановились. Пора было разойтись. Аннета сказала с улыбкой:

— Вы не такой злой, как кажется.

— А вы, может быть, не такая добрая!

— Значит, из нас двух получилась бы хорошая средняя величина.

Филипп заглянул ей в глаза:

— Хотите?

Он не шутил. Кровь бросилась Аннете в лицо. Она не нашла ответа. Взгляд Филиппа приковал ее и не отпускал. Сказал он что-нибудь? Или не сказал ничего? Она не знала, но на его губах она прочла: «Я хочу вас...»

Он поклонился и ушел.

Аннета осталась одна, вся в огне. Она шла, не замечая дороги, куда глаза глядят, и через десять минут очутилась снова на том же месте, где рассталась с Филиппом. Тут только она очнулась и увидела, что обошла вокруг Люксембургского сада. Голова ее горела, и три слова стояли в мозгу так отчетливо, словно пылали огнем на черном фоне. Она сделала усилие стереть их... Произнес ли он эти слова?.. Ей вспомнилось бесстрастное лицо Филиппа, и она попробовала в этом усомниться, но слова не исчезали. Ее внутреннее сопротивление ослабло и вдруг сразу сломилось... Она подумала: «Значит, судьба... Ну, что ж!.. Я знала, что так будет...» Какой-нибудь час назад она восстала бы против таких мыслей, а сейчас почувствовала облегчение. Жребий был брошен...

Она вернулась домой с ясной головой. Лихорадочное волнение сменилось спокойной решимостью.

Она знала: если Филипп хочет, он своего добьется. Да и она ведь хочет того же. Она свободна, ничто ее не удерживает... Ноэми? По отношению к Ноэми у нее есть только одна обязанность: не обманывать ее. И она обманывать не станет. Она открыто возьмет свое... Свое? Это чужого-то мужа?.. Но слепая страсть нашептывала ей, что Ноэми его у нее украла.

Аннета не делала ничего, чтобы ускорить неизбежное. Она не сомневалась, что Филипп придет. Она ждала.

И он пришел. Он выбрал такой час, когда ее можно было застать одну. Когда Аннета шла открывать дверь, ею вдруг овладел страх. Но она сказала себе: «Так нужно!» — и отперла. Только бледность выдавала ее волнение. Филипп вошел в комнату. Они стояли в нескольких шагах друг от друга, и Филипп исподлобья

смотрел на нее с серьезным выражением. После некоторого молчания он сказал:

— Я люблю вас, Ривьер.

Слово «Ривьер» он произносил так, что в уме возникало представление о речной струе.

Дрожа и не двигаясь с места, Аннета ответила:

— А я не знаю, люблю ли я вас... Думаю, что нет... Знаю только одно: я ваша.

Улыбка осветила серьезное лицо Филиппа.

— Это хорошо, что вы не хитрите и не лжете... Я тоже сказал вам правду.

Он шагнул к ней. Аннета инстинктивно отступила и, наткнувшись на стену, беспомощно прижалась к ней спиной и ладонями обеих рук. Ноги у нее подкашивались. Филипп остановился и в упор посмотрел на нее.

— Не бойтесь! — промолвил он, и в его суровых глазах мелькнула нежность.

Спокойно, с оттенком презрения, тоном побежденного, который сдается, Аннета сказала:

— Чего вы хотите от меня? Вам нужно мое тело? Я вам в этом не откажу. Вам только оно и нужно?

Филипп сделал еще шаг и сел в низенькое кресло у ее ног. Платье Аннеты касалось его щеки. Он взял ее руку, безвольно покорную, вдохнул ее запах, коснулся ее губами и, наклонясь, приложил эту руку сначала к своему лбу, потом к глазам.

— Вот чего я хочу.

Аннета ощутила под пальцами жесткую щетку коротко стриженных волос, выпуклость лба, биение пульса в виске. Этот властный человек отдавался под ее защиту... Она склонилась к нему, Филипп поднял голову. Это был их первый поцелуй.

В следующее мгновение он крепко обнял Аннету, которая упала подле него на колени, не сопротивляясь, едва дыша. Но Филипп, несмотря на свою страстность, не спешил воспользоваться победой. Он сказал:

— Хочу все. Ты мне нужна, как любовница, друг, товарищ, как жена... вся целиком.

Аннета высвобождалась из его рук. Перед ней вдруг встал образ Нозми. Только что она сама вычеркнула ее из своих мыслей. Но когда Филипп сделал то же

самое, она почувствовала что-то вроде возмущения. В ней было задето чувство франкмасонской солидарности, объединяющее всех женщин, даже соперниц, против мужчины, который в лице одной оскорбляет их всех.

Она сказала:

— Этого вам хотеть нельзя. Вы принадлежите другой.

Филипп пожал плечами.

— Ничего ей не принадлежит.

— Ваше имя и верность.

— На что вам мое имя? Вы владеете всем остальным.

— Я за именем и не гонюсь, но верность мне нужна: я ее вам обещаю и требую ее от вас.

— Что ж, я принимаю ваше условие.

Но Аннета, только что требовавшая от него верности, вдруг возмутилась:

— Нет, нет! Вы хотите изменить той, которая много лет делит с вами жизнь, и обещаете верность мне, хотя видите меня всего в третий раз?

— Чтобы вас узнать, мне достаточно было вас увидеть даже не три раза, а меньше.

— Нет, вы меня не знаете.

— Знаю. Жизнь научила меня быстро разбираться в людях. Ведь она проходит, и ни одно мгновение не повторяется. Надо сразу решать, чего хочешь, или ничего не хотеть. Вы проходите мимо, Ривьер, и, если я вас не возьму, я потеряю вас. Вот я вас и беру!

— А вдруг ошибетесь?

— Может, и ошибусь. Я знаю: желание нас ослепляет, и мы часто обманываемся. Но если бы мы отказались от желаний, вся жизнь была бы ошибкой. Увидеть вас и не пожелать было бы такой ошибкой, которой я никогда не простил бы себе.

— Да что вы знаете обо мне?

— Больше, чем вы думаете. Мне известно, что вы были богаты и теперь бедны. Что у вас была счастливая молодость и что вы потеряли все, были изгнаны из вашей среды, но не пали духом и боролись. Уж я-то знаю, каково это, — вести такую борьбу: я сам в течение тридцати лет изо дня в день вел ее врукопашную и двадцать раз вот-вот готов был сдаться, хотя я ко всему

привык и с колыбели узнал гнусную нищету. А у вас нежная кожа, вас в детстве баловали и ласкали. И все-таки вы держались стойко. Вы не сдались, не пошли ни на какой малодушный компромисс. Вы не старались увильнуть от борьбы каким-нибудь женским способом — прельщая мужчин или избрав честный выход: брак по расчету.

— А вы думаете, что мне так уж часто его предлагали?

— Если нет, значит даже самые ограниченные мужчины понимают, что вы не из тех, кого покупают по контракту.

— Непродажная, да.

— Мне еще известно, что вы любили и родили ребенка, но не захотели стать женой его отца. Какие чувства вами руководили — это ваше дело. Для меня важно то, что вы посмели перед лицом трусливого света отстаивать свое право — не на наслаждение, а на труд, право иметь сына, и, несмотря на бедность, воспитали его сами, без чужой помощи. Вы не только отстаивали свои права — вы их осуществляли целых тринадцать лет. Я знаю по опыту, что такое тринадцать лет труда и постоянных забот, а между тем вы стоите предо мной несломленная, гордая, честная, без малейшего следа душевной усталости. Есть два вида поражения: полная апатия и горечь... От второй и я не спасся, а вы сумели избежать обоих... Мне, хорошо знакомому с жизненной борьбой, ясно, чего стоит такая женщина, как вы. Эта серьезная улыбка, ясные глаза, спокойная линия бровей, эти неутомимые, честные руки, светлая гармония во всем, а внутри — палящий огонь, радостный трепет борьбы всегда, даже когда вы бываете побеждены... «Ничего, мы еще повоюем!..» Неужели вы думаете, что такой человек, как я, не способен оценить такую женщину, как вы, а оценив, не пойдет на все, чтобы завоевать ее?.. Ривьер, вы мне нужны. Я хочу, чтобы вы были моей. Послушайте, я не стану вас обманывать: хотя я и желаю вам добра, я не ради вас, а ради себя хочу любить вас. И со мной вас ждут не радости, а скорее новые испытания... Вы не знаете моей жизни... Сядьте вот здесь, подле меня, моя прекраснوبرвая!..



Аннета села на пол и подняла глаза на Филиппа. Он взял ее за руки и уже не выпускал их все время, пока говорил.

— Я завоевал себе имя, успех, у меня есть деньги и то, что они могут дать. Но вы не знаете, как я этого добился и как теперь удерживаю за собой. Я все вырывал силой и силой удерживаю. Я совершил насилие над своей судьбой, — если верно, что есть судьба. Я пробыл вопреки обстоятельствам и воле людей. И никогда я не умел (да и не хотел) врачевать раны, нанесенные мною чужому самолюбию, не старался, чтобы люди простили мне мои удачи и растоптанные на ходу чужие интересы. Мои милейшие коллеги рассчитывали, что успех, наконец, подействует на меня как наркоз. Ничего подобного не случилось. Они чувствуют, что я человек им чужой и, сколько ни умасливай меня, не стану для них своим. Это потому, что я не могу забыть чудовищный обман и несправедливость, которые видел по ту сторону перегородки. У меня было достаточно времени, чтобы поразмыслить о лжи, царящей в нашем обществе, лжи, которую каста интеллигенции всегда охраняла как самый верный пес, вопреки всему тому, чего от нее ждут и что она сама себе приписывает. Не стоит говорить о тех немногих ловкачах, которые, замкнувшись в башне своего искусства и теорий, слынут за людей, ничего не уважающих, но, выходя из своей башни, весьма вежливо снимают шляпу перед царящей в мире глупостью. Я же совершаю неслыханное безумие: не желаю с нею заигрывать! Я даже сейчас собираюсь в поход против некоторых священных обманов, которые тяжелым грузом ложатся на плечи, и так уже согбенные нищетой, и осуждают тысячи людей на безысходные муки. Меня, конечно, встретит лаем цербер о трех пастях, имя которым: лицемерная мораль, лицемерный патриотизм, религиозное ханжество. Но об этом я вам расскажу потом... Меня тоже ждет поражение, я это знаю, но все-таки дерусь, потому что это нужно и еще потому, что люблю радость и муки борьбы... Теперь вы понимаете, почему ваши слова в тот вечер были для меня вестью, которую сердце подает сердцу... А вы этого и не подозревали! Да, ваши слова были предназначены для

меня, и я хочу, чтобы губы, которые их произносили, тоже стали моими.

Аннета подставила ему губы. Он ласково сжал ее щеки своими сильными руками.

— Ривьер, вы мне нужны. Я не надеялся, что найду вас. А теперь вы моя, и я вас не выпущу.

— Держите крепко! Смотрите, как бы я от вас не ускользнула!

— А я знаю, чем вас привязать: я предлагаю вам делить со мной мою трудную жизнь, опасности, борьбу с врагами.

— Да, вы меня знаете... Но как вы можете предлагать мне то, что отдали вашей Ноэми? Вы на это права не имеете!

— На что оно ей? Она ни о чем таком и слышать не хочет. Она изгоняет из жизни правду, труд и страдания.

Аннета молча посмотрела на Филиппа, и он прочел в ее глазах вопрос, которого она не задала.

— Вы думаете: «Так зачем же он на ней женился?..» Эта женщина всегда лжет, да, да, в ней все ложь, от корней волос до кончиков ногтей... А самое главное то, что я ведь именно за это ее и взял! Я ее почти люблю за это... Когда ложь — искусство, доведенное до совершенства, она стоит хорошего театра... (Разве мы не знаем, что театр, что почти всякое искусство лжет? Исключение составляют разве только несколько чудиков, которые смущают своим поведением собратьев по ремеслу, и те утверждают, что эти люди не художники, что они только портят марку и сбивают цену...) Ну, а если в нашем обществе все ложь, так мы вправе требовать, чтобы ложь была хотя бы приятна. Поэтому я предпочитаю жить и общаться с тем, кто лжет красиво. Им меня не обмануть, я все вижу. Прелести Ноэми так же поддельны, как ее чувства. Но подделка удалась! Она делает честь Ноэми. Я наслаждаюсь ею по вечерам, когда прихожу домой со своей живодежки, где вид и запах гнилого мяса оскорбляет глаз и отравляет дыхание. Ноэми — весело журчащий ручей, и я в нем омываюсь. Пусть себе лжет! Какое это имеет значение? Если бы она вдруг вздумала говорить правду, ей нечего было бы сказать.

- Как вы жестоки! Она вас любит.
- Несомненно. Я ее тоже.
- А если вы ее любите, для чего я вам?
- Я люблю ее только так, как ей нужно.
- Это много.
- Много? Для нее, быть может. Но не для меня.
- Но смогу ли я дать вам то, что дает она?
- Вы? Вы не игрушка.
- А я жалею, что не могу быть игрушкой. Вся жизнь — игра.
- Да, но вы-то ведь верите в нее! Вы из тех игроков, которые очень серьезно относятся к игре.
- И вы тоже.
- Ну, я сознательно этого хочу.
- А кто вам сказал, что я этого не хочу?
- Вот и отлично, будем вместе играть серьезно!
- Нет, я не хочу счастья, построенного на развалинах. Я сама страдала и не хочу, чтобы из-за меня страдали другие.
- В жизни все покупается страданием. Таков уж закон природы — счастье всегда строится на развалинах. И все в конце концов превращается в развалины — по крайней мере все то, что построено!
- Не могу я на это решиться — сделать несчастной другую женщину. Бедная Ноэми!
- Она меньше жалела бы вас, если бы ей нужно было вас растоптать.
- Я тоже так думаю. Но она вас любит. А убить любовь — преступление.
- Хотите вы или нет, с этим все кончено. Вы ее убили одним своим появлением.
- Вы думаете только о себе!
- Когда любишь, всегда так бывает!
- Неправда! Вот я думаю и о себе, и о вас, и о женщине, которая вас любит, и обо всем, что вам дорого, и о том, что дорого мне. Я хотела бы, чтобы моя любовь для всех была радостью и благом.
- Любовь — поединок. Нельзя смотреть по сторонам, иначе ты погиб. Смотрите прямо в глаза противнику, который стоит перед вами!
- Противнику? Это кому же?

- Мне.
- Ах, вам!.. Это меня не пугает. А вот Ноэми... Она мне не враг, она не сделала мне ничего дурного. Как я могу разбить ей жизнь?
- Что же, по-вашему, лучше ее обманывать?
- Обманывать? Нет, уж лучше разбить жизнь ей... или себе: отказаться от вас.
- Вы не откажетесь.
- Откуда вы знаете?
- Такая женщина, как вы, не отступает из слабости.
- Почему из слабости? Может, это не слабость, а сила?
- Не вижу силы в отречении. Мы с вами любим друг друга. Я уверен, что вы не уйдете от меня.
- Не ручайтесь!
- Но ведь вы меня любите?
- Люблю.
- Значит?..
- Значит... Вы правы, я не могу... я не в силах от вас отказаться!
- Значит?
- Значит, будь что будет!..

Они все еще ничего не сказали «ей».

Аннета давала себе клятву, что не будет принадлежать Филиппу, пока не поговорит с Ноэми. Но сила страсти взяла верх над ее решимостью. Страсти нельзя назначать час, она сама его выбирает. И теперь уже Аннета удерживала Филиппа от объяснения с женой. Ее страшила его неумолимость.

Филипп без всякого зазрения совести мог бы обманывать Ноэми. Он не настолько ее уважал, чтобы считать себя обязанным сказать ей правду. Но если бы ему пришлось сказать правду, он сказал бы ее без всякой пощады. Когда им владела страсть, он становился страшным человеком, до ужаса безжалостным. Ничто, кроме его страсти, для него не существовало. Любовь его к Ноэми была любовью господина к дорого стоящей рабыне — в сущности Ноэми ничем другим и не была для него. Как многие женщины, она с этим мирилась:

когда рабыня держит в руках своего хозяина, что может сравниться с ее властью? Она — все, до того дня, когда становится ничем. Ноэми это понимала, но она твердо рассчитывала на свою молодость и красоту и надеялась, что так будет еще много лет. А там — хоть потоп!.. Кроме того, она была постоянно настороже. Она знала о мимолетных изменах Филиппа, но не придавала им большого значения, потому что правильно их расценивала: это были связи без завтрашнего дня. В отместку она тоже позволяла себе легкие «развлечения», скрывая это от мужа. Только один-единственный раз, когда неверность Филиппа причинила ей жгучую боль, она в бешенстве изменила ему по-настоящему. Это доставило ей мало удовольствия и даже было немного противно, но зато она поквиталась с мужем. После этого она стала к нему еще нежнее. И в его объятиях она со злорадным удовольствием говорила ему мысленно:

«А ведь я тебе изменяю, миленький! Да, да, ты теперь рогат! Так тебе и надо!..»

Боязнь, как бы Филипп не узнал правды, еще обостряла удовольствие. А Филипп не знал ничего определенного, никаких фактов, но читал по лицу жены, что она ему лжет, и понимал, что если она еще не изменила, то во всяком случае замышляет измену. Ноэми подмечала молнии во взглядах мужа. Эти руки способны были ее растерзать!.. Но она успокаивала себя мыслью, что он ничего не знает и никогда не узнает. И закрывала глаза с томностью кроткой голубки. Филипп говорил грубо:

— Посмотри на меня!

Но она успевала уже придать глазам выражение спокойное и невинное. Он знал, что эти глаза лгут, и все же не противился их очарованию.

Он не сердился на Ноэми, но если бы застал ее с другим, переломал бы ей кости. Он никогда не ждал от этой женщины того, чего она не могла ему дать: искренности и верности. Так как она нравилась ему, то, пока она ему нравилась, все было в порядке. Но он считал себя вправе порвать с нею, как только она перестанет ему нравиться.

Аннета была совестливее его. Она, как женщина, лучше понимала, что творится в душе Ноэми. Может

быть, Ноэми лжива и суетна, может быть, она неверна Филиппу, но она его любит! Нет, для Ноэми это была не игра, как уверял Филипп. Она вросла в него, словно часть его тела. Она вложила в свою любовь не только чувственность, но и всю глубину сердца, какое бы оно ни было, доброе или злое. Да, каково бы ни было это сердце, в любви имеет значение только одно: ее сила, этот властный магнит, который заставляет одного человека телом и душой вращаться в другого. Ноэми цеплялась за Филиппа, как за цель своей жизни, за то, чего она хотела, хотела, хотела столько лет! Женщина не всегда знает, почему она влюбилась. Но когда она уже влюбилась, она не может оторваться. Слишком много растрчено ею сил и желаний, чтобы можно было их перенести на новый объект. Она, как паразитическое растение, обвивается вокруг своего избранника. И, чтобы ее отделить, пришлось бы резать по живому.

Ноэми начали мучить подозрения. Сначала едва заметные, словно на сердце тихонько кошки скребли. В их семейной жизни ничто не изменилось: Филипп был такой же, как всегда, — резкий, неразговорчивый. Вечно он куда-то спешил, слушал ее, не слыша, и думал о чем-то своем со странным огнем в глазах. Он в это время был всецело поглощен довольно неприятным делом — беспощадной полемикой в печати, которую сам же вызвал. Ноэми это знала и вовсе не жаждала, чтобы он посвящал ее в свои заботы. Когда он вот так бывал чем-нибудь увлечен, он ни о чем другом не мог думать и жены не замечал. Ей оставалось только ждать, предоставив ему поститься: после такого поста он возвращался к ней с еще большим аппетитом. Однако на этот раз пост что-то уж очень затянулся! Прежде Ноэми в таких случаях начинала для развлечения заигрывать с мужем, а Филипп, раздраженный тем, что его отвлекают от важных мыслей, давал ей резкий отпор. И хотя Ноэми очень громко возмущалась его нелюбезностью, она вовсе не сердилась; она была похожа на ребенка, играющего с хлопущей: чем больше треску, тем больше удовольствия... Но на этот раз (катастрофа!) хлопущка не разрывалась... Все ухищрения кокетства разбивались о полное равнодушие Филиппа. Он их даже не замечал...

Подозрение, как мышь, пробежало в душе Ноэми, вернулось, водворилось в ней прочно. Оно потихоньку грызло, грызло и добралось до тела. Наконец, однажды Ноэми взвыла...

Как-то утром они лежали рядом в постели. У Филиппа глаза были открыты. Ноэми только что проснулась, но притворялась спящей и незаметно наблюдала за ним. Она инстинктом улавливала в его лице словно отражение чьего-то другого (ибо мысль без нашего ведома принимает форму того образа, который в ней живет). Ноэми тотчас ревниво насторожилась и, лежа неподвижно, стараясь дышать ровно, как дышат спящие, из-под опущенных ресниц так и впиалась взглядом в мужа. Жадно изучала она лицо этого человека, такого близкого — и такого далекого, человека, который принадлежал ей и оставался всегда чужим. Его бедро касалось ее бедра, а между тем их разделяла пропасть... Да, да, она не ошиблась, у Филиппа какие-то новые заботы, и не деловые, нет!.. Заботы ли? Она увидела, что он улынулся... Он думал о другой!.. Чтобы вырвать его у этого призрака и испытать свою власть над ним, Ноэми застонала как бы во сне и обняла его обими руками. Филипп холодно отодвинулся от прильнувшего к нему тела и, думая, что жена спит, тихо встал, оделся и вышел. Ноэми не шелохнулась... Но, как только Филипп закрыл за собой дверь, она вскочила с постели. Лицо ее искажилось, она била себя кулачками в грудь, с трудом сдерживая крики тоски и гнева.

С этой минуты она начала слежку. Напряженно, трепетно стерегла, разнохивала. У нее чесались руки, она сгорала от желания разорвать на части соперницу... О, тихонько, без шума!.. Впиться когтями ей в сердце!.. Однако Ноэми не находила этого сердца. В чьей груди оно скрывалось?.. С лихорадочным усердием охотника, выслеживающего в лесу зверя, она обследовала круг знакомых и, скрывая острые зубки под молодой улыбкой накрашенного рта, изучала каждую черточку в лице Филиппа, когда он находился в обществе женщин, подстерегала взгляды, жесты, оттенки голоса каждой из них. Она словно удерживала внутри себя на сворке

насторожившихся псов, которые почуяли зверя... Но след всякий раз оказывался ложным. Зверь ускользал...

Странное ослепление, из-за которого Ноэми с самого начала устранила из поля своих наблюдений Аннету, продолжалось. За последние недели она совсем забыла об Аннете. Та не показывалась у них в доме: она чувствовала себя виноватой и не только не гордилась, но, наоборот, стыдилась своей тайной победы, своего украденного счастья. Она избегала Ноэми. Предлогов для этого нашлось бы достаточно, если бы Ноэми выразила желание увидеться с ней. Но Ноэми такого желания не выражала, у нее было слишком много тревог, и ей было не до Аннеты.

Напрасно Ноэми старалась себя убедить, что прихоть Филиппа пройдет. Явные симптомы его охлаждения не только не исчезали, а стали еще заметнее: равнодушное невнимание к словам, к выражению лица, к самому присутствию жены, полнейшее безразличие. И более того: когда Ноэми настойчиво пыталась напомнить ему о своем существовании, она замечала на его лице выражение скуки, досады и плохо скрытого отвращения, мину человека, который хочет избежать тягостного общения...

Ноэми трепетала от ярости и оскорбленной любви. Она не могла больше скрывать от себя всей серьезности обрушившейся на нее беды. Она сходила с ума. Притом еще нужно было постоянно делать усилия, чтобы не выдать себя... Всегда, всегда казаться веселой, уверенной, постоянно ловить его на приманку... на которую он и не смотрел! Ноэми изводила мысль о неуловимой, неизвестной сопернице. В ней поднималась бешеная ненависть к этой женщине... Хотелось биться головой о стену с досады, что она не может поймать ее... Напрасно следила она за всеми знакомыми женщинами. За всеми... кроме Аннеты. Меньше всего она подозревала Аннету.

Аннета сама себя выдала.

Как-то раз на улице, шагах в двадцати от себя, она заметила Ноэми, которая шла ей навстречу. Ноэми ее не видела, она шла, опустив голову и рассеянно глядя по сторонам. Ее красивое лицо было мертвенно бледно и казалось постаревшим. В эту минуту она не следила за



собой и не замечала никого вокруг. За последнее время она превратилась в маньячку, которая с подавленной яростью непрерывно вращает в уме жернова навязчивой идеи. Аннета была поражена ее видом. Она могла бы незаметно пройти мимо Ноэми или повернуть обратно. Но, торопясь избежать встречи, она сделала промах: сошла с тротуара и перешла через улицу. Это на мгновение нарушило движение пешеходов и привлекло внимание Ноэми. Она узнала Аннету и поняла, что та хотела уклониться от встречи с ней. Проводив ее глазами, она увидела, как Аннета, дойдя до противоположного тротуара, украдкой глянула на нее и тотчас отвернулась. В голове Ноэми ослепительной молнией вспыхнула догадка: это она!..

Ноэми остановилась, задыхаясь, вонзив ногти в ладони, сжав зубы и ошетинившись. Она напоминала разозленную, выгнувшую спину кошку. У нее в эту минуту были глаза убийцы. Взгляд какого-то прохожего напомнил ей, что она живет в мире, где надо притворяться и лгать, и что она на одну минуту изменила этому правилу. Ноэми вернулась к действительности. Но, пройдя десять шагов, не выдержала и разразилась злобным смехом. Враг найден... Тайна у нее в руках!..

Аннета была очень расстроена встречей с Ноэми. С того дня, как она отдалась Филиппу, ее не переставала мучить совесть. Не потому, что она считала грехом принадлежать тому, кого любила. Их связывала любовь настоящая, здоровая, сильная. Она не нуждалась ни в оправдании, ни в притворстве. Никакие общественные условности не могли взять верх над нею. В горячке этой страсти Аннета и мысли не допускала, что у нее есть какой-то долг перед Ноэми; подлинной женой Филиппа была она, Аннета, и она не признавала той, другой, которая не способна была быть ему товарищем в его труде и борьбе, не сумела дать ему счастье. Однако эта уверенность не мешала Аннете помнить, что счастье ее добыто ценой чужого горя. Она уговаривала себя, что такая пустая и легкомысленная женщина, как Ноэми, не способна сильно страдать, что она легко откажется от Филиппа.

Но чутье подсказывало обратное, и все, что она могла сделать, это просто перестать думать о Ноэми. В первые дни эгоизм счастья помог ей.

Однако после встречи с Ноэми это стало уже невозможно. Аннета обладала несчастной способностью отрезаться от себя и, наперекор собственным чувствам, проникаться чувствами других, в особенности их страданиями, которые она угадывала с первого взгляда.

Аннета пришла домой, потрясенная горем Ноэми, переживая его почти так же остро, как сама Ноэми. Она не могла больше отделяться рассуждениями, вооружаться правами любви. «Ноэми тоже любит. И страдает. Разве у любви страдающей меньше прав, чем у любви, причиняющей страдания?.. Никаких прав нет! Одной из нас придется страдать. Ей или мне!..»

«Ей!» Страсть к Филиппу не оставляла Аннете выбора... Но это было совсем не весело.

Она думала: «Надо хотя бы не отягчать ее горя! Это преступление — длить его так долго, как мы это делаем, давать ране гноиться, вместо того чтобы твердой рукой сделать операцию и перевязать. Мы увильчиваем от честного признания и предоставляем Ноэми самой догадаться о своем несчастье — это и трусость и жестокость!»

Аннета в первый же день объявила Филиппу:

— Я не хочу прятаться.

Как она могла, откладывая со дня на день, допустить такое недостойное положение?.. В этом виновата была все та же ее душевная мягкость... Она не раз говорила Филиппу:

— Надо сказать ей.

Но когда Филипп хотел это сделать, она его удерживала, боясь его грубой прямооты. Филипп бросал то, что разлюбил, как выжатый лимон. Старые узы его стесняли. Он говорил:

— Давай покончим с этим!

А Аннета отвечала:

— Нет, нет, только не сегодня!

Она понимала, какую боль он причинит Ноэми. Боже, как тяжело убивать человеческую душу!

У Филиппа и без того было о чем подумать. Дни его проходили в ожесточенной борьбе с обрушившимися на него печатью и общественным мнением. Аннета видела, что сейчас не время докучать ему своими заботами. Филипп затеял опасную кампанию. Он взял на себя почин в деле создания Лиги ограничения рождаемости. Ему было ненавистно бесстыдное лицемерие господствующей буржуазии, которая, ничуть не заботясь об улучшении гигиенических условий жизни и облегчении нужды трудящихся, заинтересована только в том, чтобы они размножались, поставляли ей пушечное мясо и рабочие руки для ее предприятий. Сами-то они, эти господа, не хотят иметь много детей, чтобы не усложнять себе жизнь и не нарушать ее благополучия. А то, что неумеренное деторождение упрочивает нищету, болезни, порабощение народа, их это не беспокоит. Они объявили деторождение религиозным и патриотическим долгом. Филипп не сомневался, что, выступая против этого, наживет себе врагов. Но никогда опасность не останавливала его. Он ринулся вперед. Ярость противников превзошла его ожидания.

Он стал ненавистен множеству людей: прежде всего собратьям по профессии, жрецам науки, чье самолюбие, интересы и ученый авторитет были задеты, затем вытесненным им соперникам и даже кое-кому из его сторонников, которым он беспощадно резал правду в глаза, ибо не такой он был человек, чтобы платить за похвалы любезностями, и благодарность не принадлежала к числу его добродетелей. Он принимал все одобрения как должное и другим воздавал по заслугам — и только, а это было немного! К благодетелям он относился без всякого почтения — единственным исключением была Соланж. Никому никаких льгот! Таким образом, следовало ожидать, что нападки на него будут сильные, а защитников найдется мало. Филипп мешал маневрам тех, кто спекулировал на идеалах. Всякий раз, как возникала какая-нибудь очередная организация благородных жуликов-филантропов, можно было не сомневаться, что он выступит против нее. Он с циничным удовольствием разоблачал хитрости добродетельных лицемеров. Это тоже создало ему в

почтенных кругах репутацию (*sotto voce*<sup>1</sup>) сумасброда, анархиста, разрушителя основ. Эти шушуканья пока не дошли еще до публики, до страшного уха Пасквино — продажной прессы. Враги выжидали подходящего момента. *Escolo!*<sup>2</sup> Теперь подвернулся очень удобный случай...

Произошел взрыв патриотического негодования. Вмешались газеты. Отголоски этого всеобщего возмущения дошли даже до парламента, и там были произнесены бессмертные речи в защиту прав бедняков на многочисленное потомство. Несколько энтузиастов внесли проект закона, строго карающего за всякую пропаганду, которая прямо или косвенно ратует за уменьшение народонаселения. Свободомыслящая пресса утрировала доводы Филиппа за ограничение деторождения и в своем изложении выдвинула на первый план мотив эгоистического наслаждения, умолчав о соображениях гуманности. Это дискредитировало все выступления Филиппа. Он обрел сторонников среди врагов общества. Своим противникам он отвечал на страницах одной крупной газеты, отвечал очень резко и прямо. Но в редакцию посыпались письма с протестами, и Филипп рисковал потерять эту трибуну. Он читал публичные лекции, выступал на бурных собраниях. Он атаковал своих врагов с такой же неистовой страстностью, как они — его. Они зорко следили за каждым его словом, ожидая, что какая-нибудь неосторожность Филиппа даст им в руки оружие и поможет его погубить. Но их суровый противник сдерживал свои порывы и не позволял увлечь себя ни на шаг за пределы того, что он хотел сказать. Он завоевал себе громкую известность, вызывал восторги, насмешки, ненависть. В дыму сражений он дышал полной грудью.

Среди таких бурь мог ли он думать о Ноэми?

Ноэми спешила домой. Она припоминала первые встречи Филиппа и Аннеты, которые происходили у нее на глазах, и яростно проклинала свою глупость и их коварство. Едва она очутилась в своей квартире, она дала

---

<sup>1</sup> под сурдинку (*итал.*).

<sup>2</sup> Вот он! (*итал.*)

волю бешенству. Это был настоящий смерч. В одно мгновение все было сметено им. Кто увидел бы сейчас Ноэми, в слезах, в судорогах отчаяния, с трудом узнал бы ее. Хорошенькое личико было искажено, она кусала и рвала носовой платок, произвела полный разгром среди бумаг на письменном столе мужа, сорвала злость на своей собачке, вздумавшей к ней ластиться, и на попугае, которого чуть не задушила... Конечно, она предусмотрительно заперлась на ключ: разыгрывать фурию можно было только при закрытых дверях, — ведь это ее не красило! Лицо приняло жесткое выражение, казалось постаревшим и измятым. Но, увидев себя в зеркале такой злой и некрасивой, Ноэми не только не огорчилась, а испытала что-то вроде облегчения: это была своего рода месть Филиппу. Потом ей стало себя жалко, обидно за подурневшее лицо. Эта жалость растопила злобу, и Ноэми, свернувшись калачиком на ковре, громко зарыдала... Времени у нее оставалось мало — Филипп должен был скоро вернуться, и она спешила выплакаться до его прихода: захлебывалась, рыдала вдвое громче, быстро и бурно... Она еще бушевала, но гроза шла на убыль. Незлопамятная собачонка подошла и лизнула хозяйку в ухо. Ноэми поцеловала ее, причитая, потом приподнялась, села на ковре, поглаживая свою ногу, и затихла. Она размышляла. Вдруг, приняв решение, она вскочила, отбросила назад волосы, свисавшие ей на глаза, подобрала разбросанные по комнате вещи, привела в прежний порядок бумаги на столе, затем старательно напудрила и подкрасила лицо, оправила платье и стала ждать.

Филипп застал ее спокойной и ласковой. Она сначала испробовала простейшее оружие. В разговоре она с невинным видом ловко вставила несколько гадостей о ненавистой сопернице. Сладеньким голоском сделала два-три каверзных замечания об Аннете. Об ее внешности, разумеется. Ноэми считала, что нравственные качества — дело второстепенное: душа душой, а любовь-то все-таки поддерживается влечением к телу! Ноэми была великая мастерица выискивать в красоте других женщин какие-нибудь изъяны, которые, когда их тебе укажут, уже невозможно забыть. На этот раз она превзошла

себя: ведь показать соперницу ее любовнику в отталкивающем виде — задача увлекательная, что и говорить!

Филипп выслушал, но и глазом не моргнул. Ноэми переменяла тактику. Стала защищать Аннету, опровергая людские толки, восхвалять ее добродетели (такие похвалы ни к чему не обязывают). Она хотела вызвать Филиппа на разговор, заставить его выдать себя, завлечь его в расставленную ловушку. Но к похвалам ее, как и к злословию, Филипп отнесся равнодушно.

Она пустила в ход кокетство и заигрывания, пыталась разжечь в Филиппе ревность, со смехом пригрозив, что, если он ее когда-нибудь обманет, она ему отплатит с лихвой. Филипп даже не усмехнулся и, сославшись на какое-то дело, собрался уходить.

Тут Ноэми снова вышла из себя. Она крикнула, что знает все, что ей известно о его связи с Аннетой. Она грозила, бранилась, умоляла, твердила, что покончит с собой. Филипп только плечами пожал и, не говоря ни слова, шагнул к двери. Она побежала за ним, схватила его за плечи, заставила обернуться и, глядя ему в глаза, не своим голосом спросила:

— Филипп! Ты меня больше не любишь?..

Он посмотрел ей в лицо:

— Нет!

И вышел.

Если Ноэми и раньше неистовствовала, то теперь она совсем обезумела. В течение нескольких часов она была как в бреду. Она перебирала всевозможные способы мщения, один нелепее и страшнее другого. Убить Филиппа. Убить Аннету. Убить себя. Осрамить Филиппа. Оклеветать Аннету. Изувечить ее. Облить серной кислотой... О, какое это будет наслаждение — обезобразить ее!.. Задеть ее честь. Заставить ее страдать из-за сына. Написать и разослать анонимные письма... С лихорадочной поспешностью Ноэми нацарапала несколько строк, разорвала письмо, начала снова, опять разорвала... Она способна была сейчас поджечь дом...

Но ничего такого она не сделала, постепенно успокоилась, собралась с силами. И тогда пустила в ход гениальную изобретательность влюбленной женщины.

Она поняла, что с Филиппом ей ничего не сделать...

Когда-нибудь она отомстит ему за все!.. Но сейчас он неуязвим. Значит, надо приняться за Аннету. И Ноэми отправилась к Аннете.

Она еще не знала, что будет делать, но была готова на все. Положила в сумочку револьвер. Дорогой она придумывала всякие сцены, но потом от них отказывалась. Она инстинктом предугадывала ответы Аннеты и применительно к ним исправляла свой план, а потом, в последний момент, вдруг целиком изменила его. Ярость захлестывала ее, когда она, почти бегом, задыхаясь, поднималась по лестнице к Аннете. Сквозь ткань сумочки она судорожно сжимала револьвер. Но когда дверь открылась и она очутилась лицом к лицу с Аннетой, ей сразу стало ясно: один жест, одно резкое слово с ее стороны — и раздраженная Аннета еще неумолимее встанет на защиту своей любви.

И злость Ноэми мгновенно испарилась. Красная и запыхавшаяся от быстрой ходьбы, она со смехом бросилась обнимать Аннету. Удивленная этим вторжением, смущенная ее нежностями, Аннета оставалась сдержанной. Но неожиданная гостья, войдя, сразу без церемоний прошла в спальню. Быстрым взглядом удостоверившись, что Филиппа там нет, она уселась на ручке кресла и засыпала ласковыми словами Аннету, с натянутым видом стоявшую перед ней. Не переставая болтать, Ноэми одной рукой даже обняла Аннету за талию, другой терла ее косынку. И неожиданно залилась слезами... В первый момент Аннете показалось, что это тоже игра... Но нет! Ноэми расплакалась не на шутку, это были настоящие слезы...

— Ноэми! Что с вами?

Та не отвечала и, припав лицом к груди Аннеты, продолжала плакать. Аннета, тронутая этим великим горем, пробовала ее успокоить. Наконец, Ноэми подняла голову и, всхлипывая, простонала:

— Отдайте мне его!

— Кого? — спросила захваченная врасплох Аннета.

— Вы знаете!

— Но, право...

— Да, знаете, знаете! И я знаю, что вы его любите. И что он вас любит... Зачем вы отняли его у меня?

И опять слезы. Аннета с тяжелым сердцем слушала, как Ноэми жалобно напоминала ей о своем доверии и расположении к ней. Она не в силах была ничего возразить, потому что и сама себя осуждала. Эти горестные упреки, лишенные всякой запальчивости, попадали в цель. Только когда Ноэми с укором сказала, что Аннета злоупотребила ее дружбой для того, чтобы ее обмануть, Аннета сделала попытку оправдаться. Она возразила, что любовь пришла помимо ее воли и завладела ею. Ноэми, которую эти признания ничуть не тронули, старалась придать им другой смысл: она притворилась, будто и сама оправдывает Аннету, а главным виновником считает Филиппа. Она говорила о нем оскорбительные вещи. Таким способом она не только дала выход злобе, но и хотела внушить Аннете отвращение или хотя бы недоверие к Филиппу. Но Аннета стала защищать его. Она не могла допустить, чтобы Филиппа называли обманщиком и соблазнителем. Он хотел действовать честно. Это она виновата, она не давала ему поговорить с Ноэми. Ноэми в пылу ненависти еще настойчивее стала его обвинять, но Аннета не сдавалась. Спор принял ожесточенный и резкий характер. Можно было подумать, что из них двух настоящая жена Филиппа — Аннета. И, видимо, Ноэми вдруг это поняла. Забыв всякую осторожность, она крикнула вне себя:

— Я запрещаю вам говорить о нем! Да, запрещаю!.. Он мой.

Аннета пожала плечами:

— Он не ваш и не мой. Он сам себе господин.

Ноэми запальчиво повторила:

— Он мой!

И заговорила о своих правах.

Аннета сказала сухо:

— В любви не может быть никаких прав.

Ноэми опять крикнула:

— Он мой, и я его не отдам!

Аннета возразила:

— Он любит меня, и вам его не удержать.

Обе женщины враждебно смотрели друг на друга: Аннета — в броне эгоизма и твердой решимости, Ноэми — сгорая от желания дать ей пощечину. Она нена-



видела ее всю с головы до ног. Она готова была издеваться над ее некрасивостью, исхлестать ее самыми жестокими словами, словами непоправимыми. Какое это было бы наслаждение!.. Но она сообразила, что ей это обойдется слишком дорого, — и сдержалась.

Она вдруг проворно нагнулась, подобрала упавшую на пол сумочку и выхватила из нее револьвер... В кого его направить? Она еще сама не знала... В себя!.. Сперва это было притворно. Но когда Аннета бросилась к ней и схватила ее за руку, Ноэми увлеклась игрой. Между двумя женщинами завязалась борьба. Ноэми упала на колени, Аннета стояла, нагнувшись над ней.

Нелегко было удержать эту сумасшедшую. Сейчас она уже и в самом деле хотела застрелиться... Однако, если бы револьвер коснулся груди Аннетты, с каким сладострастием она спустила бы курок!.. Но Аннета толкнула ее руку, выстрел раздался, и пуля засела в стене. И Ноэми так и не узнала, в кого же она собственно целилась — в себя или соперницу...

Она бросила револьвер, перестала бороться. Наступила нервная реакция. Она сползла на пол к ногам Аннетты, обессиленная, плача навзрыд. С ней сделалась истерика. Чуткая Аннета вначале заподозрила, что Ноэми разыгрывает сцену (но разве в подобных случаях узнаешь, где кончается игра и начинается истинная драма?). Этот шантаж, эта мнимая попытка к самоубийству вызвала у нее в первую минуту глухое раздражение... Но сейчас уже невозможно было сомневаться в страданиях этой бедняжки, сломленной горем. Аннета старалась сохранить твердость, отвернулась, но ничего не помогало. Ей стало стыдно за свои подозрения, и она с чувством глубокой жалости опустилась на колени подле Ноэми, поддерживая ей голову. Она пробовала ее успокоить, приговаривая совсем по-матерински:

— Ну, ну, деточка... Не надо! Перестаньте!..

Она обхватила Ноэми своими сильными руками и подняла с полу. Ощутив в своих объятиях покорное молодое тело, сотрясаемое рыданиями, она подумала:

«Неужели, неужели это из-за меня так страдает человек?»

Но другой внутренний голос возражал:

«А разве ты не согласилась бы за свою любовь заплатить какими угодно муками?»

«Да, своими, но не чужими!»

«И своими и чужими. С какой стати щадить других больше, чем себя?»

Аннета посмотрела на Ноэми, которая в полуобмороке лежала у нее на руках... Какая она легонькая!.. Точно птичка!.. Ей вдруг представилось, что это ее дочь. И она невольно крепче прижала ее к себе. Ноэми открыла глаза, и Аннета подумала:

«А будь она на моем месте, разве она пожалела бы меня?»

Ноэми смотрела на нее с убитым видом. Аннета усадила ее в кресло и, стоя подле нее, положив ей руку на лоб (Ноэми внутренне задрожала от ненавистного прикосновения, но и виду не показала), спросила тоном, каким говорят с плачущим ребенком:

— Значит, вы сильно его любите?

— Да, его одного всю жизнь!

— Я тоже его люблю.

Ноэми так и вскинулась, ужаленная ревностью, и сказала резко:

— Да, но я молода. А вы... (она запнулась) вы уже свое от жизни взяли и можете обойтись без него.

Аннета с горечью досказала мысленно слово, которого Ноэми не произнесла вслух. Она думала:

«Да, мне уже недалеко до старости. Вот поэтому-то я так и цепляюсь за последний час молодости, за этот последний луч счастья. И не упущу его ни за что... Эх, если бы у меня, как у тебя, драгоценная молодость была впереди!..»

И добавила с грустью:

«Я бы, наверное, опять ее прожила не так, как надо».

Ноэми, видя омраченное лицо Аннеты, испугалась, как бы не испортить дела и не потерять то немногое, чего она уже добилась. Она сказала торопливо:

— Я вполне понимаю, что он вас любит... Вы хороши собой... (Аннета подумала: «Лгунья!») Я знаю, что вы во многих отношениях выше меня... И как раз в том, что он так ценит... И я даже не могу на вас сер-

диться, потому что, несмотря ни на что, очень вас люблю!..

(«Лгунья! Лгунья!» — мысленно твердила Аннета.)

— Наши силы неравны. Это несправедливо, нет, нет!.. Я несчастная женщина и могу только плакать. Я ничто. Я это знаю... Но я его люблю, люблю, я не могу жить без него! Что будет со мной, если вы его у меня отнимете? Зачем же он на мне женился, — неужели только для того, чтобы бросить? Не могу, не могу я! Вся жизнь в нем, больше у меня ничего нет дорогого на свете...

На этот раз она не лгала, и Аннете опять стало жаль ее. Аннету ничуть не трогали заявления Ноэми об ее правах на мужа: она не признавала прав одного человека на другого, этих контрактов на вечное владение, которые заключают муж и жена. Но ей больно было видеть издевательства жестокой природы, которая, разлучая двух любящих, никогда не убивает любовь в обоих сердцах одновременно, а делает так, чтобы один разлюбил раньше, и тот, кто любит сильнее, всегда оказывается жертвой. Ей было противно, что она, Аннета, оказалась орудием этой великой мучительницы. Да, жизнь принадлежит сильным. И любовь не знает колебаний. Чтобы добиться цели, она попирает все. «Горе слабым!.. Но почему же я не могу этого сказать? Хочу, а слова застревают в горле! Противно, не могу!.. Может быть, я недостаточно сильно люблю его? Или я уже стара, как сказала Ноэми? Я на стороне слабых... Нет, нет! Нет! Все это ложь!.. По какому праву она становится между моим счастьем и мной? Я не уступаю ей его. Пусть плачет, что мне за дело до ее слез?.. Я перешагну через нее!»

Но когда она злобно посмотрела на распростертую Ноэми, та, и сквозь слезы зорко следившая за соперницей, схватила ее за руку, лежавшую на спинке кресла, прижала эту руку к своей щеке и сказала с мольбой:

— Не отнимайте его у меня!

Аннета хотела вырвать руку, но Ноэми держала крепко. Приподнявшись с кресла, она уже обеими руками ухватила за Аннету и заставила ее наклониться и взглянуть на нее.

— Не отнимайте его у меня!

Аннета оторвала вцепившиеся в нее пальцы и крикнула с возмущением:

— Нет! Нет... Не хочу! Я ему нужна.

Нозми сказала с горечью:

— Ему никто не нужен. Он и любит-то одного себя. Раньше он тешился мной, теперь вами. Он и вас бросит, как меня. Он ни к кому не способен привязаться.

Она заговорила о Филиппе. Суждения ее были резки, но очень глубоки и метки. Аннета была поражена остротой ее ума. Эта маленькая женщина, казалось такая легкомысленная и пустая, читала в душе мужа с тонкой пронизательностью, рожденной злобой и страданием. И некоторые ее жестокие замечания о Филиппе очень уж совпадали с теми опасениями, которые еще раньше зародились у Аннеты. Аннета сказала Нозми:

— И все-таки вы его любите?

— Люблю. Я ему не нужна, но он мне нужен... Думаете, это легко — так нуждаться в человеке и при этом знать, что ты для него ничто, что он презирает тебя!.. Да я его тоже презираю, презираю! Но не могу без него жить... И зачем я его встретила! Это я сама захотела его. Захотела и взяла... А теперь не он у меня — я у него в руках... Ах, если бы я могла забыть его, как будто никогда и не знала!.. Нет, не хочу!.. У меня не хватит сил. Я слишком выросла в него. Всем нутром. Ненавижу его! Ненавижу любовь! И зачем, зачем люди влюбляются?

Нозми в изнеможении умолкла, бегая глазами по сторонам, как загнанный зверь, ищущий, где бы спастись. Обе женщины опустили головы, словно покоряясь какой-то стихийной жестокой силе.

Нозми настойчиво и уныло опять затянула ту же песню:

— Оставьте его мне!

Аннета ощущала эту чужую упорную волю, как липкие щупальцы спрута, присосавшиеся к ее телу. У нее еще хватило сил вырваться и крикнуть:

— Не хочу!

В глазах Нозми сверкнул злой огонек, пальцы судорожно сжались. Но она сказала кротко и жалобно:

— Ну хорошо, любите его! И пусть он вас любит! Но не отнимайте его у меня! Сохраним его обе, вы и я!

Аннета только отмахнулась с отвращением, и это привело Ноэми в бешенство:

— Думаете, мне самой не тошно об этом думать? Вы мне противны! Я вас ненавижу! Но я не хочу его терять...

Аннета отвернулась от нее и сказала:

— А я к вам никакой ненависти не чувствую. Вам тяжело, и мне тоже. Но делиться любимым человеком — это гнусно! Это преступление против любви! Пусть я буду жертвой или буду палачом, но низкой и малодушной я быть не хочу. Я не уступаю половины, чтобы сохранить того, кого люблю. Я отдаю все и хочу иметь все. Или ничего.

Ноэми, стиснув зубы, крикнула мысленно:

«Так не будет же тебе ничего!»

(Впрочем, даже предлагая этот дележ, она рассчитывала снова завладеть всем.)

Вскочив с кресла, она подбежала к Аннете, упала на колени, обняла ее ноги:

— Простите!.. Я сама не знаю, что говорю, не знаю, чего хочу! Я несчастна и не могу этого вынести... Что же мне делать? Скажите, что делать? Помогите мне!

— Помочь вам? Вы просите помощи у меня?

— Да, у вас! А к кому же мне идти, кто мне поможет?.. Я одинока. У меня нет никого, кроме этого человека, который, даже когда любил, не интересовался мной. Ему я не могу открыть душу... А до него была у меня мать, занятая только собой и своими развлечениями... Мне не с кем посоветоваться... У меня нет ни одной подруги... Когда я с вами познакомилась, я думала, что нашла друга. А вы стали мне злейшим врагом... За что вы сделали мне столько зла?

— Бедная моя девочка, разве я виновата? Я этого не хотела... — сказала удрученная Аннета.

Ноэми тотчас ухватила за вырвавшееся у Аннеты ласковое слово:

— Вы сказали: «моя девочка»!.. Да, будьте мне матерью, старшей сестрой! Не губите меня! Научите,

что делать! Я не хочу терять Филиппа... Дайте мне совет, дайте мне совет!.. Я сделаю все, что вы скажете...

Ноэми лгала только наполовину. Она так привыкла вечно играть роль, настолько в эту роль входила, что уже и чувствовала то, что изображала. Во всяком случае ее любовь, боль, ее надежда тронуть Аннету, от которой все зависело, были искренни. Все, вплоть до доверия, которое она выражала Аннете, — ведь это была последняя карта, которую она в отчаянии поставила! И от нее не укрылось волнение Аннеты, которого та не умела скрыть. Аннета слабела. Беспомощность и покорность Ноэми ее обезоружили. Она не находила в себе силы возражать. Правда, Ноэми не удалось обмануть ее. В слащавых интонациях соперницы Аннета чуяла фальшь. Она не мешала ей говорить, но, слушая, читала в ее душе. Она думала: «Что же делать? Принести себя в жертву? Какая бессмыслица! Не хочу! Я не люблю эту женщину. Она лжет, она меня ненавидит. Да, но она мучается...» И она гладила по голове стоявшую подле нее на коленях Ноэми, а та все всхлипывала и причитала, в то же время наблюдая за Аннетой, угадывая ее колебания, подстерегая ее, как дичь, задыхаясь и трепеща, то от беспокойства, то от острой радости. Время от времени она прижимала к губам руки своей соперницы, которые охотно искусала бы, и без усталости твердила свое:

— Верните мне его!

Тогда Аннета, хмуря брови, попыталась ее оттолкнуть. Она видела в глазах Ноэми хитрость и боль, ложь и любовь, напряженное ожидание... Наконец, поддавшись минутной слабости, она усмехнулась (в этой усмешке была и усталость, и сострадание, и отвращение к себе, к Ноэми, ко всему) и, отвернувшись, сказала:

— Что ж, берите его себе!

Едва выговорив эти слова, она уже пожалела, что сказала их. Ноэми вскочила и бросилась ее целовать, осыпая бурными ласками... (Никогда еще ее ненависть к Аннете не была так сильна! Наконец-то она сдалась!.. Но сдалась ли?..)

Аннета уже говорила.

— Нет, нет!..

Ноэми как будто не слышала. Она называла Аннету своим дорогим, верным другом, клялась ей в вечной благодарности и любви. Она смеялась и плакала.

Однако Ноэми недолго теряла время на бесплодные излияния. Она захотела узнать, что Аннета сделает, чтобы удалить от себя Филиппа. Аннета возмутилась.

— Ничего подобного я вам не обещала!

— Нет, обещали, обещали!..

— У меня просто вырвалось слово...

— Но вы же сами сказали...

— Вы у меня силой вырвали это слово...

— Нет, Аннета, вы не такой человек, чтобы взять свое обещание обратно! Вы сказали: «Возьмите его себе». Да, да, Аннета, вы так сказали! Ну, подтвердите же, что вы так сказали! Вы не можете это отрицать...

— Ах, оставьте меня, оставьте! — твердила Аннета устало. — Я не могу, не хочу! Довольно вам мучить меня...

Она села, чувствуя себя совершенно разбитой. А Ноэми продолжала ее терзать. Роли переменились. Аннета не могла отказаться от Филиппа — любовь пустила в ней крепкие корни. А Ноэми знать ничего не хотела: пусть себе Аннета любит сколько ей угодно, лишь бы она рассталась с Филиппом! Она хотела, чтобы Аннета порвала с ним сейчас же, не откладывая. А способов, как это сделать, она могла подсказать сколько угодно. Она наседала на Аннету, пуская в ход лезть, мольбы, поцелуи, она оглушала ее потоком слов, взывала к ее великодушному сердцу, просила, заклинала, требовала, торопила, диктовала ответы...

Аннета сидела в каком-то оцепенении, не говоря ни слова. Она даже не пробовала остановить этот поток. Сжатые губы, угрюмый взгляд... Наконец, Ноэми замолкла, озадаченная ее неподвижностью. Она взяла Аннету за руки — они были холодные, влажные.

— Да отвечайте же, отвечайте!

Аннета, не глядя на нее, пробормотала:

— Оставьте меня!..

Это было сказано так тихо, что Ноэми скорее угадала по движению губ, чем расслышала ее слова. Она переспросила:

— Вы хотите, чтобы я ушла?

Аннета утвердительно кивнула головой.

— Я уйду. Но вы обещаете?

Аннета повторила устало:

— Оставьте меня, оставьте. меня... Мне надо побыть одной.

Ноэми быстро поправила перед зеркалом прическу и, шагнув к двери, сказала:

— Прощайте... Помните же: вы обещали!..

Аннета в последний раз попробовала протестовать:

— Нет! Ничего я не обещала...

Ноэми почувствовала новый прилив ярости. После всех ее усилий!.. Но инстинкт ей подсказал, что не стоит слишком сильно натягивать струну... Все равно дело сделано!

Она ушла.

Она узнала слабость соперницы и была уверена, что растопчет ее.

Некоторое время после ухода Ноэми Аннета не двигалась с места. Она была вконец измучена этой затянувшейся сценой. Ей было бы легче сопротивляться внезапной атаке, если бы силы ее не были уже подточены двойным бременем страсти и напряженной работы, а главное непрерывной лихорадкой, в которой она жила, лихорадкой, вызванной участием в борьбе Филиппа и близостью к этой буйной душе. При таком физическом и душевном изнеможении как ей было бороться с мучившими ее тайными угрызениями совести? А слабость Аннеты была на руку Ноэми. Она застала почву подготовленной и в своей сопернице нашла союзницу.

Сама по себе Ноэми не играла большой роли в тревогах Аннеты. Как человек, она ей не очень нравилась. Как соперница, была и совсем неприятна. Аннета считала Ноэми живой, коварной, недоброй. Ревность делала ее несправедливой, и она теперь даже не находила Ноэми красивой, хотя прежде восхищалась ею. Все в этой женщине казалось ей поддельным, — все, кроме ее горя. «Ноэми или другая — все равно это страдающий человек,



страдающий из-за меня...» И странная жалость щемила сердце Аннеты.

Эту отзывчивость развило в ней за последние годы зрелище человеческих страданий и нужды и две смерти — Одетты и Рут. Они оставили в душе неясную трещину. Аннета считала это слабостью, чем-то вроде болезни и, пожалуй, была права. Нельзя было бы жить, если бы мы принимали близко к сердцу все человеческие горести. Счастье всегда покупается ценой чьего-то страдания. Одна жизнь питается другой, как личинки, отложенные в теле живой добычи. И каждый пьет чужую кровь. Еще недавно пила ее и Аннета, не задумываясь над этим. И с чужой кровью вливались в нее радость и тепло. Пока она была молода, она не думала о своих жертвах. Тот день, когда она о них задумалась и сказала себе: «Надо быть жесткой» — был началом слабости и душевного надлома. Теперь она это почувствовала: она уже не могла быть жесткой. Она старела. Десять лет тому назад она перешагнула бы через Ноэми без малейшего колебания: «Я имею право на счастье. Горе тому, кто протянет к моему счастью руку!..» Тогда она не нуждалась в самооправдании. А сейчас, для того чтобы вырвать у жизни свою долю счастья, ей уже надо было оправдываться перед своей совестью не только потребностью в нем, а еще чем-то. Бороться во имя самой себя — этого теперь было мало. В погоне за куском хлеба она еще находила в себе силы без колебаний устранять с дороги менее удачливых конкурентов: ведь этот кусок хлеба нужен был ей для сына. Ее поддерживал животный инстинкт, заставляющий зверя защищать своих детенышей и кормить их мясом других зверей. Другой же инстинкт — чувство самосохранения, заставляющее брать и удерживать нужное для себя, — ослабел и проявлялся только вспышками. Отчасти его вытеснило материнство, заняв его место.

Однако сейчас, когда в жизни Аннеты наступил перелом, сын не был для нее поддержкой. Напротив, он был причиной новых тревог и угрызений совести. Аннета не могла себя обманывать: страсть к Филиппу вытесняла мысли о сыне. Она чувствовала себя виноватой перед Марком и пыталась скрыть от него все. Она знала

своего мальчика, она замечала и раньше, что он из ревности всегда выпускает когти в присутствии людей, которых она любит. Она не ставила ему этого в вину, радуясь, что он не хочет ни с кем делить ее любовь. Но теперь она защищала свое счастье — от кого?.. От своего счастья! Одна любовь восстала против другой. А она не хотела жертвовать ни одной из них. И так как обе были ревнивы, властны и захватывали ее целиком, то Аннете приходилось от каждой из них скрывать другую. Но удавалось ли ей это? Марк терпеть не мог Филиппа. Он ничего не знал об их связи (в этом Аннета была уверена), но, может быть, чутьем угадывал что-то?.. Аннете стыдно было хитрить с ним, но еще стыднее было при мысли, что сын может заподозрить истину. На самом же деле Марк ни о чем не догадывался и Филиппа ненавидел совсем по другим причинам.

А Филипп не удостоивал Марка вниманием. Разумеется, женись на Аннете, он взял бы в качестве бесплатного приложения не только одного, но и двух или трех ее детей: ни психологически, ни материально это не играло для него никакой роли, так что и благодарить его было бы не за что. Он не питал к Марку никакой неприязни, считал его неглупым, но ленивым и недостаточно развитым. Он, без сомнения, сумел бы живо забрать Марка в руки, но его ничто не привязывало к мальчику, и он этого вовсе не скрывал. Говорил он о Марке и с Марком тоном добродушно-грубоватым, который больно задевал Аннету. Привыкнув к грубости жизни, Филипп понятия не имел о том, какого бережного внимания требует натура утонченная и гордая и как легко оскорбить ее целомудренную стыдливость. Не стесняясь в выражениях, он в присутствии матери давал Марку медицинские советы и грубо-прямолинейные наставления, которые заставляли краснеть и юношу и мать, — мать еще больше, чем сына. Филипп был того мнения, что от детей не следует ничего скрывать. Так думала и Аннета. И Марк тоже. Но не так надо было все это говорить, как говорил Филипп! Аннета испытывала при этом почти физическое страдание, а Марк чувствовал себя униженным, и в душе его накапливалась злоба. Между ним и Филиппом не могло быть никакого

взаимного согласия — слишком уж различные были у них темпераменты. Легко было предвидеть в будущем столкновения и постоянные нелады. Для Аннеты, страстной любовницы и нежной матери, эта мысль была ужасна.

Ей не от кого было ждать поддержки и совета, надо было решать самой. И она приняла решение эгоистическое. Что же, разве она не вправе подумать и о себе? Но иметь право еще мало, если не можешь за него постоять. А она боролась ли за него? Да, иногда боролась, как львица, когда видела, что молодость, счастье, жизнь уходят безвозвратно... Счастье?.. О счастье с таким человеком, как Филипп, нечего было и думать. Но он мог дать ей нечто большее, неизмеримо большее, чем счастье: жизнь полную, богатую умственными интересами и дерзаниями, не праздный покой, не дремотное благополучие, а мир буйных вихрей и гроз, мир деятельности, борьбы и с обществом и с ним, Филиппом, жизнь трудную и утомительную, но, вдвоем с ним, жизнь настоящую, которую стоит прожить. А когда истощатся силы, она умрет счастливой от сознания, что ей дано было прожить эти суровые и плодотворные годы, умрет, не жалея, что расстается с ними... Это было чудесно! Но для этого нужны были силы... У Аннеты их хватило бы на то, чтобы до конца, не вешая головы, нести взятую на себя ношу. Но как эту ношу поднять? Нужно было, чтобы кто-нибудь помог и даже немного подтолкнул ее. Вот если бы Филипп, взвалив ей эту ношу на плечи, внушил ей, что так нужно! Если бы он сказал: «Неси! Ради меня! Ты мне необходима...» Это слово дало бы ей силы побороть все угрызения совести... А нужна ли она Филиппу? Он сказал ей это в первые дни, когда хотел ею обладать. Но больше не повторял. А ей хотелось бы слышать это снова и снова, чтобы поверить накрепко. Она видела, что Филипп полон собой, привык работать один, бороться один, преодолевать препятствия один и что он этим гордится. Он счел бы для себя унижением прибегнуть к чужой помощи. И Аннета спрашивала себя: «Так на что же я ему?» Благодеяние любви не только в том, что она внушает нам веру в другого человека, но и в том, что мы обретаем веру в себя. Да не лишит она нас никогда этой

милости! Но Филипп мало разбирался в психологических тонкостях. Великий врачеватель тела, как большинство ему подобных, не интересовался недугами души. Он не догадывался о сомнениях, которые грызли женщину, лежавшую рядом с ним. А между тем ему не следовало бы наводить ее на такие тревожные мысли. Надо было положить им конец, женившись на ней! Аннета шептала ему чуть слышно:

— Уедем вместе! Чтобы мне не было пути назад!

Но Филиппу теперь было уже не к спеху. Он был увлечен, да, но не только страстью к Аннете, а и всякими другими страстями, которые были для него куда важнее: своими идеями, борьбой за них, полемикой, которая занимала все его мысли даже в те часы, когда Аннете хотелось, чтобы он думал только о ней. Он вовсе не желал вызвать семейный скандал и связать себе руки громким бракоразводным процессом, пока он не выйдет из боя. Он был твердо намерен выполнить свой долг перед Аннетой, но только не сейчас, а позднее. Пусть она потерпит! Ведь он же терпел! Теперь, когда он обладал Аннетой, он был доволен положением вещей и не склонен скоро менять его. Он воображал, что приучит и Ноэми к кротости и долготерпению. Он был очень уверен в себе. И он не хотел видеть, что такое ожидание невыносимо для обеих женщин...

«Что ж, это естественно! — думала Аннета. — В жизни мужчины — и притом мужчины, достойного любви, — мы, женщины, никогда не занимаем такого места, как его идеи и его дело — наука, искусство, политика. Свой простодушный эгоизм он считает бескорыстием, потому что эгоизм этот порожден преданностью идеям. Такой рассудочный эгоизм убийственнее, чем эгоизм сердца. Сколько он разбил жизней!..»

Аннету не удивляло поведение Филиппа, потому что она знала жизнь. Но ей было больно. С этой болью она бы примирилась, даже, быть может, терпела бы ее с тайным сладострастием самоотречения, к которому женщины так склонны, считая это расплатой за любовь. Но тут дело шло о другом: об ее самоуважении, о чести ее сына, положение которого было унижительно. То, что Филипп этого не понимал, сильно огорчало Аннету. Да,

чуткостью он не отличался! Аннете было известно, что он думал о женщинах и о любви. Думать иначе он не мог. Полученное им воспитание и суровый жизненный опыт сделали его таким, и таким она его полюбила. Но она тогда надеялась, что переделает его. А теперь видела, что с каждым днем теряет власть над ним.

Хуже всего было то, что она теряла власть и над собой. Она чувствовала, что в нее вселился демон страсти и все более и более отнимает у нее волю, поработывает ее. Поединок влюбленных ведется честно только до тех пор, пока существует равенство между противниками. Когда же один сдается, другой всегда злоупотребляет своей победой, и побежденного ждут унижения. Аннета переживала этот мучительный момент борьбы, который предшествует поражению и предрешает его: она знала, что сил ей хватит ненадолго. Поведение Филиппа показывало, что и он это понимает. Он все так же (а может, еще больше) дорожил Аннетой, но был к ней теперь менее внимателен, грубо пользовался плодами своей победы и вел себя, как завоеватель в покоренной области. Все его дни поглощала энергичная и размеренная работа, а ночи он проводил с Ноэми, желая соблюдать приличия. Таким образом, свидания с Аннетой бывали коротки. Никакой душевной близости — только бурные ласки и объятия. А Филипп цинично уверял, будто Аннете досталось самое лучшее из того, что он может дать.

Аннета стремилась освободиться от унижительного рабства, на которое ее обрекла любовь. Но любовь эта с каждым днем все больше завладевала ею. И когда Аннета захотела избавиться от ее тирании, она встала на дыбы так бурно, что Аннета пришла в ужас. Когда женщина с таким пылким темпераментом, десять долгих лет державшая в узде свои страсти, укрощая их суровым воздержанием, вдруг в самый знойный час грозового лета дает им волю, они могут погубить ее.

Аннета видела спасение в том, чтобы заставить Филиппа уважать ее как будущую жену, как подругу «*rei humanae atque divinae*»<sup>1</sup>, как равную. Она просила,

---

<sup>1</sup> в делах человеческих и божеских (лат.).

она в тоске умоляла его оставить ее до тех пор, пока они не смогут любить друг друга открыто, стать мужем и женой. Филипп и слышать об этом не хотел. Он был так же неукротим в любви, как и в своей общественной деятельности. Он не хотел ни отказаться от любовных свиданий, ни жениться на ней раньше, чем ему это будет удобно. Он делал вид, будто считает сопротивление Аннеты недостойной хитростью, которой она хочет крепче привязать его к себе. А между тем он знал, как самозабвенно и бескорыстно она любит его. На Аннету это оскорбительное подозрение подействовало, как пощечина, и она покорилась Филиппу, отдаваясь ему с отчаянием страсти и с отвращением. А Филипп ничего не хотел видеть: приходил, эгоистически предъявлял свои права любовника, не задумываясь над тем, что каждая такая плотская победа оставляет в душе покорной ему женщины словно позорное клеймо.

Аннета чувствовала себя обесчещенной. Ей казалось, что она отдала на поругание свою любовь и что если она не спрыгнет с наклонной плоскости, по которой катилось вниз ее одержимое страстью тело, она погибла...

И в один прекрасный день она бежала. Пошла к Сильвии и попросила ее на несколько дней взять к себе Марка, так как ей необходимо уехать из Парижа. Сильвия ни о чем не расспрашивала: ей достаточно было одного взгляда на Аннету. Эта женщина, любопытная часто до нескромности и так мало понимавшая душевную жизнь сестры, проявляла тонкое чутье, когда дело касалось любви и ее трагических шуток. В дни близости с Аннетой она никогда не поверяла ей своих любовных тайн (она рассказывала только о мимолетных увлечениях) и точно так же не ждала, что Аннета будет ей поверять свои. Сильвия понимала, что у каждой женщины бывают свои великие часы, о которых она вправе молчать. И никто не может помочь ей их пережить — она должна сама себя спасти или погибнуть. И Сильвия предложила сестре пожить у нее на даче в окрестностях Парижа, недалеко от Жуи-ан-Жоза. Тронутая Аннета поцеловала Сильвию и согласилась.

Две недели укрывалась Аннета в этом деревенском домике на опушке леса. Она даже Марку не сказала, куда едет. Только Сильвии было известно, где она.

Как только Аннета покинула Париж, этот заколдованный круг, она ясно увидела, какое безумие владело ею последние недели, и пришла в ужас. Неужели эта одержимая, эта жалкая раба, опьяненная своим рабством, — она, Аннета? Ведь такая страсть убивает душу!.. Цепь разомкнулась. В этот вечер Аннета дышала свободно, она словно в первый раз увидела луга, леса, ощутила тишину земли. Два месяца густой красный туман застилал от нее живой мир. Даже самое близкое — сын — стало каким-то далеким... Но стоило ей очутиться в этом домике среди полей, как туман рассеялся в лучах заходящего солнца. Она услышала колокольный звон, пение птиц, голоса крестьян и заплакала от облегчения... Вечером она уснула, разбитая усталостью, но среди ночи вдруг проснулась. Тоска душила ее. Ей казалось, что вокруг шеи сжимаются кольца змеи.

Дни проходили в унижительных муках, слепых порывах, сменявшихся часами внезапного прозрения, полнейшей ясности мысли, рассеивавшей дурман. Аннету постоянно томило предчувствие опасности. И хотя она была настороже и вооружена решимостью, достаточно было пустяка, чтобы снова сбить ее с ног.

Она решила пожить здесь еще некоторое время. Это было рискованно: из-за своего внезапного отъезда она уже и так потеряла несколько уроков. Небольшая клиентура, которую она себе с таким трудом завоевала, могла перейти к другим. Сильвия пересылала ей письма и всякие извещения, но от себя ничего не прибавляла, кроме добрых вестей о здоровье Марка. Она воздерживалась от советов, считая, что Аннета сама знает, что ей делать.

Аннета отлично понимала, что пора вернуться в Париж, но все откладывала день отъезда... Сколько бы она ни оставалась здесь, она не могла запретить своим мыслям лететь к Филиппу. Что он делает? Ищет ли ее? От него не было никаких вестей. Аннета и боялась и жаждала их. Она изгнала его из своих мыслей и думала, что освободилась. Но он ее не оставлял. И вдруг он появился.

Раз вечером, когда Аннета, поглощенная своими неотвязными мыслями, бродила без дела по грабовой аллее сада, которая тянулась вдоль невысокого забора, она увидела сквозь ветви на белой дороге приближавшийся автомобиль. Она тотчас подумала: «Это он!..» — и спряталась за деревья. Автомобиль проехал вдоль забора до конца сада. Аннета с бьющимся сердцем прислушивалась к его гудению и поняла, что он замедлил ход. В тридцати шагах от сада дорога разветвлялась, и там автомобиль остановился. Аннета решила выглянуть из-за ветвей и увидела спину человека, который, видимо в нерешимости, смотрел по сторонам и вдаль. Она его узнала. Ужас охватил ее; она бросилась за буксовую изгородь, упала на землю, впилась в нее ногтями. Она подумала: «Он опять возьмет меня» — и кровь бросилась ей в голову. Хотела крикнуть: «Нет!», а кровь кричала: «Да!» Под ее пальцами крошились комья сухой земли, и, зарываясь лицом в кусты, она вдыхала горьковатый запах разогретого солнцем бруска. Тщетно пыталась она сквозь шум в ушах расслышать шаги по ту сторону забора. Наконец, загудел, отъезжая, автомобиль. Аннета помчалась в другой конец сада, убежала на дорогу и закричала:

— Филипп!..

Автомобиль скрылся за поворотом...

На другой день Аннета уехала в Париж. Знала ли она, чего хочет, что станет делать? Сильвия сочувственно всмотрелась в нее, сказала только:

— Не полегчало, видно?..

И ничего больше не спросила. Аннета была ей за это благодарна. Чувствуя себя разбитой, она молча сидела в углу, согреваясь близостью сестры. А Сильвия ходила по комнате, не заговаривая с ней, чтобы дать ей успокоиться. Наконец, Аннета встала, собираясь идти домой. Когда они прощались, Сильвия сжала руками ее щеки, посмотрела на нее долгим взглядом и, тряхнув головой, сказала:

— Если не можешь иначе, сдайся, не насилуй себя! Это пройдет. Все проходит — и хорошее, и дурное, и мы сами... Так стоит ли мучиться из-за пустяков?..

Но для Аннеты это был совсем не пустяк. Дело шло



не только об ее отношениях с Филиппом, но и об ее отношении к самой себе. Мысль вернуться к Филиппу, признать себя побежденной втайне доставляла ей горькое наслаждение. Но ее страшило другое поражение, более глубокое, — внутреннее, о котором знала только она одна. Она носила в себе самой смертельного врага. В течение многих лет она никогда не забывала о нем и только из гордости или, быть может, из осторожности не хотела думать об этом омуте вожелдений, унаследованных от людей, живших до нее (быть может, от отца?..). Все, что составляло ее силу и гордость, ее волю, ее здоровую душу, свободное и чистое дыхание, омывавшее ее легкие, — все всасывал в себя этот омут. *Mors animae...*<sup>1</sup> Аннета, которая умом, быть может, и не верила в существование души, не хотела, чтобы душа ее умерла.

Страсть привела ее обратно в Париж, к Филиппу, словно пленницу на веревке, — таких пленников она видела на ассирийских барельефах. Но она не встрети-лась с Филиппом: она его избегала.

Филипп, так же одержимый страстью, как и она, в ее отсутствие приходил и стучался в дверь. Он был возмущен внезапным отъездом Аннеты. Он никак не допускал, что она уйдет от него. Желая узнать ее адрес, он справился, где живет Сильвия, и пошел к ней. С первого же взгляда Сильвия все поняла и объявила ему войну. Закованная в броню злобного недоверия, она смотрела на Филиппа не глазами Аннеты, а своими собственными: это человек опасный, как враг, и еще более опасный, как любовник, ибо он терзает то, что любит. Сильвия знала эту породу мужчин и никогда с такими не связывалась. На настойчивые вопросы Филиппа, куда девалась Аннета, она отвечала сухо, что ничего не знает, но при этом намеками дала ему понять, что ей отлично это известно. Филипп делал усилия скрыть раздражение, пробовал ее умаслить. Сильвия оставалась каменной. И он ушел в бешенстве.

Филипп ничуть не собирался гоняться за Аннетой, ему и в голову не пришло бы мчаться в автомобиле

---

<sup>1</sup> Смерть души (лат.).

в Жуи-ан-Жоза и глотать дорожную пыль. Он не разыскивал Аннету, не намерен был тратить дни на бесплодные поиски. Он был уверен, что Аннета вернется. Но ему недоставало ее, и он не прощал ей того, что она позволила себе его встревожить в такое трудное для него время. Досада на Аннету и, в такой же мере, сильная потребность рассеяться толкнули его к жене. Это было сближение временное и довольно-таки унижительное для заместительницы. Филипп брал ее за неимением лучшего и ожидал дорогу.

Однако Ноэми умела прятать свое самолюбие в карман, когда ей это было выгодно. Она не теряла времени. Наученная горьким опытом, она теперь знала, какую ошибку сделала в прошлом. Она поняла: чтобы удержать мужчину, мало одних любовных сетей. Нужно льстить его тщеславию и приноравливаться к его «пунктикам». И Ноэми удивила Филиппа, проявив неожиданный интерес к затеянной им кампании, и даже не поленилась вникнуть во все подробности. Филипп догадывался об ее тайных целях. Но участие Ноэми, искреннее или притворное, было ему приятно. Он с удовольствием убеждался, что она умна. Теперь Ноэми больше не прятала свой ум, помня, что именно этим оружием победила ее Аннета. Она пустила его в ход и еще отточила. Она не стремилась, как Аннета, понять сущность этой борьбы, иметь суждение о ней. Это было дело ее супруга и господина. Она ограничила свою роль тем, что подсказывала Филиппу всякие ловкие ходы, которые могли обеспечить ему успех. Филипп восхищался ее изобретательностью.

К этому времени полемика в газетах приняла крайне ожесточенный характер. Ноэми поборола скуку и отвращение, которые в ней вызывали эти мужские споры, — она поняла, что ей следует решительно вмешаться. Она принялась с дерзким остроумием защищать в светских гостиных смелые идеи мужа. Ее грация, юмор, веселая пылкость, сочетание мальчишеского задора с напускной серьезностью немного шокировали, но и очень забавляли светское общество. Она привлекла на свою сторону несколько молодых дам, которым очень хотелось доказать, что они лишены предрассудков. А хитрая Ноэми остере-

галась рвать с предрассудками. Щедро угощая их непочтительными щелчками, она в то же время запасалась индальгенциями в лагере блюстителей нравственности и почтенных людей. Она с важным видом проповедовала, что бедняки вправе не иметь детей, но зато долг богатых снабжать ими государство и общество. Нужно было иметь немало апломба, чтобы заявлять такие вещи, ибо сама Нюэми за семь лет брака не удосужилась выполнить этот долг. Но сейчас она пришла к выводу, что пора проявить такой героизм.

Филиппу очень скоро стало известно о возвращении Аннеты. Он пытался застать ее дома в те часы, когда она обычно бывала одна. Но Аннета приняла необходимые предосторожности: он всякий раз находил дверь запертой. Ни обида, ни развлечения не ослабили страсти Филиппа к Аннете. Ее сопротивление только ожесточило его. Не такой он был человек, чтобы ему можно было легко дать отставку...

Они случайно встретились на улице. Увидев его за несколько шагов, Аннета побледнела, но не уклонилась от встречи. Подойдя, Филипп сказал решительно:

— Ты идешь домой? Пойдем вместе.

— Нет, — сказала Аннета.

Они зашли в садик у церкви. Запыленное деревце едва заслоняло их от глаз многочисленных прохожих. Приходилось сдерживаться. Филипп сказал резко:

— Ты боишься меня.

— Нет, не тебя, а себя.

В душе Филиппа боролись гнев и любовь. Но когда его суровый взгляд встретился со взглядом Аннеты, не избегавшим его, он прочел в нем такую стойко подаваемую муку, что гнев его растаял. Он спросил уже мягче:

— Почему ты от меня сбежала?

— Потому что ты меня убиваешь.

— Что же, ты совсем не умеешь любить?

— Умею. Потому-то я и убежала. Я боюсь, что ненавижу тебя.

— Ненавидь сколько твоей душе угодно! Ненависть — та же любовь.

— Это не для меня, — возразила Аннета. — Не могу я этого вынести!

— Ты не такая слабая, чтобы не могла снести все то хорошее и дурное, что дает любовь.

— Я не слабая, Филипп. Но я хочу, чтобы меня любили по-настоящему: душой и телом. Не хочу половинчатой любви.

— Душа — это вздор! — сказал Филипп.

— Вот как? А чему же ты отдаешь все силы? Чему ты посвятил себя чуть не с колыбели — разве не своей идее?

Он пожал плечами:

— Самообман!

— Но ты же этим живешь! У меня тоже есть свой идеал, не убивай его!

— Чего ты собственно от меня хочешь?

— Хочу, чтобы до того дня, когда мы решим, быть нам мужем и женой или нет, мы не встречались.

— Да почему же?

— Потому что я не хочу, не хочу больше прятаться, не хочу никакого дележа, не хочу, не хочу!..

Аннета утаила от него главную причину. Себе она говорила:

«Если я опять сдамся, меня скоро не хватит даже на то, чтобы хотеть чего-то иного. Я перестану себе принадлежать, я стану игрушкой, которую загрязнят и затем сломают».

Неспособный понять этот инстинктивный бунт души против губительных плотских страстей, Филипп все еще хотел видеть в упорстве Аннеты только недоверие и хитрость женщины, которая навязывает ему свою волю. Он, правда, не говорил этого прямо, но и не скрывал, что так думает. Прочтя это в его лице, Аннета порывисто встала и хотела уйти. Но Филипп, дрожа от нетерпения и усилий, которые он делал над собой, чтобы не привлечь внимания прохожих, сильно сжал ее руку и сказал, стараясь смягчить гневные ноты в голосе:

— А я не соглашусь, ни за что не соглашусь с тобой расстаться! Хочу с тобой видаться... Молчи, не спорь!.. Здесь невозможно разговаривать... Я приду к тебе вечером.

— Нет! нет!

Филипп повторил:

— Да! Приду. Я не могу жить без тебя. Да и ты без меня тоже.

Аннета возмутилась:

— Я могу.

— Лжешь!

Они спорили без жестов, тихим, но резким шепотом, в котором звучали вопли души. Они скрестили взгляды. Филипп первый сдался и сказал с мольбой:

— Аннета!..

Но у Аннеты еще горели щеки от стыда, что ее так грубо изобличили во лжи, от стыда за себя, потому что она действительно солгала. Она с силой вырвала у Филиппа руку и ушла.

Вечером Филипп пришел к ней. Весь день она с ужасом ждала этой минуты, боялась, что у нее не хватит твердости запереться от него. Она не хотела больше столкновений с этой безжалостной страстью. Она убедилась, что невозможно жить с горящим факелом у груди. Надо было оторвать его, отшвырнуть, пока еще не изменила сила воли. А сможет ли она? Ведь она любит Филиппа. Она любит этот огонь, который ее сжигает. Завтра она полюбит и свой позор и тяжкие оскорбления. Краснея от стыда, она признавалась себе, что и сегодня утром в ее бунте против Филиппа была какая-то доля сладострастия...

Она узнала его шаги на лестнице. Услышала звонок у двери, но не двинулась с места. Филипп позвонил вторично, потом стал стучать. Аннета, свесив руки, откинувшись на спинку стула, твердила себе:

— Нет, нет...

Да если бы она и решила встать и ответить ему, — она не могла бы: у нее захватило дух...

За дверью тишина. Ушел?..

Аннета невольно встала, еще не успев принять решение. Пошатываясь, на цыпочках подкралась к двери. Скрипнул паркет под ногой. Аннета остановилась. Прошло несколько секунд, ничто не шелохнулось. Но она чувствовала, что Филипп притаился за дверью и ждет. И Филипп тоже знал, что Аннета стоит по другую сторону двери и вслушивается... Нависло тяжелое молчание. Оба следили друг за другом... Наконец, голос Филиппа вплотную у двери произнес:

— Аннета, ты дома. Открой!

Аннета стояла, прижавшись к стене, чувствуя, как у нее замирает сердце, и не отзывалась.

— Я знаю, что ты дома. Нечего прятаться... Аннета, отвори! Мне надо с тобой поговорить!..

Филипп понижал голос, чтобы его не услышали на лестнице. Но бурная волна смешанных чувств поднималась в нем, он сейчас способен был взломать дверь.

— Мне непременно нужно тебя видеть... Хочешь ты или нет, я все равно войду...

Молчание.

— Аннета, я тебя обидел сегодня утром. Прости!.. Ты мне нужна. Чего ты хочешь? Скажи — я все сделаю...

Молчание. Молчание.

Филипп сжимает кулаки. Он готов задушить ее.

Приложив губы к замочной скважине, он рычит:

— Ты моя... Ты не имеешь права уйти...

Потом:

— Подумай хорошенько! Если ты сейчас не откроешь, — между нами все кончено!

Потом:

— Аннета! Дорогая!

Он опять выходит из себя:

— Трусиха! Боишься посмотреть мне в глаза! Ты сильна только за запертой дверью!

Голос из-за двери отвечает:

— За что вы меня мучаете?

Филипп растерянно умолк.

Голос устало повторяет:

— Мой друг, вы меня измучили.

Филипп взволнован, но уязвленное самолюбие мешает ему это показать. Он говорит:

— Чего вы хотите?

Аннета отвечает:

— Жалости.

Тон, которым это сказано, тронул Филиппа. Но он все еще не понимает:

— Ах, боже мой, к чему вам она?

Аннета говорит:

— Оставьте меня!

Филипп снова вскипает:

— Вы меня гоните?

— Я умоляю дать мне покой... Покой!.. Дайте мне несколько недель побыть одной!..

— Значит, вы меня разлюбили?

— Я защищаю свою любовь.

— От чего? От кого?

— От вас.

— Сумасбродство!.. Отопри!..

— Нет!

— Я так хочу! Ты мне нужна.

— Я не собственность твоя!

Она стояла, дрожа, но гордо выпрямившись, и взглядом бросала ему вызов сквозь дверь. Филипп, хоть и не мог ее видеть, словно почувствовал этот взгляд. Он крикнул:

— Прощай!

Аннета слышала, как он уходит, и у нее кровь стыла в жилах. Она знала, что он не простит.

И Филипп не простил. Он не приходил больше.

Аннета твердила себе:

«Так нужно было. Так нужно было...»

Но не могла примириться. Хотелось еще раз увидеть Филиппа и объяснить ему — на этот раз мягко (и зачем она тогда так горячилась?), — что она не бросить его хочет, а только ревниво защищает свою любовь, их любовь и гордость, которую он, сам того не сознавая, грубо топчет. Она хотела, чтобы они оба имели возможность собраться с мыслями, опомниться среди потока страсти, который уносил их вместе с пеной и грязью, обсудить и решить все свободно, трезво, с ясной

головой. И если Филипп сделает выбор, он должен уважать и свою будущую жену и себя самого...

Филипп не прощал женщинам, сопротивлявшимся его желаниям. Будь Аннета женщина другого круга, он взял бы ее насильно. Но в том кругу, к которому они оба принадлежали, у него были связаны руки, он был вынужден ладить с обществом, в котором хотел господствовать. И его оскорбленная страсть перешла в яростное отрицание этой страсти: если женщина для него потеряна — с корнем вырвать из сердца любовь к ней! Он знал, что это будет для Аннеты ударом. Инстинкт ему подсказывал, что она, несмотря ни на что, любит его...

После трех месяцев иссушающего душу одиночества, горьких и мучительных споров с собой, отречения и надежды, гордости и раскаяния, после трех месяцев упорного и бесплодного ожидания Аннета однажды встретила Соланж, и та, сияя, сообщила ей о счастье, которое посетило, наконец, чету Вилларов: Ноэми забеременела.

Аннета искала прибежища наболевшему сердцу в сыне, в той сыновней любви, которая, как говорят, никогда не изменяет. Увы! И она изменяет, как всякая другая. От Марка нечего было ждать каких-либо проявлений нежности, даже простого интереса к матери. Никогда еще он не казался Аннете таким холодным, черствым, равнодушным. Он совершенно не замечал ее страданий. Правда, она старалась их от него скрывать. Но ей это так плохо удавалось! Марк мог бы прочитать их в глазах, запавших от бессонницы, в ее побледневшем лице. О них говорили исхудавшие руки, все ее тело, снедаемое жестокой страстью. Но Марк не видел ничего. Он и не глядел на мать. Он был занят только собой. И все, что с ним происходило, таил от нее. Мать встречалась с ним лишь за столом во время еды, да и тогда он молчал, как немой. Попытки Аннеты завести разговор только приводили к тому, что Марк еще упорнее замыкался в своем молчании. Она с трудом добилась того, чтобы он по утрам здоровался, а приходя из лицея, говорил: «Добрый вечер»; Марк считал это кривляньем



и делал уступку матери (да и то не каждый день!) только для того, чтобы его оставили в покое. Он торопливо, со скучающим видом подставлял матери лоб для поцелуя, а когда не уходил в лицей или по своим делам (добиться от него, что это за дела, было нелегко), заперся у себя в комнате — чуланчике, не больше шкафа, между столовой и спальней, и тут уж его лучше было не трогать! За столом или у камина он сидел подле матери, как чужой. Аннета с горечью говорила себе:

«Умри я — он и не заплачет!»

И вспоминала, как она когда-то мечтала о родном человеке, о сыне-товарище, созданном из ее плоти и крови, который, живя подле нее, без слов угадывал бы и делил все тайны ее сердца. Как мало в этом мальчике нежности! И почему он такой черствый? Иногда можно было подумать, что он за что-то на нее сердится. Но за что же? За то, что она слишком сильно его любит?

«Да, это моя болезнь — я в любви не знаю меры! А любить слишком сильно не следует. Людям это вовсе не нужно. Это их только стесняет... Родной сын меня не любит! Он жаждет уйти от меня... Я его родила, но в нем так мало от меня! Он чувствует не так, как чувствую я... Он ничего не чувствует!..»

А в это время сердце Марка было озарено поэзией первой любви. Он безумно влюбился в Ноэми. Это была детская любовь, безрассудная и всепоглощающая. Мальчик вряд ли отдает себе отчет, чего ему надо от любимой женщины: видеть ее, ощущать ее присутствие, прикасаться к ней или насладиться ею. Он, конечно, не думает об обладании любимой — он просто одержим ею. Марк почти лишился чувств, когда Ноэми протягивала ему маленькую ручку и он принимал к ней губами, вдыхая жадным носом щенка вместе с ароматом этой ручки, нежной, как цветок, пьянящую тайну сладостного женского тела. Ноэми вся была для него живым цветком или плодом. Он умирал от желания надкусить зубами этот плод — осторожно, чуть-чуть — и от страха, что не выдержит, поддастся этому желанию. И вот однажды

(о позор!) он ему поддался... Что-то теперь будет? Красный, весь дрожа, он ждал самого худшего: что его при всех пристыдят, разбранят и выгонят вон. Но Ноэми только звонко расхохоталась, крикнула:

— Ах ты щенок!

И, дернув Марка за ухо, ткнула его раз, другой и третий носом в укушенное место, приговаривая:

— Проси прощения, дрянной мальчишка!..

С этого дня Ноэми затеяла игру с молодым зверьком. У нее не было дурных намерений. Ей просто нравилось дразнить влюбленного мальчика, и она не придавала этому никакого значения. Ей и в голову не приходило, что мальчик примет это всерьез. А Марк (до какой же степени он все-таки был истинным сыном Аннеты!) — Марк воспринимал это не только серьезно, но и трагически.

С того самого вечера, когда он в первый раз увидел Ноэми, она стала для него запретным раем, тем чудным видением, каким предстает женщина перед пробуждающимся взором невинного юнца. Чарующий образ ее создан им из того, что есть, и того, чего нет в действительности, из того, что он видит, и того, чего он не видит, не знает, чего он желает и боится, и хочет и не хочет. Мечта рождена тем пугающим его влечением, которое заставляет юное тело подростка отзываться на победный и грубый зов природы. Быть может, Марк и не разглядел как следует ни единой черты Ноэми. Но все, из чего слагался ее облик, каждое движение, складки платья, локоны, голос, аромат ее духов и блеск глаз, — все вызывало в его жаждущем теле и сердце бурные волны радости и надежды, безмолвные крики счастья, и от счастья хотелось плакать.

В тот самый день, когда глубоко расстроенная Аннета почуствовала в нем особенно черствую и холодную враждебность и с неуклюжей настойчивостью пыталась узнать причину, вырвать у него хоть слово, одно ласковое слово, а вызвала только обидный отпор, — в тот день ее сын пережил самое волнующее откровение своей волшебной мечты. Целую неделю он жил словно в чаду. Он без ведома матери продолжал видеться с Ноэми, а она пользовалась им, как шпионом: мальчик

в простоте души осведомлял ее о всех передвижениях в неприятельском лагере. Раз он застал ее в гостиной, и она, болтая и глядясь в маленькое зеркальце, спрятанное в носовом платке, в шутку мазнула его по бледным губам палочкой губной помады. Марк ощутил вкус любимых губ. С этих пор он не переставал ощущать его на языке, он словно весь пропитался их запахом. Этот алый гранат, всегда полуоткрытый, с вздернутой верхней губкой, слишком короткой или слишком подвижной и потому не сходявшейся с нижней, сочной, как вишня, мерещился ему всюду. И в то утро, когда, выйдя от матери и грубо хлопнув дверью, Марк решил улизнуть из лица и пойти гулять, этот рот носился перед ним, расцветал в саду облаков на дивном июльском небе, мелькал в резвых струйках фонтана, в рассеянной улыбке проходивших мимо женщин. Этот полуоткрытый рот вбирал в себя всю его душу, все его мысли.

Он шел куда глаза глядят, подставляя белокурую голову летнему ветру. Но, как ни был он рассеян и поглощен своими безумными фантазиями, его зоркие, как у рыси, глаза заметили на другом тротуаре тетушку Сильвию. Марк поспешно завернул за угол. Ему вовсе не хотелось с ней встречаться. Он не боялся, что она будет его журить за отлынивание от занятий: Сильвия только посмеялась бы над этим. Но у Марка сейчас была своя тайна, а в таких случаях он при тетушке никогда не чувствовал себя в безопасности. Она не то, что мать: инстинкт подсказывал ему, что Сильвия мастерица угадывать такого рода секреты.

Она его не заметила. Марк вздохнул с облегчением. Теперь можно будет все утро бродить и упиваться мыслями о своей любви. Слоняясь без дела по улицам (причем любовь не мешала ему останавливаться у витрин, чтобы полюбоваться тут галстуком, там тросточкой или посмотреть иллюстрированный журнал), он незаметно для себя шел прямо к цели — как парижские голуби, которые каждое утро пролетают над кварталами пыльных домов, ища свежести тенистых парков. Мальчик искал того же, его тянуло под своды старых деревьев, где так хорошо мечтать под голубиное воркованье.

Он спустился с холма св. Женевьевы и, выбравшись из лабиринта старинных и людных улиц, очутился среди светлых просторов тихого Ботанического сада раньше, чем сообразил, что он именно сюда и хотел прийти.

Здесь, как всегда в эти часы, было мало народу. Только изредка попадались навстречу гуляющие. Париж гудел вдали, как шершень. Вокруг разливалась лазурь ясного летнего утра. Марк отыскал уединенную скамейку среди группы деревьев; сел, закрыл глаза, наслаждаясь своей драгоценной тайной. Длинные нервные руки юноши были прижаты к груди, словно он хотел закрыть свое сердце от нескромных глаз. Что же это было за сокровище, которое он хранил так бережно, о котором едва осмеливался думать? Слова Ноэми — она их сказала, не думая, а он жадно подхватил и создал из них целый мир... Когда он был у нее в прошлый раз, Ноэми почти не замечала присутствия мальчика и только иногда машинально улыбалась ему: она была всецело занята мыслями о великих событиях (Филипп отвоеван, Аннета унижена — полная победа!.. «Но никогда ни за что нельзя ручаться. Завтра все может измениться. Что же, хоть день, да мой!..»). Подумав это, Ноэми вздохнула удовлетворенно и устало. Марк спросил, отчего она вздыхает. Ее позабавила искренняя тревога мальчика, и, чтобы заинтриговать его, она с новым вздохом сказала:

— Это секрет...

— Какой секрет?

В голове Ноэми мелькнула коварная мысль. Она ответила:

— Не могу сказать. Догадайся сам!

Дрожа от волнения, Марк попросил:

— Скажите! Я не знаю.

Полуопустив веки, Ноэми метнула на него томный взгляд:

— Нет, нет, нет!..

Марк, краснея, бормотал что-то — он уже боялся узнать эту тайну. Чтобы продлить забаву, Ноэми сделала таинственную мину и сказала:

— Хочешь знать?

Волнение Марка было так велико, что он готов был крикнуть:

«Нет, не хочу!»

— Ну, хорошо, но только не сегодня!.. Я тебе все расскажу в другой раз.

— Когда?

— Скоро.

— Ну, когда же?

— Скоро... На будущей неделе, когда ты придешь к нам обедать.

Неделя прошла. И вот сегодня вечером Марк надеялся увидеть Нюэми. Он жил только ожиданием этой минуты. Он уже заранее двадцать раз переживал ее в своем воображении. Но никак не решался дойти до самого конца: это слишком волновало его... А угадывать наполовину было так сладостно! И, сидя на скамейке в парке, мальчик изнемогал от блаженного томления. Где-то колокол прозвонил полдень. За деревьями, на залитой солнцем аллее хрустел песок под ножками маленькой девочки. Девочка напевала. Подальше какие-то экзотические птицы в вольере щебетали на своем странном и трогательном языке. А совсем далеко, на Сене, протяжно выла сирена буксирного парохода. Не замечая Марка, бесшумно и медленно прошли мимо него, обнявшись, двое влюбленных — высокая темноволосая девушка и молодой бледный рабочий. Они на ходу целовались и жадно глядели в глаза друг другу. Мальчик, затаив дыхание, проводил их взглядом до поворота аллеи, а когда они скрылись из виду, вскрипнул от счастья, того счастья, которое только что прошло рядом, и того, которое придет для него, — от счастья, которое было воплощено в этой молодой паре, которым дышал июльский полдень и все вокруг, которое переполняло его сердце, сгоравшее от любви и открытое для всего.

Марк вернулся домой, окрыленный этими минутами экстаза, бесконечно более прекрасного, чем породивший его женский образ. Тень Нюэми растворилась в этом золотом потоке, и снова вызвать ее можно было лишь усилием воли. Марк хотел этого, но тень от него ускользала; он хитрил с собой, воображая, будто узнает ее

•

в облике этого счастья, острого до боли, во всем, что наполняло его душу, — в безбрежных надеждах, в героических решениях, в том сознании своей силы и доброты, которое несло его, как на крыльях, когда он мчался по лестнице, перескакивая через четыре ступеньки. Но едва он встретил суровый взгляд матери (он на три четверти часа опоздал к завтраку), как золотое сияние погасло, и он снова укрылся в тучу хмурого молчания.

Аннета и не пыталась с ним заговаривать. У нее было свое бремя печали, которым она ни с кем не могла поделиться. Сын, сидевший против нее за столом, казался ей холодным эгоистом. Он жадно ел, потому что очень проголодался и еще потому, что ему хотелось поскорее кончить и снова уйти в свои мечты. Аннета смотрела на него и думала:

«Я для него только человек, который его кормит, — и больше ничего».

У нее уже не хватало мужества протестовать. Она чувствовала себя всеми брошенной. К концу завтрака Марк спохватился, что не сказал матери ни одного слова. Ему стало немного совестно, но заговорить он боялся, чтобы не вызвать расспросов. Кое-как сложив салфетку и сунув ее в кольцо, он торопливо встал, избегая глаз матери, и пошел к двери... Хотел уже выйти, но вдруг его остановила одна мысль... Он спросил:

— Мы сегодня идем к Вилларам?

Он был в этом уверен — ведь так сказала Ноэми, но хотелось еще раз убедиться.

Аннета все еще сидела за столом в унылом оцепенении. Не глядя на сына, она ответила:

— Никуда мы не пойдем.

Ошеломленный Марк застыл на пороге.

— Как! А мне сказали...

— Кто тебе сказал?

Мальчик в замешательстве молчал: мать не знала, что он бывает у Ноэми. Не ответив, он поспешил отвлечь ее внимание другим вопросом.

— А когда же мы к ним пойдем? — спросил он разочарованным тоном.

Аннета пожала плечами. Теперь не могло быть и

речи об обедах у Вилларов. Ноэми сказала Марку в шутку: «на будущей неделе», как могла бы сказать: «через сто лет»...

Марк выпустил ручку двери и с беспожойством шагнул опять к столу. Аннета посмотрела на него и, заметив, что он огорчен, сказала:

— Не знаю.

— Как это не знаешь?

— Виллары уехали, — пояснила она.

Марк крикнул:

— Неправда!

Аннета, казалось, не слышала. Марк нетерпеливо дотронулся до ее рук, лежавших на столе, и взмолился:

— Ведь это же неправда!

Аннета, выйдя из оцепенения, встала и принялась убирать со стола.

— Да куда же? Куда они уехали? — допытывался потрясенный Марк.

— Не знаю, — повторила Аннета.

Она собрала посуду и вышла.

Марк стоял в полной растерянности. Рушилась его мечта! Он ничего не понимал... Этот внезапный отъезд без предупреждения... Не может быть! Он хотел было бежать за матерью, вырвать у нее объяснение... Но вдруг остановился... Нет, это неправда! Сейчас только он сообразил: мать заметила, что он влюблен, и хочет их разлучить. Она лжет, лжет! Ноэми никуда не уезжала... В эту минуту Марк ненавидел мать.

Он выбежал из комнаты, кубарем скатился с лестницы и с бьющимся сердцем не пошел, а побежал к Вилларам: хотел убедиться, что они не уехали. Они действительно были в Париже. Лакей сказал, что г-н Виллар только что уехал, а г-жа Виллар утомлена и никого не принимает. Марк попросил все-таки узнать, не уделит ли ему Ноэми одну минутку. Слуга ушел и вернулся: «Мадам, к сожалению, никак не может принять». Мальчик горячо настаивал: ему необходимо ее увидеть хотя бы только на минутку, он должен ей сообщить кое-что очень важное... Не теряя еще надежды, он бормотал какие-то бессвязные слова своим ломаю-

щимся, сдавленным голосом, краснея и неловко жестикулируя, готовый расплакаться. Под любопытным и насмешливым взглядом лакея он терял нить мыслей. Его подталкивали к двери, но он глупо упирался, крича, что лакей не смеет его трогать. Тот, наконец, велел ему убираться вон и пригрозил, если он не замолчит, вызвать швейцара, чтобы тот спустил его с лестницы... Дверь захлопнулась. Но, терзаемый стыдом, взбешенный, он все стоял на площадке, не решаясь уйти. И вдруг, машинально прислонившись к створке двери, почувствовал, что она плохо закрыта и поддается под его тяжестью. Он толкнул ее и снова очутился в прихожей. Он хотел во что бы то ни стало пробраться к Ноэми. В прихожей не было никого. Марк знал, где комната Ноэми, и шмыгнул в коридор. Откуда-то из глубины его донесся голос Ноэми. Она говорила слуге:

— Как этот мальчишка мне надоед!.. Ну его к черту! Очень хорошо, что вы ему утерли нос...

Марк опомнился только на площадке лестницы. Он бежал. Он плакал, скрежетал зубами, у него мутилось в голове. Задышавшись, присел на ступеньке. Он не хотел, чтобы его на улице увидели плачущим. Отерев глаза и успокоившись (под этим внешним спокойствием скрывались ярость и боль), он машинально зашагал домой. Он был в полном отчаянии... Умереть! Да, надо умереть! Жить больше нельзя! В жизни все так пошло и мерзко, всё — ложь, все, все лгут!.. Человеку нечем дышать... Переходя через Сену, Марк подумал, не броситься ли ему в воду. Но его уже предупредил другой несчастный. Набережные чернели, словно усеянные мухами: множество людей — мужчин, женщин, детей, — перегнувшись через перила, жадно глазели, как тащат из воды утопленника. Какие чувства привлекли их сюда? Очень немногих — садизм, кое-кого — жалость, громадное же большинство — интерес к сенсационным происшествиям, праздное любопытство. А немало, вероятно, было здесь и таких людей, которые смотрят на чужие страдания и смерть, чтобы вообразить себя в таком же положении: «Вот так и я мучился бы», «Вот так и я буду умирать». Марк видел только низменное любопытство зевак, и оно приводило его в ужас. Убить себя? Да, но только



не на людях! Сын Аннеты был похож на нее: та же дикая стыдливость и гордость. Он не хотел, чтобы на него глазел этот сброд, чтобы его, мертвого, тормозили чужие руки, чтобы липкие взгляды оскверняли его наготу. И, стиснув зубы, быстро-быстро зашагал домой, решив покончить с собой там.

Во время одной из тех тщательных разведок, которые Марк производил в квартире, когда матери не бывало дома, он нашел револьвер. Это был револьвер Ноэми, который Аннета после ее ухода подобрала с пола и с непростительной беспечностью сунула в открытый ящик стола. Марк взял его себе и спрятал подальше. Решение было принято. А так как дети всегда что задумают, то сразу и сделают, Марк решил тотчас осуществить свое намерение. Войдя в квартиру так же бесшумно, как и вышел, он заперся у себя в комнате и зарядил револьвер — он видел, как это делал один его лицейский товарищ, немногим его старше, который таскал в кармане эту опасную игрушку и на уроке греческого языка, держа револьвер под партой в зажатом между колен портфеле, украдкой показывал заинтересованным соседям, как с ним надо обращаться. И так, оружие было заряжено. Марк приготовился стрелять... Где же это сделать? Надо так, чтобы не промахнуться. Самое лучшее стрелять, стоя перед зеркалом... Но куда же он тогда упадет?.. Нет, лучше сесть за стол, а зеркало поставить перед собой... Он снял зеркало с крюка и поставил на стол, подперев словарем... Вот так будет хорошо видно, куда стрелять. Он взял револьвер... Но в какое место целиться? В висок, — говорят, это самое верное... Знать бы, очень ли будет больно...

Марк и не вспомнил о матери. Он был весь поглощен своей обманутой любовью, душевной мукой, приготовлениями... Он посмотрел на себя в зеркало и расчувствовался: бедный Марк!.. Ему захотелось, раньше чем исчезнуть, поведать людям, сколько он выстрадал из-за них и как он их презирает... Хотелось отомстить за себя, вызвать сожаления, восхищение... Он вырвал страницу из ученической тетради, сложил ее криво (он торопился) и своим нетвердым, детским почерком стал старательно писать:

«Не могу больше жить, потому что она меня обманула. Все люди злы. Я ничего больше не люблю, и лучше мне умереть. Все женщины лгуны. Они подлые. Они не умеют любить. Я ее презираю. Когда будете меня хоронить, положите мне на грудь бумагу и напишите на ней: «Я умираю из-за Нюэми».

Написав это дорогое имя, Марк расплакался и зажал рот платком, чтобы заглушить всхлипывания. Потом вытер слезы, перечел написанное и серьезно сказал себе:

— Я не должен ее компрометировать.

Он разорвал листок и начал писать новую записку. Как он ни старался писать ровно, полные отчаяния строчки ракетами взлетали вверх. Дойдя до фразы: «Они не умеют любить», он добавил: «А я умел — и потому умираю».

Несмотря на все свое горе, он был очень доволен этой фразой, она его почти утешила. Он стал добрее к тем, кого оставлял на земле, и закончил письмо великодушными словами:

«Я прощаю всем вам».

Потом подписался. Через несколько секунд все будет кончено, он избавится от всего! Марк заранее представлял себе, какое сильное впечатление произведет его смерть.

Но в то время, как он старательно наводил пером росчерк своей подписи, который в первый раз вышел плохо, за его спиной внезапно распахнулась дверь. Он едва успел прикрыть руками револьвер и бумагу. Аннета увидела только зеркало, прислоненное к словарю, и подумала, что Марк любит себя. Она не сделала ему никакого замечания. Видимо, страшно усталая, она слабым голосом сказала Марку, что забыла купить молока к обеду и было бы очень хорошо, если бы он за ним сбегал, чтобы ей не пришлось спускаться и опять подниматься на шестой этаж. А у Марка была только одна мысль — как бы мать не увидела того, что он закрывал руками. И, боясь двинуться с места, он ответил резко, что ему некогда, он занят. Аннета, грустно усмехнувшись, вышла и закрыла за собой дверь.

Марк слышал, как она медленно шла вниз по лестнице. Он вспомнил, какой у нее был убитый вид, и по-

чувствовал угрызения совести. Ее усталое лицо и голос хватали за сердце... Марк торопливо бросил револьвер в ящик стола, спрятал под грудой книг свое «прощание с жизнью» и выбежал на лестницу. Он догнал мать и сердито крикнул ей, что сам пойдет за молоком. Аннета вернулась. Она подумала, что мальчик не такой уж бессердечный, как ей кажется, и на душе у нее стало легче. Но ее очень огорчала грубость и резкость Марка. Боже, как мало в нем нежности! Что ж, тем лучше для него! Он меньше будет страдать в жизни...

К тому времени, когда Марк вернулся, он уже совсем забыл о своем решении покончить жизнь самоубийством. Он без всякого удовольствия увидел на столе плохо прикрытое знаменитое «завещание» и поспешно сунул его на дно какой-то коробки. Теперь он гнал от себя гнетущую мысль о самоубийстве. Он чувствовал, какой низостью и жестокостью это было бы по отношению к матери, состояние которой его встревожило. Но свою заботливость он проявлял в довольно неуклюжей форме. Он не сумел спросить так, как следовало бы, Аннета не сумела ответить. Из ложного самолюбия Марк скрывал свои истинные чувства, и могло показаться, что вопросы о ее здоровье он задает, неохотно выполняя долг вежливости. Аннета, такая же гордая, как и он, не хотела его тревожить и уклонилась от разговора. Снова оба замкнулись в молчании. Успокоившись, Марк уже считал себя вправе сердиться на мать за то, что ради нее отказался от самоубийства... В глубине души он отлично знал, что у него нет больше ни малейшего желания стреляться, но надо же было выместить на ком-нибудь пережитую обиду и боль! А срывать злость удобнее всего на матери: она ведь всегда тут, под рукой, и она все стерпит.

Так мать и сын оставались замурованными каждый в своем горе. И Марк, которого собственное горе уже начинало тяготить, чувствовал, как в нем растет досада на мать за ее печальный вид. Он очень обрадовался, услышав в прихожей звонок Сильвии (ему хорошо знакома была ее манера звонить). Сильвия пришла, чтобы взять его с собой на вечер Айседоры Дункан: она теперь увлекалась балетом. Хотя Марк считал своим долгом

отныне хранить и в душе и на лице (прежде всего на лице) роковую печать пережитого страдания, он не мог скрыть своего удовольствия, когда представилась возможность вырваться из дому. Он побежал одеваться, оставив дверь открытой, чтобы не пропустить ничего из веселой болтовни тетки, которая, как только вошла, принялась рассказывать какую-то скабрезную историю. Аннета слушала и, как ни тяжело было у нее на душе, заставляла себя улыбаться, а про себя думала:

«И эта самая женщина только год назад рыдала над трупом своего ребенка! Неужели она все забыла?»

Аннета не завидовала этой душевной гибкости. А смех ее сына, из другой комнаты вторивший островам Сильвии, свидетельствовал, что и Марк способен так же легко забывать. Огорченная таким бездушием, Аннета не знала, что и она сама тоже обладает этим чудесным и жестоким даром. Когда Марк появился из своей комнаты, сияющий, совсем одетый, она не могла скрыть суровое неодобрение. Марка выражение ее лица задело больше, чем самый резкий выговор. Мстя матери преувеличенной веселостью, он вел себя очень шумно и так торопился уйти, что забыл даже попрощаться с нею. Он вспомнил об этом уже на лестнице. Не вернуться ли? Нет, поделом ей! Он был на нее сердит. Какое облегчение весь вечер не встречать ее укоризненных взглядов, а главное — оставить позади уныние, гнетущую атмосферу их дома и все тягостные тревожения этого дня!.. Какой это был бесконечный день!.. За несколько часов Марк прожил целую жизнь, нет, несколько жизней, познал верх блаженства и бездну отчаяния... Такое бремя могло хоть кого раздавить! Но для гибкой натуры этого юнца оно было не тяжелее, чем птица для ветки. Вспорхнет птица — и вот уже ветка распрямилась и весело качается на ветру. Отлетели и радости и горести минувшего дня. Остается лишь воспоминание. Мальчик спешит отогнать и его, открывая сердце новым радостям и печалям.

Но Аннета не могла знать, что происходит в душе Марка, и так как она тоже была человеком с сильными страстями и поэтому все преувеличивала, то поведение Марка целиком отнесла на свой счет. Радость, с какой

он убежал от нее, поразила ее в самое сердце. Прислушиваясь к его смеху на лестнице, она решила, что сын ее ненавидит, что он ею тяготится... Да, да, это по всему видно! Он жаждет от нее избавиться. Если бы она умерла, он был бы счастливее, чем теперь... Счастливее!.. Да и для нее смерть была бы счастьем. Нелепая мысль, что ее сын, ее мальчик, мог желать ее смерти, больно резнула Аннету по сердцу... (Нелепая ли? Как знать? Какой ребенок в минуту исступления не желал смерти своей матери?..) Эта страшная мысль пришла в час, когда Аннета держалась за жизнь уже слабеющей рукой, и была для нее смертельным ударом.

Она и без того была сегодня истерзана любовной горячкой. Сейчас, когда решение было принято и осуществлено, когда она выполнила долг перед собой и непоправимое свершилось, у нее не хватало сил выдерживать натиск внутреннего врага. И вражеские полчища ринулись на нее.

Она была их сообщницей. Она открыла им ворота. Когда все потеряно, человек имеет право хотя бы упиваться своим отчаянием! «Мое страдание никого не касается, оно только мое, так я отдамся ему целиком! Сердце, истекай кровью! Я вонзаю в тебя нож, заставляю снова увидеть все, что ты утратило!» Воображение Аннеты лихорадочно работало, рисуя ей Филиппа как живого. Он был тут, перед ней, она говорила с ним, касалась его... Видела снова все то, что любила в нем, что привлекло ее сходом с ней и противоположностью. Вспоминала их встречи, этот союз противников, двойной пыл страсти и борьбы. Разве объятия и борьба не одно и то же? И в этих воображаемых объятиях была такая чувственная сила, что обезумевшая от любви Аннета изнемогала, как Леда, настигнутая лебедем. Бурный поток страсти снова уносил ее, но теперь в нем крылось отчаяние. Она переживала тот страх, который каждая женщина, созданная для любви, но обделенная ею в жизни, познает на переломе лет: разрыв с любимым человеком кажется ей прощаньем с любовью навеки. В этот вечер Аннета, оставшись после ухода сына наедине со своей искалеченной любовью, металась в муках душевной опустошенности. Неотступные думы об

умершей навсегда любви, о напрасно прожитой жизни душили ее за горло. Упорно возвращаясь, они не давали ни минуты покоя. Напрасно Аннета пыталась чем-нибудь заняться: она бралась за работу, бросала ее, вставала, садилась. Упав головой на стол, она ломала руки. Навязчивая мысль сводила ее с ума. Она дошла до того предела страданий, когда женщина готова на всякие безумства, только бы убежать от себя. Чувствуя, что теряет рассудок, Аннета в этом бреду ощутила вдруг дикий порыв, страшное желание выбежать на улицу и, в ярости самоунижения, надругаться над своей измученной душой и телом, отдавшись первому встречному мужчине. Когда до ее сознания дошла эта чудовищная мысль, она вскрикнула от ужаса. Но ужас как будто еще подстегнул постыдную мысль, она не хотела отступать. Тогда Аннета так же, как ее сын, подумала о самоубийстве. Она знала, что уже не в силах будет отделяться от этого наваждения...

Она встала и пошла к двери. Но, проходя мимо открытого окна, вдруг решила выброситься из него... В ней заговорил инстинкт целомудрия, стремившийся спасти душу от осквернения. Ах, эта мечтательная душа! Ум Аннеты не был отуманен общепринятой моралью. Но инстинкт оказывался сильнее ума, он судил вернее... Вся во власти двух противоречивых стремлений — к окну и к двери, она не смотрела по сторонам. И, метнувшись к окну, по дороге сильно ударилась животом об угол буфета. Боль была так сильна, что у нее дух захватило. Согнувшись пополам, она схватилась обеими руками за ушибленное место, испытывая какое-то острое злорадование от того, что удар пришелся именно по животу, словно она хотела раздавить в своем теле распоразжавшуюся ею слепую и пьяную силу, бога-тигра... Затем наступила реакция. Без сил упала Аннета в низенькое кресло между буфетом и окном. Руки у нее были ледяные, лицо в поту. Сердце билось неровными толчками, все слабее и слабее. Ей чудилось, что она летит куда-то в пропасть, в голове стучала только одна мысль:

«Скорее! Скорее!..»

Она потеряла сознание.

Когда Аннета опять открыла глаза (сколько времени прошло? Несколько секунд?.. Вечность?..), она лежала, запрокинув голову, как на плахе, упираясь затылком в подоконник. Тело было втиснуто в угол между буфетом и окном. И первое, что она увидела, были июльские звезды над темными крышами... Божественный свет одной из них проник к ней в сердце...

Молчание ночи, непостижимое, бескрайнее, как убегающая вдаль равнина... Внизу на улице проезжали экипажи, в буфете дребезжали стаканы... Аннета ничего не слышала... Она висела между небом и землей... «Бесшумный полет»... «Она все не могла окончательно проснуться»...

Аннета медлила. Ей страшно было вернуться к тому, что она на миг оставила, — к безмерной усталости, мукам в тиски любви... «Любовь, материнство. Ожесточенный эгоизм, эгоизм природы, которой мало дела до моих страданий, которая подстерегает мое пробуждение, чтобы терзать мне сердце... Ах, не просыпаться бы больше!..»

Но она все-таки очнулась. И увидела, что враг исчез. Отчаяния больше не было... Нет, было, но уже не в ней, а вне ее, она словно слышала его... О волшебство!.. О грозная музыка, открывающая неведомые просторы!.. Аннета, как зачарованная, слушала звучащие в воздухе рыдания, — казалось, невидимые руки играют прелюдию Шопена «Судьба». Сердце ее переполнилось никогда не испытанной радостью. Ничего общего не было между жалкой радостью нашей повседневной жизни, радостью, которая боится страданий и держится только тем, что отвергает их, — и этой новой огромной радостью, которая рождена страданием... Аннета слушала, закрыв глаза. Голос смолк. Наступила тишина ожидания. И вдруг из глубины замученного сердца вырвался дикий крик освобождения... Подобно алмазу, режущему стекло, прочертил он светлой бороздой свод ночи. Аннета, разбитая, изнемогшая, на исходе ночи мук родила в себе новую душу...

Безмолвный крик улетел, кружась, и исчез в бездне мысли. Аннета лежала неподвижная и немая. Лежала долго. Наконец, она поднялась. Шея болела от твер-

дого изголовья, ломило все кости. Но душа была освобождена.

Непреодолимая сила толкнула ее к столу. Она и сама еще не знала, что будет делать. Сердце ширилось в груди. Она не могла хранить в себе то, чем оно было полно. Она схватила перо и в неудержимом порыве стала изливать свою скорбь в нескладных стихах:

Ты пришла, ты схватила меня — целую руку твою.  
С любовью, с содроганием — целую руку твою.

Ты пришла меня уничтожить, Любовь, я это сознаю.  
Мои колени дрожат. Приди! Уничтожь! — Целую руку твою.

Ты надкусишь плод и бросишь его: я сердце тебе отдаю!  
Благословенны язвы укусов твоих! — Целую руку твою.

Ты хочешь всю меня: все взяв, все разгромив в бою,  
Ты оставляешь одни обломки. — Целую руку твою.

В твоей руке, меня ласкающей, я гибель мою узнаю,  
И я целую в предсмертный миг смертоносную руку твою.

Рази меня! Убей меня! Я в страдании отраду пью,  
Я в разрушении пью свободу. — Целую руку твою.

Ты каждым взмахом рассекаешь старинных пут змею,  
Ты мясо рвешь, ты цепи рвешь. — Целую руку твою.

О мой убийца, сквозь раны тела я жизнь мою струю,  
Она вырывается из темницы. — Целую руку твою.

Я нива, взрытая тобой, я новую жизнь даю  
Тобой посеянными зернами муки. — Целую руку твою.

О, сей щедрее святую муку! Я семя в груди затаю,  
Чтоб в ней созрела вся мука мира. — Целую руку твою.  
Целую руку твою<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Перевод М. Лозинского.



Буря. Волны морские разбиваются о скалы, душа полнится брызгами и огнями, взлетает к небу пенной пылью страстей и слез...

Последний крик диких птиц — и душа снова на земле. Измученная Аннета падает на кровать и засыпает.

Наутро от вчерашних горестей почти не осталось следа — они растаяли, как снег на солнце...

*Così la neve al sol si disigilla*<sup>1</sup>.

О них напоминала только блаженная боль во всем теле — усталость человека, который боролся и знает, что победил!

Аннета чувствовала, что пресытилась страданиями. Горе — как страсть: чтобы оно прошло, нужно им упиться, пережить его до конца. Но мало у кого хватает на это мужества. И этот пес всегда голоден и зол, потому что люди кормят его только крошками со своего стола. Побеждают страдание те, кто дерзнул отдаться ему целиком, дерзнул сказать ему:

«Я принимаю тебя. И оплодотворю тебя».

Это мощное объятие творящей души грубо и плодотворно, как физическое обладание...

Аннета увидела на столе написанные вчера строки и разорвала бумагу на клочки. Эти бессвязные слова были ей сейчас так же нестерпимы, как и чувства, в них выраженные. Ей не хотелось нарушать охватившего ее блаженства. Она испытывала такое облегчение, как будто ее путы ослабели, как будто цепь только что разомкнулась... И, словно в блеске молнии, встала в ее воображении эта цепь тягот, которые душа сбрасывает медленно, одну за другой, проходя через ряд существований, своих, чужих (это одно и то же)... Аннета спрашивала себя:

«К чему, к чему это вечное влечение, привязанности, которые всегда рвутся? К какому освобождению ведет меня путь желаний, обгаренный кровью?..»

---

<sup>1</sup> Так топят снег лучами синева (итал.). — Данте, «Божественная комедия», «Рай», песнь XXXIII. — Прим. ред.

Но это длилось только одно мгновение. Зачем тревожиться о том, что будет? Оно пройдет, как и все то, что было. Мы хорошо знаем: что бы ни случилось, мы переживем! Есть народная поговорка, старые героические слова, в которых звучат и мольба и вызов: «Да не взвалит нам господь на плечи столько, сколько мы можем вынести!»

Она, Аннета, прошла через испытание, пережив его в один день!.. Теперь она отдыхала душой и телом...

To strive, to seek, not to find, and not to yield.

«Это хорошо. Хорошо... Дни мои не прошли бесследно... А продолжение — завтра!..»

Аннета встала с постели голая. Утреннее солнце над крышами, яркое августовское солнце заливало ее тело и всю комнату... Она чувствовала себя счастливой... Да, счастливой, несмотря ни на что!

Все было такое же, как вчера: земля и небо, прошлое и будущее. Но то, что вчера угнетало, сегодня излучало радость.

Марк вернулся поздно, была уже ночь. Повеселившись без матери, он теперь чувствовал себя виноватым в том, что оставил ее одну и что она из-за него, должно быть, не спит до сих пор. Он знал, что Аннета, как всегда, не ляжет, пока он не вернется, и ждал ледяной встречи. Хотя ему было совестно — или, вернее, именно поэтому — он уже на лестнице приготовился к обороне. С вызывающим видом, с дерзкой усмешкой на губах, но в глубине души далеко не уверенный в себе, он достал из-под щюпки ключ и отпер дверь. В квартире ничто не шелохнулось. Повесив в прихожей пальто, Марк подождал минуту. Тишина. На щюпочках прошел он к себе в комнату и стал бесшумно раздеваться. У него отлегло от сердца. Утро вечера мудренее! Но, не успев еще совсем раздеться, он вдруг встревожился. Тишина в комнате матери показалась ему неестественной... (У него, как и у Аннеты, было живое воображение, и поэтому он легко поддавался тревоге.) Что случилось?.. Он, конечно, был за тысячу миль от каких бы то ни было подозрений о той сокрушительной буре, которая

разразилась этой ночью в соседней комнате. Но он не понимал свою мать, и она всегда вызывала в нем некоторое беспокойство: он никогда не знал, что она думает. В страхе он, как был, босиком и в одной рубашке, подошел к двери в комнату Аннеты, но, приложив ухо к скважине, сразу успокоился. Мать была там и спала, тяжело и неровно дыша. Боясь, не заболела ли она, Марк приоткрыл дверь и подошел к кровати. При свете уличных фонарей он увидел, что Аннета лежит на спине. Распущенные волосы закрывали ей щеки, а лицо приняло то трагическое выражение, которое когда-то по ночам так удивляло ночевавшую у нее Сильвию. Грудь бурно поднималась и опускалась от тяжелого и шумного дыхания. Марк испытывал и страх и жалость, глядя на это тело и смутно угадывая его страдания и усталость. Нагнувшись к подушке, он позвал дрожащим шепотом: — Мама!..

Услышав в глубоком сне этот зов, шедший словно издалека, Аннета на миг очнулась и застонала. Мальчик испугался, отошел. Она снова затихла. Марк вернулся к себе и лег. Усталость от тревожений этого дня и собственная его возраста беззаботность взяли свое, и он проспал крепким сном до самого утра.

Но, как только он открыл глаза, вернулись вчерашние мысли и тревога. Его удивило, что так поздно, а матери не видно. Обычно она по утрам, когда он был еще в постели, входила к нему в комнату (что его всегда раздражало) — поздороваться и поцеловать его. Сегодня она не пришла, но он услышал ее шаги в соседней комнате. И открыл дверь. Стоя на коленях, Аннета вытирала пыль с мебели и не обернулась. Марк поздоровался; она весело взглянула на него и сказала:

— Доброе утро, мой мальчик!

И опять занялась своим делом, не обращая на него внимания. Марк ожидал расспросов о вчерашнем вечере. Он терпеть не мог этих расспросов. Но сегодня то, что Аннета ни о чем не спросила, злило его. Она ходила по комнате, наводя порядок и одновременно одеваясь: ей пора было идти на уроки. Марк наблюдал мать

в зеркале, перед которым она остановилась: под глазами круги, лицо еще утомленное, но глаза блестят, губы улыбаются. Марк был поражен: он ожидал, что увидит ее печальной, и даже готов был в душе пожалеть ее, а неожиданная веселость Аннеты сбила его с толку и даже рассердила, — такова была логика этого юного мужчины!..

У Аннеты же была своя логика. «У сердца есть свои законы», и познаются они тем чутьем, которое выше разума. Аннете было уже все равно, что подумают другие. Она теперь знала, что не надо требовать от людей понимания. Если они тебя любят, то любят с закрытыми глазами. И не часто они их закрывают! «Пусть себе будут, какими хотят. Я их все равно люблю. Я не могу жить без любви. А если меня не любят, я буду любить и за себя и за них — в моем сердце достаточно любви».

Заглядевшись в зеркало, словно она видела в нем что-то далекое, она улыбалась, и глаза ее сияли, как две капли огня — огня вечной любви.

Причесавшись, она опустила руки, обернулась и, увидев хмурое лицо Марка, вспомнив о вечере, на который он ходил с Сильвией, взяла его за подбородок и сказала весело, скандируя слоги:

— «Вы плясали? Очень рада! Ну, так спойте же теперь!»

Засмеялась, глядя в его ошеломленное лицо, приласкала его взглядом, поцеловала и, взяв со стола свою сумочку, вышла, говоря на ходу:

— До свиданья, мой кузнецик!

Марк слышал, как она в передней насвистывала какую-то веселую песенку (презирая ее за это, он в то же время невольно ей завидовал, так как она свистела гораздо лучше, чем он).

Он был возмущен. После вчерашних тревог — такая неприличная веселость! Мать была для него загадкой. И, подражая взрослым мужчинам, он приписал все вечным женским причудам: «*La donna mobile...*»<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Непостоянная женщина (итал.).

Он уже собирался уходить, как вдруг ему бросился в глаза клочок бумаги в корзинке. Взгляд его, острый и жадный, как у хищного зверька, остановился на этой разорванной бумажке сперва бессознательно. Но, разобрав на ней несколько слов, Марк так и застыл на месте... Эти слова... Почерк матери... Он с лихорадочной торопливостью собрал клочки и стал читать... Сначала хватал то один клочок, то другой, как попало... Какие пламенные стихи!.. Разорванные на части, они, как оборвавшаяся песня, еще больше волновали и зачаровывали... Марк перерыл корзинку и собрал все клочки до единого. Он терпеливо сложил их, чтобы можно было прочесть. У него даже руки дрожали — так взволновала его эта случайно открытая тайна. Прочитанные стихи потрясли его. Он не все в них понимал, но дикая страстность этой одинокой песни раскрывала перед ним неведомые источники любви и скорби, восхищала и ошеломяла его. Неужели эти крики в бурю вырвались из груди его матери? Нет, нет, не может быть! Ему не хотелось верить. Он убеждал себя, что она списала стихи из какой-нибудь книги. Но из какой? И спросить ведь у нее нельзя... А что, если это все-таки не из книги?.. Слезы подступили к его глазам, хотелось крикнуть о своем волнении и нежности, броситься к матери на шею или упасть к ее ногам, открыть ей душу, читать в ее душе... Но он не мог этого сделать.

А когда в полдень мать пришла завтракать, мальчик, все утро читавший и переписывавший ее стихи и спрятавший их в конверте у себя на груди, не сказал ей ничего. Он сидел за столом и даже не встал, головы не повернул, когда она вошла. Он сгорал от желания все узнать, но его сковывала застенчивость, и он старался скрыть волнение под маской бесстрастия... А вдруг эти трагические стихи сочинила не она! Его снова одолели сомнения, когда он увидел спокойное лицо Аннеты... Однако то, другое, ошеломяющее подозрение не ушло: «А что, если это все-таки она?.. Вот эта самая женщина, моя мать, что сидит против меня за столом?..» Он не смел взглянуть на нее... Но, когда Аннета,

повернувшись к нему спиной, ходила по комнате, унося и принося блюда, он следил за ней инквизиторским взглядом, словно спрашивая:

«Кто же ты?»

Он не мог разобраться в своих смутных и тревожных впечатлениях. А мать, всецело поглощенная своей новой жизнью, ничего не замечала.

После завтрака оба вышли из дому и разошлись в разные стороны. Марк смотрел матери вслед. Его раздирали противоположные чувства: он и восторгался ею и злился на нее... Женщина, настоящая женщина! Иногда она бывает такая близкая, а иногда совсем далекая, как будто существо другой породы... Ничем они не похожи на нас, мужчин! Непонятно, что у нее в душе творится, отчего она смеется, отчего плачет. Он ее презирает, ненавидит — и тянется к ней, она нужна ему. Он зол на нее за ее власть над ним. Он охотно укусил бы ее в мальчишеский затылок, еще мелькавший впереди, как укусил руку Ноэми (ах, как тогда хотелось кусать ее руку до крови!). При этом неожиданном воспоминании у Марка дрогнуло сердце. Он остановился, сильно побледнев, и плюнул от омерзения.

Марк проходил через Люксембургский сад, где молодые люди играли в спортивные игры. Он смотрел на них с завистью. Все лучшее в нем, все его тайные желания влекли его к делам, подобающим мужчине, — не к любви, не к женщинам, а к спорту, к подвигам, которые требуют героической смелости и силы. Но он был мальчик хилый; жестокая судьба, болезнь в раннем детстве были причиной того, что физически он был менее развит, чем его сверстники. А сидячий образ жизни, книги, мечтательность, то, что он рос в обществе женщин, — все это отравило его любовным ядом, перешедшим к нему от матери, тетки, деда — из крови Ривьеров. Он рад бы вскрыть себе вены и выпустить из них всю эту кровь! Ах, как он завидовал прекрасно сложенным юношам без мыслей в голове, но с радостью в сердце!

Он презирал те дары, что послала ему судьба, и думал

только о тех, в которых она ему отказала. Он видел игры и борьбу сильных и стройных тел. И в своем эгоизме не замечал подле себя иной борьбы — той, которую вела его мать...

Аннета шла по улицам Парижа. Лето заливало город потоками света. Небо гляделось в крыши домов, омывая их лучистой синевой своих взоров... Как хорошо в такое утро очутиться среди полей, далеко от города!.. Но об этом нечего было и мечтать. У Аннеты не было денег, она не могла уехать из Парижа. Предполагалось, что Марк проведет несколько недель с теткой на нормандском побережье, а она останется в городе. Гордость не позволяла ей жить в Нормандии на средства сестры, и, кроме того, она еще с тех времен, когда ездила туда с отцом, питала отвращение к этим ярмаркам, кишевшим скучающими и флиртующими бездельниками. Да, ей предстояло остаться одной в городе, и это ее вовсе не огорчало. Она носила в себе и море, и небо, и солнечные закаты за холмами, и молочные туманы, и поля, одетые саваном лунного света, и тихо тающие летние ночи. Дыша раскаленным воздухом августовского дня, среди оглушительного уличного шума и потоков людей, Аннета шла по Парижу уверенным и быстрым шагом, той же легкой, плавной походкой, что и в былые годы, все замечая на ходу, — и в то же время такая далекая от всего окружающего... На пыльной мостовой, по которой грохотали колеса тяжелых автобусов, она мысленно бродила под сводами бургундских лесов, в тех местах, где прошло ее счастливое детство, вдыхала запах мха и древесной коры. Она шла по ковру осенних листьев; меж обнаженных ветвей зашумел ветер с дождем и, пролетая, мокрым крылом коснулся ее щеки; звенела где-то песня птицы, волшебная в этой тишине. Ветер и дождь пронеслись... В этих самых лесах бродили когда-то молодая Аннета и ее плачущий возлюбленный, и была там живая изгородь из боярышника, и жужжали пчелы вокруг заброшенного дома... Радости, страдания... Как это все далеко!.. Аннета улыбалась той юной девушке, для которой страдания были внове... «Подожди, бедняжка! Это еще только начало!..»

«Ты ни о чем не жалеешь?»

«Нет».

«Ни о том, что сделала, ни о том, что не сделано?»

«Ни о чем. О коварный ум, ты хочешь уличить меня в сожалениях? Напрасный труд! Я принимаю все, все, что было в моей жизни, и все, чего не было. Принимаю целиком свою судьбу, ее мудрость и безумие. Все было в ней подлинным — мудрое и безумное. Человеку свойственно заблуждаться — такова жизнь... Но любовь никогда не бывает заблуждением... Пусть старость близка, — сердце мое не тронули морщины... И, сколько бы оно ни страдало, оно счастливо тем, что любило...»

Аннета улыбалась, с благодарностью думая о тех, кого она в жизни любила.

В этой улыбке было много нежности, но немало и подлинно французской беззлой иронии. Аннета с интересом подмечала не только трогательное, но и смешное во всех этих мучениях, своих и чужих, в этой горячке желаний и ожидания. «Чего я еще жду?.. С любовью кончено! Теперь ваша очередь!..»

Она думала о других — о сыне своем, который весь горел и трепетал, протягивая руки к неизвестному будущему. О Филиппе, не удовлетворенном той жалкой пищей, которой общество пыталось утолить его ненасытный голод. О Сильвии, ищущей забвения и ждущей события, которое заполнило бы зияющую пустоту в ее сердце. Она думала о целой армии людишек, всю жизнь зевающих от скуки. И о беспокойной молодости, которая мечется и ждет... Чего? К чему она протягивает руки?

Отрешаясь от себя, Аннета наблюдает уличную толпу, всю эту массу людей, которые тянут лямку... Стадо, которое бежит, спешит, словно его гонят овчарки. В этом стаде никто не замечает других. Все воображают, что движутся по своей воле, а на самом деле ими движет посторонняя сила, и в этом кажущемся беспорядке есть предначертанный ритм... Но куда их ведет невидимый пастырь? И добрый ли это пастырь? Нет! Он по ту сторону добра и зла...



Аннета занималась с ученицами, как всегда, терпеливая и ласковая, внимательно выслушивала их, объясняла все толково, не сбиваясь. Но в то же время продолжала думать о своем. Тому, у кого это вошло в привычку, нетрудно жить такой двойной жизнью: одна — внешняя, среди людей, другая — в глубинах души, озаренных мечтой. Одна не мешает другой. Человек видит обе одновременно, как музыкант, читающий глазами партитуру. Жизнь — та же симфония: каждое ее мгновение поет на разные голоса. Отраженный жар этой страстной гармонии окрасил нежным румянцем лицо Аннеты. В этот день ее ученицы, удивляясь, что она так молодо выглядит, чувствовали к ней то сильное влечение, которое подростки, не смея в этом признаться, испытывают к старшим подругам, к Провозвестницам. Аннета и не подозревала, какой след оставляет она сегодня в сердцах всех, к кому приближается.

Она вернулась домой под вечер, все такая же окрыленная, не чуя земли под собой... Она не могла бы объяснить, отчего у нее сегодня так легко на душе. Великая тайна женщины, излучающей сияние радости без всякой видимой причины и даже вопреки всему! Все окружающее, весь внешний мир в эти минуты для нее лишь тема для свободного творчества мечты и пылкой фантазии.

На улицах мимо нее проходило множество озабоченных людей. Мчались мальчишки-газетчики, выкрикивая новости, которые тут же обсуждались прохожими. Она не обращала на них внимания. Из встречного трамвая кто-то окликнул ее. Она не сразу сообразила, что это муж Сильвии. Не разобрав слов, она весело помахала ему рукой... Как все вокруг суетятся!.. Снова на короткий миг предстало ей видение головокружительного потока, который с силой вырывается из трещины неба-свода, подобный текучей звездной массе, и низвергается в зовущую его бездну... В какую?..

Она поднялась по лестнице в свою квартиру. В дверях ее ждал Марк, у которого глаза так и сверкали, а за ним стояла Сильвия, тоже сильно возбужденная. Им, видно, не терпелось сообщить ей какую-то новость... Что

случилось?.. Оба заговорили разом — каждому хотелось быть первым...

— Да о чем вы шумите? — спросила Аннета со смехом.

Она разобрала только одно слово:

— Война...

— Война? Какая война?

Впрочем, она не удивилась... Вот она, бездна!..

«Так это ты? Давно я чувствовала твое губительное дыхание».

Марк и Сильвия еще наперебой кричали что-то. Чтобы доставить им удовольствие, Аннета усилием воли стряхнула с себя на минуту оцепенение...

— Война? Ну, что же! Война, мир — все это жизнь, все это ее игра... И я приму в ней участие!..

Она была азартным игроком, эта Очарованная душа!

«Я бросаю вызов богу!»

## СОДЕРЖАНИЕ

Введение. Перевод Я. Лесюка . . . . .	5
---------------------------------------	---

### КНИГА ПЕРВАЯ. АННЕТА и СИЛЬВИЯ Перевод А. Худадовой

Предисловие к первому изданию . . . . .	25
Часть первая . . . . .	27
Часть вторая . . . . .	92

### КНИГА ВТОРАЯ. ЛЕТО. Перевод М. Абкиной

Часть первая . . . . .	179
Часть вторая . . . . .	304
Часть третья . . . . .	385

*Ромен Роллан*

Собрание сочинений, том 8

Редактор *Т. Кудрявцева*

Оформление художника *Н. Ильина*

Художеств. редактор *А. Ермаков*

Технический редактор *Д. Ермоленко*

Корректоры *М. Фридкина*  
и *Н. Манушина*

Сдано в набор 30/1 1956 г. Подписано  
к печати 30/VI 1956 г. А-08237. Бумага  
34×108<sup>1</sup>/<sub>32</sub> — 15,13 печ. л. = 24,8 усл.  
печ. л. 24,23 уч. изд. л. Тираж 240 000.  
Заяв № 834: Цена 9 р.

Гослитиздат  
Москва, Б-66, Ново-Басманная, 19

Министерство культуры СССР, Главное  
управление полиграфической промыш-  
ленности, 2-я типография «Печатный  
Двор» имени А. М. Горького,  
Ленинград, Гатчинская, 26



